

РОБЕРТ ХИСБЕТ

ПРОГРЕСС: ИСТОРИЯ
ИДЕИ



УДК 316.422.4
ББК 60.5
Н55

Редакционный совет: В. Завадников, Дж. Дорн,
Д. Лал, Б. Линдси, Я. Оравец, Я. Романчук,
Т. Палмер, Р. Веддер

Редколлегия: Ю. Кузнецов, А. Якимчук, Л. Чухина,
Е. Белова, Е. Болотова

Редактор серии Ю. Кузнецов
Научные редакторы: Ю. Кузнецов и Гр. Сапов

Нисбет Роберт

Н55 Прогресс: история идеи / Роберт Нисбет; пер. с англ. под ред.
Ю. Кузнецова и Гр. Сапова. — М.: ИРИСЭН, 2007. 557 с. (Серия
«Социология»)

ISBN 978-5-91066-012-4

Идея прогресса в значительной степени определила облик западной цивилизации. Человечество развивается, «движется вперед», причем это движение понимается в двух аспектах — как накопление знания и как наращивание материального богатства. Рождение идеи прогресса — результат взаимодействия христианства с античными представлениями. Первоначально она была вариацией на тему линейного представления об истории, свойственного иудео-христианской религиозной традиции. В период с 1750 примерно до 1900 г. происходит отделение идеи прогресса от религиозных корней и «срастание» понятий прогресса и науки. Этот процесс сопровождался угрожающими явлениями: если первоначально прогресс трактовался как расширение человеческой свободы, то примерно со второй половины XIX в. он все более стал пониматься как расширение «управляемости» — попросту говоря, власти абстрактного государства над человеком и природой. Книга представляет собой классический труд по социальной философии и является одной из наиболее известных и цитируемых работ, написанных в традиции так называемой консервативной школы в американской социологии. Она будет полезна социологам, политологам, общественным деятелям, политикам, студентам и преподавателям гуманитарных дисциплин — всем, кого интересуют духовные и идейные корни современной цивилизации.

УДК 316.422.4
ББК 60.5

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 978-5-91066-012-4

© 1980 by Basic Books, Inc.
© АНО «Институт распространения информации по социальным и экономическим наукам», 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издателя	9
Предисловие к русскому изданию	11
<i>История европейского консерватизма</i>	11
<i>Три этапа карьеры</i>	14
<i>Правильный человек в правильное время</i>	18
<i>Прогресс: история идеи</i>	21
Предисловие	27

ЧАСТЬ I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОГРЕССА

ВВЕДЕНИЕ	33
--------------------	----

ГЛАВА 1 МИР АНТИЧНОСТИ	43
-------------------------------------	----

<i>Гесиод</i>	47
<i>Эсхил</i>	55
<i>Протагор</i>	59
<i>Фукидид</i>	64
<i>Платон</i>	67
<i>Аристотель</i>	74
<i>Эллинизм</i>	77
<i>Лукреций</i>	81
<i>Сенека</i>	90

ГЛАВА 2 РАННИЕ ХРИСТИАНЕ	97
---------------------------------------	----

<i>Посюсторонность христианства</i>	102
<i>Дух социальной реформы</i>	110
<i>Единство человечества</i>	114
<i>Течение времени</i>	117
<i>Эпохи и стадии</i>	120
<i>Необходимость</i>	127
<i>Конфликт как движущая сила</i>	132
<i>Конец и начало</i>	134
<i>Заключение</i>	138

ГЛАВА 3 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ	139
--------------------------------------------	-----

<i>Прогресс и история</i>	145
<i>Карлики и гиганты</i>	152

<i>Реформа времени</i>	155
<i>Полнота и непрерывность</i>	158
<i>Земные райские уголки</i>	161

**ГЛАВА 4
ВОЗРОЖДЕНИЕ: ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 173**

<i>Макиавелли</i>	180
<i>Эразм</i>	183
<i>Томас Мор</i>	185
<i>Фрэнсис Бэкон</i>	188
<i>Рене Декарт</i>	193

**ГЛАВА 5
ВЕЛИКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 197**

<i>Жан Боден</i>	198
<i>Пуританская революция</i>	205
<i>L' Eпvoí</i>	226
<i>Всеобщая история Боссюэ</i>	227
<i>Освоение путешествий и открытий</i>	234
<i>Спор о древних и новых</i>	242
<i>Лейбниц</i>	249
<i>Вико</i>	254

**ЧАСТЬ II
ТРИУМФ ИДЕИ ПРОГРЕССА**

ВВЕДЕНИЕ 269

**ГЛАВА 6
ПРОГРЕСС КАК СВОБОДА 281**

<i>Тюрго</i>	281
<i>Эдуард Гиббон</i>	290
<i>Адам Смит</i>	291
<i>Отцы-основатели США</i>	300
<i>Кондорсе</i>	319
<i>Уильям Годвин</i>	328
<i>Томас Мальтус</i>	333
<i>Иммануил Кант</i>	339
<i>Генрих Гейне</i>	343
<i>Джон Стюарт Милль</i>	344
<i>Герберт Спенсер</i>	351

**ГЛАВА 7
ПРОГРЕСС КАК ВЛАСТЬ 363**

<i>Утописты</i>	365
<i>Руссо</i>	366

<i>Сен-Симон</i>	375
<i>Огюст Конт</i>	383
<i>Карл Маркс</i>	392
<i>Этапизм</i>	405
<i>Иоганн Готфрид фон Гердер</i>	408
<i>Иоганн Готлиб Фихте</i>	412
<i>Георг Вильгельм Фридрих Гегель</i>	417
<i>Расизм</i>	431
ГЛАВА 8	
ЖИВУЧЕСТЬ ПРОГРЕССА	447
ГЛАВА 9	
ПРОГРЕСС В ТУПИКЕ	475
<i>Ранние пророки</i>	477
<i>Отрекаясь от прошлого</i>	484
<i>Отставка Запада</i>	493
<i>Наступление на экономический рост</i>	500
<i>Деградация знания</i>	509
<i>Пелена скуки</i>	522
БИБЛИОГРАФИЯ	537
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	545

Приступая к изданию новой серии «Социология» Редакционный совет столкнулся с непростой задачей. В отличие, например, от политической философии и теории права, зарубежная социологическая литература на протяжении последних лет активно издавалась и продолжает издаваться в России. Можно сказать, что значительная часть западной социологической классики и господствующих современных направлений более или менее полно представлена на русском языке. Тем не менее в этом корпусе литературы остается ряд лакун, к числу которых относятся работы американских авторов консервативного направления. Стремясь ее заполнить, мы открываем серию «Социология» книгой выдающегося американского социолога Роберта Нисбета «Прогресс: история идеи».

Было бы неверным сказать, что имя Р. Нисбета совсем неизвестно русскоязычному читателю — оно упоминается в различных курсах и монографиях по истории социологии. Тем не менее, несмотря на широкое академическое признание на Западе и большое влияние, которое он оказал на развитие американской социологии и политической теории, до сих пор в русском переводе не вышло ни одной из тринадцати его книг. Изданием работы «Прогресс: история идеи» мы рассчитываем положить начало приходу Р. Нисбета к русскоязычному читателю.

Чем может быть важна и интересна для нас именно эта работа? В первую очередь тем, что она раскрывает одну из фундаментальных предпосылок, лежащих в основе всей современной цивилизации. Естественное и понятное стремление «двигаться навстречу Западу», которое в той или иной степени провозглашают все господствующие политические течения в постсоветских странах, не всегда сопровождается достаточным пониманием идейных корней и предпосылок западного общества. Данная книга позволяет взглянуть по-новому на проблему рецепции западных идей и институтов.

Кроме того, предлагаемая вниманию читателя книга Р. Нисбета позволяет увидеть, что многие кризисные

явления, которые мы склонны приписывать «трудностям переходного периода», на самом деле присущи современному этапу развития мировой цивилизации в целом, и простое заимствование «западных» идей, обычаев и институтов в данном случае приводит к «импорту» проблем, а не решений. В свете работы Р. Нисбета совсем другому начинают выглядеть популярные в последнее время пророчества о «конце истории».

Все вышеописанное, а также значительный объем привлекаемого автором фактического материала, содержащегося в книге, по мнению Редакционного совета, делает ее потенциально весьма интересной и полезной для всех специалистов в области общественных наук, а прозрачный и легкий стиль изложения — незаменимым пособием для студентов соответствующих специальностей.

В заключение отметим некоторые особенности данного русского издания. В тексте английского оригинала содержатся многочисленные цитаты из различных источников, не сопровождаемые ссылками на конкретные страницы соответствующих изданий. Мы сохранили эту особенность оригинала, однако в тех случаях, когда имеется русское издание цитируемой работы, мы, как правило, использовали соответствующую цитату из русского издания. В конце книги приведен список переводных работ на русском языке, использованных при подготовке настоящего перевода.

Книга дополнена также предисловием, специально написанным для русского издания учеником Р. Нисбета доктором Гэри Нортон, американским историком, экономистом и христианским богословом. Мы выражаем ему свою глубокую признательность.

Валентин Завадников
Председатель Редакционного совета.
Май, 2007 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Роберт Нисбет (1913—1996) — один из ведущих американских интеллектуалов последней трети XX века. Он открыто придерживался консерватизма, т. е. был редкой птицей до 1965 года и членом «лояльной оппозиции» после. Чтобы оценить по достоинству всю важность его книги «Прогресс: история идеи», в первую очередь необходимо понять, каким образом она увидела свет. Книга представляет собой защиту прогресса человеком, которого с полным правом можно назвать ведущим консервативным социологом XX столетия. В связи с этим возникают два важных вопроса. Во-первых, почему книга, столь явно встающая на сторону прогресса, была написана консерватором, при том что люди таких убеждений обычно считаются противниками перемен? Во-вторых, как получилось так, что она была опубликована в 1980 году — именно тогда, когда Рональд Рейган был избран президентом?

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

В отличие от большинства исторических движений дату рождения европейского консерватизма можно точно установить. Он был вызван к жизни в 1790 году членом британского парламента Эдмундом Бёрком — именно тогда вышла в свет его великая книга «Размышления о революции во Франции». В своей книге он сделал две вещи. Во-первых, проанализировал действия и идеи революционеров в рамках одной темы: отвержения ими традиции и всех социальных институтов, связанных с традицией, кроме национального гражданского правительства, которое революционеры стремились захватить и сделать еще более централизованным. Во-вторых, предсказал, что по ходу революции насилие будет нарастать. Точность его предсказания вскоре подтвердила верность предположений его социального анализа, по крайней мере в глазах противников революции.

Оглядываясь на Французскую революцию, все европейские консерваторы XIX века содрогались от ужаса. Поэтому воспоминание о Бёрке ободряло их. В 1980 году Нисбет писал: «По общему мнению, современный консерватизм как политическая философия берет начало от Эдмунда Бёрка, от его “Размышлений о революции во Франции”, изданных в 1790 году. Эта книга, конечно, отнюдь не исчерпывается блестящим провидческим анализом хода революции и порожденных ею зловещих способов осуществления власти над жизнью людей; содержащиеся в ней отступления и *obiter dicta** делают “Размышления” одним из серьезнейших исследований природы политической легитимности. Современный политический консерватизм, каким мы находим его в европейской философской традиции примерно с 1800 года, ведет свое происхождение от упорной защиты Бёрком прав общества и его исторически сформировавшихся групп, таких как семья, соседская община, гильдия и церковь, от “деспотической власти” политического правительства. Индивидуальная свобода, убеждает Бёрк, — и это по сей день остается тезисом консерватизма — возможна только в условиях множественности социальных авторитетов, моральных кодексов и исторических традиций, вся совокупность которых в органической взаимосвязи служит одновременно “местом обитания и отдыха” человеческого духа и совокупностью промежуточных барьеров для власти государства над индивидом. “Размышления” Бёрка сразу оказали большое влияние, и все ведущие работы консервативных европейских философов начала XIX столетия — в том числе Бональда, де Местра, молодого Ламенне, Гегеля, Галлера, Доносо-и-Кортеса, Саути и Кольриджа — основываются на классическом сочинении Бёрка, как это признавали все без исключения авторы»**.

Начиная с 1790 года в центре внимания европейского консерватизма находятся две большие темы: враждебное отношение к насилию, связанному с политической

* Сказанное мимоходом (лат.). — Прим. науч. ред.

** Robert A. Nisbet, “Conservatives and Libertarians: Uneasy Cousins,” *Modern Age*, XXIV (Winter 1980), p. 2.

революцией, и утверждение децентрализованных «опосредствующих институтов» семьи, церкви, добровольных объединений. Нисбет был последовательным защитником обеих позиций. После 1965 года он был, бесспорно, самым красноречивым выразителем второй позиции в академических кругах Америки и, безусловно, самым известным.

К 1790 году в европейском Просвещении можно было четко выделить два крыла. Первое — континентальное Просвещение Французской революции: централизованная политическая власть, иерархия, построенная «сверху вниз», и политический контроль над теми социальными институтами, которые раньше были независимыми или полунезависимыми. Типичным представителем этой традиции был Жан-Жак Руссо. В политике эта традиция воплотилась в несколько лет правления Максимилиана Робеспьера и его преемника Наполеона. Бёрк видел приближение этого. Другим крылом было шотландское Просвещение и его американский аналог. Представители этого крыла отстаивали идеалы децентрализованной политической власти, частной собственности, рассредоточенной среди широких масс населения, и экономической координации посредством свободного рынка. Два виднейших мыслителя, представляющих это крыло, — Адам Смит и Эдмунд Бёрк. В 1789 году воплощением этой традиции был Джордж Вашингтон, хотя престарелый Бенджамин Франклин мог бы претендовать на то, чтобы составить ему компанию.

Отметим один факт, который в настоящее время мало кем осознается: два крыла Просвещения представляли собой светские версии двух вариантов западной экклесиологии: доктрины иезуитов об иерархии, построенной «сверху вниз» и доктрины кальвинистов об иерархии, построенной «снизу вверх». Руссо и Французская революция подражали иезуитам. Шотландское Просвещение было создано либеральными пресвитерианами, обратившимися в деизм. По странной иронии, в 1528 году Игнатий Лойола, основавший Орден иезуитов, и Жан Кальвин, духовный отец пресвитериан, учились в маленьком коллеже при Парижском университете — коллеже Монтегю. Лойола прибыл

в феврале, а Кальвин уехал в марте. Эразм Роттердамский также учился в этом заведении.

Бёрк был защитником свободы, как политической, так и экономической. Он поддержал Американскую революцию, что в 1776 году стоило ему популярности. Бёрк и Адам Смит вели переписку, и каждый из них откровенно одобрял опубликованные работы другого. Бёрк не выступал против того, что с тех пор стало известно под названием органических изменений: постепенное развитие идей, институтов и практических искусств. И он, и Смит выступали против идеи политического государства как главного агента социальных изменений. Никто из них не верил в то, что другим людям, наделенным монополией на насилие приущей гражданскому правительству, можно будет доверить власти сверх необходимого минимума. Нисбет твердо придерживался традиции, заданной Бёрком и Смитом.

ТРИ ЭТАПА КАРЬЕРЫ

К моменту своей смерти в 1996 году Нисбет пользовался уважением среди широких кругов американских интеллектуалов. Но еще в 1960 году он был никому не известным, мало публиковавшимся администратором в крошечном кампусе Калифорнийского университета, в городке Риверсайд.

Карьера Нисбета пошла в гору довольно поздно. Ее третий этап был частью растущего влияния политического консерватизма, которое было ознаменовано избранием Рональда Рейгана президентом США в 1980 году. Нисбет был ключевой фигурой в процессе «размывания» основного ядра американских левых, доминировавших в академических кругах в 1960 году.

После 1965 года левое движение раскололось на «старых левых» эры Нового курса и «новых левых» антивоенной контркультуры. Этот раскол создал благоприятную возможность для того, чтобы консерваторы, вроде Нисбета, и либертарианцы, вроде Мюррея Ротбарда, были услышаны разочарованными либералами и настроенными против истеблишмента выпускниками колледжей.

В 1960 году Нисбет был белой вороной — консервативным университетским преподавателем. Что еще более

удивительно, он был социологом, т.е. принадлежал к наименее консервативной из всех основных академических дисциплин. В 1960 году в США не насчитывалось и полдюжины публиковавшихся социологов, бывших одновременно политическими консерваторами. И написали они не слишком много.

Когда Нисбет обучался в аспирантуре Калифорнийского университета в Беркли в конце 30-х годов XX века, вообще не существовало университетской дисциплины под названием «социология». Это было всего лишь спустя несколько лет после того, как русский эмигрант Питирим Сорокин создал кафедру социологии в Гарвардском университете.

Нисбет стал профессором социологии в Беркли вскоре после своего возвращения с военной службы в 1945 году. В 1953 году издательство Oxford University Press опубликовало книгу Нисбета «Поиски общности» (*The Quest for Community*). Книга не привлекла большого внимания, но регулярно допечатывалась, постоянно оставаясь в продаже, — признак достаточно высокого интереса в академической среде. Основная мысль книги заключалась в том, что тоталитарные движения в XX столетии были продуктом всеобщего снижения авторитета опосредствующих (промежуточных) институтов: семьи, церкви, гильдий и всевозможных добровольных объединений. По мере того, как люди становились все более и более одинокими, они стали искать смысла путем участия в массовой политике. Централизация политической жизни не оставила ничего в промежутке между почти полностью автономным гражданином и почти полностью автономным государством. Как доказывал Нисбет в 1942 году в журнальной статье, это соответствовало представлениям Руссо о легитимном правительстве. Ту же мысль высказала Ханна Арендт в книге «Истоки тоталитаризма» (1951). В то время сочинение Арендт встретило гораздо более шумный прием.

В 1954 году Нисбет занял должность декана колледжа в только что открывшемся университете в Риверсайде. Казалось, его профессиональная карьера подходит к концу. В 1962 году то же самое издательство Oxford University Press выпустило его книгу «Поиски общности» в мягкой обложке, дав ей новое название «Общность и власть»

(*Community and Power*). В 1962 году это полностью соответствовало настроениям в американской политике и в университетских кругах. Но сразу после первых признаков студенческой революции, начавшейся в Беркли осенью 1964 года, издательство в 1965 году благоразумно вернулось к первоначальному названию.

Американский политический либерализм до убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года и прихода ему на смену Линдона Джонсона в качестве президента можно охарактеризовать как «энергичный и уверенный в себе либерализм» (“can-do” liberalism), для которого была характерна вера в способность гражданского правительства, и особенно правительства страны, осуществить положительные социальные изменения. Убийство Кеннеди поколебало американцев в этой глубоко укоренившейся политической вере. Стало ясно, что пуля убийцы может сорвать реализацию любой программы улучшений, выдвинутую национальным лидером. Затем, в 1964 году, Линдон Джонсон — преемник Кеннеди на посту президента — начал эскалацию войны во Вьетнаме, что стало заметно к началу 1965 года. В 1964—1965 годах в обществе начался ряд социальных и культурных изменений, усиливавшихся вплоть до 1970 года. Об этом мы поговорим в следующем разделе — «Правильный человек в правильное время».

Первоначально Джонсон был самым всемогущим президентом со времен Франклина Рузвельта (1933—1945). До того как стать вице-президентом в 1961 году, он был лидером большинства в Сенате. Его боялись бывшие коллеги, потому что на многих из них у него имелась секретная компрометирующая информация. Начиная с 1964 года Сенат принимал большинство законов, вносимых Джонсоном. Это была грубая политическая сила, невиданная с 30-х годов.

Параллельно с укреплением централизованной политической власти происходила «молодежная революция», также известная как «движение хиппи»: длинноволосые парни, босые девочки-подростки с распущенными волосами, широкое употребление галлюциногенных наркотиков, лица, разукрашенные флуоресцентными красками, концерты рок-музыки с десятками тысяч зрителей, жизнь на

дороге в минивэнах «Фольксваген» или коммунами в небольших деревенских поселениях.

В США это движение контркультуры было тем, что называется «хорошим информационным поводом». Истории о нем увеличивали тиражи журналов и привлекали значительную телеаудиторию. Это было международное движение, но в США его молодые приверженцы имели больше денег, а потому больше возможностей вести образ жизни, отвергающий зависимость от родителей и отрицающий культуру среднего класса. Молодежное движение завершилось в 1970 году — в разгар экономической рецессии. Деньги кончились. Молодые люди были вынуждены идти работать. На этом завершился их легко наблюдаемый со стороны поиск радикальных альтернативных общностей. Но, став богаче, они продолжили поиск — эта история рассказывается в умной и наблюдательной книге «Бобо в раю», написанной консерватором Дэвидом Бруксом (David Brooks, *Bobos in Paradise*, 2000). «Бобо» обозначает человека, являющегося наполовину богемным культурным революционером, а наполовину — буржуа.

Все это работало на повышение интеллектуальной репутации Нисбета. Третий этап его карьеры начался в 1966 году с публикации книги «Социологическая традиция» (*The Sociological Tradition*), почти сразу ставшей классикой. Нисбет проанализировал работы пяти крупнейших фигур в истории социологии — Алексиса де Токвиля, Карла Маркса, Эмиля Дюркгейма, Георга Зиммеля и Макса Вебера, дополнив этот анализ также обсуждением некоторых менее влиятельных фигур. Он охарактеризовал их вклад в терминах пяти больших тем: общности, власти, авторитета, отчуждения и священного. Ограничив свой список главных действующих лиц и рассматриваемых тем, Нисбет сделал свою книгу легкой для чтения и менее трудной для запоминания. Интеллектуалы высоко ценят оба этих качества, хотя могут и не признавать этого публично.

«Легкость для чтения» — одно из важнейших преимуществ Нисбета в конкурентном мире научных дискуссий. В отличие от большинства профессоров-интеллектуалов и практически всех ученых-социологов, его стиль легок для чтения. В одной книге за другой появляются его основные

темы и излагаются на языке, который может понять и запомнить (что, вероятно, еще более важно) любой коммуникативный специалист.

В 1971 году Нисбет перешел в Университет штата Аризона. Затем через несколько лет его назначили на профессорскую должность, оплачиваемую из специального фонда (что является высочайшей из почестей, оказываемых в академическом мире Америки) в Колумбийском университете, одном из десяти лучших университетов США, входящем в «Лигу плюща» (Ivy League)*. В отличие от большинства старших профессоров, находящихся в таком возрасте, количество книг, выходящих из-под его пера, возрастает, причем все они выходят в крупных издательствах.

За много лет до того, как Нисбет вышел на пенсию в возрасте 70 лет, он сказал мне: «Я не хочу превращаться в старика зануду, читающего лекцию скучающим студентам». Ирония состоит в том, что как лектор он был бесподобен. Его даже можно было назвать оратором. (Публичные выступления — один из способов, которым я зарабатываю себе на жизнь. Могу сказать, что Нисбет относился к числу тех лекторов, сразу после которых мало кто хотел бы оказаться на трибуне. Гораздо лучше, если в промежутке назначен обеденный перерыв.) Он остался верным своему слову. В 1983 году в возрасте 70 лет он ушел в отставку с должности преподавателя в Колумбийском университете и был незамедлительно принят на полную ставку в Американский институт предпринимательства (American Enterprise Institute) в качестве ученого-исследователя. И он продолжал публиковаться.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Третий, совершенно непредсказуемый, этап карьеры Нисбета определялся несколькими факторами. Некоторые из них носили негативный характер — это все, что связано с упадком «старых левых». Другие были позитивными

* Ivy League объединяет старейшие и самые привилегированные университеты Северо-Востока США. — *Прим. науч. ред.*

по своей природе — пробуждение интереса к старым консервативным темам, особенно к теме угрозы свободе, исходящей от централизованной политической власти.

Первым фактором стало убийство президента Кеннеди в ноябре 1963 года. Это событие глубоко потрясло американцев. Красивый молодой президент, популярность которого в 1963 году на самом деле снижалась, посмертно стал символом оптимистичного либерализма. Либерализм был символически застрелен в Далласе — и не консерватором, а человеком, связанным с прокоммунистическими силами и прежде жившим в Советском Союзе. Преемник Кеннеди, Линдон Джонсон, был гораздо более опытным политиком. Под звучными названиями политики построения «великого общества» и «войны с бедностью» ему удалось протасовать законы, расширяющие полномочия правительства. Но в 1965—1968 годах вьетнамская война породила массовую оппозицию Джонсону, и в 1968 году он отказался выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, полагая, что потерпит поражение. К 1968 году старый либерализм, которому Джонсон обязан своей карьерой, стал терять уважение в среде молодых людей с университетским образованием.

Вторым фактором стал приезд «Битлз» в США в феврале 1964 года. Они произвели сенсацию, которая распространилась по всему миру. Если Элвис Пресли был олицетворением первого этапа молодежного движения (1955—1963), то «Битлз» стали символом второго. Невозможно написать достоверную историю Соединенных Штатов, не упоминая о Пресли и «Битлз». То, что происходило до 1955 года, вполне возможно обсуждать без всякого упоминания о поп-музыке. В 1965 году «Битлз» со своим альбомом «Резиновая душа» (*Rubber Soul*) оказались на острие движения контркультуры. Сейчас этот альбом кажется совершенно безобидным, но только потому, что вызванная им огромная культурная трансформация уже произошла. До того как раствориться в господствующей культуре после 1970 года, контркультура была всемирным социальным феноменом.

Третьим фактором послужило выдвижение в 1964 году консерватора Барри Голдуотера кандидатом в президенты

США от Республиканской партии. В ноябре он безоговорочно проиграл Джонсону, но кандидатура Голдуотера продемонстрировала, что с политическим консерватизмом уже нельзя не считаться. Список почтовых адресов людей, пожертвовавших на избирательную кампанию Голдуотера более 50 долларов, стал основой той «империи» прямой почтовой рассылки, которая позволила Рональду Рейгану выиграть выборы 1980 года. Фактически сама политическая карьера Рейгана началась в конце кампании Голдуотера речью по национальному телевидению, в которой он защищал Голдуотера.

Четвертый фактор — внезапное появление в 1965 году неоконсервативного движения. В авангарде этого движения находился вновь созданный ежеквартальный журнал *The Public Interest*. В это же время произошло изменение редакционной политики в *Commentary* — ежемесячном качественном интеллектуальном журнале, издаваемом Американским еврейским комитетом. Частью движения стало вновь созданное издательство Basic Books, главным редактором которого был Ирвинг Кристол, одновременно возглавлявший редакцию *The Public Interest*.

Лидерами неоконсервативного движения были по большей части секуляризованные евреи. Некоторые из них в молодости принадлежали к левым радикалам — Кристол, например, был троцкистом. Но десятилетие за десятилетием они постепенно дрейфовали в сторону либерализма Демократической партии. К 1965 году, по мере эскалации вьетнамской войны и формирования контркультуры, эти люди стали переходить на позиции, признающие необходимость более ограниченной роли гражданского правительства. Они начали понимать порочность реализуемых Джонсоном программ «войны с бедностью», расширявших полномочия и расходы национального правительства.

Неоконсерваторы открыли Нисбета в 1965 году. Как он однажды сказал мне в конце 60-х (когда был моим преподавателем): «Компания, собравшаяся вокруг *Commentary*, сделала меня своим штатным социологом. Евреи покупают много книг». В 1966 году Basic Books опубликовало «Социологическую традицию». В 1968 году круп-

ная издательская фирма Random House издала сборник его статей, а в 1969 году — книгу «Социальные изменения и история» (*Social Change and History*). Нисбет продолжал публиковаться на протяжении всех 70-х годов.

ПРОГРЕСС: ИСТОРИЯ ИДЕИ

Издательство Basic Books опубликовало книгу «Прогресс: история идеи» (*History of the Idea of Progress*) в 1980 году. Редактором книги была Мидж Дектер, жена Нормана Подгореца, долгое время бывшего редактором *Commentary*. Почти 18 месяцев Дектер курировала публикацию книги Нисбета и еще трех классических произведений: Джеймс Биллингтон «Пожар в умах людей» (*James Billington, Fire in the Minds of Men*) — исследование оккультных и журналистских корней революционной традиции XIX столетия; Джордж Гилдер «Богатство и бедность» (*George Gilder, Wealth and Poverty*) — защита свободного рынка как создателя богатства; Томас Соуэлл «Знание и решения» (*Thomas Sowell, Knowledge and Decisions*) — исследование того неизбежного факта, что точное знание не является бесплатным ресурсом, и антисоциалистических выводов из этого факта.

Название книги Нисбета говорит само за себя. От древних греков и до наших дней, доказывает автор, идея прогресса является центральной темой западных интеллектуалов и западной цивилизации. Эта идея питает надежды новаторов любого рода — от изобретателей до революционеров, от предпринимателей до политиков-реформаторов.

В «Эпиллоге» Нисбет доказывает, что наблюдаемая ныне утрата веры в прогресс значительной частью интеллектуалов и в целом образованной публикой ставит под угрозу современную цивилизацию. Для того, чтобы люди могли жертвовать настоящим ради будущего, они должны верить в будущее. Утрата веры не обещает ничего хорошего в том, что касается сохранения западной цивилизации.

Он не впадает в отчаяние по поводу такого развития событий (которое на самом деле означает прекращение всякого развития), что тесно связано с его верой в вероятное всеобщее восстановление веры в прогресс, вполне возможно — в результате религиозного возрождения.

«Эпилог» Нисбета следует читать параллельно с заключительной главой книги Мартина ван Кревельда «Расцвет и упадок государства» (1999)* и заключительным разделом книги Жака Барзёна «От восхода к упадку» (Jacques Barzun, *From Dawn To Decadence*, 2000). Оба чрезвычайно эрудированных историка считают, что национальное государство переживает упадок, поскольку падает вера общества в способность политиков выполнить свои обещания в том, что касается защищенности — как экономической, так и военной.

К 1980 году Нисбет перестал использовать сноски, что является большим недостатком книги «Прогресс: история идеи». Это не означает, что у Нисбета они отсутствовали. Просто он перестал делиться ими, что делает жизнь труднее для всех нас, кто теперь не может ими бесплатно воспользоваться.

Другой недостаток — на сей раз серьезный — состоит в его доводе, согласно которому древние греки верили и в прогресс, и в линейную историю, в отличие от циклической истории. Против этого свидетельствует платоновский «великий год», связанный с прецессией равноденствия. Нисбет в значительной мере опирался на посмертно изданную книгу Людвиг Эдельштайна «Идея прогресса в классической античности» (Ludwig Edelstein, *The Idea of Progress in Classical Antiquity*, 1967). Однако это слишком ненадежная опора. Для того, чтобы доказать этот тезис, Эдельштайн слишком многое притягивает за уши. Гораздо более убедительными являются многочисленные публикации Стэнли Яки (Stanley Jaki), в которых доказывается, что древние греки не смогли создать науку современного типа из-за отсутствия у них веры в линейную историю — в отличие от христианского Запада** . Яки известен также как биограф французского историка средневековой науки Пьера Дюгема (Pierre Duhem, 1861—1916), на которого Нисбет столь благожелательно ссылается в книге «Прогресс: история идеи». Это один из немногих интеллектуалов, знако-

* Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006. — *Прим. науч. ред.*

** Одна из книг С. Яки издана на русском языке: «Спаситель науки» (1993). — *Прим. науч. ред.*

мых с работами Дюгема, не говоря уже о благосклонном к нему отношении.

Если бы Нисбет прочитал 8 и 28 главы Второзакония, он мог бы точно определить происхождение идеи экономического прогресса. Источником этой веры был Моисей, а не древние греки.

Нет сомнения, что Нисбет считал идею прогресса отличительной чертой Запада. Он так резюмировал эту веру: «вера в ценность прошлого; убежденность в величии Западной цивилизации и даже ее превосходстве над другими цивилизациями; принятие ценности экономического и технологического роста; вера в разум и в тот вид научно-исследовательского знания, который может быть порожден только разумом; и наконец, убежденность в ни с чем не сравнимой *ценности* жизни на этой Земле». Это, бесспорно, религиозное утверждение. Сам Нисбет верил в него. Он не верил в то, что оно возникло только в эпоху Просвещения. Как не верил в это Дюгем и не верит Яки.

Если эта вера вновь не возгорится в нынешней мировой цивилизации, мы станем свидетелями прекращения экономического роста. Нисбет понимал, что экономический рост не автономен. Это продукт мировоззрения, поощряющего ориентацию на будущее, которая в свою очередь порождает бережливость. Капитал — это результат бережливости, а бережливость — это результат ориентации на будущее, которая в свою очередь покоится на идее прогресса. Вот почему книга Нисбета так важна, особенно если ее читать одновременно с книгой Гилдера «Богатство и бедность» и Соуэлла «Знание и решения».

Гэри Норт

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читатели, знакомые с моей работой «Социальные изменения и история» (*Social Change and History*, 1969), распознают в этой книге интеллектуальные основания, которые с другой целью рассматривались в более ранней работе. Последняя представляла собой критическое исследование современной социальной теории, ее целью является демонстрация с помощью исторических, а также аналитических доказательств слабых сторон господствующих теорий изменения (в основном таких, как функционализм, теория развития и эволюционизм) в современной социологической науке. Идея прогресса рассматривалась кратко, и ее изучение было подчинено другим, более широким, интересам.

Настоящая работа задумывалась как краткая история исключительно идеи прогресса. Я попытался в пределах этой работы идентифицировать и показать в правильном ракурсе основные персонажи, тексты, предпосылки, интеллектуальный климат и философское, идеологическое использование этой идеи за прошедшие двадцать пять сотен лет. Хотя догма прогресса сохраняла авторитетный статус на протяжении большей части истории Западного мира, очевидно, что он крайне низко упал в наш век. Ее будущее, как я утверждаю в последней главе, по меньшей мере туманно. Впрочем, одно заключение можно сделать с уверенностью. Если идея прогресса на Западе умрет, то умрет и большая часть всего остального, что мы долго ценили в этой цивилизации.

Опора на другие ученые труды необходима в такой книге, как эта, и, хотя я сделал в тексте специальные ссылки на всех тех, чьи взгляды и интерпретации имели для меня ценность, некоторых следует особо упомянуть здесь. Это покойный Людвиг Эдельштайн, чья «Идея прогресса в классической античности» (*Ludwig Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity*) была практически незаменима для меня при подготовке первой главы этой книги; это Герхарт Б. Ладнер и, в первую очередь, его замечательная «Идея реформы» (*Gerhart B. Ladner, Idea of Reform*),

но также и другие его работы, которые провели меня через раннюю христианскую мысль по тропам, которые сам я, скорее всего, не нашел бы; это покойный Эрнст Канторович, чьи «Два тела короля» (Ernst Kantorowicz, *The King's Two Bodies*) дают ключ к пониманию гораздо большего в средневековой мысли, чем можно предположить по названию, в том числе к идее прогресса; это Марджори Ривз с ее работой «Влияние пророчества в позднее Средневековье» (Marjorie Reeves, *The Influence of Prophecy in the Late Middle Ages*), которая дает нам полное и авторитетное рассмотрение пророка-гения XII века Иоахима Флорского, а также детально прослеживает оказанное им влияние вплоть до XIX века — нет более крупной и значимой фигуры, чье воздействие на формирование средневековой идеи прогресса было бы большим и более плодотворным, чем фигура Иоахима; это Артур Лавджой и Джордж Боас с их богатыми исследованиями примитивизма и прогресса в античных и средневековых работах; и особенно Артур Лавджой с его «Великой цепью бытия», одним из шедевров гуманитарной науки XX века. Как я уже сказал, есть и многие другие, чьи научные исследования и комментарии имели для меня огромную ценность, но я надеюсь, что в достаточной мере выразил им свою признательность в самом тексте, за двумя исключениями.

Первое исключение — Фредерик Дж. Теггарт, который много лет был преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли. Его собственный плодотворный интерес к идее прогресса, восходящий к началу нашего столетия, оказал на меня решающее влияние и подвел к тому, что я заинтересовался данным предметом. Ряд интерпретаций и акцентов в этой книге порой резко отличается от данных Теггартом, но это ни в коей мере не уменьшает мое чувство признательности одному из самых сильных и незаурядных ученых нашего столетия, которое я сохранию до конца моих дней.

Также я должен отдать дань Дж. Б. Бэри за его работу «Идея прогресса: исследование ее истоков и роста» (J. B. Bury, *Idea of Progress: An Inquiry into Its Origin and Growth*), опубликованную в Лондоне в 1920 году. Самая высшая похвала, которую можно сделать этой кни-

ге, — это отметить, что она сама стала частью истории идеи, короче говоря, классикой. Впрочем, эта классика имеет серьезные недостатки. Бэри (следуя традиции, восходящей, как минимум, к Огюсту Конту, т.е. к началу XIX века) отрицал существование как в классическом, так и в средневековом мире какого бы то ни было понятия о прогрессе человечества на Земле. И, будучи типичнейшим рационалистом и вольнодумцем, он предпочитал видеть в христианстве главного великого врага, которого нужно было разгромить, прежде чем смогла появиться идея прогресса (согласно Бэри — в конце XVII века). Его позицию в этих, а также других вопросах просто нельзя обоснованно поддерживать сегодня, учитывая большое количество специальных исследований классической и средневековой мысли, появившихся с момента публикации его книги. Но, несмотря на ошибки и упущения, книга Бэри заслуживает уважения как за содержание, так и за широкое влияние.

Я благодарен Фонду Рокфеллера, особенно гуманитарному отделению под руководством доктора Джоэла Колтона, за щедрый грант, который очень помог в осуществлении исследования, необходимого для написания этой книги. Этот грант дает возможность поблагодарить Джозефа Лоуренса и Кристофера Кобрака, аспирантов Колумбийского университета, которые оказали неоценимую помощь в исследовании на ранних стадиях написания книги. Колумбийскому университету я обязан привилегией работать преподавателем на профессорской ставке имени Альберта Швейцера по гуманитарным наукам в 1974—1978 годах. Эту книгу я начал и в значительной мере закончил в эти годы, поэтому ее нельзя отделить от стимулирующей и приносящей удовлетворение атмосферы Морнингсайд Хайтс.

Книга была завершена во время моего пребывания в должности ученого представителя в Американском институте предпринимательства и политических исследований в Вашингтоне, и я пользуюсь возможностью поблагодарить Уильяма Дж. Баррудиза-старшего и Уильяма Дж. Баррудиза-младшего за их понимание того, что тема книги входит в область исследования государственной политики.

*

Я не могу даже представить более подходящих условий для исследований и написания работы.

Наконец, я с удовольствием благодарю Мартина Кесслера, Мидж Дектер, Морин Бишофф и других сотрудников издательства *Basic Books* за их мудрые советы и неизменную помощь в превращении рукописи в книгу за этот последний год.

ЧАСТЬ I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОГРЕССА

ВВЕДЕНИЕ

It is Almost
the Year Two Thousand

*To start the world of old
We had one age of gold
Not labored out of mines,
And some say there are signs,
The second such has come,
The true Millennium,
The final golden glow
To end it. And if so
(and science ought to know)
We may well raise our heads
From weeding garden beds
And annotating books
To watch this end de luxe.*

Robert Frost

Уже почти двухтысячный год

*Когда родился этот мир,
То первым наступил
Век золотой.
И вот, поверь,
Народы думают теперь.
Что вновь ему открыта дверь,
И ныне сей желанный век,
О коем грезил человек,
Опять настал.
А если так
(О чём науке надо б знать),
Пора нам взоры оторвать
От скучных книг и сорных гряд,
Чтоб мира созерцать закат.*

Роберт Фрост

(Перевод А. Верещанина)

С приближением 2000 года наверняка будет усиливаться и оживать интерес — научный, исследовательский, интеллектуальный и общественный — не только к самому году с его хилястической окраской, но и в целом к вопросу о прогрессе человечества. Будут спрашивать — и уже сейчас задаются вопросом: чего можно ожидать от этого года в отношении Западного мира? Грядет ли Золотой век или же Темный век как результат дегенерации? И как, по каким критериям будет оцениваться прогресс или регресс? *Что такое* прогресс: не есть ли он в основе своей моральное и духовное явление, лучшим индикатором которого служит *отсутствие* материального благосостояния, а не изобилие? На Западе, как в прошлом, так и в настоящем, некоторые утверждают, что это именно так. Или же прогресс нерасторжимо переплетен с навыками и пониманием, имеющими источником накопление знаний, как утверждала целая череда философов, начиная с Ксенофана и Протагора в Древней Греции? На протяжении почти всей истории Западного мира, включая Средние века, уважение к разуму, знаниям и науке было столь высоко, что критерии человеческого прогресса практически неизбежно основывались на этих ценностях. В XX веке, однако, все переменялось. Бунт против рационализма и науки, культивирование иррационализма в разнообразных формах, религиозных и светских, и поразительный рост

субъективизма[†], озабоченности своим «я» и своими удовольствиями — все это отличается, по крайней мере, по своим масштабам от всего того, что Запад знал раньше. Будет ли идея прогресса полностью вытеснена из интеллектуальной сферы преобладающими силами пессимизма с его верой в цикличность истории цивилизации и в то, что наша Западная цивилизация уже сейчас на большой скорости катится ко дну, к нижней точке пике?

В этой книге не ставится цели найти точные ответы на все эти волнующие вопросы, хотя мне хочется верить, что удастся пролить на них немного света по ходу достижения цели данной работы — полного обзора истории идеи прогресса, от греков до наших дней. На протяжении более двадцати пяти веков философы, ученые, историки и богословы в той или иной степени занимались этой идеей и, конечно, ее противоположностью — вырождением или циклическим возвращением, хотя, как я покажу в главах этой книги, начиная с Гесиода и, возможно, Гомера, вера в прогресс была доминирующей. Мы живем, как часто говорилось, под заклятием идей, хороших или плохих, истинных или ложных. Мы можем думать, что непосредственно реагируем на события и изменения в истории институтов, но это не так: мы откликаемся на эти события и изменения, когда они становятся для нас реальными или усвояемыми благодаря идеям, уже существующим в наших головах.

Ни одна идея не была более важна и, возможно, даже равна ей по важности, как идея прогресса в Западной цивилизации на протяжении почти трех тысяч лет. Вспоминаются также другие идеи: свобода, справедливость, равенство, солидарность и т.д. Я не преуменьшаю значение ни одной из них. Но нужно подчеркнуть, что на протяжении большей части истории Западного мира даже для этих идей субстратом была философия истории, которая дает им значимость в прошлом, настоящем и будущем. Ничто не дает большей значимости или доверия к той или иной моральной или политической ценности, чем вера в то, что она не только является или должна быть предметом заботы, но и в то, что это важнейший элемент исторического движения из прошлого через настоящее в будущее. Такая ценность может быть затем переведена из разряда просто желаемой в исторически необходимую.

Проще говоря, идея прогресса предполагает, что человечество улучшало свое состояние в прошлом (от некоего первобытного состояния примитивности, варварства или даже ничтожества), продолжает двигаться в этом направлении сейчас и будет двигаться и дальше в обозримой перспективе. По меткому выражению Дж. Б. Бэри, идея прогресса — это синтез прошлого и предсказания будущего. Она неотделима от чувства времени, текущего прямолинейно. Артур О. Лавджой в своей работе «Примитивизм и связанные с ним идеи в античности» (*Arthur O. Lovejoy, Primitivism and Related Ideas in Antiquity*) пишет, что эта идея представляет собой «оценку как исторического процесса в целом, так и доминирующей тенденции, которая проявляется в нем». Последствием этой осведомленности об историческом процессе, продолжает Лавджой, является широко распространенная вера в «тенденцию, присущую природе или человеку, проходить через определенную последовательность стадий развития в прошлом, настоящем и будущем притом, что более поздние стадии (за исключением случающихся изредка периодов отставания или регресса) превосходят предыдущие. К этому необходимо добавить только то, что чаще всего эта идея содержит в себе предположения о непрерывности, постепенности, естественности и даже неизбежности этих стадий развития. Эта идея не должна считаться всего лишь спутником каприза или случая, нужно воспринимать ее частью самого порядка вещей во Вселенной и в обществе. Продвижение от низшего к высшему должно считаться таким же реальным и определенным, как и все остальное в царстве законов природы.

Но что означает «улучшение» или переход от «низшего к высшему» в содержательном смысле? Начиная с древних греков и до XX века мы встречаем два тесно взаимосвязанных, хотя и различных, суждения. Первое — медленное, постепенное и кумулятивное развитие знания, того вида знания, которое воплощено в искусстве и науке, в многообразных способах, используемых человеком для того, чтобы справляться с проблемами, которые ставит перед ним природа или просто стремление людей жить в группах. От Гесиода и, в еще более яркой форме, Протагора, от таких римлян, как Лукреций и Сенека, от Св. Августина и

его последователей, от пуритан XVII века до величайших пророков прогресса XIX—XX веков, таких как Сен-Симон, Конт, Гегель, Маркс и Герберт Спенсер, мы встречаем убеждение, редко подвергаемое сомнению, что сама природа знания (объективного знания, подобного естественнонаучному и технологическому) содержит в себе продвижение, улучшение и усовершенствование.

Второе основное суждение, которое мы находим в истории идеи прогресса, сосредоточивается на моральном и духовном положении человека на Земле, его счастье, свободе от страданий, доставляемых природой и обществом, и, превыше всего, на его спокойствии и безмятежности. Целью прогресса или улучшения является окончательное достижение человечеством этих духовных и моральных добродетелей *на Земле*, что должно привести к еще большему совершенству человеческой природы. В прошлом, в настоящем и, без сомнения, в будущем всегда были, есть и будут те, кто верит: только что обозначенные суждения имеют обратную связь друг с другом. То есть условием достижения духовного блаженства и морального совершенства является *не* приобретение или увеличение знания о мире и человеке, но отречение от такого знания. Знать — значит грешить или закладывать основу для греха. У греков была легенда о ящике Пандоры, которая подводила к выводу, что все нравственные пороки на Земле имеют своим истоком непреодолимое желание Пандоры узнать, что находилось внутри ящика, который ей запретили открывать. Когда она все же открыла ящик, из него вылетели зародыши алчности, жадности, жестокости, раздоров, стремления к угнетению и др. Более известен рассказ евреев об Эдемском саде, изначально невинных Адаме и Еве, о Грехопадении, также совершенном из-за неутолимого желания знать. С тех пор не было ни одного века в истории Запада, когда бы не имел хождения тот или иной вариант представления об обратном пропорциональном отношении между счастьем и знанием. А. Дж. Тойнби в «Постижении истории» (A. J. Toynbee, *A Study of History*) утверждает, что развитие технологий и моральный упадок имеют такую тесную связь между собой, что появление первого можно использовать как основу для точного предсказания второго.

Но несмотря на то, что эта идея стара и постоянно воспроизводится, она никоим образом, ни в одну эпоху полностью не принималась всеми интеллектуалами. На самом деле, были умы в античном и христианском мире, убежденные в том, что за первобытным золотым веком следовало вырождение. Но, как мы увидим, с самого начала греческой и римской мысли были те, кто верил в прямо противоположное: что в начале состояние было жалким, и что спасение лежит в *приросте* знания. Так мыслили в христианскую, средневековую и, главным образом, в современную эпоху.

Совершенно очевидно, что столь всеобъемлющее суждение, как описанная выше идея прогресса, не может быть проверено ни эмпирически, ни логически. Можно достаточно точно и доказательно утверждать, что искусство медицины или искусство войны продвинулось вперед, поскольку можно абсолютно объективно судить о средствах достижения долговременной цели каждого искусства: лечения или спасения жизни либо уничтожения врагов по возможности эффективно и навсегда. Проще говоря, можно доказать, что, например, пенициллин является лучшим средством в сравнении со старомодным кровопусканием или гирудотерапией. А современная артиллерия более эффективна, нежели стрельба из арбалета и кипящая смола.

Однако вопрос усложняется в рамках даже отдельно взятой специализированной технической области, если мы спросим, каковы в целом *последствия* того прогресса, который мы наблюдаем в искусстве медицины — экологические, социальные, моральные, демографические, духовные и т.д. Достаточно подумать о расцветающей и быстро расширяющейся в наше время области мысли, известной как медицинская этика — включая право умереть с достоинством среди всех технологических достижений, благодаря которым умирание можно бесконечно долго поддерживать в незавершенном состоянии — чтобы напомнить себе о той мере, в какой даже старейшие этические проблемы могут вновь актуализироваться благодаря технологическим успехам в медицине.

И, конечно, вопросы становятся почти безнадежно сложными и чреватými конфликтами, когда мы пытаемся

говорить о прогрессе (или регрессе) применительно к «человеческому роду», «человечеству» или «цивилизации». И все же, несмотря на присущие этому вопросу сложности, противоречия и парадоксы, многие очень мудрые и выдающиеся философы, ученые, историки и государственные деятели *говорили* о прогрессе в таких словах. В этом списке должны быть представлены такие имена, как Протагор, Платон, Аристотель, Лукреций, Сенека, св. Августин, Жан Боден, Исаак Ньютон, Роберт Бойль, Джозеф Пристли, Конт, Гегель, Дарвин, Маркс, Герберт Спенсер, а в Америке эту линию начали Коттон Мэтер и Джонатан Эдвардс, продолжили Джефферсон, Джон Адамс, Франклин и почти каждый крупный мыслитель и государственный деятель США, наследующий отцам-основателям. И это лишь немногие из светочей и лидеров Запада, для которых прогресс человечества, особенно в искусствах и науках, был таким же реальным и определенным, как законы физики.

Дело не в том, что кто-либо из этих сторонников прогресса когда-либо считал, что эмпирическая проверка вероятна или даже возможна в ситуации, когда объект суждения столь абстрактен и широк, как человеческий род или цивилизация. Дело в том, что те, кто верил в прогресс, видели не больше нужды в эмпирической проверке всеобщего прогресса, чем в проверке геометрических теорем или (в случае религиозного человека) заповедей или других библейских предписаний. Как бы это ни называть, аксиомой или догмой, факт состоит в том, что какой бы бессмысленной ни стала казаться эта идея интеллектуалам второй половины XX века, она была самоочевидной, как геометрия Евклида, для бесчисленного числа исследователей и ученых на протяжении западной истории вплоть до начала XX века.

Также нельзя не обратить внимание на мнение масс. По крайней мере с начала XIX века вплоть до периода, имевшего место всего лишь несколько десятилетий назад, вера в прогресс человечества с цивилизацией Запада в его авангарде была, фактически, всеобщей религией по обе стороны Атлантики. И каким бы тяжелым ни было ее положение на Западе сегодня, существуют серьезные основания полагать, что это одна из самых прочных западных идей или ценно-

стей, укоренившихся в Восточной Европе (прежде всего в СССР) и в большей части Азии.

Конечно, даже в современную эпоху существовали глупо убежденные скептики и неверующие. Мы повстречаем некоторых из них в последнем разделе этой книги, а сейчас достаточно будет назвать имена Токвиля, Буркхардта, Ницше, Шопенгауэра, Макса Вебера, Сореля, У. Р. Инге и Шпенглера как относящихся к числу тех — безусловно, составлявших в свое время немногочисленное меньшинство, однако ставших прямым источником интеллектуальной и литературной болезни, ныне столь распространенной у нас на Западе — кто не смог заставить себя поверить, что состояние Запада, как они его видели, отражало результат прогресса. Но, как отмечалось выше, при наличии таких скептиков, подавляющее большинство величайших умов в истории Запада ориентировались на догму прогресса.

Как мы увидим, эта догма далеко не всегда имела полезный эффект. По большей части она *имела* благотворное интеллектуальное влияние, будучи неотделимой, как мне кажется, от решающих мотивов, импульсов, желаний и стимулов, которые стояли за необыкновенными достижениями Западной цивилизации, расположившейся на территории, представляющей собой не более чем крошечный мыс на краю Евразийского континента. История всего, что есть великого на Западе — религии, науки, разума, свободы, равенства, философии, искусства и т.д. — прочно основывается на убеждении в том, что то, что человек делает в свое время, является одновременно признанием величия и неотъемлемости прошлого и проявлением уверенности в еще более золотом будущем.

Но, как я уже сказал, прошлое веры в прогресс не было однозначно светлым, если судить по ее последствиям. Вера в движение человечества вперед, этап за этапом, к некоей еще неосуществленной цели была связана (и все еще может быть связана) с убеждениями, которые большинство из нас на Западе находят отвратительными и ненавистными. Тот вид абсолютной военно-политической власти, который встречается в тоталитарных режимах XX века, как левых, так и правых, имеет в своей основе философию неумолимого прогресса. То же самое относится к той разновидности

расизма, которая процветала в XIX — начале XX века: Гобино, Хьюстон Стюарт Чемберлен и Мэдисон Грант верили в прогресс или по крайней мере в его возможность и искали его причину, которую они находили в расе.

Но при всех искажениях идеи прогресса (я упомянул два, но их число гораздо больше), я остаюсь при убеждении, что эта идея принесла за двадцать пять столетий гораздо больше блага, дала больше творческих достижений в большем числе областей и придала больше сил человеческой надежде и стремлению к улучшениям, чем любая другая идея в истории Западного мира. Можно было бы возразить, что имеющая решающее значение воля к улучшению и совершенствованию проистекает только изнутри индивида, а недоказуемая, парадоксальная догма о природе вселенной для этого не нужна. Собственных побуждений и стремлений индивида достаточно для достижения прогресса, и поэтому без такого всеобъемлющего и абстрактного суждения, как западная идея прогресса, вполне можно обойтись.

Я не согласен с этим. Истоки человеческих поступков, воли и амбиций лежат по большей части во взглядах на вселенную, мир, общество и человека, которые не поддаются рациональному расчету и сильно отличаются от психофизиологических инстинктов. Эти истоки лежат в том, что мы называем догмами. Само слово «догма» — греческого происхождения и дословно означает «представляющееся хорошим». Как писал Токвиль, «ни одно общество не может процветать, ни одно общество не может существовать» без догм. Для отдельного человека также «догматическая вера столь же необходима, чтобы жить одному». Кардинал Ньюмен написал: «Человек умрет за догму, но даже не пошевелится за умозаключение». Идея медленного, постепенного и неумолимого прогрессивного движения человечества к высшему состоянию знания, культуры и морали — это догма именно такого рода, о которой писали и Токвиль и Ньюмен.

Однако в настоящее время все свидетельствует о том, что в конце XX века западная вера в догму прогресса быстро угасает на всех уровнях и во всех областях. Причины этого, как я попытаюсь показать в заключительной главе, гораздо в меньшей степени связаны с беспрецедентными мировыми

войнами, тоталитаризмом, экономическими депрессиями и другими крупными политическими, военными и экономическими бедствиями, характерными для XX века, чем с фатальным, хотя и менее бросающимся в глаза, разрушением всех фундаментальных интеллектуальных и духовных предпосылок, на которых основывалась идея прогресса на протяжении всей долгой истории ее существования.

Возможно, я преувеличиваю. Но я не могу не прийти к мысли о том, что скоро мы узнаем, возможно ли существование цивилизации, сопоставимой по форме и сущности с тем, что нам известно на протяжении большей части предшествующих двадцати пяти столетий истории Запада, без поддерживающей веры в прогресс, сосуществующей с этой цивилизацией. Наши проблемы в конце XX века усложняются в том, что догма прогресса сегодня сильна в официальных философиях и религиях тех наций, которые представляют собой самую значительную угрозу западной культуре, ее исторически сложившимся моральным и духовным ценностям — еще один пример того, как навыки и ценности Запада экспортируются, извращаются, а затем оборачиваются против того самого Запада, который их породил.

ГЛАВА 1

МИР АНТИЧНОСТИ

Присутствует ли в классической греческой и римской мысли идея прогресса? Можно ли обнаружить у древних авторов концепцию постепенного и непрерывного развития человечества, идею продвижения, пусть медленного и с периодическими откатами назад, но тем не менее постоянного продвижения к высотам цивилизации от исходного состояния невежества, культурного убожества и физической уязвимости? Как будет показано в настоящей главе, ответ на этот вопрос является совершенно определенным — да, присутствует.

Было бы, однако, недостойным лукавством делать вид, что не существует противоположного ответа на этот вопрос. Более того, это противоположное мнение было господствующим в течение долгого времени. В действительности, период его господства длился гораздо дольше, чем время, когда признанным считался положительный ответ, приведенный мной выше. В 1830-е Огюст Конт начал публиковать свои сочинения, посвященные «позитивной философии», в которых он сформулировал «закон прогресса». Этот закон стал краеугольным камнем всей контовской концепции человеческой цивилизации. Убеждение, согласно которому древним грекам и римлянам была неизвестна идея неуклонного прогресса, сопровождающего человечество в его движении от прошлого к будущему, является преобладающим по меньшей мере с той самой поры. Даже такой знающий автор, как Уолтер Бэдджот, писал в 1872 году: «Древние не имели концепции прогресса, они не то чтобы отрицали эту идею, она их просто не занимала». Дж. Б. Бэри в своей «Идее прогресса» также отрицал ее присутствие в греческой и римской мысли (а заодно и в мысли христианской). Он аргументировал свою точку зрения тем, что, во-первых, философы древности не были осведомлены о длительном историческом прошлом, в котором можно было бы заметить само явление прогресса, во-вторых, тем, что они были жертвами собственной убежденности в историческом вырождении (концепция человеческой истории,

понимаемой как непрерывный упадок после первоначального состояния, золотого века). В-третьих, указывал Бэри, греческие и римские философы обычно рассматривали историю как циклический процесс, как бесконечное повторение одного и того же. Поэтому, считает он, для них была невозможной самая мысль о линейном улучшении на протяжении веков.

Этот взгляд Бэри — который, как отмечалось, лишь повторял концепцию Огюста Конта и большого числа других ученых, философов и историков XIX века — до настоящего времени остается элементом общепринятой точки зрения на мир греческой и римской классики. Джон Бейли в своем труде «Вера в прогресс» (John Baillie, *The Belief in Progress*) относит первые следы идеи прогресса ко времени не ранее эпохи первых христиан. Фрэнсис Кронфорд в своей «Ненаписанной философии» (*The Unwritten Philosophy*) заключает, что понятия прогресса для греков, скорее всего, не существовало — столь глубоко укоренилась и широко распространилась среди них идея исторического вырождения. Эрудит Уильям Р. Инге, настоятель собора Св. Павла в Лондоне, в своей Римской лекции, которую он прочел в 1920 году (в том же году, когда была опубликована вышеупомянутая книга Бэри), заявил, что сей «пагубный предрассудок» — дитя современности, не оставившее никаких следов как в античной, так и в христианской мысли. Робин Коллингвуд в книге «Идея истории» (R. G. Collingwood, *Idea of History*) отказывает древним грекам в наличии истинного чувства времени и истории, не говоря уже о понятии прогресса. Даже Ханна Арендт, обычно весьма проницательная в том, что касается сущности идеи прогресса и ее способности оборачиваться как добром, так и злом, категорически настаивает на том, что «такое понятие, как прогресс человечества, [не существовало] до XVII века».

Что ж, перед нами поистине весомые свидетельства. Я, однако, полагаю — истина находится на противоположной стороне. Благодаря работам таких выдающихся исследователей классической древности, как Людвиг Эдельштайн, Мозес Финли, У. К. С. Гутри и Эрик Доддс (не забудем упомянуть также более ранние исследования Фредерика Теггарта, Артура О. Лавджоя и Джорджа Боуза), мы можем

убедиться в том, что, вопреки общепринятому мнению, греки и римляне все же имели достаточно отчетливые представления о своем долге прошлом, осознавали феномен поступательного движения и в том, что касается искусств и наук, и в том, что касается общего уровня развития человека. Кроме того, время от времени они апеллировали к будущему, в котором цивилизация намного превзойдет ту, которая имеется в наличии в их время. В конце VI века до н. э. Ксенофан писал: «...боги не открыли людям все с самого начала, но люди, находясь в процессе самостоятельного поиска, со временем открывают лучшее». Людвиг Эдельштайн, называющий эти высказывания Ксенофана первой формулировкой идеи прогресса в истории западной мысли, утверждает, что Ксенофан считал свое обобщение применимым как к будущему, так к прошлому и настоящему.

Мозес Финли в своем «Мире Одиссея» отмечает, что признание улучшения состояния человечества с течением веков можно найти даже у Гомера. Страшные циклопы, предстающие перед Одиссеем лишенными всякой культуры, не знающие даже земледелия (они «ни руками не сеют, ни плугом не пашут», — пишет Гомер), выступают в качестве прообраза тех, кем давным-давно в культурном отношении были сами греки. Финли пишет, что в основе рассказа о циклопах лежит «явно выраженное понимание Гомером феномена общественного развития. Поэт исходит из того, что в примитивную эпоху человек жил в состоянии постоянной борьбы и войны не на жизнь, а на смерть против чужаков. Затем вмешивались боги, и через их наставления, через их *themis**, перед человеком предстал новый идеал...» Именно этот идеал, заключает Финли, лежал в начале долгого пути, который, в конце концов, обеспечил грекам фактический прогресс вплоть до великих достижений классической Греции V века.

По мере приближения к V веку до н.э. идея прогресса осознавалась греками и даже увлекала их все более широко. В самом начале этого века Протагор высказал мнение, что история человека была и останется историей прогресса.

* Здесь: закон и порядок, установленный богами. — Прим. науч. ред.

«К классическому периоду греческой мысли, — пишет У. Гутри, — вместо идеи ушедшего золотого века широкое распространение получило восприятие раннего периода человеческой истории как *грубого и хаотического*». Эти слова, а также определение *грубый* (иначе — *звероподобный*), эхом повторяются в произведениях многих древнегреческих писателей. В настоящей главе мы увидим многочисленные свидетельства убежденности греков и римлян в прогрессе человечества с течением времени. Идея долгосрочного и постепенного прогресса присутствует в трудах Гесиода, Протагора, Эсхила, Софокла, Платона, Аристотеля, Эпикура, Зенона, Лукреция и Сенеки. У Протагора она выражена словами «с течением времени», у Платона — выражением «понемногу», наконец, у Лукреция встречаем — «шаг за шагом», или *pedetentim progredientes*.

Я не утверждаю, что вся система взглядов классической античности сводится к идее прогресса. Были и те, кто считал, что в действительности человеческая история напоминает, скорее, вырождение, а не прогресс, что века, прошедшие после окончания золотого века, являют собой историю упадка и угасания. Некоторые из авторов, о которых пойдет речь в этой главе, одновременно придерживались и концепции прогресса, и концепции вырождения. Заметим, однако, что и в наш век можно встретить противоречащие друг другу взгляды на прогресс и упадок. Можно обнаружить даже теории циклического развития. Я не утверждаю, что греки и римляне не знали о феномене вырождения или не верили в изначальный золотой век — речь о том, что, помимо этой веры, существовала вера в прогресс человека, проходящий через настоящее из далекого прошлого к отдаленному будущему. Возможно, озабоченность будущим не настолько занимала умы античных мыслителей, как это было характерно для философов XVII—XVIII веков. Однако, как убедительно показал Эдельштайн, вера в прогресс характерна для всего периода, начиная от Ксенофана (конец VI века до н.э.) и до Сенеки (I века н.э.). Эту убежденность древних выражают слова Сенеки: «Придет время, когда пронизательность ума и долгое учение откроют то, что ныне скрыто, ... придет время, когда наши потомки будут удивляться, как мы могли не знать таких очевидных

истин». Мы начнем нашу историю с Гесиода, влияние которого на мыслителей, причем не только на греческих, но и на бесчисленных позднейших европейских философов, уступает лишь влиянию Гомера.

ГЕСИОД

Любое упоминание о существовании у древних греков представления о прогрессе необходимо начинать с этого удивительного и часто плохо понимаемого крестьянина-философа из Беотии, жившего в конце VIII века до н.э. Почти неизменно его образ окрашен пессимизмом (которого он, конечно, не лишен) и связывается с безоговорочной уверенностью в вырождении по мере движения из прошлого в настоящее, с убежденностью в безнадежности будущего. Но наряду с этим традиционным образом есть и другой, более подлинный и гораздо более плодотворный Гесиод. Здесь нас будет интересовать именно он, поскольку Гесиод был подлинным источником греческой веры в исторический прогресс.

«Теогония» Гесиода отличается поистине космическим охватом. Она представляет собой историю возникновения земли, неба, океана (выраженных в образах соответствующих богов). Перед читателем проходит череда судорожных соитий богов и богинь, в результате которых рождаются новые боги, так долго державшие мир в состоянии войны и других бедствий, что «естественное состояние человека», придуманное Гоббсом, по сравнению с этим покажется чем-то весьма умеренным. «Прежде всего во вселенной Хаос зародился, — говорит нам Гесиод, — а следом — Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный», т.е. Земля, а затем «Эрос Сладкоистомный», или Любовь. Три века спустя Сократ в платоновском «Пире» воздаст должное Гесиоду за введение в оборот жизненно важного концепта Любви. Затем появляется Небо, чтобы возлечь с Землей, слившись с ней в самых катастрофических объятиях, известных в литературе, чтобы дать рождение Кроносу, который, в свою очередь, породил Зевса, причем первоначальная ревность Кроноса к Зевсу перешла в ненависть. Великим и принципиально новым достижением Зевса, утверждает Гесиод, стало сотворение порядка и стабильности в мире, которое, правда, было осуществлено

только после неистовых битв с устрашающими титанами и кражи у них Зевсом ужасных молний. По-моему, никто из читавших «Теогонию» не может отрицать, что Гесиод прекрасно отдает себе отчет и в огромной протяженности прошедшего исторического времени, и в существовании процесса совершенствования мира, в ходе которого суждено было возникнуть человечеству.

Однако, несмотря на значительный интерес, который «Теогония» представляет для исследователя — интерес, связанный с богатством образов сексуальной активности и плодородия, эпизодов ужасной войны, с изображением разрушения и упадка, с идеей конечной победы добра — для целей нашего повествования мы должны обратиться к другой поэме Гесиода, а именно к «Трудам и дням». Считается, что эта работа написана вскоре после «Теогонии», что позволяет одному из комментаторов объявить Гесиода первым европейским автором, который использовал поэзию для морального, религиозного, но также и политического, социального и экономического наставления. Во многих отношениях эта книга представляет собой сборник разнородных высказываний на самые разные темы. Мы найдем здесь советы практического толка — как заниматься земледелием, как правильно собирать урожай, как вступать в деловые отношения с другими людьми и т. п. И в этом же произведении можно найти сведения о состоянии правосудия во времена Гесиода (надо сказать, ужасающем!) и о множестве других вещей, укорененных в прошлом, настоящем, а также — посредством молитв — различаемых в будущем.

В богатейшем наследии, оставленном этой книгой для потомков, содержатся два важных сюжета, оказавших огромное влияние на западную мысль. Во-первых, это изложение Гесиодом мифа о сменяющих друг друга «металлических веках»: золотом, серебряном, бронзовом и железном (с веком героев, расположенным между третьей и четвертой эпохами). Во-вторых, это миф о Прометее, рассказ о том, как тот похитил огонь с горы Олимп, чтобы отдать его людям, обеспечив тем самым человечеству возможность перейти от первоначального состояния лишений и страха, в конечном счете — к цивилизации. Есть у Гесиода и третий

миф — о Пандоре, о том, как она открыла ящик, нарушив запрет, что в итоге навлекло на человечество ранее невиданные горести. В этом мифе можно усмотреть источник традиционного для западной мысли мужского шовинизма, но я не буду затрагивать его, поскольку миф о Пандоре не имеет столь прямого отношения к нашему предмету, как первые два мифа.

Начнем с мифа об эпохах. Идея последовательной смены эпох на протяжении длительного промежутка времени ни в какой мере не была изобретена именно Гесиодом или греками. В более древней мировой литературе, в частности в египетских и вавилонских мифах, уже встречаются упоминания об этих эпохах в том или ином контексте. Как часто отмечалось, в них присутствует и определенная степень археологической достоверности. Безотносительно к моральным или духовным аспектам описания перехода от золотого века к железному, это описание до некоторой степени соответствует реальному процессу смены культур в Европе в доисторические времена. Использование золота для изготовления украшений, безусловно, предшествовало использованию серебра и, разумеется, бронзы и железа.

Но описание Гесиодом эпох металла, очевидно, дается в духовном и моральном контексте. При этом важно отметить, что Гесиод в «Трудах и днях» говорит не об *эпохах* как таковых, но о человеческих родах. Так, по его словам, вначале боги создали «золотой род». Мы узнаем, что этот род отличался, с одной стороны, незнанием практических искусств, а с другой — честностью, миролюбием, вообще, был счастлив. Этот род существовал во времена Кроноса, предшественника Зевса, и со временем он исчез с лица Земли. Вслед за ними пришел черед «серебряного рода», «ни в чем не похожего на первый, ни телом, ни душой». Для представителей этого рода человеческого были так характерны злоба, пристрастие к войне и всякого рода борьбе, что Зевс, ставший к этому времени верховным божеством, пресек его существование. Затем Зевс создал третий род людей, а именно «бронзовый». Эти люди больше всего ценили битвы. Они были жестокосердными, но при этом они производили впечатление своим стремлением к доблести. Их оружие, жилище и утварь — всё было сделано из бронзы:

железо еще не появилось. «Бронзовый род», пишет Гесиод, истребил сам себя в бесконечных войнах. Он сошел к Аиду, не оставив имен и не сохранив вообще никакой памяти о себе. Тогда Зевс создал четвертый род, «род героев». Эти люди также владели искусством войны, они дали доблестных воинов, храбро сражавшихся при Фивах и при осаде Трои, но, в отличие от предыдущего рода, род героев уже знал понятие права и уважал его. Люди рода героев со временем тоже ушли: одни погибли в битвах, а другим по личному повелению Зевса было позволено обрести достойную, счастливую и вечную жизнь на «островах блаженных». Последним пришел «железный род», к которому принадлежал и сам Гесиод. Он многое был вынужден сказать о тяжелом труде, мучениях, несправедливости, жестоких лишениях этого рода человеческого. К этому относятся знаменитые слова: «О, если бы я не жил среди людей пятого рода, но умер бы раньше или родился позже».

Очевидно, этот материал дает основания для традиционной интерпретации мифа об эпохах как о циклах возрождения, начавшегося с «золотого рода» и достигшего пика при «роде железном». Этот цикл должен повторяться бесконечно, что дало основание Гесиоду желать родиться раньше — либо среди людей золотого века, то есть в начале того цикла, в котором он жил, либо позже — в таком же золотом веке, в начале нового цикла. Есть основания для такого прочтения мифа, и, откровенно говоря, три или четыре года назад я сам воспринимал его так же.

Но больше я так не думаю. Тщательное прочтение самого мифа в связи с другими темами, встречающимися в творчестве Гесиода, позволяет предположить нечто совсем иное. Во-первых, последовательность, описанная им, ни в какой мере не свидетельствует о постоянном ухудшении доли людской. Без сомнений, для Гесиода жизнь первого — «золотого» — рода и вправду была чистой и счастливой, хотя золотой род и не владел ремеслами и искусствами, которые со временем увеличили степень материального комфорта. Но вот следующий из созданных родов (у Гесиода нет упоминаний о генетической преемственности между родами) ни в каком смысле не стоит на втором месте, уступая лучшему роду, — он является практически полной противополо-

ложностью ему. «Бронзовый род», третий по счету, гораздо *лучше*, чем его серебряный предшественник, а следующий род, «род героев» — еще лучше. О нем сказано, что представители этого рода отличались такой доблестью, что те из них, кто не был убит в войне, были поселены Зевсом на Островах Блаженных.

Наконец, самый важный пункт. «Железный род» оказывается вовсе не таким плохим, каким он предстает в традиционной интерпретации. Более того, этот род не был приговорен Зевсом к скорому вымиранию за свою несправедливость или порочность. Гесиод говорит, что Зевс уничтожит и этих людей, но это заявление заканчивается словами: «Когда на их висках при рождении появятся седые волосы», т. е., похоже, Гесиод уверен в том, что этот конец наступит совсем не скоро. Его замечание, взятое в широком контексте, напоминает нашу современную поговорку «пока ад не замерзнет» или «когда рак свистнет». Это выражение означает малую вероятность события, а не ожидание его актуального наступления. Наконец, рассмотрим еще один отрывок из «Трудов и дней». Ему предшествует одно из нескольких высказываний, в которых Гесиод осуждает тех, кто не следует нормам справедливости и вызывает тем самым множество несчастий.

*Там же, где суд справедливый находят и житель туземный,
И чужестранец, где правды никто никогда не преступит,
Мир, воспитанью способствуя юношей, царствует в крае;
Воин им свирепых не шлет Громовержец-владыка.
И никогда правосудных людей ни несчастье, ни голод
Не посещают. В пирах потребляют они, что добудут:
Пищу обильную почва приносит им: горные дубы
Желуди с веток дают и пчелиные соты из дупел.
Еле их овцы бредут, отягченные шерстью густою.
Жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами.
Всякие блага у них в изобилье. И в море пускаться
Нужды им нет: получают плоды они с нив хлебодарных.*

Гесиод пишет не о былом золотом веке, а о том образе жизни, который может ожидать его собственный, ныне живущий род, если он очистится от нынешних несправедливостей и посвятит себя добродетельной жизни. Абсолютно ясно, что Гесиод подводит читателя к идее о необходимости реформы, которая может сделать жизнь его современников,

людей железного рода, не просто терпимой, но и желанной. Выдающийся исследователь классической античности, профессор Университета Беркли Джордж Колхаун, полвека назад так оценил Гесиода в своей книге «Развитие уголовного права в Древней Греции» (George Miller Calhoun, *The Growth of Criminal Law in Ancient Greece*): «Если как следует взглянуть в текст «Трудов и дней», нельзя не увидеть, что именно здесь берет начало наша политическая литература. Именно здесь автор осознанно обращается к социальным и политическим проблемам своего времени. Он решительно осуждает современное ему положение вещей, а также предлагает программу реформ, проповедуя необходимость двух вещей: личного усердия каждого и справедливости тех, кто правит государством. О своих страданиях автор пишет с горечью, которая почти исчезает, когда он начинает развивать эту тему, благородно негодуя при виде того огромного общественного зла, личное столкновение автора с которым было лишь частным случаем».

Вернемся к знаменитым строкам, в которых Гесиод сокрушается о трудностях и несправедливостях своей эпохи: «Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им. *Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага*» (курсив мой. — Р. Н.). Беспристрастное прочтение этой последней строки обнаруживает в авторе не провозвестника несчастий, а ум, способный понимать и предвидеть те блага, которые являются следствием дисциплины, упорного труда и честности.

Если предположить, что Гесиод видит впереди один лишь неостановимый упадок и разрушение, то совершенно непонятно, зачем он так настойчиво наставляет своего брата Перса.

*С доброю целью тебе говорю я, о Перс безрассудный!..
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога,
И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде...
Голод, тебе говорю я, всегдашний товарищ ленивца.
Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно
Жизнь проживает, подобно безжальному трутню, который*

*Сам не трудясь, работой питается пчел хлопотливых.
Так полюби же дела свои вовремя делать и с рвением —
Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары.
Труд человеку стада добывает и всякий достаток,
Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее
Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки.
Нет никакого позора в работе: позорно безделье,
Если ты трудишься, скоро богатым, на зависть ленивцам,
Станешь. А вслед за богатством идут
добродетель с почетом.*

Не похоже, что эти слова произносит человек, убежденный в неумолимом и неуклонном упадке, которым должно закончиться вымирание рода человеческого. Нет, перед нами человек, разделяющий такую жизненную философию и имеющий такое отношение к труду, которое не слишком отличается от комплекса убеждений, обозначаемого современными историками как «протестантская этика». Советами этого рода были наполнены выпуски «Альманаха бедного Ричарда». Наставления Гесиода своему брату выражают надежду и даже убежденность в возможности лучшей доли. Конечно, следование этим советам подразумевает готовность платить определенную цену. Но, с другой стороны, эта цена не более чем упорный труд и честность в отношениях с другими людьми.

Вначале я говорил о двух мифах у Гесиода, оказавших существенное влияние на западную мысль, начиная уже с самих греков. Мы только что рассмотрели первый из них. Второй миф — это миф о Прометее. В пересказе Гесиода, согласно этому мифу, люди изначально были несчастны, страдая от материальных лишений и страха. Сочувствуя человечеству, пребывавшему в таком плачевном состоянии, Прометей посмел дать людям огонь, чем навлек на себя гнев Зевса. Громовержец подверг Прометея ужасному наказанию, но его подвиг открыл для людей возможность улучшений, которые со временем воплотились в человеческую цивилизацию. Очевидно, и данный миф тоже содержит в себе идею прогресса человечества, концепцию движения от нужды к достатку. Причем «Труды и дни» — не единственный текст той эпохи, в котором изображен контраст между плохим прошлым и хорошим будущим. В «Гимне Гефесту» «древние люди, [которые] жили в горных пещерах,

как дикие звери» (подобно Циклопу из гомеровского эпоса) противопоставляются современным людям. Эти последние благодаря дару, который Гефест дал им в виде ремесел и искусств, «живут приятной мирной жизнью в своих домах круглый год».

Миф Гесиода о Прометее стал одним из элементов греческого комплекса идей о прогрессе. Мы не найдем более яркого выражения этой идеи, вплоть до великого V века, когда ее основательно использовали Эсхил, Протагор, Платон и многие другие. В любви и признательности, которые жители Аттики проявляли к этому герою, Прометей может соперничать только с Деметрой, богиней плодородия. Во всех афинских сказаниях об освобождении человечества от нужды и страха Деметра так же, как и Прометей, выступает в героической роли. (Отношение афинян к этому мифу резко контрастирует с судьбой, постигшей другое повествование Гесиода, в котором также затронута проблема первоначального состояния человечества. Судьба мифа о Пандоре — рассказа о Женщине и Ящике, подразумевающего, что все были счастливы до того, как Зевс пустил на Землю женщину, и что все несчастья обрушились на людей после того, как он это сделал — оказалась незавидной. Доверие к этому мифу было настолько мало, что в более поздних памятниках древнегреческой письменности он стал комедийным сюжетом.)

Таким образом, оказывается, что Гесиод — тот самый Гесиод, который так глубоко повлиял на греческих философов, от ранних классиков Ксенофана и Сократа до Платона и Аристотеля, а через них — в лице Эпикура и Зенона — на философов эллинизма, а также на римлян — вовсе не был тем автором, который внес решающий вклад в концепцию прошедшего золотого века и неминуемого и неуклонного упадка в будущем. Благодаря достижению всеобщей справедливости в человеческом обществе, неустанно проводимым продуманным социальным реформам и упорному труду отдельного человека можно ожидать наступление благоприятного будущего. Внимательное прочтение «Трудов и дней» показывает удивительное сходство отношения Гесиода к жизни с тем отношением, что спустя столетия восхвалялось протестантами, особенно пуританами. Гесиод

верил в прогресс и в то, что человек сам может достичь лучшего будущего, отказавшись от взаимной борьбы, придав понятию справедливости универсальный характер и упорно работая. Мне кажется весьма убедительным то, что сказал по этому поводу Теггарт: «Гесиод дал людям первое представление о человеческом прогрессе: идею, согласно которой лучшая жизнь достижима, а ее достижение зависит от разума и деятельности самих людей, и основным необходимым для этого условием является достижение членами сообщества общего уважения к праву».

В ходе последующего изложения мы увидим постепенное расширение представленного Гесиодом видения человечества как прогрессирующего, а не вырождающегося. Это расширенное видение ярко высвечивается на страницах некоторых из величайших древнегреческих писателей и философов.

ЭСХИЛ

Нигде в греческой литературе миф Гесиода о том, как Прометей принес человеку огонь и тем самым средства для построения цивилизации, не был подан так величественно и с таким красноречием, как в «Прометее прикованном» Эсхила. Эсхил жил в период формирования афинского полиса, на рубеже VI и великого V века до н. э. Это было время эпохальных греко-персидских войн, в которых храбро и достойно сражался и сам Эсхил. После войн последовал период бурного роста экономики, развития институтов политической власти, расцвет культуры. Афины почти на целый век превратились в величайший город древности. Потребовалось много времени, прежде чем Европа даже не превзошла, а приблизилась к уровню художественного, литературного и философского творчества той эпохи расцвета, когда жил Эсхил.

Несложно вообразить себе гордость афинян, которую они испытывали за свою культуру. В одном из своих эссе Е. Р. Доддс отмечает наличие связи между фактическим и воспринимаемым *опытом* прогресса и *верой* в прогресс человечества. Поэтому не удивительно то, что афиняне противопоставляли себя своим современникам и людям прошлых веков, как лучшее худшему. Не удивительна также

обнаруживаемая в трагедиях Эсхила, Софокла и других авторов вера в то, что сделанное афинянами будет упрочено и улучшено в будущем.

Именно в «Прометее прикованном» Эсхила мы можем очень ярко увидеть веру в прогресс и убежденность в том, что во всех основных аспектах жизнь человека в настоящем лучше, чем была в любой момент в прошлом. Прометей, безусловно, был одним из любимых богов среди всех греков. Он воплотил в себе дух бунта против сковывающих традиций, пафос построения человеком лучшего и более свободного общества собственными силами. Никто в греческой литературе с таким успехом не передал величия освобождения от изначального невежества и страха, величия материальных и духовных свершений цивилизации, почитаемой афинянами, как это сделал Эсхил. У. Гутри из Кембриджского университета в своей работе «В начале» (*In the Beginning*) предлагает нам интересный взгляд на само имя Прометей. Он утверждает: «Прометей — это древний и полностью личностный мифологический персонаж, хорошо известный уже Гесиоду, и его имя имеет довольно прозрачное значение. Это регулярно-образуемое греческое слово, означающее «прозорливец», или, возможно, «прозорливость» как абстрактное понятие». Этот факт, продолжает Гутри, подчеркивается в самом начале пьесы Эсхила, «когда фавориты Зевса насмеются над прикованным титаном за несоответствие его имени: «Боги неправильно называют тебя Прозорливцем (Прозорливостью?), ведь тебе самому нужен прозорливец (или «прозорливость»)».

Преступление Прометей в глазах Зевса заключалось, конечно же, в том, что он поднял человечество из его изначально ничтожного состояния до уровня, на котором человек может пытаться соперничать с богами. Он был наказан соответствующим образом, т. е. навечно. Но Прометей не принимает свою ужасную судьбу, не пытаясь оправдать свои деяния. Его краткое изложение своей позиции — один из самых знаменитых пассажей в литературе.

*Лучше вы послушайте
О бедах человек. Ум и сметливость
Я в них, дотоле глупых. пробудить посмел.
Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу,*

*А чтоб понять вам, как я к людям милостив.
Они глаза имели, но не видели,
Не слышали, имея уши. Теням снов
Подобны были люди, весь свой долгий век
Ни в чем не смысла. Солнечных не строили
Домов из камня, не умели плотничать,
А в подземельях. муравьями юркими,
Они без света жили, в глубине пещер.*

Прометей не только принес человеку возможность полностью использовать разум, он также подарил людям или побудил их открыть для себя математику, алфавит и письменность, навык использования вьючных животных для земледелия и перевозки, умение пользоваться кораблями для морских путешествий. И это не все. «Вот сколько ухищрений для людей земных / Придумал я, злосчастный». Лекарства, с помощью которых можно лечить больных и слабых, еда, питье и предметы роскоши, о которых человек не мог бы и мечтать, если бы не старания Прометея. И кульминацией стали слова: «Короче говоря, одну ты истину / Запомни: все искусства — Прометеев дар».

Или дар «прозорливости»! Да, конечно, Эсхил был автором трагедий, в которых боги, полубоги и смертные произносили бесподобные строки. Но Эсхил был также и философом — он не мог им не быть, — глубоко интересующимся тем, что позволило человеку пройти путь от изначальной дикости до той культуры, которую, по его мнению, так блистательно представляли Афины. Профессор Гутри опять поясняет: «Как сложно полностью проникнуть в сознание людей, для которых персонификация так естественна, как для греков! Если дух Предвидения — Прометей — не является живым божеством, страдающим от пыток за то, что он бросил вызов тирании Зевса, вся трагедия не имеет смысла. И все же мне сложно поверить в то, что Эсхил в своей речи не думал о значении этого слова и не понимал, что в действительности он описывает техническую революцию, которая исторически была вызвана к жизни исключительно человеческой изобретательностью».

Эсхил ни в коей мере не был единственным драматургом, превозносившим прогресс человечества и показывавшим разительный контраст между примитивным невежеством, нищетой и муками разума, с одной стороны, и технологиями,

искусствами, науками, материальным богатством и политическим величием современности — с другой. В «Антигоне» Софокла есть знаменитая партия хора, в которой звучит очень известная строка: «Много есть чудес на свете, / Человек — он всех чудесней». После этого Софокл переходит (как до него Эсхил) к перечислению достижений, благодаря которым человечество развивалось от прошлого к настоящему. Именно людей, а не богов, Софокл превозносит в таких строках, как «мысли его — они ветра быстрее», «грады он строит и стрел избегает», «от всякой напасти верное средство он себе он нашел, / Знает лекарства он против болезней», «хитрость его и во сне не приснится» и т. д.

Драматурги также не просто приветствовали прогрессивное движение из прошлого в настоящее. Как отмечает Людвиг Эдельштайн в своей статье «Идея прогресса в классической античности» (“The Idea of Progress in Classical Antiquity”), Прометей Эсхила обращает особое внимание на то, что люди в будущем научатся многим искусствам. И в оде Софокла к изобретательному гению человека есть слова: «с планами на все, не имея бессистемности ни в чем, *он ждет будущего*» (курсив мой. — Р. Н.). В действительности, как обстоятельно показал на обширном материале Эдельштайн, религия греков, а также их драма, берущая начало в религиозных ритуалах, основывались на убеждении в том, что далекое прошлое было полной противоположностью золотому веку, что современность превосходит прошлое и что надежда на будущее, безусловно, есть — даже если это убеждение не было выражено выражено так явно, как в оде Софокла.

Когда афиняне в 418 году до н. э., отмечает Эдельштайн, призвали всех греков посылать дары и жертвы богине Деметре (безусловно, самой любимой богине афинян) сейчас и в будущем, «их призыв, скорее всего, основывался на утверждении, что Элевсин был колыбелью земледелия и, следовательно, всей цивилизованной жизни». Мы не можем забывать также о том духе, который проявляется в словах Ксенофана (и которые так часто цитировались поздними греческими авторами), уже приводившихся в этой главе: «Боги не открыли людям все изначально, но люди, сами наносясь в поиске, со временем открывают лучшее». В этом

предложении можно увидеть нечто большее, чем просто намеки на телеологию (план на будущее, который остается скрытым в начале), на человеческую изобретательность, стоящую за «поиском» лучшего, и, что очень важно, на понятие прогресса, развертывающегося *во времени*. Все это имеет ключевое значение для формирования западной идеи прогресса.

ПРОТАГОР

Протагор был первым и величайшим софистом из тех, кого мы знаем. Он многое сделал для того, чтобы привнести в греческую философию этический и физический аспекты. Несомненно, многие основные понятия моральной и политической философии софистов, а затем сократиков и пост-сократиков, в действительности являются лишь адаптацией идей, присутствовавших, как мы видели, уже у Гесиода, а также, как показал много лет назад исследователь античности Джон Линтон Майрс (John Linton Myres) в своем эпохальном исследовании, присутствовали и в работах натурфилософов-досократиков — Анаксимандра, Эмпедокла и, в первую очередь, Гераклита. У этих философов-физиков можно обнаружить не только идею прогрессивного развития, роста и эволюции, но и интерес к социальным и политическим темам. Этот последний, как полагает Майрс, был следствием жизненных карьер этих философов, многие из которых были политиками прежде, чем увлечься проблемами космоса.

И все же Протагора можно по справедливости считать первым греческим философом, систематически занимавшимся обществом и моралью. Сократ (в передаче Платона) полагал, что таким философом был именно Протагор. Самым знаменитым высказыванием Протагора, безусловно, является фраза «Человек есть мера всех вещей». Хуже помнят строки, следующие сразу за этим высказыванием и в действительности продолжающие мысль: «...вещей существующих, что они существуют; вещей не существующих, что они не существуют... Вся материя находится в состоянии изменения [наследие Гераклита. — *Р. Н.*]. Изменяющаяся вещь, впрочем, может сохранить свою форму, поскольку материя, в сущности, является суммой всего того,

чем она кажется разным людям». И, наконец, «что до богов, я не знаю, существуют они или нет и какую они имеют форму, поскольку для такого знания есть множество препятствий, включая неясность предмета и краткость человеческой жизни».

Эти сохранившиеся отрывки из Протагора дают лишь первое представление. Чтобы найти его полную концепцию человеческого прогресса, мы должны обратиться к диалогу Платона «Протагор». Нет никаких причин не верить тому, что Платон передал настолько тщательно, насколько мог, действительные взгляды, высказанные Протагором. На протяжении всего диалога мы видим уважение к Протагору. Примеры из политической и интеллектуальной жизни Афин убеждают в том, что через представленный в диалоге образ именно Протагор, а не Платон, высказывает свои мысли.

«Софистическое искусство, — говорит нам Протагор, — очень древнее», и оно является поиском знания и истины, в отличие от традиционных мифов и легенд. Но в более раннюю эпоху, например, при Гомере, Гесиоде и их современниках, необходимо было спрятать истинную цель под покровом поэзии или религии, чтобы избежать ненависти, которую мог навлечь поиск истины и реальности*. Впрочем, в наши дни все изменилось, утверждает Протагор. «Вот я и пошел противоположным путем: признаю, что я — софист и воспитываю людей, и думаю, что эта предосторожность лучше той: признаваться лучше, чем заператься».

Свое мнение о прогрессе человечества Протагор демонстрирует в своей полемике с Сократом о природе добродетели и о степени, до которой человек может ее познать

* Р. Нисбет пользуется здесь ошибочной интерпретацией текста. Протагор не отсылает собеседников (Сократа и Гиппократ) в далекое прошлое, а упоминает Гомера, Гесиода, Симонида и других как тех, кому подражали софисты, опасаясь зависти и враждебности (поэтам, музыкантам и даже гимнастам, см.: [Платон. Том I. С. 426]); эта ошибка Нисбета тянет за собой другую — в действительности, в следующей фразе нет противопоставления минувшего времени и нынешнего, так как Протагор имел в виду софистов — своих современников, маскирующихся под поэтов и врачей. Протагор просто заявляет, что отказывается маскировать свою принадлежность к софистам. — *Прим. науч. ред.*

опытным путем. Именно в этот момент Протагор просит разрешения своего гостеприимного хозяина «рассказать свою историю», каковое разрешение он и получает. «История» Протагора оказывается не чем иным, как сжатым пересказом истории развития человечества — от примитивного мира, не знающего культуры, до цивилизации, которую знали и любили греки.

В начале, по Протагору, были боги и не было смертных. Последних боги создали на Земле из смеси земли и огня и «субстанций, которые составлены из земли и огня». Первыми из смертных были существа ниже человека: животные, птицы, рыбы и тому подобные, и все они распространились по земле в соответствии с различием между собой по силе и слабости. Малым была дана быстрота для самозащиты, другим была дана только сила. «И так, распределяя все остальное, он [Эпиметей, помогавший Прометею] всех уравнивал. Все это он измыслил из осторожности, чтобы не исчез ни один род».

И только о человеке, продолжает Протагор, в итоге не позаботились («Но был Эпиметей не очень-то мудр»). И когда Прометей пришел, чтобы проверить работу, доверенную помощнику, он был поражен, обнаружив человека все еще «голым, без крова, без постели и безоружным». Из сочувствия к людям Прометей похитил у Гефеста и Афины владение искусствами и огонь. «Так люди овладели умением поддерживать свое существование...»

Далее следует детальный обзор прогресса в сфере культуры, искусств и науки, прогресса по сравнению с природным состоянием, находясь в котором, люди из-за постоянных битв почти полностью уничтожили свой род. Вскоре при помощи богов человек «изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание из почвы». Кроме того, люди построили алтари в храмах, чтобы благодарить богов, которые вывели их из изначально жалкого состояния. Протагор указывает, что и язык также появился весьма рано («стал вскоре членораздельно говорить и искусно давать всему названия» *).

* У Протагора это предшествовало изобретению жилища и одежды. — *Прим. науч. ред.*

«Устроившись таким образом, люди сначала жили разбросанно, городов еще не было, они погибали от зверей, так как были во всем их слабее, и одного мастерства обработки, хоть оно и хорошо помогало им в добывании пищи, было мало для борьбы со зверями: ведь люди еще не обладали искусством жить обществом, часть которого составляет военное дело. И вот они стали стремиться жить вместе и строить города для своей безопасности. Но чуть они собирались вместе, как сейчас же начинали обижать друг друга, потому что не было у них умения жить сообща; и снова приходилось им расселяться и гибнуть».

Здесь Протагор рассказывает нам, что Зевс, испугавшись полного уничтожения рода человеческого, послал Гермеса, «чтобы тот наделил людей такими качествами, как уважение друг к другу и чувство справедливости, чтобы он привнес порядок в наши города и создал узы дружбы и союза». Протагор настаивает на том, что понятие справедливости (права) лежит в основе гражданского общества. По Протагору, когда Гермес спросил Зевса, должен ли он распределить «правду и стыд» между людьми неравномерно, подобно тому, как распределены навыки и способности, или же эти ценности должны быть распределены поровну, Зевс ответил: «Пусть все будут к ним причастны; никогда не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами».

История Протагора отличается краткостью, но здесь в нескольких абзацах можно найти все основные элементы панорамы прогрессивного развития, элементы, которые Платон (в «Политике» и «Законах») и другие греки значительно расширили. Действительно, в своей саге о прогрессе Протагор призывает богов на помощь людям. Отныне мы должны привыкнуть к такому приему — в античной (даже у Лукреция), средневековой и в большей части современной мысли, вплоть до сегодняшнего дня, божественные силы привлекались весьма часто, вне зависимости от того, как оценивались естественные способности человечества.

Неудивительно, что к Протагору с таким уважением отнеслись Сократ, Платон и другие греки, присутствовавшие на собрании, описанном в этом диалоге. Протагор был

в преклонном возрасте в то время, когда слава Сократа как мыслителя и ратора была очень высока, и Платон показывает нам, что Протагор не особенно хочет вступать в дискуссию с выдающимся (и более молодым) Сократом. Но одной из веселых черт этого диалога, как отмечает У. Гутри в предисловии к своему переводу, является то, что Протагор несколько раз берет верх над Сократом в дискуссии, что явно забавляет Платона, который с обаянием и юмором мягко поддразнивает то одного, то другого великого философа. Удовольствие, которое получают от происходящего все присутствующие, очевидно. Именно поэтому за удовольствие «послушать мудрецов» высказывается благодарность. Уважение Платона к Протагору на протяжении всего диалога не подлежит сомнению.

Остальные софисты, кроме Протагора, имеют плохую репутацию, в основном, благодаря историкам, занимающимся греческой мыслью, которые зафиксировали и воспроизвели резко критическое отношение к некоторым из них со стороны Платона. Но между софистами, по крайней мере самыми способными из них, и теми, кто, как Платон, сделал Сократа своим героем, гораздо больше общего, чем мы обычно признаем. Софисты задолго до Сократа проповедовали применение знания и разума в сфере управления и публичной политики. И если они, как и Сократ, порой насмехались над ценностями Афин, то, как правило, это происходило из-за того, что многие из них много путешествовали, многое повидали и стремились привить любимым Афинам встреченные ими в путешествиях лучшие законы, обычаи и традиции. Большинство софистов, подобно французским философам XVIII века, были горячими сторонниками точки зрения, согласно которой уже самый неопровержимый факт наличия прогресса наук и искусств является основанием для того, чтобы образованные люди, которые сами представляют собой плод прогресса, осознанно стремились бы улучшать положение дел, имея в виду выгоды своих потомков. Достаточно прочесть пьесы Аристофана, своего рода предшественника Эдмунда Бёрка, консервативного политического философа, чтобы увидеть за его карикатурами и памфлетами жизнь реальных Афин, густо населенных интеллектуалами, верящими

в исторический прогресс, который можно обеспечить посредством разума.

ФУКИДИД

Насколько привычным для греков было чувство движения вперед из отдаленного прошлого, можно довольно легко понять, открыв страницы «Истории Пелопонесской войны» Фукидида. Разумеется, главной целью этой книги было предельно точно и детально показать самые выдающиеся события и деятелей в период войны между Афинами и Спартой. Фукидид, сам когда-то участвовавший в войне, рано решил, что эта война «стала величайшим потрясением для эллинов и части варваров и, можно сказать, для большей части человечества». Решив так, Фукидид счел своим долгом оставить заметки об этой войне для будущих поколений. «Мой труд, — говорит он нам, — создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей». «Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, быть может, покажется малопривлекательным. Но если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или исходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными».

Книга Фукидида почти целиком посвящена военным действиям и политике, последовавшим за 431 годом до н.э. Однако, как отмечено выше, Фукидид посчитал важным дать краткий очерк истории возникновения Афин и эллинов. Он пишет: «Очевидно, что страна, называемая ныне Элладой, лишь с недавнего времени приобрела оседлое население; в древности же там происходили передвижения племен...» Кроме того, уровень культуры был весьма низким. «Существующей теперь торговли тогда еще не было, да и всякого межплеменного общения на море и на суше. И земли свои возделывали настолько лишь, чтобы прокормиться. Они не имели лишних достатков... у них не было больших городов и значительного благосостояния».

Помимо незащищенности и лишений раннего прошлого, греки промышляли пиратством, о чем Фукидид пишет так: «Ведь уже с древнего времени, когда морская торговля ста-

ла более оживленной, и эллины, и варвары на побережье и на островах обратились к морскому разбою... причем такое занятие вовсе не считалось тогда постыдным, но, напротив, даже славным делом».

Мы узнаем, что в древнейшие времена греки грабили друг друга также и «на материке» и что «в те времена вся Эллада носила оружие, ибо селения были неукреплены, да и пути сообщения небезопасны, и поэтому жители даже и дома не расставались с оружием подобно варварам».

Мы можем спросить: откуда Фукидид взял свое описание той жизни, которая была в Греции в далеком прошлом? Он использовал те же способы, которые применяли антропологи XIX века и которые получили название «сравнительного метода», то есть использовал современные ему примитивные варварские народы в качестве живого примера того, какой была западная цивилизация в доисторическое время. Этим людям он уподоблял «нашим живым предкам». Антропологи и те, кто проводил соответствующие исследования в XVIII—XIX веках, но не называл себя антропологами, применяли еще один метод. Они изучали те элементы прошлого, которые сохранились в рамках современной западной цивилизации. В ритуалах, играх и других действиях, не имеющих очевидной функции в современной жизни, кроме чисто развлекательной, было возможно различить действия и верования, которые когда-то были неотъемлемой частью западной культуры, но теперь стали просто отголосками примитивного прошлого.

Интересно, что Фукидид применяет абсолютно такие же способы доказательства для того, чтобы подтвердить свой тезис — в культурном и политическом отношении греки не всегда были такими, как в его время, когда-то они жили в примитивном и варварском обществе. Так, отстаивая свою точку зрения, что греки в свое время занимались пиратством, он пишет: «На это указывают обычаи некоторых материковых жителей (у них еще и поныне ловкость в таком занятии слывет почетной)». Этот же метод он использует, утверждая, что греки занимались прямым грабежом и что «и поныне во многих частях Эллады живут люди, у которых существует еще этот старинный образ жизни». Так, среди удаленных и отсталых племен обычай носить оружие

сохранился до времени Фукидида. И вплоть до недавнего времени, продолжает он, пожилые люди, менее склонные к изменениям, продолжали носить прически и одежду, связанные с ношением и использованием оружия, — пережиток, когда нечто, бывшее ранее привычным, сейчас стало архаичным и вышло из обихода*. Фукидид пишет: «У некоторых варваров, особенно у азиатских, и теперь еще на состязаниях в кулачном бое и борьбе участники также выступают в поясах». Он продолжает: «Можно указать много и других обычаев древней Эллады, схожих с обычаями современных варваров». Этот вопрос в антропологической реконструкции прошлого греков, безусловно, был поднят для того, чтобы не просто показать превосходство современной культуры афинян, но также показать появление этого превосходства из примитивного прошлого. Прежде чем перейти к великим событиям, начавшимся в 431 году до н.э., Фукидид посчитал необходимым дать описание, пусть и весьма краткое, того прогресса, который пережили Афины.

Существует еще один вклад, который Фукидид внес в греческую и постклассическую концепцию прогресса. Этот вклад имеет отношение к способу подачи им исторических данных и к самой структуре его работы. Эта структура — повествовательное, линейное и хронологическое представление прошлого и настоящего — стала и по сей день остается обычной практикой для историков. Здесь имеются начало, середина и конец (хотя Фукидид умер, не успев дописать свою книгу). Для Фукидида предметом этого линейного представления исторического прогресса была война между Афинами и Спартой. Но для его научных наследников, обрывающих долго существующую династию, которая не пресекалась вплоть до нашего времени, все исторические события, касающиеся одного человека или всего человечества,

* Здесь Р. Нисбет совершает ошибку: соответствующий фрагмент у Фукидида содержит указание на то, что состоятельные пожилые афиняне «только недавно оставили такое проявление изнеженности», как ношение льняных хитонов и сложных причесок, закальваемых золотыми булавками в форме цикад. По мнению Фукидида, это свидетельствует о «пышном образе жизни», который наступил вслед за периодом ношения оружия. Но к его времени успел уйти в прошлое так же, как и обычай носить оружие ушел в прошлое много ранее. — *Прим. науч. ред.*

стали предметом именно такого линейного исторического описания, образец которого был задан Фукидидом.

ПЛАТОН

Можно ли обнаружить ясное понимание феномена долгосрочного прогресса человечества в работах самых значительных и влиятельных мыслителей классической эпохи? Ответом будет уверенное «да». Однако мы должны быть готовы к нападкам всех тех читателей Платона, которые видят в нем одно лишь восхищение неизменным, вневременным и совершенным. Столь же многочисленны интерпретации Платона, согласно которым он является примитивным реакционером, а его ум сосредоточен исключительно на возврате греческого общества в родовую Золотой век. Существуют целые легионы ученых, готовых предать анафеме саму мысль, согласно которой философия Платона содержит идею изменения, развития и прогресса. Реален лишь мир небесный, мир совершенных форм, — все остальное есть лишь видимость.

Но такая характеристика несправедлива по отношению к мыслителю, который в ходе своих путешествий и посредством тонких наблюдений над процессами политических и социальных изменений в родных Афинах прекрасно изучил эмпирический мир «видимостей», к которому он к тому же был настроен достаточно критично. Как подчеркивал Ф. М. Корнфорд в своей работе «Космология Платона» (F. M. Cornford, *Plato's Cosmology*), для Платона, как и для многих других философов, современных Платону и творивших после него, существовало *две разновидности реальности*: во-первых, реальность, в основе своей являющаяся религиозной (или мистической), вневременная, вечная и совершенная. И, во-вторых, материальная реальность — социальная, экономическая, политическая, в которой нам суждено проживать наши дни. Эта вторая реальность, отмечает Корнфорд, является для Платона динамичной, постоянно изменяющейся.

Наиболее явным образом Платон разбирает феномен прогресса в «Законах», написанных в конце его жизни и воплощающих все, что мы с полным основанием можем назвать наиболее зрелой философией этого мыслителя.

Книга 3 «Законов» представляет собой диалог (или эссе Платона) на тему развития человечества и прогресса институтов в течение очень длительного периода времени. Так же, как и Протагора, Платона занимает предмет, который в наибольшей степени волновал все философские умы Греции — исследование добродетели. И так же, как Протагор, живший столетием ранее, Платон в «Законах» делает обзор исторического развития и прогресса.

В начале обзора нам сообщается о том, что «тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за другим» и что продолжительность «этого времени» была «огромной и неизмеримой». Хорошие государства могут стать плохими, плохие — хорошими. Все виды легенд касаются вопроса о происхождении, и для персонажей Платона этого достаточно, чтобы говорить, что когда-то очень давно произошла огромная катастрофа, без сомнения, потоп, и смыла с лица Земли все признаки цивилизации, существовавшие до того*. Лишь несколько человек уцелело (очень возможно, что это были «горные пастухи», которые находились достаточно высоко и смогли избежать поглощающих волн), чтобы стать примитивными родоначальниками нового длительного развития человечества.

Как буквально сотни его последователей вплоть до нашего века, Платон подчеркивает крайний примитивизм, который был в начале, почти полное отсутствие искусств и

* Видимо, Р. Нисбет пользуется не вполне качественным переводом «Законов», поскольку из текста ясно, что Афинянин и Клиний проводят своего рода мысленный эксперимент, а не воссоздают историю действительно имевших место событий. Потоп приведен как пример частых бед, регулярно обрушивающихся на людей. Участники диалога ведут речь о «частой гибели людей от потопов, болезней и много другого», Афинянин предлагает: «Представим себе один из множества случаев, именно гибель от потопов». Далее разворачивается картина воссоздания цивилизации на основе распространения норм и навыков, характерных для горных племен, уцелевших при потопе. Подчеркнем, что речь идет о модели, восстанавливающей логику причин и следствий, собеседники постоянно подчеркивают условный характер построения. (Афинянин: «Допустим, что государства, расположенные на равнинах или у моря, совершенно погибли в то время». — Клиний: «Допустим». — Афинянин: «Следовательно, мы должны предположить, что пропали и все орудия, а также погибли и все относящееся к искусству государственного правления...»). — *Прим. науч. ред.*

имущества, которые характеризуют цивилизацию. Это начало без культуры и без знаний длилось «бесчисленные тысячи лет». Безусловно, у этого были и положительные стороны. Само отсутствие институтов, навыков, металла, денег и политических и социальных структур заставляло людей обратиться к себе самим по мере постепенного увеличения числа человеческих существ.

«Прежде всего тогдашние люди любили друг друга и вследствие малочисленности относились друг к другу доброжелательно; пищу им также не приходилось оспаривать друг у друга, ибо не было недостатка в пастбищах — разве что кое у кого вначале, — а этим-то они в то время и жили по большей части. Не могло у них быть и недостатка в молоке и мясе; кроме того, они охотой добывали себе изрядную пищу... Благодаря этому не было и особенно бедных, так что бедность не принуждала людей к вражде. С другой стороны, они не могли также стать богатыми, ведь в те времена у них не было ни золота, ни серебра. Самые благородные нравы, пожалуй, возникают в таком обществе, где рядом не обитают ни богатство, ни бедность. Ведь там не будет места ни наглости, ни несправедливости, ни ревности, ни зависти. По этой причине и благодаря так называемому простодушию люди обладали тогда достоинством».

Из вышесказанного очевидно, что Платон усвоил многие положения традиционного греческого отношения к примитивному как к добродетельному. Как я упоминал выше, греческое теоретическое наследие в данной области вовсе не исчерпывается усмотрением положительной связи между примитивизмом, с одной стороны, и моральной добродетельностью и чистотой — с другой. Однако эта компонента всегда присутствовала в западной мысли, от греков и римлян до Возрождения и XVIII века с его культом экзотики и преклонением перед «благородным дикарем». Эта компонента продолжает существовать на Западе и сегодня, в форме обильного и все увеличивающегося потока книг и статей по экологии, написанных в романтическом ключе. Неудивительно, что эта тема фигурировала и в антропологических реконструкциях Платона.

Но если отвлечься от экскурсов в моральные суждения, перед нами именно реконструкция развития. Здесь имеется

исходное положение об изначальном состоянии однородности и простоты, когда главные искусства цивилизации и современные Платону формы социальной и политической организации отсутствовали. Платон сообщает нам, что вначале человеческие существа объединялись исключительно в родовые группы, «причем господствовал старейший». «За ними следовали остальные, составляя, точно птицы, одну стаю, и они находились под управлением законов наших дедов и наиболее справедливой из всех царской власти».

С течением времени, однако, происходил непрерывный процесс накопления и роста. Сами роды укрупнялись («все большее количество людей сходится вместе, составляя большие по размеру сообщества»). При этом «каждое из меньших сообществ делилось на роды во главе со старейшиной и имело свои собственные обычаи, возникшие под влиянием раздельного жительства». Входя в большое сообщество, они приносили свои законы («они вошли в большое сообщество, имея каждый свои законы»).

Такова, согласно Платону, была первая великая стадия социального развития. Следующей стадией было образование союзов родов. Платон отмечает устами Афинянина: «Так, по-видимому, мы незаметно подошли к началу законодательства». Постепенно члены сообществ «должны были сообща избрать некоторых лиц из своей среды», чтобы те рассмотрели все законы отдельных родов, «выбрали из них те, которые им больше понравятся», и «представили бы их на совет предводителей и вожаков». Сами эти выборные «должны были получить имя законодателей». За этими изменениями следуют сдвиги в культуре и технологиях. Подчеркнем, что, делая этот экскурс в историю человечества, Платон стремится объяснить возникновение полиса, государственного образования особого типа, политической формы, доведенной греками до совершенства. Для Платона, как и для всех других греков, объяснения были наилучшими, когда они давались в терминах развития, раскрытия потенциалов, содержащихся в исходном зародыше.

«Мы последовательно рассмотрели три государства, учреждение которых отстояло друг от друга, по-нашему, *на огромном промежутке времени*. Данное же государство

или, если угодно, племя представляется нам уже четвертым, некогда учрежденным и поныне сохраняющим свои установления» (курсив мой. — Р. Н.).

Главное для нас здесь то, что Платон понимает — для реализации всех этих изменений нужен *огромный промежуток времени*, и сами изменения происходят постепенно. Платон много путешествовал и был в состоянии указать множество народов и культур, которые служили примером следующих друг за другом стадий.

Перед тем как перейти к античной идее прогресса, необходимо упомянуть один важный аспект рассуждений Платона. Какова *цель* платоновских отступлений о прогрессивном движении человечества? Зачем в своей весьма практической работе по искусству государственного управления он производит историческую реконструкцию? Ответ прост: государственный деятель только тогда может мудро и справедливо править или устанавливать законы, когда он понимает общие законы развития человечества; когда отличает истинный путь от бесчисленных отклонений от верного пути. Для всех греков, в том числе и для Платона, несмотря на его доктрину о вечных формах, реальность состоит в развитии, а мудрость и понимание — в постижении этого развития. Величайшие ошибки, пишет Платон, совершали правители, законодатели и дельцы, которые вообразили, что совершенным является некое великое государство или коммерческое предприятие само по себе, что совершенная работа этих институтов зависит исключительно от квалификации их руководителей.

«Вот в чем, Клиний и Мегилл, можем мы упрекнуть тех давних так называемых государственных людей и законодателей, равно как и нынешних. Вскрывая причины их неудач, мы станем отыскивать, что же надо делать вместо этого».

Путь, по которому мы должны были бы пойти!* Вновь и вновь в истории идеи прогресса мы встретим постоянное повторение этого рефрена и его влияние на политические,

* Нетрудно заметить, что Р. Нисбет стал здесь жертвой выбора английского переводчика, который, в отличие от русского — А. Н. Егунова — использовал уподобление «следовать пути» вместо прямого перевода «делать». — *Прим. науч. ред.*

экономические и социальные вопросы. В чем еще были заинтересованы такие разные мыслители, как Адам Смит и Ж.-Ж. Руссо в конце XVIII века в своих «Богатстве народов» и втором «Рассуждении» соответственно, как не в открытии того «совсем другого пути, по которому нужно было бы пойти»? И как Смит и Руссо писали в надежде, что политические лидеры прочтут их и всерьез воспримут их советы, так же, безусловно, делал и Платон. Нелепо было бы предполагать, что Платон не интересовался будущим либо не надеялся, что его мудрость можно использовать для улучшения человека. Его космология с концентрическими временными циклами могла породить веру в окончательное или временное исчезновение человеческих институтов, но нет доказательств, что Платон при создании своих политических диалогов ориентировался на нечто иное, нежели довольно долгое будущее человечества.

Не следует думать, что обзор прогресса человечества в «Законах», который я только что описал, есть нечто уникальное или особенное у Платона. В конце концов, есть его диалог «Протагор», который мы уже рассматривали и который, конечно, не был бы написан Платоном, если бы он не восхищался великим софистом. Существует также «Политик», один из лучших диалогов Платона, к сожалению, оставшийся недооцененным в тени великолепного «Государства». В «Политике» Платон представляет нам «чужеземца из Элеи», который начинает свой рассказ о прогрессе человечества с возникновения на Земле нового рода несчетное число веков назад.

С момента появления рода человеческого для него началось развитие, понимаемое как изменение от худшего к лучшему. Как и в «Законах», Платон постулирует, что изначальный этап был стадией невежества в области знаний. «Первое время люди не владели еще искусствами, естественного питания уже не хватало, а добыть они его не умели, ибо раньше их к этому не побуждала необходимость». Первоначально именно дар богов (огонь от Прометея и ремесла от Гефеста) привел к началу длительного восхождения человека. Но с тех пор ответственность за культурное развитие, продолжающийся прогресс в искусствах и ремеслах легла полностью на людей.

Точно так же, как в «Законах», в рассказе Платона о продвижении человечества от уровня изначального невежества есть цель и функция. Он рассказывает об этом, чтобы проиллюстрировать тот факт, что миссия «государственного деятеля» в ранний период развития человека — это одно, а в более поздний период — совсем другое. Короче говоря, искусство правления должно соотноситься со стадией развития людей — заключение, которое, как мы должны признать, имеет на удивление современный привкус. Когда-то в давние времена существовала необходимость в «жестком контроле», «искусстве тирании». Но настоящий политик современности, пишет Платон, в нашем продвинутом цивилизованном государстве призывает к «свободному приятию» его теми, кем он правит.

Здесь нет ни возможности, ни, если уж на то пошло, необходимости проводить детальное сопоставление того анализа, которое Платон дает нам в «Политике», с тем, который он за много лет до того проводил в «Государстве». Однако можно сказать с уверенностью следующее. В то время, как молодой Платон с восторгом рисовал то, что ему казалось идеальным государством, — *утопию* в высшей степени, верное воплощение идеи государства, которая вневременно живет на небесах, и пренебрегал всем материальным, сравнительным и историческим, что отвлекло бы внимание от политического совершенства, то более зрелый Платон в «Законах» и «Политике» имеет совершенно другую точку зрения, которая предполагает использование сравнительных и исторических данных.

В работах Платона мы можем увидеть не одного, раз и навсегда заданного Платона, но нескольких*. Вера в небесное вместилище неизменных безвременных и совершенных форм вещей вряд ли ослепила Платона и лишила его восприятия настоящего эмпирического мира больше, чем вера в Бога и христианское откровение ослепила Ньютона и других верующих ученых современного мира в отношении фактов и принципов мира природы. Без сомнения, Платон

* Среди них — загадочный и провоцирующий Платон-философ в знаменитом «7-м Письме», Платон, который подходит близко к отречению от всего того, что он писал раньше как не соответствующего его истинным убеждениям. — *Прим. авт.*

верил до самого конца в то, что существует сверхъестественный мир, в котором существуют только совершенные идеи, но так же и в то, что существует и мир, где мы живем, где жили наши предки и, что важнее всего, где будут жить наши потомки, — мир изменения и прогресса.

Можно также оспаривать то, что Платон верил в прогресс человечества, напомнив об убежденности Платона в цикличности времени, с ее большими, длинными циклами и концентрически расположенными, меньшими, короткими циклами. Без сомнения, Платон, как и многие другие (хотя и далеко не все) греческие мыслители, верил в циклы того или иного рода, в циклы, которые обязательно предполагают вырождение и, в конце концов, разрушение. Я не могу понять утверждений некоторых современных исследователей античной классики (например, из последних — Жаклин Де Ромилли, которая в своей работе «Подъем и падение государств у греческих авторов» (*Jacquelin De Romilly, Rise and Fall of States According to Greek Authors*), которые утверждают, что *никакой* идеи цикличности нельзя найти у греческих и римских мыслителей. Идея цикличности (при всем нашем уважении к Платону, Аристотелю и другим), разумеется, не исчерпывает всю историю греко-римской научной и исторической мысли, но составляет довольно значительную ее часть. Впрочем, не следует забывать, что даже в рамках циклического мышления то, что должно было закончиться как угасание и падение, начиналось как генезис и прогресс. Впрочем, это замечание в скобках. По-настоящему важно то, что в каком бы контексте мысль о цикличности ни встречалась в античной классике, в ней значимо присутствовала прочная и плодотворная составляющая веры в линейный прогресс — в движение из далекого прошлого в отдаленное будущее.

АРИСТОТЕЛЬ

Здесь я буду краток, хотя бы потому, что как бы сильно ни отличалась философия Платона от философии его ученика Аристотеля, многое из того, что было сказано выше о предвосхищении идеи прогресса Платоном, относится и к Аристотелю. В своем сочинении «О возникновении и уничтожении» Аристотель неоднократно подчеркивает, что

природные изменения, особенно в органическом мире, являются циклическими, или повторяющимися. Но вовсе не все изменения относятся к этому типу. Аристотель говорит нам, что в других сферах цикличность не обязательна. Существует феномен одного только регресса, и это значит, что может существовать явление одного только прогресса.

Аристотель был буквально загипнотизирован культурным прогрессом. Что, как не политический прогресс, показано в его «Политике», когда он описывает процесс возникновения политического государства из семьи, поселения и затем союза поселений? И хотя у Аристотеля, в отличие от Платона, нельзя найти последовательного обзора развития всего человечества, мы часто находим ссылки на те или иные элементы, аспекты этого развития. Как подчеркивает Людвиг Эдельстайн, «Аристотель тщательно исследует путь, по которому шли и совершенствовались искусства и наука». Мы узнаем от него о том, какое большое значение имеет изобретение, или, скорее, изобретатель, который начинает весь процесс исторического усовершенствования. Но Аристотель, придерживаясь веры в прогресс во времени, также утверждает, что, каким бы великим ни был акт первоначального изобретения, те, кто стал авторами более поздних изобретений, стоят еще выше. Это своего рода сжатая, предварительная версия того спора, который будет иметь место в Европе XVII века и который известен как «спор о древних и новых», причем Аристотель в этом споре принимает сторону «новых».

В следующем отрывке из «Метафизики» Аристотеля, который цитирует Эдельстайн, есть почти современные нотки: «Никто не может постичь истину адекватно, хотя мы и не полностью не способны к этому; каждый из нас говорит что-то правильное о природе вещей, и если по отдельности мы знаем о правде мало или ничего, то вместе мы знаем значительно». Для Аристотеля, продолжает Эдельстайн, «цивилизация — это работа не богов или героев (полубогов, полулюдей), а людей, работавших совместно на протяжении истории, помогавших друг другу и связанных друг с другом, как звенья одной цепи». Следующий отрывок из Аристотеля очень показателен и является первым или одним из первых, где используются риторические фигуры,

которые начали применять греки и римляне и которые на Западе используются и сегодня.

«Те, кто сейчас знаменит, унаследовали свою славу как в эстафете (из рук в руки, сменяя друг друга) от многих своих предшественников, которые, развиваясь, в свою очередь, делали тем самым прогресс возможным».

Аристотель верил, как и Платон, что род человеческий вечен. Несмотря на то что отдельные общества и цивилизации могут переживать периоды роста и упадка, в целом человечество движется вперед. Он говорит нам в «Политике», что как все изменения в искусствах и науке имели очевидную ценность для людей, так и изменения политических курсов всегда нужно рассматривать в этом свете.

«Так как и политику следует относить к их числу [искусств и наук], то, очевидно, и в ней дело обстоит таким же образом. Сама действительность, можно сказать, служит подтверждением этого положения: ведь старинные законы были чрезвычайно несложны и напоминали варварские законодательства... [Об этом писал и Фукидид в своей «Истории Пелопоннесской войны». — *Р. Н.*] Сохраняющиеся кое-где старинные законоположения отличаются вообще большой наивностью... Вообще же все люди стремятся не к тому, что освящено преданием, а к тому, что является благом; и так как первые люди, были ли они рождены из земли или спаслись от какого-нибудь бедствия, — походили на обыкновенных людей, к тому же не одаренных развитыми мыслительными способностями, как это и говорится о людях, рожденных из земли, то было бы безрассудством оставаться при их постановлениях. Сверх того, было бы не лучше писанные законы оставлять в неизменном виде: как в остальных искусствах, так и в государственном устройстве невозможно изложить письменно все со всей точностью. Ведь законы неизбежно приходится излагать в общей форме, человеческие же действия единичны. Отсюда ясно, что некоторые законы иногда следует изменять».

Аристотель, в точности как какой-нибудь социальный реформатор XVIII или XIX века, показывает связь современных установлений с древними и отжившими, объясняя долговечность этих институтов настроениями глупейших членов общества. Такие авторы, как Локк и его последова-

тели, в частности американские отцы-основатели, гордившиеся своим знанием Аристотеля, хорошо понимали, что в текстах последнего можно найти обоснования даже для революций, подобных тем, которые произошли в Англии в 1688 году и в Америке в 1776-м.

Как бы то ни было, утверждения, часто встречающиеся даже в лучших современных изложениях греческой политической мысли, согласно которым время и изменения всегда трактовались древними греками как враждебные друг другу, реальность сводилась ими к постоянному и неизменному, а все сущее воспринималось ими как продиктованное Судьбой, — все эти утверждения следует навсегда отбросить.

ЭЛЛИНИЗМ

По традиции я считаю, что эллинистическая цивилизация берет свое начало в 323 году до н.э. (смерть Александра Македонского), а заканчивается в 30 году до н.э. (возникновение Римской империи, включавшей в себя Грецию). О культуре эллинизма, если только речь не идет об истории науки и технологии, обычно говорят в мрачных тонах. Ее расценивают как культуру упадка и декаданса, как культуру философского бегства от всего мирского. Мы не привыкли рассматривать эту философию или, по крайней мере, ее существенную составляющую в терминах оптимизма, веры в непрерывный прогресс человеческой мысли, в расширение возможностей человека в том, что касается совершенствования политической и моральной природы. Но тщательное изучение этой эпохи показывает, что было гораздо больше общего между ее философией и греческой философией VI—V веков до н.э., чем принято считать.

Безусловно, еще до начала этого периода уже существовала философия киников, превозносившая простоту и естественность, с ее неявным презрением к культурным (особенно материальным) достижениям человечества. Пирронизм с большой долей скептицизма относился к плодам разума и любому приписыванию прогресса человеческой цивилизации. Перипатетики хотя и выказывали некое уважение к развитию искусств и наук, с ностальгией смотрели в более простое, «неиспорченное» прошлое. Благодаря

политике Александра Македонского после завоевания Персии, направленной на интеграцию Востока и Запада (часто в прямом смысле слова, поскольку он приказывал грекам жениться на персиянках) и на то, чтобы идеи и верования, укоренившиеся на Востоке, получили распространение на Западе и наоборот, в Греции эпохи эллинизма существовало множество экзотических культов, которые, без сомнения, были бы отвергнуты в Афинах времен Перикла.

Все это так. Тем не менее в эллинистической культуре было и многое другое. Сэр Джилберт Мюррей (Sir Gilbert Murray) и другие люди с похожими убеждениями пытались создать впечатление, что антирационализм и пессимизм были сутью той эпохи, причем последствия этого в конечном итоге отражали коллективную «утерю мужества». Это выразилось в заимствовании мистических и оккультных верований Востока, которые имели корни в отречении от разума и материального прогресса и готовили почву для будущего подъема и распространения христианства. Несмотря на эту традиционную точку зрения, подчеркивающую эллинистическое отречение от земной природы человека и воспевание жизни после смерти, а также верования и ритуалы, которые одни только и могли подготовить человека к посмертию, в этот же период можно найти значительные элементы рационализма, научного подхода и веры в материальный прогресс.

В конце концов, эллинизм был эпохой потрясающих открытий в механике и физике, существенно изменивших повседневную жизнь (чего, между прочим, вовсе не было в Афинах времен Перикла). Грегори Властос в своей последней работе «Вселенная Платона» (Gregory Vlastos, *Plato's Universe*) с уверенностью говорит о философии эллинизма, что о ней нельзя утверждать, будто она содержит в себе науку в том смысле термина «наука», как его понимаем мы и могли бы понимать греки в более поздний период. Но эта философия подошла к такому «пониманию космоса, которое предполагается естественными науками и соответствующей практикой». Именно в эллинистической Греции возникли естественные науки и инженерное искусство, породив на Западе традицию, которая могла в какие-то периоды лишь теплиться и даже почти

исчезнуть — как это было в течение двух-трех веков после крушения Западной Римской империи, — но впоследствии вновь окрепнуть в Западной Европе уже к началу XII века. Как отметил Линн Уайт в своей книге «Средневековая технология и социальные изменения» (Lynn White, *Medieval Technology and Social Change*), скорее всего, достижения эллинизма могли иметь некоторую связь с некоторыми изобретениями раннего Средневековья, которые изменили не только земледелие, но и повседневную жизнь европейцев.

Легко представить себе, что Греция времен Эратосфена и Архимеда (назовем лишь этих двух величайших ученых из многих) должна была быть таким местом, в котором могли существовать философы, сохраняющие веру в разум и знания. Эти философы были в состоянии, как и их предшественники — Протагор, Эсхил, Платон и Аристотель — признать длительное восхождение человечества из первобытной тьмы к цивилизации. Они могли противостоять соблазнам примитивизма и архаики.

Одним из таких философов был Эпикур, другим — Зенон, основатель стоицизма. Эдельстайн пишет о первом: «Эпикур в своем анализе развития цивилизации, конечно, следовал ранним прогрессивным взглядам и даже смело переделывал их с учетом собственных добавлений». Так, Эпикур различает нечеловеческих существ, жизнь которых управляется природными инстинктами, и людей, вынужденных, будучи от природы слабыми, создавать себе в помощь искусственные средства. Эдельстайн цитирует слова Эпикура о том, что человеческая природа «была обучена и вынуждена делать различные вещи просто вследствие обстоятельств, а позднее разум усовершенствовал то, что было дано природой, и совершил дальнейшие открытия, в одних сферах и в одну эпоху — быстро, в других — медленно».

Зенон, основатель стоицизма, философского учения, которое соперничало с эпикурейством, заявил, что появление человека в результате божественного вмешательства в точности совпало с эпохой искусств и ремесел на Земле. Для Зенона в прошлом не существовало Золотого века. Сам человек (конечно, при содействии Провидения) сделал Землю пригодной для обитания и наполненной

материальными благами, так что сделались возможными размышления о морали и духовном совершенствовании, которые для Зенона были признаком истинной мудрости и добродетели человека. Если стоики считали добродетелью придавать как можно меньше значения материальным и чувственным удовольствиям, уделяя больше внимания тому виду удовольствия, который достигим только при подлинной моральной самоотверженности, то определенно нельзя сказать, что стоики закрывали глаза на материальные искусства. И как бы своеобразно они ни определяли разум, преемственность между ними и их предшественником Платоном очевидна.

«В целом, — пишет Эдельштейн, — философия раннего эллинизма проявляла меньше энтузиазма к идее прогресса, чем философия классической эпохи». Он, впрочем, тут же отмечает, что невозможно наверняка знать, насколько глубоко проник в общественное сознание даже этот умеренный прогрессивизм. Да, существовали и такие писатели, как Дикеарх и Арат, скорбевшие по поводу упадка человечества, наступившего после счастливого Золотого века из-за того, что, как они полагали, практическое знание и богатство пришли на смену изначальной моральной чистоте. Однако имеются свидетельства тому, что и в эллинистический период крупнейшие мыслители (среди них последний и величайший — римлянин Лукреций) сохранили веру в знания и убежденность в том, что прогресс человеческого знания (а следовательно, и благосостояния) возможен — веру, берущую начало еще у Гесиода и Ксенофана и мощно расцветшую в V—IV веках до н. э.

Обратим внимание на оценку Арнальдо Момильяно, которую он дал одному из аспектов греческой мысли этого периода, тесно связанному с нашим предметом: «Дело в том, что греческие мудрецы всегда действовали в пределах своего полиса, всегда принимали своих богов и редко отвергали общепринятые нормы своей морали. За исключением киников, которых никто не считал мудрецами, кроме их самих, греческий образ мудрости был высшей формой гражданской добродетели. Когда философы пытались заручиться религиозной санкцией (как в случае пифагорейцев и Сократа), это не вступало в противоречие с признанными

ми обрядами и святилищами. Как известно, Сократ был признан мудрецом в Дельфах. Он принял свой смертный приговор, вынесенный в соответствии с законом и обычной судебной практикой его города. Традиция семи мудрецов, вполне утвердившаяся к V веку до н.э., предполагала приземленно-практическое, иногда доходящее в этом до эксцентричности, содержание их учений».

Та убежденность в существовании интеллектуального и культурного прогресса, которую мы находим у греков, не могла бы существовать, не имея фундамента в том прагматизме, который подметил профессор Момильяно. Разумеется, существовало определенное разнообразие взглядов как в V, так и во II и в I веках до н.э. Но в целом, как ясно показывает изучение философии Эпикура или Зенона, вера в знания, мудрость, в способность человека совершенствовать и себя, и общество, в котором он живет, оставалась очень сильной.

ЛУКРЕЦИЙ

Эта вера была достаточно сильна для того, чтобы ею был охвачен римлянин Лукреций, чью великую работу «О природе вещей» можно рассматривать не только как триумф и кульминацию эпохи эллинизма, но и оценивая ее с точки зрения воздействия на будущее, как уникальную для всего античного периода работу, предвосхитившую такие современные концепции, как теория естественного отбора Дарвина. Лукреций, наряду с Вергилием и Катуллом, является одним из трех величайших латинских поэтов. Но если Вергилий и Катулл, несомненно, навсегда сохранят свою привлекательность благодаря внутренним достоинствам их поэзии, поэзии как таковой, вне всякой связи с содержащимися в ней идеями о жизни и истории, то, говоря о Лукреции, нельзя отрицать, что, по сравнению с другими римскими поэтами, он ценен *именно* как поэт-философ, поэт-ученый, который, пока люди будут читать античных классиков, будет восприниматься именно в этом качестве. Кроме того, Лукреций занимает уникальное положение среди римлян, будучи философом прогресса. Все, что воздвиглось на этом поле за период от Гесиода до Эпикура, нашло самое полное и яркое выражение в работе Лукреция.

Как следует из первых страниц этого шедевра, Лукреций получил греческое образование. Его комментарии и критика обнаруживают его полную осведомленность в отношении греческой философии, начиная с Гераклита, Эмпедокла, Анаксагора и так далее. Очевидно, наибольшее влияние на книгу Лукреция, по крайней мере на начальные разделы этой работы, оказало учение Демокрита об атомах в пустоте. Но восхищался Лукреций больше всего Эпикуром, который объединил атомистическую философию со многими другими концепциями не только физических, но и психологических, и социальных явлений. Не последнее место в списке возможных причин особого отношения Лукреция к Эпикуру занимает тот факт, что Эпикур создал систему мышления, которая не требовала обращения к богам за объяснением физических и человеческих процессов, хотя и не предавала их полному забвению.

Если не считать религией страсть, с которой Лукреций поклонялся природе, и его погруженность в природу, то здесь нельзя найти никаких следов того, что обычно считается религией (хотя, с другой стороны, нельзя не видеть, что великая книга Лукреция выполняет религиозную функцию, по крайней мере, в том отношении, что в ней он стремится преодолеть страх смерти, найти утешение во всем естественном и рациональном, обрести умственный покой и тишину, насколько это возможно для человеческого существа). В самом начале своей поэмы Лукреций говорит о религии как о «нашем враге», об использовании разума, который «вновь и вновь» оказывается ответственным за «дела грешные и нечестивые». Насколько нам известно, Лукреций был по меньшей мере терпим к мягким и сострадательным формам религиозности, если и не разделял соответствующие верования. Тем не менее ко всему, что он называет «предрассудками», он испытывал лишь ненависть и презрение. Слишком часто, пишет он, эти верования становились причиной духовных мук. Принимая во внимание резкую антирелигиозную риторику и учитывая мощь воздействия его поэзии на человека и человечество, довольно легко понять озлобленность позднейших христианских атак на Лукреция, как бы часто Отцы Церкви ни заимствовали его способ мышления и образы. Св. Иероним дошел до того, что осудил

Лукреция как безумца и самоубийцу, неспособного жить в соответствии со своими убеждениями. Увы, о жизни Лукреция известно немного, и нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что Св. Иероним был не прав. Но каждый, кто читал «О природе вещей» непредубежденно, не может не поразиться спокойствию, уверенности и хладнокровию, которыми отмечен этот эволюционный эпос.

Как отмечал профессор Сирил Бейли (лучший переводчик Лукреция на английский язык), а также историк Чарльз Кокрейн, книга Лукреция обладает особым рода религиозным воздействием. Его поэма, скорее всего, была призвана оказывать (и оказывала) обнадеживающее действие на римлян его времени. В конце II — начале I веков до н.э. Рим представлял собой глубоко страдающее общество, разделенное на воюющие между собой политические группировки, находившееся в трудном экономическом положении, сотрясаемое бунтами, ранее казавшимися невозможными, общество, где царило предательство всех и вся. Можно понять, почему вера в старых богов ослабевала и исчезала, особенно в самом священном городе. Новые верования бросали вызов старым. Появились верования и культы, которые были принесены с Востока и нашли своих последователей так же, как культ Христа найдет своих в следующем веке, особенно в городах. Но, разумеется, здесь были и образованные, морально стойкие римляне, которые хотя и стали более слабыми в вере своих отцов, не смогли принять новых доктрин, зачастую тесно связанных с отвратительными ритуалами и жертвоприношениями, какими были тогда многие из них. Для этих и многих других римлян поэма Лукреция, написанная в особой форме «хороших новостей», явилась подлинным утешением наряду с тем, что она доставляла читателям и чисто интеллектуальное и литературное удовольствие. Как и они, Лукреций не жаловал коррупцию политиков, очевидный упадок морали, скептицизм и цинизм священнослужителей и совершенно открытое, зачастую выраженное в порнографической форме, попрание священной традиции, имевшее место даже в самых почитаемых храмах. Столь погрязший во зле и интеллектуальном банкротстве век заслуживал свидетельства, сулящего возрождение и обновление на началах

разума и добра. Можно легко вообразить, что Лукреций верил в это и осознавал тот факт, что его длинная поэма способна служить этим целям. Чарльз Кокрейн в своей работе «Христианство и классическая культура» (Charles N. Cochrane, *Christianity and Classical Culture*) делает примечательное наблюдение на этот счет: «Его целью и впрямь было показать, как можно преодолеть анархию. Если он в каком-то смысле и говорит языком бунта, то делает это не для того, чтобы питать всепожирающее пламя революционных страстей, а для утверждения принципиально нового способа понимать мир и управлять этим миром. Этим принципиально новым способом является разум...»

Нужно позволить знанию и разуму устранить или хотя бы ослабить нестабильность и страх, которые религия более не в силах ни обуздать, ни успокоить (а с точки зрения убежденного рационалиста, никогда и не была на это способна). Отсюда призыв Лукреция к Венере, «наполняющей жизнью», в начале его книги с просьбой о помощи в даровании ему таких слов, которые сохраняли бы «вечную прелесть» с тем, чтобы

*...жестокие распри и войны
И на земле, и в морях повсюду замолкли и стихли.*

Каково главное содержание, которое, по мнению автора, несет в себе его произведение? Это не больше и не меньше как широкая панорама эволюции, картина формирования мира, человека и общества — «и вещей объясняю начала, / Все, из которых творит, умножает, питает природа / И на которые все после гибели вновь возлагает». На самом деле, вплоть до конца XVIII и начала XIX века мы не встретим у западных авторов других подобных работ (примером которых может служить «Зоономия» Эразма Дарвина), в которых чистый натурализм столь плодотворно соединялся бы с поэзией и в которых идея развития представляла бы закон жизни. Такова поразительная научная поэма римского философа.

Рассказ Лукреция о началах Вселенной через случайные столкновения и формирование комбинаций атомов (посредством *случайности*, а «не в результате плана», как особо настаивает Лукреций) в деталях показывает после-

довательность движений и процессов, каждый из которых естественным образом брал свое начало в предыдущем, что в итоге привело к появлению мира и тех, кто его населяет. Достаточно будет сказать, что для Лукреция весь этот грандиозный процесс развития требовал огромной продолжительности, что сама суть процесса состояла в бесконечности «естественных экспериментов», в ходе которых некоторые формы жизни оказывались несостоятельными и обреченными на бесплодие и в конце концов — вымирание, а другие формы оказывались способными к созданию новых, высших видов. В этом содержится нечто большее, чем просто намек на то, что Дарвин почти две тысячи лет спустя назовет «естественным отбором» и, следуя примеру своего почитаемого современника Герберта Спенсера, «выживанием сильнейших». Такова, пишет Лукреций, решающая необходимость эксперимента и адаптации, способности видов к выживанию в окружающей их среде: некоторые виды обречены на исчезновение, а другие — на сохранение и преумножение. Решающую роль играет дифференцированная репродукция.

*Много, как видно, должно сочетаться различных условий,
Чтобы породы сковать, размножение их обеспечить.
Нужен, во-первых, им корм, а затем и пути, по которым
В тело могли б семена из расслабленных членов излиться
[...]*

*Много животных тогда поколений должно было стинуть,
Коль размноженьем приплод не могли они выковать новый.
Те же, что, видишь, теперь живительным воздухом дышат,
С юности ранней всегда берегут и блюдут свое племя,
Или отвагой храня, или хитростью, или проворством,
Также и много других, которых к себе приручили
Мы ради пользы своей, сохранились под нашей защитой.*

Но для нас здесь Лукреций представляет интерес главным образом не как биолог-эволюционист и ученый-атомист, а как автор, описывающий культурный прогресс человечества. Этот замечательный всплеск рассуждений и знаний содержится в знаменитой пятой книге его поэмы «О природе вещей», к которой мы и обратимся. По крайней мере до конца XVIII века мы не найдем в литературе Запада такой детальной, выверенной и последовательно выстроенной картины происхождения и прогресса человеческих искусств и наук.

Лукреций открывает свое повествование с состояния людей на самой начальной стадии их существования, насколько возможно восстановить ее посредством разума и обоснованных рассуждений. Он подчеркивает изначальную выносливость человеческого тела и ума, первобытную изобретательность и способность создавать оружие как средство, с помощью которого люди могли защитить себя от более крупных и сильных зверей, рептилий и птиц, живших на Земле в то время. Мы также узнаем о естественности, с какой люди проживали длинную и здоровую жизнь «между дубов с желудями, а те, что теперь созревают, — арбуза ягоды зимней порою и цветом багряным / Рдеют, ты видишь, — крупней и обильнее почва давала». Вначале не было никакого сообщества, люди бродили, ели и спали где придется, спариваясь, когда их настигало желание, но без признанной связи с родом. Да, людей часто убивали более крупные и жестокие звери, но, говорит Лукреций, «не губила зато под знаменами тысяч народа / Битва лишь за день один. Да и бурные моря равнины / Не разбивали судов и людей о подводные камни». В основном таков будет образ изначального состояния человечества, который предложит в своем втором «Рассуждении» Руссо.

Далее Лукреций тщательно описывает процесс выхода человека из этого примитивного состояния. Со временем люди стали строить жилища для защиты от стихии, в качестве одежды были приспособлены шкуры животных, люди стали применять и поддерживать огонь, «жена, сочетавшись с мужем единым / Стала хозяйством с ним жить, и законы супружества стали / Ведомы им» — и таким образом появилась семья. Вскоре семьи стали объединяться с другими семьями. «Там и соседи сводить стали дружбу, желая взаимно / Ближним не делать вреда и самим не терпеть от насилья. / Требуя к детям притом снисхожденья и к женскому полу, Смутно давали понять движеньями тела и криком, что сострадательным быть подобает ко всем слабосильным».

Медленно, в ходе прерывистого развития появился язык. В вопросе о происхождении языка Лукреций достаточно осторожен — он отрицает возможность того, что язык был *изобретен* неким лицом или группой лиц в определенный

момент времени, так же, как нет у него даже мысли о том, что язык был даром богов. В схеме развития Лукреция культурные герои играют такую же — крайне малую — роль, как и боги. Лукреций предлагает нам теорию, согласно которой язык очень медленно развился из инстинктивных выкриков людей, таких же, как у животных, а также (предвосхищая многие открытия филологии XIX века) из «экспериментов» со звуками (особенно производимыми детьми), которые были естественным результатом взаимодействия человека с человеком, с миром животных и всей Вселенной.

Лукреций воздаст должное тем, «кто преуспел в понимании и был силен разумом», еще один пример использования Лукрецием естественного отбора как механизма изменений. Это были индивидуумы, которые «день ото дня улучшать и пищу, и жизнь научали / Те, при посредстве огня и всяческих нововведений, кто даровитее был и умом среди всех выделялся». Но для процесса развития человечества люди с сильным умом и воображением так же естественны, как и более слабые. Они ни в коей мере не являются божественными созданиями или людьми, уникально одаренными такими качествами, которые полностью отсутствуют у других.

Ранние стадии общественного развития были ничуть не похожи на безоблачное счастье. Вскоре возникла собственность, было открыто золото, «позже богатство пришло и золото было открыто, / Что без труда и красивых, и сильных лишило почета, / Ибо за тем, кто богаче, обычно следуют свитой / Те, кто и силой своей, и красой богачей превосходит». Здесь Лукреций не может удержаться от искушения пофилософствовать в морализаторском ключе: «Тот же, кто в жизни себе кормилом взял истинный разум, / Тот обладает всегда богатством умеренной жизни; / Дух безмятежен его и живет он, довольствуясь малым». Постепенно пришло время царей, правление которых базировалось на могуществе и величии, но монархии сменились анархией толпы, низвергнувшей абсолютистские режимы, которые исчезли, «под ноги черни упав». Наступила эпоха смут: «Смуты настали затем и полнейший во всем беспорядок: / Каждый ко власти тогда и к господству над всеми стремился». Но и эта стадия закончилась, исчезнув в пучине

времен. Ее сменил начальный этап развития подлинной государственности и закона, заменивший собой деспотическое, или монархическое правление.

Лукреций уделяет много внимания происхождению и развитию религии. Сам лишенный, как мы отмечали, веры в богов, признательный за это таким философам, как Эпикур, освободившим умы людей от рабской покорности религии, Лукреций был вынужден предложить натуралистическое объяснение причин, по которым люди верят в богов и сверхъестественные силы. Он допускает возможность того, что древнейший человек придумал «величественные формы богов своим недремлющим разумом», т.е., что это были фантазии и иллюзии, но такие, которым люди склонны были приписывать черты объективной реальности. Для объяснения происхождения религии Лукреций привлекает также сны, когда пробудившиеся люди считали реальностью приснившиеся им сверхъестественные события. Кроме того, Лукреций полагал, что примитивный человек находил убежище в вере в сверхъестественное, не умея объяснить такие регулярные явления природы, как «вращение неба и смена года».

*В небе жилища богов и обители их помещали,
Видя, что ночь и луна по небесному катятся своду,
День и ночь, и луна, и ночи суровые знаки,
Факелы темных небес и огней пролетающих пламя,
Солнце и тучи, и снег, и град, и молнии, и ветры,
Бурь стремительный вихрь и грозные грома раскаты.*

Здесь Лукреций опять вставляет поучение: люди и все их потомство смогли бы избежать многих несчастий, если бы они не были движимы страхом неизвестности, из-за которого они признали существование богов. Насколько лучше было бы, если бы за неистовством и покоем природы они наблюдали со спокойным рассудком. И все же, говоря это, Лукреций снова объясняет, что можно легко понять древнего человека, который из страха неведомого постепенно стал верить в богов и другие сверхъестественные существа.

Он выдвигает гипотезу, объясняющую, как в человеческую цивилизацию попали драгоценные металлы. Они, безусловно, были найдены в местах разломов или трещин, вызванных опустошительными лесными пожарами из-за

ударов молнии, наводнениями и землетрясениями. Именно тогда люди должны были заметить эти металлы. «А когда на земле появились / Слитки, застывшие их, отливавшие ярко, то люди / Начали их поднимать, плененные глянцем блестящим». Со временем людям пришло в голову, что, используя тот же огонь, который позволил им увидеть металлы, металлу можно придавать форму и создавать конструкции, которые могли долго сохраняться и даже подвергаться улучшениям.

Невозможно полностью описать теорию развития Лукреция со всеми ее многочисленными деталями и примерами. Достаточно будет привести следующий фрагмент, последний в пятой книге, идущий после того, как Лукреций дал обзор подъема в области изящных искусств (включая музыку), навигации и комфорта, о котором не могли бы и мечтать древние люди:

*Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,
Платье, оружие, права, а также и все остальные
Жизни удобства и всё. что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —
Всё это людям нужда указала, и разум пытливый
Этому их научил в движеньи вперед постепенном.
Так изобретенья все понемногу* наружу выводит
Время, а разум людской доводит до полного блеска.
Ибо одна из другой прояснялась каждая отрасль
Всяких искусств, доходя, наконец,*

до вершин совершенства**.

Я выделил этот фрагмент потому, что это не только первый случай использования в литературе слова *progređientes*, от которого происходит наше слово «прогресс», но и потому, что по содержанию, значению и направленности этот отрывок может оказаться на своем месте в десятках работ о прогрессе человечества, написанных в XVIII или даже в XIX веке. Здесь есть для этого все: естественный характер процесса (например, автономия от божественной причины и вмешательства), упор на человеческую проникаемость и изобретательность, настойчивость, с которой читателю

* *Pedetentim progredientes*. Выражение Платона, представляющее собой лишь слегка измененную формулу Ксенофана, жившего много раньше. — *Прим. науч. ред.*

** Выделено мной. — *Р. Н.*

указывают на постепенный, медленный и накапливающий характер прогресса, и, наконец, ссылка на «вершины совершенства». Вплоть до рассуждений Тюрго 1750 года и до второго «Размышления» Руссо мы не встретим такого фрагмента и такой главы, как глава Лукреция, написанная в V веке до н.э.

Необходимо подчеркнуть, что Лукреций не был лишен надежд на будущее. Возьмем следующий фрагмент из начала V книги:

*Нет, я уверен, вещей совокупность нова, и недавняя
Мира природа еще и не дровле имела начало.
Вот отчего и теперь еще много различных художеств
Всё к совершенству идут. Теперь улучшений немало
В судостроении есть и немало возникло мелодий;
Только теперь, наконец, и природа вещей и порядок
Были открыты; я сам оказался способен из первых
Первым его изъяснить, на родном языке излагая.*

Должно быть очевидным, что это утверждение не могло быть сформулировано человеком, который, как сказал Дж. Б. Бэри о Лукреции, «не предвосхищал с радостью постепенных и неуклонных изменений, обеспечивающих прогресс в деле облагораживания будущего», который, как опять-таки выразился Бэри, считал «свою собственную философию последним словом во вселенной» и кому принадлежала идея «философии смирения, ...насквозь пессимистическая и, таким образом, несовместимая с идеей Прогресса».

СЕНЕКА

Взгляды Сенеки на историю человечества, на его прошлое, настоящее и будущее были столько же непоследовательны и противоречивы, как непоследовательны и противоречивы были вся его жизнь и его произведения, посвященные политике и морали. В ярких выражениях он превозносил свободу, справедливость и братство людей, однако, по-видимому, для него не составляло никакой моральной проблемы служить премьер-министром Нерону в период наиболее вопиющих нарушений общественной морали. Как написал Кокрейн: «[Сенека] напал на “предрассудки”, но советовал поклоняться политическим богам, как “формально”, так и в качестве средства “объединить массы

в гражданское общество” ... Наконец, весьма внимательно отслеживая шансы сделать административную карьеру, он в многословных поучениях указывал, что философу следует презирать земное существование».

Для нас, однако, гораздо более важным представляются противоречия в его философии истории. Чуть позже я покажу, какие поразительные утверждения о прогрессе, достигнутом человеком на этой Земле от самого далекого прошлого до самого отдаленного будущего, удалось сформулировать Сенеке. Но наш обзор был бы неполным и вводящим в заблуждение, если бы мы не учли совершенно иные воззрения Сенеки на историю и эволюцию. В ряде мест Сенека говорит о разрушительном влиянии прогресса знаний на человеческие взаимоотношения, которое оказывает, например, совершенствование и распространение военных технологий. Он пишет об охватившем Рим моральном разложении, о том, что на заре истории человек жил «под лучшим руководством», что в старину человек жил, «не зная преступлений». Как отмечает Эдельштейн, Сенека может размышлять о разрушении мира и всего в нем существующего с явным равнодушием, притом, что время от времени он приходил к выводу, согласно которому это разрушение произойдет довольно скоро.

Однако история философии содержит многочисленные примеры того, что именно противоречия в творческом наследии философа в долгосрочном плане определяют степень влияния его идей. Нельзя отрицать, что Сенека был, по крайней мере в течение некоторого времени, адептом примитивизма и регресса, верившим в некий первоначальный золотой век. Однако мы не можем не видеть в его работах ярко изложенных и подчас весьма глубоких наблюдений, касающихся реальности прогресса наук и других форм знания, а также понимания благотворности плодов, доставляемых человечеству этим прогрессом. Есть все основания полагать, как показывают некоторые современные исследования философского наследия Сенеки, что в более поздний, зрелый период творчества он почти полностью перешел на прогрессистские позиции, проявляя весьма малую заинтересованность в антипрогрессистских воззрениях, содержащихся в его ранних трудах.

Сенека воздаёт должное «человеческой изобретательности», которая, по его словам, представляет собой подлинный источник достижений в истории цивилизации. Перечисляя некоторые важнейшие достижения человечества, он пишет: «Всеми этими приспособлениями мы обязаны изобретательности и умелости человека, а не его мудрости». Наиболее полезные изобретения были сделаны, скорее, «ловкими и энергичными», чем «великими и облечёнными властью». Вмешательство этих последних, конечно, требовалось время от времени, но в тех областях, которые являются фундаментальными, — среди них Сенека чаще всего упоминает земледелие и ткачество, — больше всего преуспели простые люди, которым, в отличие от богатых и влиятельных, это принесло наибольшие выгоды. Описывая чудесные изобретения и усовершенствования своего времени, Сенека пишет: «Разум и впрямь придумал все эти вещи, но это был не просто разум. Тот, кто все это изобрел, был человеком, даже не мудрецом. Люди делали изобретения с помощью разума точно так же, как они придумали корабли, на которых мы пересекаем реки и моря, корабли, оснащенные парусами, чтобы ловить силу ветра, корабли с кормовым рулем, который позволяет менять курс судна в том или ином направлении. Образцом для того, кто изобрел корабль, послужили рыбы, которые управляют своим движением при помощи хвоста...»

Кто же, заключает Сенека, как не простые люди, которые, занимаясь рыболовством и ежедневно наблюдая за рыбами, могли сделать это изобретение?

Безусловно, Сенека не относился с неприязнью к мудрости и философии. «Но мудрость ведет нас к состоянию счастья, туда она направляет нас, туда открывает нам дорогу». Для того, чтобы это было возможным, в течение долгого времени должны сформироваться материальные предпосылки, при наличии которых только и могут позволить себе появиться и мудрость, и мудрецы.

С Сенекой произошло то же, что с Гесиодом: значение его апелляций к первоначальному состоянию как к золотому веку, было сильнейшим образом преувеличено. Мы получим гораздо более ясное представление о его истинной оценке примитивного человека из следующего пасса-

жа: «Справедливость была неведома им, неведома были и предусмотрительность. Они не знали ни самообладания, ни храбрости. Но их жестокая жизнь имела качества, *похожие* на все перечисленные. Добродетель (истинная добродетель) не прививается к душе, если душа *не образована и не обучена* и, кроме того, если она не стремится к совершенствованию путем неустанной практики... Даже в лучших из людей, до того, как вы облагородили их посредством наставлений, содержится лишь сырье для добродетели, а не *добродетель как таковая*» (курсив мой. — Р. Н.).

Философия Сенеки содержит многие элементы подхода, свойственного теории развития, в частности концепцию изменения, понимаемую как разворачивание потенциального в фактическое по мере течения времени. В этом отношении Сенека является последователем Аристотеля. «Безотносительно к тому, является ли мир душой или представляет собой тело, которым руководит природа, подобное дереву или зерну, он включает в свой состав все, чему предназначено воплотиться, активно или пассивно, от начала и до окончания времен. Мир *напоминает человека*, в зародыше которого еще до рождения содержатся все его качества» (курсив мой. — Р. Н.).

Аналогия, проведенная Сенекой между прогрессом знаний всего человечества и развитием отдельной человеческой особи, на протяжении следующих девятнадцати столетий множество раз использовалась философами прогресса. Мы встречаем ее у Св. Августина, она лежит в основе победы, одержанной сторонниками «новых» в знаменитом «споре о древних и новых», который имел место во Франции XVII века, а Огюст Конт, позитивист и основатель социологии, сделал ее опорной точкой в своем «законе» прогресса. Как мы увидим ниже, эта же аналогия широко используется и в настоящее время.

Сенека явным образом выражает свою убежденность в том, что в будущем неопределенно долго будет иметь место тот же тип роста знания, который наблюдался в далеком прошлом. «Множество открытий приготовлены для тех времен, *которые еще должны настать*, когда наша память угаснет. Мир был бы скверной затеей, если бы в нем не было предмета, который надлежит открыть будущим векам»

(курсив мой. — Р. Н.). И Сенека повторяет вновь: «Я поражаюсь мудрости, и я поражаюсь самому миру, который, независимо от того, как часто я над ним размышляю, всегда кажется новым. Я уважаю открытия мудрости и самих открывателей. Мне приятно касаться этого предмета, как наследства, оставленного мне многими людьми. Для меня они собрали его, для меня трудились. И пусть еще больше наследия оставлю я своим потомкам. Многое остается сделать, много еще останется, и ни один человек, рожденный *тысячи веков спустя*, не будет лишен возможности добавить еще что-то...» (курсив мой. — Р. Н.).

Действительно, Сенека запомнился как человек, верящий в то, что когда-нибудь в будущем Земля и все на Земле будет разрушено в катастрофе. Но только что процитированный отрывок не позволяет нам считать, что Сенека думал, будто такое разрушение произойдет уже в ближайшем будущем. Он, конечно, мог написать: «Все богатства, которые долго и терпеливо создавались, все знаменитое и все красивое, великие троны, великие нации, все сойдет в одну пропасть и будет опрокинуто за час». Но нужно подчеркнуть, что сообщения о том, что в *конце концов* мир придет к своему концу, встречаются и в работах тех философов и ученых XIX—XX веков, которые, без сомнения, были сторонниками идеи прогресса, имевшего место в прошлом, сохраняющегося в настоящем и ожидаемого в будущем.

Нет более подходящей сентенции, которой мы могли бы завершить этот раздел, чем мудрая оценка, данная Людвигом Эдельстайном всему, что имеет отношение к философскому наследию Сенеки: «Для Сенеки идеал прогресса был выражением высших надежд человека и человечества, и, объясняя и определяя его масштаб, он во многом рассуждал в манере, присущей мыслителям XVIII века, которые были захвачены тем же идеалом. Если Кондорсе, чей манифест ознаменовал появление современного прогрессизма, считает «увеличение знаний ключом к продвижению вперед рода человеческого», если для него «история цивилизации есть история просвещения», то это же можно сказать и о Сенеке; и, слегка поменяв слова, о последнем можно было бы сказать то, что некогда было сказано о первом: «Он настаивает на том, что существует нерасторжи-

мая связь между интеллектуальным прогрессом и ростом свободы, добродетели и уважения к естественным правам. Он настаивает на том, что наука внесла решающий вклад в разрушение предрассудков...»

Я уверен, что в этой главе было приведено достаточно цитат и иллюстраций, чтобы показать ошибочность мнения, согласно которому греки и римляне не только не имели представления о прогрессе искусств и наук, но безнадежно погрязли в пессимизме, не видящем ничего, кроме упадка и деградации с течением времени. На протяжении всего периода от Гесиода и до Сенеки мы наблюдаем, *во-первых*, уважение, даже благоговение перед знанием, — перед знанием практическим, т.е. тем, которое обеспечивает защищенность, комфорт и благополучие. *Во-вторых*, мы обнаруживаем в античности ясное понимание того факта, что это знание приобретается самим человеком благодаря его человеческим качествам. Конечно, боги время от времени помогают человеку, но в долгосрочном плане он приобретает знание вследствие собственных усилий. *В-третьих*, мы видим признание древними распределенного во времени характера приобретения знаний, которые усваиваются и накапливаются лишь «с течением времени», как говорил Ксенофан, или, по выражению Платона, «постепенно», или «шаг за шагом», как через пятьсот лет после Ксенофана описывал этот процесс Лукреций.

ГЛАВА 2

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ

То, что начали классические мыслители языческой древности, продолжили классики христианской мысли — и не только продолжили, но и развили, обеспечив идею прогресса множеством преданных последователей на Западе, а также такое влияние, которого эта идея не могла бы иметь, не существуй упомянутой преемственности. Греки разработали концепцию естественного прогресса знаний и соответствующего ему улучшения положения человека с течением времени. Это характерное для греков подчеркивание значимости искусств, наук и вообще знаний является важным элементом современной христианской философии истории. Такое положение сложилось в эпоху, когда творили Отцы Церкви.

Вместе с тем христианские философы, начиная с Евсевия и Тертуллиана и заканчивая Св. Августином, который довел учение до наиболее разработанной формы, ставшей классической, привнесли в идею прогресса новые элементы, наделившие ее такой духовной силой, которая была неизвестна их языческим предшественникам. Я имею в виду такие понятия и концепции, как всечеловеческое единство, историческая необходимость, идея прогресса как развертывания в веках некоего замысла, существующего от начала времен, и, не в последнюю очередь, доверие к будущему, доверия, которое со временем будет увеличиваться и все больше относится к посюстороннему, а не к потустороннему миру. К этим характеристикам следует добавить еще одну, а именно подчеркивание постепенного и неуклонного *духовного* совершенствования человечества. Этот процесс, в конце концов, находит свое выражение в наступлении золотого века счастья, тысячелетнего царства Христа, возвратившегося, чтобы править на Земле.

Разумеется, христианство как мировая религия и философия истории имеет два важнейших источника. Первым таким источником является иудаизм. Именно от иудеев христиане получили концепцию истории как священной, божественно направляемой — и потому *необходимой*.

К иудеям, особенно к сильным течениям иудейского миллениаризма, получившим особое распространение во времена, как предшествовавшие, так и непосредственно следовавшие за возникновением христианской религии, восходит и вера в будущий золотой век на Земле. Эта вера изложена в новозаветном Откровении Иоанна Богослова и присутствует — с большей или меньшей степенью выраженности — на протяжении всей истории христианства и, что касается веры в прогресс, достигнет максимальной напряженности в пуританском XVII столетии.

Другим источником христианства была греческая античность. Для того чтобы иметь возможность передать Благою Весть, иудейские последователи и провозвестники Христа должны были знать греческий. Изучая греческий язык, они знакомились с греческими идеями и концепциями, такими как идея естественного роста, или концепция изменения, понимаемого как разворачивание потенциального в реальное, идея стадий развития человеческого знания и божественной ценности, которая присуща этому развитию.

Основы христианской концепции прогресса были образованы слиянием в христианстве иудейских и греческих идей. Мы обнаруживаем такое слияние у апостола Павла. Он уподобляет рост Церкви росту отдельного человеческого существа. Это такое уподобление, которому будет суждено никогда не исчезать из западной мысли и которое будет многократно использоваться в самых различных контекстах. Для Св. Павла развитие христианства и человека было и естественным, и необходимым. Его причина коренится не только в самой природе вещей (в греческом понимании природы), но и — подобно тому, что утверждали о себе и о своей истории иудеи, — в необходимости, вытекающей из божественной воли. И как человеческое тело имеет множество разных органов, функционально связанных между собой, так и Церковь, заявляет апостол Павел, имеет свои службы, храмы, пророков, миссионеров, учителей и причащающихся. Как индивидуум проживает предначертанную ему историю от младенчества до старости, так и Церковь проживает свою. Церковь может быть понята только как нечто такое, что развивается во времени, что предназначе-

но быть чем-то всеохватным. Видение апостолом Павлом времени — за одним существенным исключением — оптимистично и прогрессивно. Пессимизм, присущий христианским текстам, нельзя недооценивать, но еще чаще мы встречаем недооценку современными историками не пессимизма, а *оптимизма* христианства, присущего ему с самого начала. Марджори Ривз в своем «Влиянии пророчеств в позднее Средневековье» (Marjorie Reeves, *The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages*) говорит об обоих этих качествах: «С момента своего появления на свет христианская мысль содержала в себе как пессимистические, так и оптимистические ожидания в отношении истории: ее конец мог представляться либо как восходящее крещендо зла, либо как тысячелетнее царствие Христа, Мессиа́нский Золотой век... Надежда на будущий Золотой век имеет истоки в понятии иудейского Века Мессии, когда Святой Народ, как ожидается, должен править в Палестине в эпоху мира, справедливости и достатка, когда земля расцветет неслыханным изобилием... Век Мессии мыслится как нечто, расположенное *в рамках истории, а не за ее пределами*» (курсив мой. — Р. Н.).

Во всей истории идеи прогресса не было ничего более важного или сопоставимого по важности, чем это усвоение иудейского миллениаризма христианством в самый ранний его период. Значение этого станет понятным, если учесть вселенскую направленность христианства, начиная с апостола Павла, которая в состоянии распространить и на деле начала распространение этого миллениаризма вширь, вплоть до полного охвата всего человечества. Более того, сама идея будущего золотого века на Земле, длящегося тысячу (а возможно, и много тысяч) лет, а также представление о постоянном и неумолимом движении человечества к этому золотому веку, неизбежно приводили к некоторому снижению значения трансисторического аспекта христианской мысли, относящегося к грядущему *иному* миру, стимулируя интерес к предметам и событиям мира земного.

Выдающийся историк религии Герхарт Б. Ладнер недвусмысленно высказался по этому поводу: «Все великие *социальные* идеи христианства, будь то Царство Божье, общение святых, Церковь или Град Божий, всегда мыслились

как *имманентные* этому миру, как пробивающие себе дорогу и имеющие временное измерение, и — в то же время — как трансцендентные, невидимые, торжествующие, вечные в мире грядущем. Церковь была собранием верных на земле и одновременно конгрегацией небесного града, гражданами которого, если можно их так назвать, были святые и ангелы. Один из главных парадоксов христианства состоит в том, что такое понятие, как Церковь, могло явиться в этих двух аспектах и тем не менее оставаться в основе своей единым» (курсив мой. — Р. Н.).

В этом парадоксе, приведенном профессором Ладнером есть много от греческой онтологии и эпистемологии. Широко известно, что в писаниях ранних Отцов Церкви было велико присутствие духа Платона, что ни у кого этот дух не проявился с такой силой и блеском, как у Св. Августина. Вместе с тем христианство при своем формировании испытало значительное влияние и римской мысли, и римского жизненного уклада. Андре Грабар в своей «Христианской иконографии» (Andre Grabar, *Christian Iconography*) пишет, что еще около 200 года, т.е. в самый ранний период, когда можно говорить о существовании христианского искусства в его общественном бытовании, все в этом искусстве, за исключением самой темы или предмета, было в высшей степени греко-римским, что выражалось в технике, форме, использовании цвета и т.п. Нечто подобное можно сказать и о христианской доктрине, христианской философии истории и практической христианской политике того времени. Христианство, конечно, имело иудейскую основу, но испытывало сильное влияние римской жизни, ориентировалось на нее и направлялось ею. Реальные отношения между римским государством, культурой и мыслью, с одной стороны, и христианством — с другой, представляют собой еще один пример подлинной преемственности, проявлявшейся на протяжении веков, предшествовавших падению Рима как западной столицы Империи и последовавших за ним. Вторгнувшиеся в империю варвары слишком часто и слишком активно использовались как доказательство исторического *разрыва*. Однако достаточно прочесть «Мир классической античности» Питера Брауна (Peter Brown, *The World of Classic Antiquity*), чтобы уви-

деть, до какой степени варварская культура, включая христианскую практику варваров, была растворена в культуре греко-римской. Браун пишет: «Город, его обычаи и организация жизнедеятельности меняются медленно. В Риме VII века члены церковной олигархии города шествуют к своим церквям так же, как в начале VI века шествовали римские консулы — приветствуемые зажженными свечами, раздающие щедрые дары простому народу, обутые в шелковые сенаторские туфли. Латеранский дворец получил такое название потому, что считалось, что там все еще говорили на «правильной латыни». В своих больших базиликах папы продолжали молиться о «римских свободах» (*Roman libertas*). Представление о том, что Западное общество должно признавать господство строго определенной церковной элиты так же, как императоры когда-то признавали особый статус членов Римского Сената, было основной посылкой, стоявшей за риторикой и церемониалом средневекового папства: как последний вечерний луч согревала любовь римского сенатора к Вечному Риму — *Roma Aeterna* — официальный фасад папского Рима».

И далее Браун подчеркивает, что «римский сенатор мог писать так, как будто он все еще живет во времена Августа, и неожиданно осознать, как и многие проснулись в конце V века н.э., что в Италии больше нет римского императора. Опять же христианский епископ мог приветствовать бедствия, вызванные варварскими вторжениями, поскольку, по его мнению, они необратимо повернули людей от земной цивилизации к Небесному Иерусалиму, но он все же выразил бы это по-латыни или по-гречески, неосознанно используя античные классические образцы; и он тем самым обнаружил бы установки, выделяющие его как человека, все еще прочно укорененного в восьмисотлетней истории жизни Средиземноморья».

Таким образом, если мы хотим понять христианскую мысль и в особенности христианскую философию истории с присущими ей сильными прогрессистскими элементами, мы должны отказаться от всякой мысли о христианских интеллектуалах как о замкнутом анклавном, отторгающем все контакты с греко-римскими идеями, интересами, надеждами и устремлениями. Сколь бы ни отличались христиане

от язычников своими религиозными верованиями, значительную часть своих политических и исторических убеждений христиане разделяли с язычниками так же, как и с ассимилировавшимися варварами. И хотя вера христиан в вечное блаженство спасенных, которое последует за концом этого мира, была крепка (и осталась крепкой вплоть до наших дней), она не была настолько сильна, чтобы полностью перечеркнуть интерес к предметам мира сего.

ПОСЮСТОРОННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

Чтобы оценить степень заинтересованности ранних христиан в явлениях этого мира, достаточно обратиться к некоторым трудам Отцов Церкви. Начиная, по крайней мере, со времен Тертуллиана и Евсевия, имело место явно выраженное принятие греко-римских земных ценностей и уважение к ним. Мы привыкли думать о ранних христианах как о людях с очами, воздетыми горе, обращенными с мольбой к Небесам и Христу. Более правильным является другой образ христианина. Перед нами человек, пристально разглядывающий разворачивающуюся перед ним картину римской жизни с ее наградами, стимулами и движущими силами, а также с ее ошибками и страданиями — иными словами, обращенный, скорее, к земному, чем к сверхъестественному. И этот интерес к посюстороннему, к земным достижениям и реформам прошлого и настоящего является существенной частью христианского понимания прогресса человечества.

Хотя в этом разделе главным предметом нашего изучения будет «О Граде Божьем» Св. Августина, интересно вкратце привести воззрения двух его блестящих предшественников, Тертуллиана и Евсевия.

С момента своего обращения в христианство (примерно в 155 году) и до самой смерти (около 230 года) Тертуллиан проявился как выдающийся защитник христианства своего времени. Будучи сыном римского центуриона, он досконально изучил греческую и латинскую философию, историю и литературу. Сегодня он известен нам своими словами «Это достоверно, потому что это невозможно»,

и поэтому в его мышлении мы склонны видеть и подчеркивать, как правило, чудесное и мистическое начало. Но в наследии Тертуллиана присутствуют также и множество других компонент, включая глубокое уважение к человеческим, особенно римским, достижениям в области культуры. Чарльз Н. Кокрейн в работе «Христианство и классическая культура» привлекает наше внимание к этой стороне творчества Тертуллиана. За два века до «Града Божьего», отмечает Кокрейн, мы видим, как Тертуллиан защищает христианство от нападок в том, например, что с приходом именно этой религии началось разложение Рима; в том, что она породила военные, политические и экономические проблемы, с которыми продолжают сталкиваться римляне. Тертуллиан отвечает на эти обвинения, используя риторическую апелляцию к истории: вся история человека на Земле, утверждает он, была отмечена разрушениями, после которых, однако, цивилизация выходила на новый, более высокий уровень. Что до отречения христиан от своих римских предков, он в своей страстной манере заявляет: «Своей одеждой, пищей, привычками, наконец, даже своим языком вы отреклись от своих предков. Вы постоянно восхваляете древность, но с каждым днем вы вносите новшества в свою жизнь.

Задумайтесь о том, что основные обвинения, которые вы предъявляете нам, а именно — в том, что мы отказываемся от обычаев, унаследованных нами от предков, равным образом могут быть предъявлены вам самим...

Если рассмотреть весь этот мир, то не останется сомнений в том, что в ходе своего расширения он стал более обустроенным и населенным (*cultior de die et instructior pristino*). Теперь можно добраться до каждой из дальних земель, все они исследованы и доступны для торговли. Дивные поместья сменили ранее пустоши, пашни заменили лес, домашний скот вытеснил диких животных, бесплодная земля стала давать плоды, камни превратились в почву, болота осушены, число городов сегодня превышает число обособленных хижин старых времен, острова больше не внушают страха, а скалы — ужаса: везде люди, везде основаны поселения, всюду — человеческая жизнь...»

Этот пассаж ни в коей мере нельзя считать чем-то странным, не имеющим никаких философских оснований в мировоззрении Тертуллиана. Мыслитель утверждает, что изменения, преобразования и развитие присущи миру и жизни в этом мире. Законы движения, говорит Тертуллиан, могут быть обнаружены в движении небесных тел, в ходе солнечного года, фазах луны, в смене дня и ночи, шторма и штиля и так далее. Земля в целом претерпела серьезные изменения. Когда-то она была покрыта водой, что доказывается присутствием морских раковин на вершинах гор, утверждает Тертуллиан. Закон физических изменений относится как к животным, так и к людям, которые с первобытных времен распространились по всей земле.

Следующий комментарий заметно отдает мальтузианством. Тертуллиан стремится доказать, что развитие человеческих искусств было таково, что население большей численности, чем в древние времена, стало создавать проблемы демографического давления: «Самым убедительным доказательством перенаселенности является то, что мы, люди, стали, в конце концов, бременем для земли, — плодов природы едва хватает, чтобы подкреплять нас, и давление общей нехватки приводит к росту жалоб, поскольку земля не может более нас обеспечивать. Мы бы поразились, если бы поняли, что необходимы чума и голод, война и землетрясение, которые спасли бы нас, урезав и сократив переизбыток населения».

Так же этот поборник Веры ценил то, что было достигнуто, и даже то, что достигалось, как он писал, посредством реформ: «Каких только реформ не видел наш век! Вспомните города, которые возвели, расширили или восстановили наши современные, трижды благословенные властители, да благословил Господь многих августейших, как одного! А какие переписи они провели! Каким только народам ни дали отпор! А классы общества, которые они прославили! А варвары, которых они сдерживали! Истинная правда, что эта империя стала мировым садом».

То, что в то время на самом деле назревали кризисы, которые римляне не смогли преодолеть, как ясно показала история III века, в настоящем контексте лишь подчеркивает прогрессивный характер мышления Тертуллиана. Он не был

первым и не стал последним из тех, кто возвещал о счастье человека и величии его достижений в канун суровой депрессии и надвигающегося военного поражения. Ничего из того, что я только что процитировал, не может сместить центр трудов и учения Тертуллиана с божественного, духовного и вечного. Однако важно то, что даже в уме, столь сосредоточенном на Боге и Христе, каким был Тертуллиан, очевидны были греко-римские основы — основы, которые включали в себя не просто интерес к светскому миру, но и надежды, возлагаемые на него.

Евсевий (чья знаменитая «Церковная история» была впервые закончена примерно в 303 году), крупнейшая фигура в области христианской теологии в следующем поколении после Тертуллиана, был назван Кокрейном «первым в длинной цепи церковных политиков, прошедших по европейской сцене». Помимо страстности, сопровождавшей его христианскую веру, в нем оставалось достаточно места для воистину превосходного служения Риму и Константину, которым он восхищался. Именно он сидел справа от императорского трона во время исторических заседаний Никейского собора, и мы имеем все основания полагать, что на уме Евсевия прежде всего была не невидимая вечная церковь, а явно видимая и все более и более земная церковь, которой он блестяще служил как епископ Кесарийский.

Роберт Ханнинг в своем «Видении ранней истории Британии» (Robert Hanning, *The Vision of History in Early Britain*), заявив, что, по его мнению, в трудах Евсевия нельзя найти универсального принципа прогрессивного развития, добавляет: «И все же его взгляды на Рим и на его роль в провидении, безусловно, прогрессивны и подразумевают развитие». Ханнинг продолжает: «Для Евсевия Константин больше, чем просто освободитель христианства, он также герой-император, который достиг мира и объединил империю после периода напряженной гражданской войны. Размышляя над кульминацией двойного кризиса, церкви и империи, Евсевий впервые сформулировал свою концепцию места империи в божественном провиденциальном плане истории и места церкви в истории; то есть он допустил принцип развития или прогресса в свою христианскую историографию».

Константин, отмечает Ханнинг, стал для Евсевия «последним патриархом», новым Авраамом, в котором в буквальном смысле воплощается обетование, данное Аврааму; Римская империя, возглавляемая Константином, становится определяющей провиденциальной силой в истории и обещает христианам перспективу вечно торжествующего и совершенствующегося общества...»

Вергилий за три века до того в своем пеане к Августу и к новому золотому веку едва ли превзошел, по крайней мере по данной теме, то, что Евсевий мог сказать о своем императоре Константине: «Господь Бог наш, наивысший правитель Вселенной, по Своей воле назначил Константина, потомка столь прославленного родителя, быть принцем и повелителем...». Первостепенным в подходе Евсевия к христианству и возлюбленному им Риму является то, как он искусно сплел их вместе нитями институтов. Он считал, что они глубоко зависят друг от друга, что каждый достигает высочайшего уровня смысла и авторитета благодаря связи друг с другом. Евсевий почти не сомневался, подчеркивает Кокрейн, что век Константина обещает «всеобщий и вечный мир» на Земле, — воплощение мечты Древнего Рима, выраженной в *Pax Romana*^{*}, но отныне, с победой христианства, вознесенной на гораздо высший уровень идеального и реального. Христианство путем искоренения местных, разрозненных и непременно соперничающих между собой идолов помогло Риму установить политическое единство и мир, а Рим при помощи своей империи и благодаря расположению к нему запланированного Богом прогресса дал христианству базу, необходимую для церковной экспансии и развития.

Но давайте теперь обратимся к нашему *pièce de résistance*^{**} — фрагментам из Книги 22 «Града Божьего» Св. Августина, посвященным материальному прогрессу. Эти фрагменты с тем же успехом могли быть написаны Софоклом или Лукрецием или, если уж на то пошло, Кондорсе или Годвином в XVIII веке. Августин так же был очарован изобилием и многообразием человеческой

* Римский мир (лат.). — Прим. перев.

** Главное блюдо (франц.). — Прим. перев.

расы на Земле и воспевал, как это мог бы делать любой грек, «эту вложенную в человеческие тела удивительную силу семени, еще более удивительной, чем сила, которую образуется само семя». Он сравнивает рост и развитие человечества с «рекой» или «потоком», который несет добродетели и пороки человека вниз по течению времени. Бог, безусловно, является автором или архитектором всего этого, но Он дал человеку, так же, как и животным, «некую плодоносную силу, вследствие которой одни люди производят других, сообщая им и саму возможность этой производительности, но только возможность, а не необходимость».

Эволюционизм, присущий в этом разделе труда Августина, столь же очевиден, сколь и в любом тексте Гераклита или Аристотеля. Для Августина недостаточно считать Бога Создателем, Сущим, сотворившей весь мир и человечество в состоянии их расцвета. Именно греческая черта в мышлении Августина привела к тому, что он показал Бога в прогрессистском, эволюционистском свете. Бог «именно тем действием, которое доселе делает, творит так, что развиваются семена и из скрытых и невидимых своего рода оболочек раскрываются в видимые формы красоты». И та же самая греческая черта отвечает за две или три страницы, следующие после восхваления Августином плодородия и роста в органическом царстве, с пением в честь чудес светской культуры, искусств и науки, не имевшим себе равных по масштабу и силе вплоть до конца Средних веков и начала современной эпохи. Рассмотрим следующий абзац: «Ибо кроме искусств жить нравственно и достигать безмерного блаженства, которые называются добродетелями и сынам обетования и царствования сообщаются единственно благодатью Божией во Христе, не изобретено ли гением человеческим и не изучается ли столько и таких искусств, отчасти необходимых, а отчасти и касающихся удовольствий, что эта превосходящая все другие сила ума и разума даже и в такого рода излишних, даже опасных и губительных знаниях, которых она жаждет, показывает, какое великое благо имеет человек в своей природе, благодаря чему он смог или изобрести эти искусства, или научиться им, или научить им других?».

Это воистину необычайный фрагмент в работе автора, о котором бесчисленное количество раз говорили, что он не обращает внимания на предметы мира сего. Обратите внимание на некоторые его слова: «гений человеческий», «изобретено», «необходимых», «излишние изобретения» и т.д. И задумайтесь о той дани, которую Августин в том же разделе отдает достижениям человека на Земле, начиная с далекого прошлого по настоящее время. Этот отрывок начинается со слов: «Кто в состоянии пересказать, до какого удивительного и изумительного производства одежд и построек дошла человеческая изобретательность, каких успехов достигла она в земледелии и мореплавании». Затем следует безоговорочное, радостное восхищение живописью, скульптурой и керамикой, изготовленными за все века, драмой и искусными актерами, всеми оригинальными приспособлениями, с помощью которых можно ловить диких зверей и после либо приручать, либо убивать, и вкусной едой, которую можно готовить. «Сколько выдуманно приправ к кушаньям для удовольствия и раздражения горла!» Точно так же он восхищается разнообразием языков, которые породил человек, наукой чисел и изучением природы: «С каким искусством определены движение и порядок небесных светил, какое достигнуто знание мировых предметов; кто сможет пересказать все это?» — и великими системами философии и истории, которые, при всех их ошибках, в не меньшей степени свидетельствуют о величии человека и силе его разума.

Св. Августин не лишен и эстетической оценки самого человека, его физических и психических способностей. Человек не ступает по земле, подобно животным, но «устремленная к небу фигура его тела напоминает ему мудрствовать о горнем». Языку и рукам человека присуща «подвижность», которая позволяет ему говорить и писать. Эстетике человеческого тела, по Св. Августину, присущи и функциональные свойства. «По крайней мере, мы не видим в теле ничего, сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты». Он выражает надежду, что сложные взаимоотношения между нервами, мускулами, венами и всеми внутренними органами, которые сейчас еще недостаточно поняты, со временем станут из-

вестны лучше. Будучи религиозным человеком своего времени, Августин, разумеется, неоднозначно относится к операциям, необходимым для выяснения сего. Он говорит о «жестокости пытливости медиков», которая приводит некоторых анатомов к расчленению тел мертвых и даже «больных, умерших под их ножами», но в то же время он очевидно демонстрирует свое восхищение тем, что уже было узвано, и выражает надежду, что со временем найдутся люди, достаточно «смелые» для осуществления необходимого анализа тела и мозга, которые объяснят нам «согласованность или, как говорят греки, «гармонию» всего тела снаружи и внутри...»

Не менее восторженно Св. Августин отзывается о мире природы: «А какими словами может быть определена красота и польза других тварей, любоваться и пользоваться которыми божественная щедрость дозволила человеку, хотя и обреченному и осужденному на труды и злополучия? — красота, заключающаяся в разнообразной и многообразной красоте неба, земли и моря, в таком обилии и в такой удивительной роскоши света, в солнце, луне и звездах, в тенистости лесов, в красках и благоухании цветов, в множестве щебечущих пестроперых птиц...»? Он рассказывает нам, как великолепно работа муравьев и пчел, «удивляющая нас больше, чем громадное тело китов», и как величественно море своей силой и красотой. «Как приятно смотреть на него даже тогда, когда оно волнуется, и эта приятность становится еще большею потому, что наблюдателя оно ласкает (надеждой), что не выбросит и не разобьет мореплавателя?» (Неизвестно, знал об этом Августин или нет, но это предложение почти дословно повторяет начальные строки 2-й Книги Лукрециевой «О природе вещей»; и действительно, стиль и содержание всего этого пассажа у Августина в значительной степени отсылает к великой поэме Лукреция.) В дальнейших комментариях и цитатах нет необходимости. Но, действительно, ни до, ни после мы не встретим в западной мысли более выразительных и даже лирических слов о величии человека и его трудов, о красоте человека и природы, чем те, которые мы находим в множестве работ Св. Августина. Для Августина, безусловно,

Божественная воля и бесконечная самоотверженность по отношению к человеку лежат в основе человеческого величия и красоты. Эта самоотверженность была бы невозможна без беспрестанного воздействия воли Божьей. Но история западной общественной и политической мысли по большей части состояла не в изменении представлений августинианского христианства и не в их дополнении. Наоборот, она состояла в устранении, особенно в Западной цивилизации Нового времени, теистических посылок, имевших, с точки зрения Августина, решающее значение для прогресса и усовершенствования, но могущих казаться ненужными в более вольнодумную эпоху — как, например, в XVIII веке, — когда сами представления о прогрессе казались самодостаточными.

ДУХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Одно из заблуждений относительно христианства, которое кажется неискоренимым, состоит в том, что христианству приписывается интерес исключительно к духовному и утверждается, что оно движимо исключительно верой в грядущее вечное бытие. Но этого нет сейчас и не было во времена Отцов Церкви. Доктрины Пелагия, жившего в V веке, дают нам важный ключ к пониманию того, до какой степени христиане интересовались достижением совершенства в этой жизни, на этой Земле; и такое совершенство, хотя оно и было, по Пелагию, прежде всего предметом личного поиска, могло с легкостью приобрести общественный и политический контекст. Да, мы знаем Пелагия как еретика, в основном в результате многочисленных нападков Св. Августина на его доктрину о совершенстве, которое человек должен достичь в этом мире с помощью своей свободной воли. Но, как показал нам Джон Пассмор (John Passmore) в своем глубоком исследовании всей концепции совершенствования в западной мысли, христианство на протяжении всей своей истории испытывало напряжение между августинианской верой в двойное предопределение и пелагианской (как бы ни скрывалось его авторство) верой в способность каждого индивидуума и каждой эпохи в обществе реформировать, обновлять и освобождать себя прямо *сейчас*, без необходимости терпеть все земные по-

роки и зло, в то время как совершенство достижимо лишь в ином мире. О том, насколько глубоко идеи Пелагия проникли в сознание Августина, можно заключить не только по чрезвычайной энергичности, с которыми Августин их анализировал и отвергал, но также по степени, в которой они, подобно отвергаемым им манихейским идеям, тем или иным образом окрасили его поздние воззрения на моральные и социальные реформы в этом мире.

Герхарт Б. Ладнер в своей авторитетной работе «Идея реформы: ее влияние на христианскую мысль и деятельность в эпоху Отцов Церкви» (Gerhard B. Ladner, *The Idea of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers*) дал нам, вероятно, самое детальное и показательное описание озабоченности ранних христиан реформированием и развитием их общества. Ладнер пишет: «В современную эпоху понятие и идея реформы применяются к обновлению и целенаправленному усовершенствованию многих вещей, чаще, впрочем, социальных единиц и институтов, а не отдельных лиц. Истоки христианской идеи реформы, напротив, связаны с основой евангельской и павлианской доктрины человеческой личности: к опыту ее обновления во Христе... И все же, несмотря на личный, индивидуальный характер христианской идеи реформы, довольно рано она стала действовать как *над-индивидуальная сила...*» (курсив мой. — Р. Н.).

Вплоть до XIX века — а зачастую и на всем его протяжении, а также в нашем веке — идея реформы, направленной либо на индивидуума, либо на общественный порядок, почти без исключений несла в себе весть о *возвращении, обновлении или восстановлении*. Даже видение революции, как подчеркнул Мелвин Ласки, было основано (при метафорическом использовании, освобожденном от преобладавшего в XVI—XVII веках астрономического контекста) на идее возврата или обращения вещей к своему изначальному состоянию. Большая часть реформизма XVIII—XIX веков исходит непосредственно из религиозного или светского видения прошлого, наделяемого большими достоинствами, нежели настоящее, и потому заслуживающего быть восстановленным путем прямых действий.

Подобным образом идеи раннего христианства о *reformatio, renovatio, restauratio* и *regeneratio**, подразумевающие духовное, но также и материальное, политическое и социальное усовершенствование, были укоренены в психологии обновления, психологии, которая, как я только что отметил, сумеет сохранить свою силу на Западе на протяжении всех последующих веков. Такие термины, говорит нам Ладнер, использовались Григорием Великим, когда он предлагал освободить рабов; Григорий особо говорит об изначальной свободе, которой обладают люди. Подобная же посылка лежит в основе надежды Алкуина на то, что при Карле Великом началось *обновление* мудрости и знаний. В XII веке Св. Бернар Клервосский говорил о вступлении в монашескую жизнь, как о преобразовании; в самом деле, цистерианский монах конца того века относился ко всей истории монашества как к одной из последовательных реформ этого мира.

«В то время, — пишет Ладнер, — индивидуальные и монашеские осуществления идеи реформы уже начали расширяться и превращаться в новую концепцию реформы Церкви и христианского общества».

Профессор Ладнер справедливо и убедительно показывает монашеское движение с момента его зарождения на Западе как движение, направленное в равной степени на реформирование этого мира и на личное реформирование самого себя. Воспринимать бенедиктинский, цистерианский, францисканский и другие ордена просто как способ побега из этого мира, как гавань, где посвященные люди стремятся подготовить себя к неизбежному концу этого мира и к переходу в иной, вечный мир — было бы по меньшей мере необоснованно. Существует значительное число исследований, показывающих, насколько неразрывной была цепочка технологических изобретений, сопровождавшая монашескую жизнь с раннего монастырского периода вплоть до Нового времени.

Но здесь нас интересуют не столько монастыри, сколько то направление мысли, которое присутствовало в гре-

* Преобразование, обновление, восстановление, возрождение (лат.). — Прим. перев.

ко-римском христианстве с ранних времен, которое служило образцом не только для монахов, но и для многих других христиан. Это направление мысли касалось предметов этого мира, нуждавшихся в улучшении, среди них — земледелие, ведение точных записей для пользы будущих поколений, измерение времени, подготовка новых, более долговечных и красивых книг и множество других вещей, которые, возможно, никогда не приобрели бы той важной роли, какую они играли в жизни монахов-христиан, если бы всерьез ожидалось скорое прекращение жизни на этой Земле.

Однако в первую очередь меня здесь интересует отношение Св. Августина ко всему этому. Зачатки монашества глубоко укоренены в писаниях Августина, подчеркивает Ладнер. Монашество западного общинного типа было для Августина примером очень важного *общественного* характера христианства. Он «резко заявляет вновь и вновь, — пишет Ладнер, — о своем твердом решении не терпеть в своей Церкви духовных лиц, которые по-настоящему не ведут “общественную жизнь” (*vitam nostram socialem*)...». Есть письменные свидетельства того, что интерес Св. Августина к «общественной жизни» выходил далеко за пределы христианства как такового. Он включал в себя неизменный интерес к политическим и экономическим делам этого мира. Его восхищение Римским государством и его историей почти безгранично, и он даже предполагает, что Рим развивался под присмотром Бога для того, чтобы подготовить идеальную и обширную политическую организацию, в пределах которой христианство могло взрасти лучше всего и распространиться среди наибольшего числа людей.

Но при всей важности, которую имел интерес Св. Августина и других ранних христиан к социальной реформе для истории идеи прогресса, есть и другие аспекты его мысли, которые оказались еще более влиятельными, сыгравшими еще более существенную формирующую и направляющую роль, чем этот интерес. Я говорю о его экуменическом видении, о его размышлениях о человеческом роде в ее целостности как о базисе христианства; о его интересе к течению времени, к эпохам и векам — т.е. к разделению времени; о его доктрине исторической необходимости;

и, не в последнюю очередь, о захватывающем видении конфликта как динамической компоненты истории, каковым, по его представлению, является конфликт между двумя градами.

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В современном мире идея прогресса в самой ее распространенной форме, как правило, относится не столько к какому-то определенному народу или стране, сколько к тому целому, которое мы называем человеческим родом, человечеством. Большинство философов прогресса обращались (и в той мере, в какой они существуют в наше время, все еще обращаются) к человечеству в целом, именно для него формулируя принципы и законы. То, что любой конкретный народ, империя, нация или государство имеет тенденцию со временем терять ту силу, которая способствовала его (ее) подъему, приходиться в упадок и даже погибать, хорошо понимали Кондорсе, Конт, Спенсер и другие мыслители, конструировавшие свои системы прогресса человечества в XVIII—XIX веках. Но для них бесконечно важным был тот факт, что прогресс человечества в целом гарантирован, независимо от того, что может произойти с отдельным народом на земле. Прежде чем свет той или иной великой культуры погаснет, он отразится в каком-то другом, новом, растущем народе, который в этот момент встанет в авангарде развития человечества.

Именно христианство наиболее систематически и последовательно выдвигало на первый план идею человечества и, что еще важнее, идею *единства* человечества. Как мы уже убедились, греки и римляне прекрасно знали о существовании других народов, живущих на Земле, даже таких отдаленных, как китайцы. И обращение к «человеку», конечно, часто встречалось в античных трактатках прогресса. Достаточно вспомнить фразу Протагора «человек — мера всех вещей» и оду Софокла, воспевающую чудеса, сотворенные человеком на Земле. Но ни это, ни знание о существовании в мире огромного числа разных народов и культур не есть то же самое, что укоренившаяся концепция о человеческом роде или человечестве, наделенном собственным существованием, объединенном и обладающим способностью к раз-

витию и прогрессу в течение долгого времени. Эта концепция отличает западную цивилизацию, и ее нельзя обнаружить примерно до 200 года. Именно тогда христианские теологи, стремившиеся поддержать тему вселенского характера Церкви и ее доступности всем людям, независимо от семейного положения, местности проживания, этнического или культурного происхождения, и утвердить идею власти Бога над *всеми* народами на земле, обнаружили, что они в своих текстах все больше и больше выходят за пределы римской цивилизации, устремляясь к человечеству!

Именно в «Граде Божьем» Св. Августина идея универсальности общественных связей и единого человечества находит наиболее сильное и насыщенное выражение. Бог создал только одного человека, говорит нам Августин, но «не для того, конечно, чтобы оставить его одиноким, без человеческого общества, но чтобы тем самым сильнее возбудить в нем стремление к общественному единству и к узам согласия, коль скоро люди соединены между собой не только сходством природы, но и связями родства». Бог позаботился о том, продолжает Августин, чтобы создавать женщину не непосредственно и отдельно, «но из него же [мужа] самого, чтобы весь род человеческий распространился от одного человека».

Попутно можно заметить антропологический интерес Августина к неизбежной проблеме родственных отношений и возможности инцеста, связанной с таким способом сотворения людей — сперва одного человека, а потом женщины, сотворенной из его тела, и все это ради полного единства всего человечества. В самом начале, когда Адам и Ева зачинали детей, инцест был неизбежен, говорит нам Августин, и потому должен считаться благом. Поначалу у людей не было альтернативы — они должны были брать в жены своих сестер. Но, разумеется, это не могло продолжаться долго, утверждает Августин, так как ситуация заметно изменилась уже к третьему поколению людей. Внуки могли подыскивать себе пару не среди сестер или братьев, но среди кузенов. Если бы мужчины вместо этого выбирали своих сестер, что было свойственно и необходимо для второго поколения, вся структура, иерархия и власть рода оказались бы под угрозой. Если бы братья

женились на сестрах, «один и тот же человек был бы для своих детей... и отцом, и тестем, и дядей; также и жена его была бы для этих детей и матерью, и теткой, и тещей». Поэтому с самых ранних времен жизненно необходимо было установить запрет на инцест, и не из-за того, следует заметить, что было что-то действительно унижительное в сексуальной связи между братом и сестрой (это считалось чистым, и было таковым среди детей Адама и Евы), но из-за путаницы, которая повредила бы общественным взаимоотношениям. Августин говорит нам о том, что отказ от запрета сексуальных союзов среди близких родственников «ослабил бы общежительный союз».

Последнее замечание по поводу теории Августина об инцесте и необходимости табу на инцест. Он мог бы приписать внезапное возникновение табу на инцест непосредственному вмешательству Бога, поскольку нет никаких сомнений, что для Августина присутствие Бога во времени и пространстве было постоянным. Но мы узнаем, что запрет на инцест возник в результате человеческих действий, «обычай с превосходящей моралью [по сравнению с законами]». Обычай, замечает Августин, «имеет наибольшую силу».

Обычаи, традиции, уклад и привычки сыграли большую роль в том, что Августин называет «образованием рода человеческого» в на больших отрезках времени. Он рассматривает прогресс человечества (выше мы убедились, каким сиянием окружен материальный прогресс в его описании) как аналог длительного процесса накопления знаний отдельным индивидуумом.

«Как идет правильно поставленное образование одного человека, так и образование рода человеческого, насколько это касалось народа Божия, совершалось в известные периоды времени, как бы по возрастам, возводя его от временного и видимого к пониманию вечного и невидимого».

В этом утверждении Августина чувствуется что-то от размышлений Ксенофана о прогрессе, высказанных в конце IV века до н.э. Напомним, что Ксенофан говорил об этом следующим образом: «Боги не открыли людям все с самого начала, но люди, в процессе самостоятельных поисков, со временем открывают лучшее». Хотя теология Августина во многом опиралась на Ветхий Завет, с его тематикой

Бога-Создателя и Бога-Промыслителя, постоянно вмешивающегося в дела мира и придающего миру новое движение, в ней присутствует и значительное влияние греческих идей о развитии, накоплении достижений и интеллектуальном прогрессе, прежде всего в его концепции «образования рода человеческого». Эта фраза будет популярной и у западных авторов — в XVIII веке Лессинг написал небольшую, но влиятельную книгу, заголовком к которой послужила как раз эта фраза, книгу, в которой в значительной мере использовался тезис Августина. Еще важнее аналогия, проведенная Августином между родом людским и гипотетическим индивидуумом, который живет и воспитывает себя на протяжении длительного времени. Эта аналогия не раз появляется в философских трудах, написанных позже Августина, наиболее очевидным образом — в светской мысли XVII, XVIII и даже XIX веков, хотя крайне сомнительно, чтобы Фонтенель, Перро, Тюрго, Кондорсе и Конт, использовавшие эту фразу, хотя бы в малейшей степени подозревали, что она была плодом ума Св. Августина.

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Идея единого линейного течения времени, охватывающего собой все, происходившее с человечеством в прошлом, и все, что произойдет с ним в будущем, каким бы кратким ни было это будущее, принадлежит тому же уму, который изобрел концепцию единства человечества. Для Августина осмысление времени всегда представляло собой проблему, имеющую характер почти навязчивой идеи. В своей «Исповеди» он спрашивает: «Но что такое время?» Он отвечает: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю...; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю: если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени».

Самым удивительным в рассуждениях Августина о времени является его понимание того факта, что все, что мы считаем «прошлым» и «будущим», в действительности — всего лишь конструкции, существующие внутри настоящего времени.

«...Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего».

Но, несмотря на это пронизательное понимание субъективной и укорененной в настоящем природы времени, Августин тем не менее способен обращаться с категориями прошлого, настоящего и будущего так, будто они столь же объективны и реальны, как и все остальное во Вселенной. Прежде всего, он сосредоточен на решении задачи установления единого линейного потока времени, сопровождающего и составляющего контекст «образования рода человеческого». Так, в Книге 12 «Града Божьего» в недвусмысленных выражениях говорится, что время есть творение Бога, и поэтому оно столь же реально, как и любое другое божественное творение. «...Он сотворил времена, и человека, которого прежде никогда не создавал, и сотворил во времени не по новому и внезапному, а по вечному и неизменному решению».

Время, следовательно, является, по своей природе, реальным, объективным и линейным. Для Августина, опиравшегося на историю, как она изложена в Ветхом Завете, время, кроме того, является конечным. Он с презрением относится к тем, кто рассуждает о времени в терминах вечности, а также тех, кто, подобно манихеям, убежден в том, что прошлое простирается на гораздо большую глубину, чем это допускается авторами Ветхого Завета. Для Августина, исходившего из вычислений, сделанных ранее Евсеием, между сотворением мира и настоящим моментом прошло 6000 лет. Критикам такого взгляда на время Августин отвечает следующими словами: «Если их озадачивает краткость времени, если им кажется, что прошло слишком мало лет с того момента, когда по свидетельству наших писаний был сотворен человек, то пусть примут во внимание, что ничто не долговременно, что все имеет какой-нибудь последний предел, и что все определенные пространства веков, если сравнить их с беспредельной вечностью, должны считаться не малыми, а равными нулю».

Предположим, рассуждает он, мы дадим прошлому шестьсот или шестьсот тысяч лет, или в шестьсот и в шестьсот тысяч раз больше. И тогда «можно будет задать все тот же вопрос: почему человек не сотворен ранее?» Нам сейчас легко (как это было и для множества философов — современников Августина) расценивать аргументы Августина в пользу 6000 лет как библейский буквализм. Нужно признать, однако, что вопросы, которые он бросает скептикам своего времени, сохранили свою адекватность и полемическую силу и сейчас. Ведь и сейчас, при наличии абсолютно иной доказательной базы, при понимании того, что измеряемое время имеет значительно большую глубину, введение времени — измеряемого времени — в картину эволюции мира продолжает нас беспокоить и выводить из равновесия.

Стремясь показать линейный характер потока времени, Августин избирает в качестве предмета критики и осуждения теорию повторяющихся циклов. Здесь, как неоднократно указывали исследователи творчества Августина, он создает для своих нападок соломенное чучело. Августин, по сути дела, создает пародию на имевшую место у греческих философов веру в цикличность времени, когда пренебрежительно пишет о «тех философах», которые говорят о необходимости признать бесконечную последовательность циклов, такую, что в рамках каждого цикла повторяются одни и те же события, действия и персонажи, имевшие место в предыдущем цикле: «...как философ Платон учил... в Академии, так и за несметное число веков прежде... повторялись тот же Платон, та же школа и те же ученики; и впоследствии, по прошествии бесчисленных веков, снова должны повториться».

Как мы видели, некоторые греки и римляне мыслили понятиями великих временных циклов, но я не знаю никого, кто когда-либо утверждал, что в пределах таких циклов имеет место детальное повторение конкретных событий и лиц. Однако, как мы можем заключить, Августин видел свою задачу не столько в описании фактов, сколько в том, чтобы опрокинуть любое возможное возражение против своего понимания конечного и линейного времени.

Для августиновой концепции рода человеческого, идущего вперед по пути совершенствования, огромное, поистине стратегическое значение имело также представление о *необратимости* времени. Предполагать, что мы можем, если захотим, вернуться на какую-то раннюю стадию развития человечества, либо, что мы можем с помощью вдохновения переместить себя в состояние, которое в настоящий момент еще не существует для нас с нашим теперешним уровнем развития, с точки зрения Августина, является такой же большой ошибкой, как предположение, что отдельный человек может по своей воле вернуть себя в детство или переместиться в собственную старость. Для Августина время неотделимо от развития, от своего рода постепенного продвижения, которое, как мы видели, лежит в основе идеи прогресса, начиная с появления этой идеи у древних греков. Самым крупным изменением, внесенным Августином в понимание священной истории, воспринятой у евреев в виде Ветхого Завета, было то, что он поставил греческую концепцию *роста*, постоянного осуществления вещами своей истинной и полной идентичности посредством раскрытия того, что существовало лишь потенциально, на место концепции, видящей упорядоченную, предначертанную последовательность вместо развертывания первоначального эскиза. В своем почитании Бога, сотворившего все и все сделавшего возможным, Августин так же красноречив и страстен, как любой автор Ветхого Завета. Но Бог Августина — это сущность, придающая движение и рост однажды посеянному семени. «Он восхотел создать во времени, — говорит Августин, — и не изменил при этом Своего совета и воли».

ЭПОХИ И СТАДИИ

Если и впрямь, как утверждает Августин, существует единое человечество,двигающееся вперед сквозь время, то из этого следует, что такое продвижение можно описать как смену стадий, сменяющих одна другую, аналогично описанию развития отдельного индивидуума, с помощью специально датированных периодов жизни этого человека или с использованием таких терминов, как «детство», «юность», «зрелость» и т.п., когда конкретные даты более или ме-

нее несущественны. Греки, как мы видели, были знакомы с концепцией человека, переходящего в течение длительного периода времени от низших уровней существования к высшим. Но в каком-либо греческом философском или историческом труде сложно, если вообще можно, найти явно выраженную идею об измеримых стадиях или эпохах. Аристотель в своей «Политике» рисует нам картину *полиса*, медленнодвигающегося от момента своего происхождения, восходящего к семье, к союзам семей, к деревням и их союзам, а затем к тому виду политической структуры, в которой он жил. Но ни Аристотель, ни кто-то еще, даже Полибий, и не пытались *соединить* идеи развития и периодизацию событий истории.

Именно это мы встречаем у Августина: попытки представить процесс «образования рода человеческого» в виде сменяющихся «эпох или, как бы, возрастов», характеризующих движение человечества вперед. Это представление дается на основе описания действительных исторических народов прошлого и, что является еще более смелым новшеством, в терминах более или менее точно датированных исторических периодов. Можно справедливо возразить, что такое соединение и втискивание действительной множественности истории и времени в единообразную последовательность невозможно. Однако для Августина допущение существования единого и единственного человечества, созданного из (и посредством) Адама и двигающегося вперед в соответствии с имманентно присущим планом, сделало действительное многообразие и особенности письменно зафиксированной истории всего лишь видимостью. Реальность для Августина заключается в единстве рода человеческого и в прогрессе, ведущем к воплощению всего доброго, что есть в ее сути. Независимо от того, возможна линейная последовательность действительных стадий и эпох человеческой истории или нет, самым поразительным в воззрениях Августина стала та степень укоренённости, с которой они вошли в восприятие времени, истории и развития на Западе. Когда Боссюэ в конце XVII века писал свое «Рассуждение о всеобщей истории», он осознанно следовал образцу, заданному Августином, — и не только следовал, но с глубочайшим почтением уточнял его, приводил его положения

в соответствие с теми научными открытиями, которые были сделаны со времени Августина. И Тюрго, когда в середине XVIII века писал свое чрезвычайно важное эссе «О всеобщей истории», отдал должное работе Боссюэ, назвав ее своей точкой отсчета, но при этом предпочел отодвинуть божественное как можно дальше и предпочел датированным эпохам недатированные стадии развития. Из всех значимых фигур XVIII века именно Тюрго в наибольшей мере является зачинателем современной трактовки идеи исторического прогресса. Но как бы ни отличалось его видение от концепции Св. Августина, Тюрго вряд ли может быть понят без предшественников — без длинного ряда работ о веках, эпохах и стадиях, работ, появившихся в ответ на кропотливое исследование истории «человечества» в труде Августина.

Св. Августин не слишком сковывал себя при разделении человеческой истории. Так, мы видим, как в разных книгах «Града Божьего» он использует и двух-, и трех-, и даже шестизвенную схему членения истории на эпохи; в последнем случае подразумевается седьмая стадия, которая должна стать мостом от исторического к внеисторическому. Разделение истории на две части есть не что иное, как различение имевшего место «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова». Очевидно, однако, что здесь вряд ли имеется в виду что-то большее, чем просто прославление Христа, начавшееся почти одновременно с появлением христианской религии. Более интересным (и имеющим языческие корни) является выделение им «юности», «зрелости» и «старости» человечества, с помощью чего он стремится сжато представить события и изменения, произошедшие со времен Адама, вплоть до Рима, который, как верил Августин, был близок к разрушению.

Но не это членение, а другое — шестизвенное — обеспечило Августину место зачинателя западной традиции философии истории. Первая эпоха продолжалась от Адама до Ноя. В тот период человечество было занято прежде всего удовлетворением основных материальных нужд. Согласно Августину, во время второй эпохи — от Ноя до Авраама — появились и распространились языки, возникли различные народы. Третья эпоха, начавшаяся с Авраама и закончив-

шаяся Давидом, представляла собой окончание «юности» человечества и его вступление в «зрелость». Четвертая эпоха исчисляется от Давида до Вавилонского пленения; пятая длится от пленения до появления Христа; и шестая эпоха начинается с Христа и длится до времен, предсказать сроки которых Августин не стал даже пытаться. Он говорит только о том, что «теперь идет шестая, которую не следует измерять никаким числом поколений ввиду того, что сказано: “Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти”».

Интересно отметить, что Августин в работе «О творении против манихеев» (*De Genesi contra Manichaeos*) — в самой ранней из своих работ, где трактуются вопросы, поставленные Книгой Бытия, и написанной в ответ на насмешки и критику манихеев, отказывавшихся полностью доверять Книге Бытия — использует, как отмечает Ладнер, физиологически-эволюционистские термины для описания своих шести стадий, представленных в «Граде Божьем», как мы видели, в историко-хронологической манере. Термины, которые он использует в своих ранних работах для обозначения последовательных стадий, — это *infantia* (детство), *pueritia* (половое созревание), *adolescencia* (юность), *juventus* (молодость), *senioris aetas* (зрелый возраст) и *senectus* (старость). Влияние греческой идеи органического развития здесь очевидно.

Однако в «Граде Божьем» нам обещано больше шести стадий. В самом конце книги он упоминает седьмую эпоху на Земле: «...этот седьмой век будет нашей субботой, конец которой будет не вечером, а Господним, как бы вечным, восьмым днем, который Христос освятил Своим воскресением, предызображая этим вечный покой не только духа, но и тела».

То, что Св. Августин имел в виду, кратко упоминая седьмую, предконечную, эпоху, конечно, не отличается определенностью и ясностью. Сам я склонен полагать, что он считал это пророчеством будущего тысячелетнего царства, когда на Земле наступит своего рода золотой век. В конце концов, он говорит об этой седьмой стадии как о «нашей субботе, конец которой будет не вечером, а Господним... восьмым днем...» Очевидно, что и эта эпоха — не конечный

пункт назначения человечества, поскольку таковым является описанная Августином *восемья* эпоха, которой суждено длиться вечно и начаться лишь после прекращения существования этого мира. Чем еще может быть седьмая эпоха, как не тысячелетним царством на Земле, провозглашение которого Иоахимом Флорским несколько веков спустя имело столь далеко идущие последствия и которым в XVII веке грезили пуритане Англии и Америки?

Несмотря на эту мою трактовку седьмой эпохи, на мой взгляд, данный вопрос еще далеко не закрыт. Действительно, в главе VII книги 20 Августин отмежевывается от тех, кто известен «под именем тысячников» (милленариев). Но едва ли этого достаточно для разрешения вопроса. Поскольку он утверждает, что его главные претензии к этой группе связаны с их увлеченностью «неумеренными плотскими пиршествами» в честь тысячелетнего царства. И затем он говорит, что их мнение [о надвигающемся тысячелетнем царстве, обещанном в Откровении Иоанна Богослова] «могло бы быть до некоторой степени терпимо, если бы предполагалось, что в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от присутствия Господня...».

И в главе XXX Книги 20 есть интереснейший фрагмент, в котором Августин формулирует свое видение завершающей последовательности событий перед концом света. Среди этих событий — обращение евреев, царство Антихриста, второе пришествие Христа, суд Христов («Христос будет судить»), разделение добра и зла, а также сожжение и «обновление» мира («мир будет сожжен и обновлен»). Сам Августин завершает этот пассаж словами: «Что все это произойдет, тому следует верить; но каким образом и в каком порядке оно будет, это лучше покажут тогда сами события; в настоящее время человеческое разумение не в состоянии возвыситься до полного понимания предмета. Полагаю, впрочем, что произойдет это в том порядке, в каком у меня изложено».

Некоторые ученые, например, Норман Кон и Марджори Ривз, просто объявляют Августина нон- или анти-милленаристом. Для Ривз огромная значимость Иоахима Флорского в XII веке заключалась в его отказе от этого аспекта учения Августина и в его утверждении тысячелет-

него царства (миллениума), эры духовного совершенства на Земле.

Однако я не думаю, что доводы в пользу антимилленаризма Августина так уж просты и ясны, какими их хотят представить. Если мы посмотрим на конкретные события, свершение которых предсказывает Августин «в том порядке, в каком у меня изложено», если мы вспомним, что даже в том фрагменте, где он критикует так называемых милленариев, он это делает потому, что они упирают на материальное и телесное, а не на духовное начало, и если мы рассмотрим конкретное предсказание Августином седьмой эпохи, ждущей нас впереди и *предшествующей* последней, восьмой, вечной эпохе, то у нас будут все основания полагать (несмотря на наличие других отрывков из Августина, казалось бы, противоречащих этому), что он предвидел будущее прогрессирующее наступление блаженного периода для человечества *на Земле*— и до попадания блаженных на небеса.

Вне зависимости от полного и точного установления позиции Св. Августина в отношении тысячелетнего царства мы можем констатировать, по крайней мере со II века, наличие среди христиан фанатичных милленариев (хилиастов). Существовали, например, монтанисты, бывшие сперва просто локальной группой во Фригии. С 177 года, ставшего годом одного из самых массовых римских гонений на христиан, монтанизм стал очень распространенным. Центральным догматом монтанистов была их вера в скорое пришествие Христа и в явление во Фригии Нового Иерусалима. Этот догмат, впрочем, со временем изменился под влиянием распространения монтанизма, приверженцы которого стали верить в то, что Новый Иерусалим появится где-то еще, возможно, в Риме, а возможно, и на всей Земле. Стоит подчеркнуть: сам великий Тертуллиан стал монтанистом.

Короче говоря, с самых ранних времен христианство четко отделяло милленаризм от веры в небесное будущее. Этот милленаризм пришел и ушел, по крайней мере в своих крайних проявлениях. Но нельзя понять возникновение современной светской идеи прогресса в XVIII веке и позже без того, чтобы принять во внимание многократное

возрождение христианского миллениаризма, вроде того, которое имело место у пуритан в XVII веке и которое само до некоторой степени было вдохновлено восходящими к XII веку идеями миллениариев-иоахимитов.

Я упомянул монтанистов II века. Но Ф. Х. Брабант в своей незаслуженно малоизвестной работе «Время и вечность в христианской философии» (F. H. Brabant, *Time and Eternity in Christian Thought*) датирует веру христиан в тысячелетнее царство I веком. Уже тогда ранние христиане, опираясь на еще более раннюю иудейскую веру в миллениум, который должен был наступить с приходом Мессии, «чувствовали, — пишет Брабант, — что Земля не годится для Царствия Божьего, если за временной Эпохой Мессии на Земле последует день Страшного Суда и пришествие Царствия Небесного». Еще более важным является то, что Брабант детально показывает, насколько неразумна попытка определить точную продолжительность тысячелетнего царства или любой другой эпохи, предшествующей к вечному Царствию. Так, если в книгах Ездры сказано, что мессианское царство продлится 400 лет, то в другом ветхозаветном апокрифе*, Книге Баруха, говорится о том, что «власть (Мессии) продлится на века, пока миру порока не настанет конец», и в Сивиллином оракуле говорится, что «Мессианское Царство продлится “на все века”». Как заключает Брабант, греческий *αιον* (век), встречающийся в Септуагинте и в подобном значении упоминавшийся у эллинистических евреев и грекоязычных христиан, включая Святого Павла и многих его последователей, — это очень гибкий термин, сам по себе не обозначающий какую-либо определенную продолжительность времени. «Никогда, — пишет Брабант, — в Новом Завете слова *αιον* и *aionian* не

* Автор тем самым относит Третью книгу Ездры, где содержится упоминание о 400-летнем мессианском царстве (3 Езд 7, 28), к числу апокрифов, что терминологически некорректно. Эта книга принадлежит к числу «неканонических», т. е. она не включена в еврейский (масоретский) канон священных книг и в канон Ветхого Завета протестантских деноминаций. Однако православная и римско-католическая церкви признают неканонические ветхозаветные книги богодухновенными, а не апокрифическими, в отличие от действительных апокрифов, вроде упомянутых далее книг Баруха и Еноха. — *Прим. науч. ред.*

использовались для обозначения ограниченных промежутков времени». Само слово «миллениум» или, по крайней мере, это понятие, «впервые появляется в так называемой «Славянской Книге Еноха», датированной периодом от 1 до 50 года н.э. и известной в славянском переводе XI века. Оно получено комбинацией Быт 2, 2 («и почил [Господь] в день седьмый»), а также Пс 89, 5 («пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний»): «за шестым тысячелетием труда последует тысячелетие отдыха».

Из богатой смеси до- и постхристианской иудейской миллениаристской мысли, а также греческой метафизики и науки, христианство ко II веку получило хорошо разработанную доктрину миллениаризма, которая содержала яркую картину будущего рая на Земле, когда Небеса опустятся на Землю. Ничто в христианской мысли не оказало такого глубокого и прочного влияния не только на Запад, но и на весь мир, как это видение тысячелетнего царства. Нам было бы трудно объяснить появление на свет социальных утопий Сен-Симона, Конта и, в особенности, Маркса (с их уникальным и ужасающим вкладом в политический ландшафт XX века), если бы не существовало долгой и влиятельной традиции христианской хилиастической утопии, которая смогла быть до некоторой степени секуляризована при сохранении всей своей апокалиптической мощи.

НЕОБХОДИМОСТЬ

Особый отпечаток на современные теории прогресса наложило убеждение таких мыслителей, как Сен-Симон, Конт, Фурье, Спенсер и Маркс (да-да, именно Маркс, несмотря на позднейшие интерпретации), в том, что описываемый ими прогресс, который имел место в прошлом и настоящем и который сохранится в будущем, ни в коей мере не есть результат «случая» в том пренебрежительном смысле, в котором это слово употреблял Спенсер, то есть либо ряда счастливых стечений обстоятельств, либо событий, рассчитанных, запланированных и желаемых людьми с гуманистическими склонностями. То, что привело этих мыслителей и их многочисленных современников к убеждению, что открытые ими законы прогресса представляют собой элементы социальной *науки* (которую, по их

мнению, они создавали), представляло собой некое качество, называемое необходимостью. Речь шла о том роде необходимости, которую находили физики в законах движения тел, сформулированных в «Началах» Ньютона, и которую обнаруживали (или могли обнаружить) биологи в рамках дарвиновской теории естественного отбора и происхождения видов.

Но идея необходимости, применимая к человеческой истории и, прежде всего, к будущему, вряд ли является продуктом науки в том виде, в каком мы ее знаем по таким дисциплинам, как химия и физика. В действительности, идея необходимости ни в коей мере не является продуктом исключительно рационального. Она в такой же степени есть дитя религии, особенно августинианского христианства. Это понятие, рожденное из соединения иудейской священной истории и греческого интереса к процессам роста в природе. Действительно, история, которую мы видим в Ветхом Завете, воспринималась евреями в качестве «необходимости», в том смысле, что каждый момент истории был реализацией Божьей воли. Но Св. Августин, исходя из греческой метафизики роста, добавил к иудейской вере в божественное управление телеологический взгляд на необходимость. Он взял еврейское и греческое понятия и объединил их в линейной перспективе времени, которое одновременно было священным, естественным и необходимым. Необходимым, во-первых, потому что, по словам Августина, «все многообразие рода человеческого было воплощено в первом человеке», и, во-вторых, вследствие «сотворение рода людского во времени... без всякого нового плана или изменения первоначальной цели Бога». Другими словами, прогресс человечества происходит из той потенции прогресса, которая была заложена в адамовом семени, давшем начало всему роду людскому, и из того факта, что ничто, даже изменение Божественного замысла, не может отменить единожды предустановленный план прогресса, сдвинув его с естественного и необходимого пути. В предельно простой формулировке это выглядит так: «целенаправленный рост» плюс «неизменный план Провидения» равно «необходимость». Августина вряд ли можно называть деистом в современ-

ном смысле этого слова, и еще меньше — научным детерминистом XIX века. Для него Бог есть вечно присутствующая реальность. Но при этом существует непрерывная цепь от вышеприведенного суждения Августина ко взглядам мыслителей XVII и XVIII столетий, для которых Бог, как правило, был не более, чем Перводвигателем, и потому мог спокойно позволить своим природным законам работать самим по себе. Эту цепь продолжают идеи ученых XIX века, как верующих, так и не верующих в Бога, считавших, что и природа, и общество функционируют, подчиняясь неизменным законам порядка и развития.

Именно эта неизменность веры в историю как в необходимый процесс позволила Августину с презрением относиться к идеям судьбы, шанса и просто случайности. Его знаменитая трактовка «воли и необходимости» в начале «Града Божьего» ярко демонстрирует все, что он говорил по данной теме. Августин критикует стоиков, которые, желая освободить хоть что-нибудь из-под действия божественной необходимости, приписали человеку наличие воли, свободной от необходимости, позволяющей ему свободно решать и поступать по собственному желанию. Августин полностью принимает свободную волю как неискоренимую часть природы человека. Действительно, он с высочайшим уважением относится к такой воле: «...если мы захотим, *будет*; если мы не захотим, *не будет*, потому что мы не должны изъяслять волю, если мы сами не хотим».

Но, несмотря на утверждения стоиков, настаивает Августин, необходимость все же господствует.

«[Если мы определяем] необходимость как то, из-за чего мы говорим, что необходимо, чтобы что-либо было той или иной природы или чтобы что-либо было сделано так или этак, я не знаю, почему мы должны испытывать ужас перед этой необходимостью, которая забирает свободу нашей воли. Поскольку мы не используем слово «необходимость» в отношении жизни Бога или предвидения Бога, как если бы мы сказали, что Бог вынужден жить вечно и предвидеть все; его могущество так же не уменьшается, когда мы говорим, что Он не может умереть или допустить ошибку, поскольку это невозможно для Него, поскольку если бы это было для Него возможно, у него было бы меньше силы».

Таким образом, Бог, по своей природе имеющий полную меру свободной воли и являющийся творцом человечества и плана, от которого человечество (а также и Бог) никогда не отклонится, позаботился о том, чтобы *сделать* свободу воли *необходимо* присущей человеческой природе — свободу воли, подчиненную только свободной воле самого Бога и, конечно, не подвластной воле других существ или сил во вселенной.

«Так, наши воли *существуют* как воли и сами делают то, что мы желаем, то, что не было бы сделано, если бы мы не желали. Но когда кто-то страдает от чего-то, не желая того, по воле кого-то другого, даже в том случае воля сохраняет свою главную ценность: мы не имеем в виду волю стороны, причиняющей нам страдания, поскольку мы отдаем ее во власть Бога... Поэтому какие бы страдания не испытывал человек против своей воли, он не должен приписывать их воле людей, ангелов или любых тварных духов, но лишь воле Того, кто дает волям силу...»

Таким образом, для Августина воля любого человека свободна в истинном смысле слова — она позволяет ему стремиться к добру или злу, жаждать истины или лжи, а также отвечать за свои поступки. Но эта воля, хотя и является свободной в контексте индивидуальной жизни человека, тем не менее есть часть суверенной воли Бога и сформирована по Его провидению. Индивидуум свободно изъявляет свою волю, но то, чего он желает, регулируется и должно регулироваться необходимостью, связующей всё с миром и Богом.

Я не утверждаю, что решение Августином этой знаменитой проблемы свободы воли и необходимости является удачным (а чье решение этой проблемы когда-либо было таковым?), но нужно признать, что в его трактовке заложены все основные элементы будущих дискуссий на эту тему, идущих вплоть до сегодняшнего дня. Просто подставьте «природу», «окружающую среду» или «историю» на место августиновского Бога, Его суверенитета и Провидения, и вы получите в только что процитированном отрывке замечательный образчик того вида рассуждений о проблеме, который составляет неотъемлемую часть западной философии вплоть до наших дней. Даже сегодняшние дискуссии

марксистов на тему «практики» имеют отчетливый привкус августинианства, притом, что Бог у них заменен на, скажем, «фазу исторического развития», а свободная воля — на «индивидуальную волю». Есть все основания назвать западную философию серией примечаний к Св. Августину (эту высокую оценку покойный А. Н. Уайтхед предпочел отдать Платону).

Августин использует понятие «необходимости» еще и в другом смысле, имеющем очень современное звучание. Кокрейн проясняет нам этот смысл, указав на концепцию дискретных исторических событий и действий у Августина. Каждое такое событие уникально в своем роде и может выглядеть всего лишь случайностью, игрой фортуны. Но Августин точно так же возражает против такого использования понятия «случайность», как он был против него применительно к концепции свободной воли и необходимости. «То, что мы зовем случайностью, — пишет Августин, — это просто нечто, причина и следствие которого скрыты от нашего взгляда». Кажущиеся капризы истории, произвольность событий не означает, в толковывает нам Августин, что и в самом деле в мире царит случай или что имеет место вмешательство каких-то изменчивых космических сил. Все события и действия связаны — как между собой во времени, так и с окружающим контекстом. Излишне напоминать, что такое освобождение событий, происходящих с людьми, от категорий случайного, или иррационального, и помещение их в паутину исторической закономерности, или необходимости, станет в XIX веке секулярно-научной догмой. Для Августина этот закон или необходимость на Земле есть просто объективация Бога. Но конты и марксы XIX века без труда отбросят Бога применительно к этому вопросу (да и к другим тоже).

Августин использует идею необходимости еще в одном смысле, тесно связанном с тем, что неявно присутствует в его взгляде на всеобщую историю как «цепь рождений и смертей». Из того, что во времени существует железная взаимосвязь между людьми, действиями, событиями и их окружением, нерушимым образом связанными друг с другом, следует, что время и место нахождения определенных людей, действий или событий есть *единственное возможное*

время и место. Как отмечает Кокрейн, для Августина невыносима идея, согласно которой некий человек, сколь угодно одаренный, может «не соответствовать своему веку». Таким образом, мы, как историки, не имеем права наделять людей одной эпохи свойствами людей других эпох.

КОНФЛИКТ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Мы не можем завершить рассмотрение философии прогресса у Августина без анализа его доктрины «двух градусов», Града Божьего и Града Человеческого, и прежде всего — без рассмотрения непрекращающегося бескомпромиссного и критически важного конфликта между ними, конфликта, который начался почти одновременно с появлением человеческой расы и продлится до тех пор, пока, наконец, не восторжествует Град Божий. В западной мысли понятие конфликта как движущей силы, обуславливающей изменения и развитие, появилось, разумеется, очень давно. Оно восходит к досократикам, в особенности к Гераклиту. Так же совершенно очевидно, что это современная идея, для популяризации которой в XIX столетии и для вбрасывания которой в общественную мысль XX века немало сделали Гегель и Маркс в своих работах. Идея диалектики, будь то в греческой форме, выведенной из риторики, или в той форме, которую ей придали Гегель и Маркс, есть всего лишь вариация более фундаментальной идеи конфликта, необходимого для генерации развития. Различия в природе конфликта (между особями одного вида, как у Дарвина, между классами, как у Маркса, либо между проявлениями Духа, как у Гегеля) имеют меньшее значение, чем подчеркивание обязательности наличия конфликта для развития.

Историческая мысль Августина тоже не может быть понята без обращения к его идее конфликта. Как «сотворение» является для Августина длительным процессом развертывания, развития того, что заложено в потенциале или скрыто присутствует с самого начала, так и конфликт является абсолютно важной, имманентной, действенной причиной этого развития. «В первом человеке, — пишет Августин, — была заложена основа (хотя и неявно, но в предвидении Бога) этих двух городов или двух обществ рода человеческого».

«Мы делим эту расу на две части: на первую, состоящую из тех, кто живет по меркам человеческим, и вторую, из тех, кто живет по меркам Божьим. В мистическом значении мы называем их двумя городами, двумя сообществами людей, одному из которых суждено вечно править вместе с Богом, а другому — страдать от вечного наказания вместе с дьяволом».

Августин поясняет, что весь род человеческий, населяющий Землю, распадается на два типа городов или общин: «И так случилось, что, хотя есть множество разных и великих наций по всей Земле, чьи обычаи и традиции, речь, оружие и костюм имеют собственные отличительные особенности, все же существует не более двух видов человеческих сообществ, которые мы справедливо можем назвать двумя городами... Один состоит из тех, кто хочет жить, подчиняясь плоти, другой — из тех, кто живет, подчиняясь духу».

Для динамического компонента августиновской философии истории наиболее важным является присутствие в истории конфликта или борьбы между двумя градами. Только этим обеспечивается процесс совершенствования: «Все человечество отпало от Бога в Адаме. И так же, как душа Адама была разделена грехом, так и все люди были настроены друг против друга от эгоизма. Зависть Каина, которая была бы невозможна в Эдеме, породила убийство в мире, где каждый поглощенный собой индивидуум стал сам по себе собственным маленьким богом, собственным судьей и мерой добра и зла, лжи и истины».

Как отметил Томас Мертон, различие между двумя градами у Августина сводится к различию между двумя видами любви. Собравшиеся в Граде Божьем объединены общей любовью к Богу и друг к другу *в* Боге. в то время как попавшие в другой город озабочены лишь собой и поэтому безразличны к Богу. Сам Августин писал: «Эти два города были созданы двумя видами любви: земной город — любовью к себе и презрением к Богу, небесный город — любовью к Богу и презрением к себе».

Однако тема конфликта у Августина не ограничивается борьбой между этими двумя градами. Он подчеркивает, что конфликт существует и *в пределах* земного, человеческого

града. «Этот град, — пишет он, — часто восстает против себя самого с помощью тяжб, войн, ссор и таких побед, которые либо разрушают жизни, либо недолговечны. Поскольку каждая сторона, вооружаясь против другой стороны, стремится восторжествовать над нациями, которые сами зависимы от порока».

Конфликт присущ роду человеческому и будет длиться до тех пор, пока Град Небесный не утвердится раз и навсегда, потому что: «...основатель земного города был братоубийцей. Обуреваемый завистью, он убил своего брата, гражданина вечного града и лишь временно пребывавшего на Земле. Так что нам не следует удивляться, почему этот первый вид, или, как говорят греки, архетип преступления долгие годы впоследствии повторялся при попытках основания этого града, которому суждено править столькими нациями и встать во главе града земного, о котором мы говорим».

КОНЕЦ И НАЧАЛО

Мы подошли к тому, что для средневекового и современного мира представляется во многих отношениях самым главным в наследии Св. Августина, независимо от того, пошло ли это на пользу или во вред. Я говорю о его роковом объединении идеи необходимого разрушения, с одной стороны, с идеей спасения — с другой. Начиная с Августина, на Западе преобладает — с редкими отступлениями — традиционная озабоченность проблемой построения совершенного общества, будь то на этой Земле или в мире ином. Условием построения такого общества является неизбежный период лишений, страданий, огня и разрушения. Свойственное современности увязывание разрушительной, насильственной и террористической революции с обещанием конечной утопии представляет собой лишь светский вариант, или риторическую модификацию аналогичного увязывания, которое можно наблюдать на протяжении Средних веков и Реформации. Это увязывание берет начало в «Граде Божьем» Августина, хотя нельзя забывать и о воздействии Откровения Иоанна Богослова, оказавшей такое мощное влияние на Августина и других христианских хилиастов, живших во времена Августина и позднее.

В разделе 16 книги 20 главы XVI, носящем название «О Новых Небесах и Новой Земле», мы находим сердцевину той традиции мысли и действия, которую я только что описал. Эта суть — разрушение как таковое. Ибо как можно достичь идеала добра, пока не будет искоренено все порочное и злое? Каждому читателю без особых пояснений ясно, насколько эта идея современна. Но она в то же время является августинианской и свойственной христианскому Средневековью. Августин цитирует Откровение Иоанна Богослова: «И я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И далее, все еще цитируя Откровение, Августин приводит важные слова: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежали небо и земля».

Августин добавляет: «Поскольку как только те, кто не записан в книге жизни, будут осуждены и брошены в вечный огонь... тогда образ этого мира исчезнет в пожаре вселенского огня, как однажды в прошлом мир был затоплен в потоках вселенских вод. И в этой вселенской конфигурации все качества элементов, поддающихся искажениям и пригодных для наших поддающихся изменениям тел, погибнут, и наша субстанция получит такие качества, которые с помощью чудесного превращения будут гармонизировать с нашими бессмертными телами, — как обновится и станет лучше сам мир, так и они приспособятся к людям, обновят свою плоть и улучшат ее».

Неважно, что эсхатология Августина была, по меньшей мере, сложной системой. Кто усомнится в магнетической притягательности, которую слова в последней части процитированного отрывка позднее имели для тех, для кого, начиная, возможно, с Иоахима Флорского в XII веке, *renovation mundi* (обновление мира) — которое в теории является только подготовкой к пришествию божественной вечности — само по себе станет еще более ослепительным?

Вернемся к фрагментам Августина, в которых речь идет о счастье, ожидающем в будущем спасенных, и которыми завершается его книга. Нельзя не изумиться тому, как обдуманно Августин вводит чисто светские ценности и награды в то, что для него является бытием постмирским,

постисторическим. Например, согласно Августину, сохранится телесная красота: «Поскольку все части телесной гармонии, распределенной по всему телу, внутри и снаружи, о которых я только что говорил, что сейчас они ускользают от нашего понимания, будут поняты; и вместе с другими великими и чудесными открытиями, которые сделают рациональные умы во славу великого Создателя, придет восхищение красотой, которая тешит разум. Какой мощью движения будут обладать эти тела, я не отваживаюсь поспешно определить, поскольку не могу ее постичь. Тем не менее я скажу, что в любом случае, как в движении, так и в покое, они будут красивы...»

Но в утопических размышлениях Августина есть и много другого, из чего можно понять, в какой мере земные надежды, устремления и идеалы задают темы его разговора о небесном. Так, он зачарован славой, как зачарованы многие утописты, принадлежащие к светской традиции. «Тогда настанет истинная слава, поскольку ее не будет лишен никто из тех, кто ее достоин, и она не будет дана недостойным; и не будет ни один недостойный просить ее, поскольку никто, кроме достойных, не сможет там находиться». Поскольку будет там то, к чему мы больше всего стремились на Земле, а именно — мир. «Истинный мир будет там, где никто не будет страдать от противостояния самому себе, либо кому другому». Что мог иметь в виду Бог, спрашивает Августин, в Книге Левит (26, 12), когда Он сказал: «И буду вашим Богом, а вы будете Моим народом»? Он мог иметь в виду только одно, и здесь мы обращаемся к словам Августина: «Я буду вашим искуплением, Я буду всем, что люди честно желают: жизнью, здоровьем, пищей, изобилием, славой, честью, миром и всем самым лучшим». Мы вынуждены заключить, что у Августина присутствует в высшей степени мирской и даже плотский образец в его видении хорошей жизни. Как отмечалось выше, он публично осудил миллениаризм за то, что он обещает верным «плотское» вознаграждение наряду с духовным. Но, читая заключительные абзацы «Града Божьего», можно сделать единственный вывод: описание «духовных» наслаждений на грядущих небесах у Августина имеет определенно земной, человеческий привкус.

Значительную часть последующего западного утопизма, имеющего продолжительную историю вплоть до Маркса и его последователей в XIX — начале XX века, в зачаточной форме можно найти уже в следующем отрывке: «Но кто может постичь, не скажу описать, какая доля чести и славы будет дана за разный уровень добродетели? И все же нельзя сомневаться, что доли будут. И в этом благословенном граде будет великое блаженство, так как никто низший не сможет завидовать высшим, как сейчас ангелы не завидуют архангелам, потому что никто не захочет иметь то, что он не получил, хотя и будет состоять в тесной связке с тем, кто получил; как в теле палец не хочет быть глазом, потому что обе части тела гармонично вплетены в общую структуру тела. И так, вместе с этим даром, каждый сможет получить дар удовлетворения желаний, больше или меньше, но не больше, чем он желаний имеет».

В этом фрагменте мы видим попытку Августина решить целый ряд вопросов, которые будут занимать умы утопистов XVIII—XIX веков: место в социальной иерархии, равенство, зависть, соотношение между потребностями и способностями, заслугами и вознаграждением и т.п. Точно так же у Августина мы обнаруживаем свидетельства его озабоченностью кажущимся противоречием свободной воли, которое будет иметь место в обществе Града Небесного, где люди будут пользоваться этой свободой в чистом виде и в полной мере, несмотря на то, что зло будет уничтожено и не может быть никаких искушений:

«Мы не должны предполагать, что, поскольку грех больше не имеет притягательной силы, нужно отменить свободу воли. Напротив, она будет более истинно свободной, потому что будет освобождена от притяжения греха и сможет испытывать непреходящее удовольствие от безгрешности... Или мы должны говорить, что сам Бог не свободен, потому что Он не может грешить? В том городе посему будет свобода воли, одна на всех граждан, неотделимых друг от друга, лишенных зла, наполненных добром, наслаждающихся вечными радостями, забывших о грехе, забывших о страданиях, но не забывших о своем происхождении настолько, чтобы не испытывать благодарности к своему Спасителю».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У Св. Августина, в особенности в его «Граде Божьем», присутствуют все по-настоящему важные и существенные элементы западной идеи прогресса: человечество, или человеческий род; последовательное улучшение материального и духовного состояния человечества, развертывающееся во времени; единая временная структура, в которую могут быть вписаны все когда-либо существовавшие и ныне существующие цивилизации, культуры и индивидуальные судьбы людей; идея времени как однонаправленного потока; концепция стадий и эпох, каждой из которых соответствует та или иная цивилизация, группа цивилизаций или уровень развития культуры; концепция социальной реформы, укорененной в постижении истории; вера в историческую необходимость и в неизбежность достижения грядущего конца истории или ее цели; идея конфликта между городами, странами и классами, рассматриваемого как двигатель исторического прогресса; и, наконец, тот характерный для Августина энтузиазм, с которым он рисует картину будущего в психологических, культурных и экономических терминах, которые останутся важнейшими терминами описания будущего почти во всех утопиях последующих столетий: изобилие, безопасность, равенство, свобода и покой. И справедливость!

ГЛАВА 3

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ

В начале XIII века христианская идея прогресса переживает свой расцвет. В письменных текстах XII—XIII веков прослеживаются обе идейные нити, которые я выше охарактеризовал как главные для европейской концепции прогресса человечества — с одной стороны, представление о постоянном, накопительном культуре по мере движения из глубин прошлого к отдаленному будущему и, с другой стороны, сосуществующая с этим представлением вера в золотой век морали и духовности, который должен наступить на Земле в будущем.

Эпоха XII—XIII веков отличилась поразительной новизной и смелостью мысли как в материальной, светской, так и в религиозной сферах. В этом она была схожа с прежними периодами истории (в античных Греции и Риме), когда осознание идеи прогресса в сфере искусства и науки было широко распространено. Многие философы, художники и инженеры XIII века, вероятно, оглядывались вокруг и испытывали то же самое ощущение актуального и будущего прогресса, что и Протагор, Аристотель, Лукреций и Сенека.

Историки долгое время рассматривали интеллектуальное наследие Средних веков в богословском контексте. Считалось, что и мысль, и жизнь этой эпохи сводится почти исключительно к размышлениям о духовном и сверхъестественном и имеет минимальное касательство к этому миру. Однако это время давно прошло. В результате исследований, проведенных в XX веке (эти исследования продолжаются и сейчас, приводя ко все новым открытиям), мы убедились в том, что по уровню своих интеллектуальных и культурных свершений Высокое Средневековье принадлежит к числу величайших эпох мировой истории. Это касается не только искусства или гуманитарного знания, но в не меньшей степени развития науки и технологии.

Время, о котором я говорю, не было случайной мутацией, внезапным расцветом, не имевшим никаких корней. В последнее время мы также узнали от историков, насколько яркими были предшествовавшие столетия, те самые,

которые долгое время назывались Темными веками. Так, X век, в соответствии с открытиями, сделанными лордом сэром Джорджем Кларком, ознаменовался выдающимися достижениями в искусстве. Кларк говорит об этом в своей ставшей знаменитой работе «Цивилизация» (Sir George Norman Clark, *Civilization*): «Поражает количество созданных в то время предметов искусства и ремесла. Например, покровители искусств из числа императоров и королей, такие как Лотарь и Карл Толстый, заказывали множество манускриптов с обложками, украшенными драгоценными камнями, и посылали эти манускрипты другим правителям и церковным иерархам в качестве подарков. Век, в котором красивые вещи ценятся как средство воздействия на людей, не может быть назван только варварским».

Другой выдающийся искусствовед, Мейер Шапиро, рассказывает нам в своей недавней работе «Романское искусство» (Meyer Schapiro, *Romanesque Art*), что не нужно ждать так называемого Возрождения XV века, чтобы обнаружить светское искусство высшего качества. Шапиро пишет, что к XI—XII векам «...в рамках церковного искусства в Западной Европе возникла новая сфера художественного творчества. Не имея религиозного содержания, она была наполнена спонтанностью, индивидуальной фантазией, восторгом от цвета и движения и такой манерой выражать чувства, которая предвосхищает современное искусство. Это новое искусство, возникшее на периферии религиозного, сопровождалось осознанным запросом зрителей на то, чтобы работа мастера, материалы и художественные средства, помимо религиозного смысла, обладали бы самостоятельной красотой».

Как показала покойная Хелен Уэддел в своих переводах средневековой латинской поэзии (при этом самые ранние произведения относятся к VIII—IX векам), вышедших двумя отдельными томами, существовало значительное количество поэтических произведений, написанных вовсе не на одни религиозные темы. В прекрасном переводе Хелен Уэддел образцы средневекового поэтического воображения многое поведали нам о природе и ее славе, воспеваемой в пейзажах, о красоте любви между мужчиной и женщиной, о глубине личности и самопознании. Многое здесь выраже-

но с очарованием, способным покорить любой ум, занятый созерцанием этого мира. Конечно, существовал огромный пласт поэзии, имеющей сильно выраженную христианскую тематику (это же, однако, характерно и для XIX века!), но отрицать за людьми того времени живой интерес к окружающим их природе и обществу было бы грубым упрощением.

Как ясно показал в своей большой серии исследований Линн Уайт, современный представитель той традиции в исторической науке, начало которой положил Пьер Дюгем, в эту эпоху наука и технология были также предметом пытливого внимания. Уайт отмечает, что железо приобрело огромное значение уже в каролингскую эпоху, когда изделия, производившиеся из металла, полученного из железной руды, характеризовались разнообразием и множеством сфер применения. Это был период, когда, наряду с другими значимыми изобретениями, появились имеющие огромную важность железный топор и плуг. Достигнутая при их изготовлении степень совершенства и эффективности была неизвестна во времена античности. Новый способ обработки почвы при помощи плуга, ставший возможным вследствие усовершенствований, применявшихся при изготовлении инструментов из железа в начале Средних веков, вызвал к жизни новую систему землепользования, сделавшую возможной новый тип поселений и обработки земли (ядерная община, имеющие широкую, если не всеохватную систему внутренних связей), просуществовавший в течение многих веков, вплоть до современной эпохи*.

Как показал Л. Уайт, в действительности «изобретение изобретений» относится не к XV или к XVI векам — оно свершилось уже в XIII веке, положив тем самым подлинное начало «кризису отношений между человеком и природной средой». Человек и природа, продолжает Уайт, стали отныне двумя разными объектами, «причем, человек стал господином». Что касается совместимости христианства и науки, то, как пишет Уайт, «Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон и Теодорик Фрайбургский осуществили потрясающе тонкие

* Имеется в виду так называемая система открытых полей, при которой земли общины разделяются между ее членами для индивидуальной обработки. — *Прим. науч. ред.*

исследования по оптике, связанные с явлением радуги. Начиная с XIII века и до Лейбница и Ньютона включительно, каждый крупный ученый объяснял свои намерения, фактически, в религиозных терминах». Долго сохранявшееся убеждение в том, что средневековый человек не интересовался природой или ее преобразованием, — это совершенный абсурд. В своей недавней интереснейшей работе «Средневековая машина: промышленная революция Средних веков» (Jean Gimpel, *The Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages*) французский социолог и историк Жан Гимпель убедительно показал, что период с X до начала XIV века представляет собой «одну из самых великих изобретательских эпох в истории человечества». Более того, как указывает Гимпель, промышленный динамизм того времени сопровождался «психологическим динамизмом», который не только воздействовал на многие области мысли и практической деятельности, но и положил начало действию тех сил, которые после относительного упадка XIV—XV веков расцвели в XVII—XVIII столетиях, то есть в тот период, который обычно считается *началом* современной трудовой этики, а также промышленной или машинной революции.

Строго говоря, нельзя даже утверждать, что средневековые ученые не осознавали необъятности Вселенной за пределами Земли. В конце концов, Птолемей за много веков до этого времени заявил, что Земля — всего лишь точка по сравнению с полной звезд Вселенной. Артур Лавджой в своей работе «Великая цепь бытия» (Arthur O. Lovejoy, *The Great Chain of Being*) цитирует высказывание Маймонида по этому вопросу: «И если Земля является не более, чем точкой относительно сферы неподвижных звезд, то каково вообще может быть место рода человеческого во Вселенной?» Лавджой приводит следующее утверждение Роджера Бэкона: «Самая малая из видимых звезд больше Земли; но в сравнении с небесами эта звезда фактически ничто... Согласно Птоlemeю, размеры неба таковы, что неподвижная звезда совершает свой оборот не менее, чем за тридцать шесть тысяч лет, хотя и движется с невообразимой быстротой. А вокруг Земли можно обойти менее чем за три года».

Здесь не важна истинность или ошибочность подобных вычислений. Единственное, что важно, это содержащееся

в приведенных построениях неявное опровержение мнения, господствующего до сих пор, согласно которому мир средневекового человека был мал и ограничивался только этой Землей. Лавджой справедливо отмечает, что количественные параметры, которыми оперировала средневековая астрономия и космография, могут считаться незначительными по сравнению с сотнями миллионов световых лет, с которыми астрономы работают сегодня, но они, тем не менее, отражают столь высокую степень понимания Вселенной, что мы редко соглашаемся признать это.

Точно так же, как средневековая мысль смогла вместить беспредельную вселенную, в ней нашлось место и для того, что представляется ее полной противоположностью — для индивидуума. Несмотря на общепринятый взгляд на средневекового человека как на существо, полностью подчиненное корпоративным и поселенческим сообществам, трудно представить, чтобы исторический период, столь богатый на инновации в искусстве, ремеслах, архитектуре, технологии, экономике и философии, как Средние века, стал был возможным без весьма определенного представления о человеке как об отдельной личности, обладающей индивидуальностью. Таким образом, та роль в открытии мира и человека, которую, начиная с Мишле и Буркхардта, обычно приписывают Ренессансу, было бы более правильно отнести к XII—XIII векам. Как пишет Колин Моррис в своем «Открытии индивидуальности: 1050—1200 годы» (Colin Morris, *The Discovery of the Individual: 1050—1200*): «Открытие индивидуальности стало одним из самых важных изменений в культуре в период между 1050 и 1200 годами. Это открытие не принадлежит какой-либо определенной группе мыслителей. В самых разных общественных кругах могут быть обнаружены его главные характеристики: сосредоточенность на самоопределении личности, интерес к отношениям между людьми и к роли личности в общественной системе. ... “Познай самого себя” — было наиболее часто упоминаемым предписанием».

Моррис является далеко не единственным современным медиевистом, настаивающим на реальном, *осознанном* присутствии индивидуума в средневековом сознании. Сильвия Трапп (Sylvia Thrupp) показала нам многообразие

экономических и торговых контекстов, в которых индивидуумы действовали с такой степенью самостоятельности и предприимчивости, которую мы обычно связываем с более поздними периодами европейской истории. Вальтер Ульман в своем труде «Индивидуум в средневековом обществе» (Walter Ullman, *The Individual in Medieval Society*) сделал по сути дела то же самое в отношении политических и юридических реалий Средних веков. Кроме того, как показывает наблюдение Этьена Жильсона, тогда не было недостатка и в понимании *физических* аспектов индивидуума: «Один из сюрпризов, поджидающих историка [средневековой] христианской мысли, состоит в той интенсивности, с которой тогда говорилось о ценности, достоинстве и бессрочной принадлежности человеческого тела. Христианская концепция человека почти всеми воспринимается как более или менее тотальный спиритуализм... Но к немалому стыду для большого числа историков и философов, факты говорят о прямо противоположном. Святой Бонавентура, Святой Фома Аквинский, Дунс Скот и даже сам Святой Франциск Ассизский — каждый из них и все они в совокупности были людьми, которые относились к этому вопросу с благожелательностью, уважали свои тела, превозносили достоинства тела и никогда не желали отдельных судеб для тела и души».

Сошлемся еще раз на двухтомник выполненных Хелен Уэддел переводов средневековой поэзии, в который вошли произведения, написанные в период с начала IX и до конца XIV века. Во многих из этих стихотворений присутствует не только понимание природы и ее красоты, о чем говорилось выше, но также и осознание индивидуальности, красоты отдельного человека и понимание индивидуального характера личности. В этих стихотворениях можно найти также много любовно-романтического. Стиль и тематика некоторых из них позволяют поместить их в какой-нибудь сборник современной любовной лирики, причем найдется весьма мало читателей (если таковые найдутся вообще), которые почувствуют или увидят анахронизм.

Подытожим сказанное. В культуре Средних веков мы находим все главные признаки, указывающие на присутствии веры в прогресс человечества на Земле. Уже тогда наличествует понимание процесса изменений и инноваций,

происходивших в тот период повсюду в Западной Европе (да и как его могло *не быть*, если принять во внимание события этой эпохи?). Кроме того, присутствовало ясное осознание греческого и римского прошлого. Как удачно выразился один историк, если целью Ренессанса (по крайней мере, в Италии) было подражание греко-римским светилам, то целью средневековой культуры было усвоение этих идей и затем использование их как основы для построения нового. Наконец, несмотря на очевидно неискоренимый миф о сосредоточенности исключительно на духовном и потустороннем, разделяемый даже профессиональными историками, тогда же мы видим глубочайший и широчайший интерес к экономическим, политическим и общественным вопросам, касающимся жизни на этой Земле. Добавлю к этому — и к *будущей* жизни на Земле. Роджер Бэкон в XIII веке писал о будущем как о времени, в значительной мере сформированном наукой, когда корабли будут ходить без парусов и вёсел, когда повозки будут передвигаться с большой скоростью и без помощи тягловых животных, когда даже небо будут рассекать «летающие машины». И Роджер Бэкон был далеко не одинок в подобных предсказаниях будущего.

ПРОГРЕСС И ИСТОРИЯ

Интерес, который средневековая культура питала к истории и прогрессу человечества, восходит к трудам Св. Августина и некоторых его последователей. Показав центральное место, которое в христианской вере занимает материальный и духовный прогресс человечества, Августин задал работу своим последователям и продолжателям, которым суждено было доработать, развить, продолжить во времени и, прежде всего, распространить открытую им философию истории. Особый интерес представляют собой двое последователей, принадлежавших к тому же времени, к которому принадлежал сам Августин. Их работы важны для понимания непрерывной преемственности, протянувшейся от Евсевия и Августина сквозь Темные века к началу Высокого Средневековья. Один из них — Проспер Аквитанский, бывший непосредственным учеником Августина, а второй — Иоанн Скот (Эригена).

Как подчеркнул Джордж Боуз в своем «Примитивизме и связанных с ним идеях в Средние века» (George Boas, *Primitivism and Related Ideas in the Middle Ages*), в работах этих двух авторов тема прогресса присутствует уже в полной мере. Проспер сравнивает всю историю человечества с разворачивающейся жизнью в органическом мире. Он пишет: «Не существует ни непрерывного продвижения вперед, ни единой меры. Поскольку труды и дары благодати разнообразны в стольких разных аспектах... Так же, как семена травы и деревьев, рождаемых землей, не имеют одинакового вида, так не имеют одного вида и они... так же семена Божественных даров и ростков добродетели не произрастают на всем поле человеческого сердца разом, потому что это должно будет произойти в будущем, и зрелость не просто найти в семени, и совершенства — в начале».

Самое существенное в аргументации Проспера, конечно, может быть найдено уже в работе его учителя, «Граде Божьем», но Проспер, в соответствии с желаниями Августина, значительно расширил историографию.

Второй из двух последователей Августина, Эригена (Иоанн Скот), также поместил человеческую историю в контекст необходимого раскрытия добродетели в течение длительного периода времени. У Скота мы встречаем очень четкое деление человеческой истории на три великих стадии — временная триада, которой, как мы увидим, будет суждено стать постоянной частью европейской эволюционистской традиции мышления, вначале в религиозных, а затем в светских терминах. Иоанн Скот утверждает, что историю можно разделить на три великие эпохи: первая — это эпоха Закона (Ветхий Завет), вторая — эпоха Духа (Новый Завет) и третья, которая «будет прославлена в будущей жизни, где не будет символов, метафорических неясностей, но лишь чистейшая истина в ее полноте». Вероятнее всего, Скот имел в виду преображенный мир, когда он говорил о «будущей жизни», но можно также вспомнить Св. Августина, намекавшего на Седьмую Эпоху, предсказанную в Откровении Иоанна Богослова, когда люди достигнут полного счастья на этой Земле. И ко времени Иоакима не было уже никаких сомнений, что именно жизнь на этой Земле будет составлять суть третьей стадии.

Можно обнаружить непрерывный ряд подобных интерпретаций истории, начиная со времени Августина. Именно Августин призвал еще одного своего последователя, Орозия, к работе над всеобщей историей: «История против язычников» (*Historia Contra Paganos*). Христианская по образу мысли, эта книга, тем не менее, построена на материале, который можно было получить только в результате глубокого исследования греко-римской истории, как и истории других народов. Здесь история человечества также показана как разворачивание последовательно сменяющих друг друга стадий или эпох. В VII веке Исидор, епископ Севильский, написал свои «Хроники», еще одну всеобщую историю, основанную на работах предшественников, добавив туда множество идей и сведений.

В книге «Хроника, или История о двух царствах», написанной Оттоном из Фрейзинга в XII веке, наряду с преемственностью в отношении вышеупомянутых авторов, имеется значительное приращение как с точки зрения исторической точности (изучены и использованы в качестве источников светские и церковные документы), так и в том, что касается изощренного использования концепции причинности и взаимосвязи. Нэнси Ф. Партнер в своей работе «Серьезные развлечения: сочинения по истории в Англии XII века» (Nancy F. Partner, *Serious Entertainment: The Writing of History in Twelfth Century England*) показала, насколько редко понятие причинности применялось хронистами той эпохи. Хотя события и действия даются в форме последовательно идущих эпизодов, в этих хрониках мало что сделано (если сделано вообще) для того, чтобы объяснить связь между ними путем обращения к мотиву, или другому событию, или контексту. Еще более поразительным является следующее наблюдение Н. Партнер: «...особенность средневековых историй не в том, что они очень сильно пронизаны христианством, а в том, что христианства там мало, и что те исключительно христианские элементы, которые в них присутствуют, очень часто поверхностны и избыточны». Я не могу не отметить, что это еще одна иллюстрация немалого, долгое время недооцененного светского содержания, наличествующего в средневековой мысли и письменных текстах того времени.

Но если средневековые хронисты уделяли недостаточно внимания Богу и механизмам причинной связи, то Оттон отличался от них в этом отношении. Как и почитаемый им Св. Августин, Оттон рассматривает мировую историю как цепь событий, развивающуюся и раскрывающуюся в соответствии с божественным планом, от которого Бог никогда не отступал. Он доводит всеобщую историю до 1146 года, затем она была продолжена другим монахом до 1209 года. Как и у Августина, в этом описании большую роль играет конфликт, трактуемый как перводвигатель. Кроме того, Оттон гораздо более точно идентифицирует исторические эпохи.

Крайне поучителен пролог к третьей книге «Хроники, или Истории о двух царствах», в котором Оттон демонстрирует свою веру в прогресс. Начало всему положил, разумеется, Бог, но то, чему Он положил начало, есть не что иное, как продвижение человечества вперед, которое требует длительного времени для достижения полноты и совершенства. Его описание примитивного характера начальной фазы существования человечества напоминает то, что мы встречаем у Лукреция. Оттон говорит о жалкой и полной страданий жизни первых обитателей Земли, которые были людьми, «лишенными разума, не способными постичь истину, не знакомыми со справедливостью и законами...». Для них не существовало никакого золотого века, сменившегося затем упадком. Оттон пишет: «Затем, по мере того, как эта эпоха постепенно узнала и рост, и прогресс — отчасти вследствие того, что люди стали образовывать союзы, поселяясь совместно, отчасти благодаря объединению их мудрости для установления законов, отчасти посредством мудрости и учений философов — умы людей приобрели способность к постижению более возвышенных понятий о правильной жизни».

Каждое из двух оттоновых царств — царство Зла и царство Христа — проходит в своем развитии через три этапа. Для царства Зла первая эпоха характеризуется как «презренная», вторая эпоха — хуже первой, а третья — хуже второй. «С другой стороны, — уверяет нас Оттон, — первое состояние другого сообщества (народа царства Христа) жалко, второе — благополучно, а третье — совершенно».

Восьмая, заключительная, книга «Хроники» содержит многочисленные утверждения о том, что человечество может ожидать золотого века, в котором состояние счастья и цивилизованный образ жизни продлятся в течение неопределенно долгого периода времени. Однако этот период все равно будет предшествовать гибели земного мира и обретения вечности. «Следовательно, не через разрушение субстанции, но через изменение формы появятся новые небеса и новая земля, с готовыми к новому использованию новой красотой и новыми телами, очищенными устранением всякого неравенства». Как будет показано в конце этой главы, такой же ответ с еще большей уверенностью и пророческой страстью формулировался другим религиозным мыслителем XII века.

Современник Оттона, Ансельм Хавельбергский, по сути дела, решительно утверждал, что духовный прогресс был основой христианской доктрины. Как написал об Ансельме Джон Манди (John Mundy): «Хотя он считал, что люди живут в последнюю из этих трех эпох — той, которая началась с первого пришествия Христа — он полагал, что прогресс есть и в пределах этой эпохи. Для нее было предначертано семь печатей, или периодов, причем сам он живет в четвертом из них, и, несмотря на гонения, каждый период представляет собой одну из вех на восходящем пути Церкви».

Ансельм провозгласил нормальным тот факт, что неизменный Бог позволяет Церкви меняться к лучшему с течением времени, «...поскольку с течением времени знаки духовной благодати неизбежно должны множиться и все в большей степени возвещать истину. Таким образом, вместе с жадной истины с течением времен будет расти знание о ней: вначале обнародовано хорошее. после — лучшее, а в конце концов, — наипревосходнейшее».

И в следующем XIII столетии сохранял свою силу дух прогрессирующего продвижения во времени, медленно, но постоянного и явного. В своей, получившей большое распространение, работе «Краткослов» (*Breviloquim*) Св. Бонаventura писал: «Бог мог создать все это [мир и жизнь в нем] в одно мгновение. Вместо этого он предпочел действовать во времени, шаг за шагом, и сделал он это по трем

причинам. Во-первых, должно было иметь место очевидное и ясное проявление могущества, мудрости и добра, во-вторых, должно было иметь место должное соответствие между днями или временами и действиями, в-третьих, последовательность дней должна была стать *прообразом для всех будущих веков*, так же, как при сотворении были посеяны семена всех будущих существ. Таким образом, различие будущих времен (объясненное выше, когда мы говорили о семи исторических эпохах) произошло как бы из семени, из различия между первыми семью днями».

Интерес к поступательному разворачиванию священной истории, который мы наблюдаем в XII—XIII веках, проявлялся в контексте расцвета историографии как таковой. Джордж Каултон (George Coulton) (которого отнюдь нельзя заподозрить в восхищении Средними веками!) пишет о XI веке как о «подлинном возрождении». В своей недавно опубликованной, целиком основанной на документальных источниках и весьма тщательной работе «Исторические произведения в средневековой Англии» (Antonia Grandsen, *Historical Writing in Medieval England*) Антония Грендсен с восхищением описывала обилие, разнообразие и самобытность этих исторических трудов. Едва ли существует такая сфера человеческого существования, которая не отразилась бы в этих текстах, включая политику, экономику, географию, литературу и архитектуру. То, что мы можем узнать об истинной широте и разнообразии земных интересов средневекового человека из поэтических переводов Хелен Уэдделл, полностью подтверждается детальным исследованием исторических трудов того же периода, проведенным Антонией Грендсен.

Даже по стандартам исторической науки XX века, труды эпохи Высокого Средневековья оцениваются очень высоко. Внимание, воображение, объективность и усердие, с которыми Матвей Парижский (по общему признанию, один из величайших, если не величайший, историк своего времени) подошел к своим исследованиям, тщательное изучение им монастырских уставов и грамот о привилегиях, уставов городов и гильдий, папских посланий и писем от заинтересованных корреспондентов из других стран демонстрируют высокое качество исторического

труда, обеспечившее ему место среди других достижений эпохи — в области архитектуры, физики, технологии, городского планирования и т.д. В следующем веке Фруассар, вдохновленный примером Фукидида, описал, исследовал и интерпретировал события великой войны, ставшей впоследствии известной как Столетняя война. Его хроника, пусть и не всегда точная в деталях, иногда слишком легко жертвующая фактом ради исторической драмы, тем не менее, рисует живую картину эпохи с блеском, редко встречающимся в любые времена.

Принимая во внимание такое обилие исторических работ, появившихся в этот период, неудивителен факт наличия философского интереса к постижению смысла истории, ее цели и конечному итогу. И в подавляющем большинстве случаев такая философская оценка исторического процесса выражалась в риторике прогресса. С этой точки зрения, весьма поучительно то, что говорит нам Этьен Жильсон в своих Гиффордских лекциях «Дух средневековой философии» (Étienne Gilson, *The Spirit of Medieval Philosophy*). Для средневековых мыслителей, пишет Жильсон, было естественным глубокое осознание феномена прогресса, простирающегося далеко в будущее. Пессимизм и уныние Средневековья сильно преувеличены. В величайших трудах XII—XIII веков присутствует такой уровень оптимизма, который не уступает даже оптимизму XVIII века. Христианские средневековые мыслители, пишет Жильсон, «...естественным образом приходят к пониманию, вместе со Св. Августином и Паскалем, что весь род человеческий, жизнь которого напоминает жизнь отдельного человека, проходит от Адама до конца мира через ряд последовательных стадий, последовательно становится старше, по ходу дела накапливая запас знаний о естественном и сверхъестественном, пока не достигнет века совершенства, который станет веком его будущей славы».

Необходимо добавить, что здесь имеется в виду будущая земная слава. Жильсон продолжает: «Если мы хотим понять историю человечества так, как ее понимали в Средние века, мы должны себе представлять ее следующим образом. Это не история постоянного упадка, так как, напротив, она подтверждает постоянный общественный прогресс

человечества в целом ... она подтверждает, что прогресс стремится к его [человечества] совершенству... история прогресса ориентирована на определенный срок».

КАРЛИКИ И ГИГАНТЫ

В Средние века существовала фигура речи, метафора, выражающая восхищенное отношение средневековых мыслителей к мыслителям прошлого. Она выражала также средневековое уважение к знаниям и ученым людям. Бернар Шартрский дал этой метафоре лаконичное выражение: «Мы карлики, стоящие на плечах гигантов». Было ли это выражение действительно придумано Бернаром (некоторые полагали, что оно принадлежит Роже из Блуа) и затем передано его учениками Иоанну Солсберийскому, который использовал ее в своем прославленном «Металогиконе» (Johannes de Saresberia, *Metalogicus*), или нет, для нас не так важно. Куда больший интерес представляет содержание и популярность этой формулы.

Существуют исследователи, полагающие, что смысл этой метафоры состоит просто-напросто в самоуничижении средневековых мыслителей, считавших себя карликами по сравнению с великими умами прошлого, как языческими, так и христианскими. Если принять эту версию, то данную метафору можно использовать в качестве доказательства того факта, что мыслители Средневековья были убеждены не в историческом прогрессе, а в упадке и вырождении — от гигантов к карликам.

Но я не думаю, что такой вывод из метафоры Бернара подтверждается ее внутренней логикой и внешними обстоятельствами. Необходимо учесть огромную тягу к знаниям, которая существовала во времена Бернара и Иоанна Солсберийского, и связанное с этим уважение, с которым к этим людям относились их современники — и с чего бы нам отказывать им в этом, учитывая их достижения и почет, который они имели у своих современников? Метафора Бернара говорит не только об уважении ученого к работам предшественников, но и о своего рода чувстве превосходства, основанном на способности видеть то, чего не мог видеть сам Платон. Эта способность, в свою очередь, определяется знакомством с более ранними великими и да-

леко идущими открытиями, которые совершили платоны, аристотели и августины прошлого. «На плечах гигантов...» Разве это не говорит о возможности ученого видеть дальше, то есть знать больше, чем знали его предшественники, какими бы прославленными те ни были — даже если по сравнению с длинной чередой могучих умов прошлого он может заслуженно считать себя карликом?

Я полагаю, что значение этой фигуры речи подкреплялось присутствием в средневековой мысли другой связанной с ней метафорой, которую Августин позаимствовал от некоторых своих предшественников и которая применялась ко всему роду человеческому. Я говорю об аналогии, которую Августин проводил между прогрессом знаний человечества в целом и воспитанием отдельного человека, если вообразить, что этот отдельный человек жил на протяжении всего времени человечества. Фразе Августина «образование рода человеческого» было суждено, как я уже отмечал в предыдущей главе, прожить много веков. Она используется и в нашем веке — для визуального представления прогресса знаний, т. е. такого процесса, который связан с накоплением, имеет кумулятивную, медленную, распределенную во времени природу. Это сравнение Августина часто встречается в светской литературе XVII—XVIII веков. Оно занимало важное место в аргументах «новых» во время «спора о древних и новых» в XVII веке. Позже его же использовали Кондорсе и Конт с далеко идущими последствиями.

Метафора карлика, стоящего на плечах гигантов, имела схожую судьбу. Мы узнаем, что ее хорошо знали в эпоху Ренессанса, она появляется в трудах Монтеня и Бертона. Ее использовал Бэкон, а обширное рассуждение о ней есть у Паскаля в его «Фрагменте трактата о вакууме». Ее использовал также Исаак Ньютон. В действительности эта метафора стала ценным приобретением для ученых XVII века, пытавшихся дать характеристику себе и своим работам. Она прошла длинный путь, так же, как метафора Августина об «одном человеке, проживающем на протяжении всех веков» дошла до наших дней. Однако можно усомниться в том, что многие из тех, кто использовал эту фигуру речи с эпохи Возрождения до наших дней, имели хоть какое-то представление о ее происхождении.

Но важна здесь не метафора сама по себе и не ее история, а, скорее, тот факт, что эта метафора символизировала средневековую веру в накопление знаний на протяжении веков, прежде всего знаний светских. Как написал в своем впечатляющем исследовании о мысли Высокого Средневековья Джон Манди, «безропотная инертность не встречала всеобщего одобрения». Фома Аквинский, пишет Манди, «утверждал, что следующие друг за другом поколения человека все лучше понимали как умозрительные, так и практические науки — убеждение, встреченное с особым пониманием интеллектуалами с практическим и техническим уклоном». Далее Манди цитирует юриста Роландино Пассажере, писавшем в 1265 году на тему правовых контрактов: «И потому что истинно то, что более поздние люди более проникательны, и потому что наш век несет с собой новые и более утонченные обычаи в договорных и других вещах, уместной будет отмена древних ритуалов... мы должны подражать характеру (форме) нашего века в положениях и типах контрактов, так же, как мы делаем в других вещах, и мы должны придерживаться обычаев нашего собственного времени, чтобы качество нашей жизни улучшилось».

Как приятно осознавать, что даже в далеком XIII веке размышляли о «качестве жизни». Параллель может быть продолжена, если вспомнить о восстановлении и облагораживании окружающей среды, которое осуществляли тысячи монастырей по всей Западной Европе.

Никто лучше не выразил эту заинтересованность в кумулятивном приросте знаний во времени, чем знаменитый Роджер Бэкон в XIII веке. Все мы знаем о его поразительных изобретениях в области механики и о его работах по оптике и в других областях физики. Мы можем быть менее осведомленными о его интересе к совершенствованию с помощью прямых реформ законов, правил и обычаев, особенно тех, которые влияли на науку и исследования в университетах и вне их. Он посвятил значительную часть своего времени улучшению образования на всех уровнях. Слова из его труда «Большое сочинение» (*Opus Majus*) стоят того, чтобы быть процитированными здесь: «И потому, что отдельные лица, города и целые страны могут измениться к лучшему... жизнь должна быть продолжена,

насколько это необходимо, все вещи должны управляться функционально, и можно сделать даже более великие вещи, чем те, что упомянуты в этой книге, не только в области естественных наук, но также и в духовных науках, что следует из Моисея и Аристотеля».

РЕФОРМА ВРЕМЕНИ

Вплоть до XII века время, как правило, считалось чем-то неотделимым от Бога, так как и оно было создано Им. Это, в частности, сформулировал Св. Августин, хотя, как мы видели, эта связь между временем и Богом не помешала Августину считать время линейным потоком, имеющим поступательный, прогрессистский характер, т.е. дать ему ту характеристику, которая сохранилась до наших дней. Процесс, который начался в конце XII и достиг кульминации в XIII веке, можно назвать своего рода реформой, затронувшей способы его измерения, его место в жизни, его умопостигаемой природы. Жак Ле Гофф в своей работе «Другое Средневековье» (которая далеко не исчерпывается проблематикой времени) блестяще обрисовал различные способы, которыми секулярный мир оказывал давление и стимулировал философскую переоценку времени и его функций. То, что Ле Гофф называет сдвигом от «средневековой социальной психологии времени к современной», предполагало, так сказать, высвобождение времени из чисто божественного и религиозного контекста, слияние времени с бурно развивающейся в XIII веке общественной, экономической и культурной активностью. Без аккуратного и одновременно уважительного отношения ко времени в мирских делах просто невозможно было развивать такие жизненно важные сферы финансов и бизнеса, как процент, ссуды, коммерческие контракты и инвестиции. В этот исторический период время было секуляризовано или, лучше сказать, «рационализировано». Это не означало отдаления купца и банкира от Церкви и Бога. Как полагает Ле Гофф, даже, если Церковь и была вынуждена под секулярным давлением уступить свое главенство над временем, бизнесмен все еще мог считать время в его религиозном аспекте «иным горизонтом своего существования». Как и его кальвинистские наследники XVII века, если речь заходила

о времени, средневековый купец мог спокойно жить в двух различных мирах.

Эрнст Канторович в «Двух телах короля» тоже пишет об огромном значении реформы времени, которая имела место в том веке: «...Новый подход ко Времени и новая концепция природы Времени должны восприниматься не только как философский, но также и исторический фактор великого момента. Возникшая тогда новая концепция Времени стала одним из самых действенных средств, с помощью которых преобразовалась и получила новую энергию западная мысль в конце Средних веков; и она сохраняет свое неослабное воздействие и на современную мысль. В конце концов... оптимистическая философия беспредельного прогресса, которую разделяли поколения, жившие до двух мировых войн, имела свои корни и предпосылки в тех интеллектуальных изменениях, которые потрясли XIII век...»

Как показал Канторович и другие исследователи Средневековья, совершенно не очевидно, что новая концепция природы времени и новая оценка его значения утвердились бы только вследствие давления со стороны бизнеса и финансовой сферы, если бы не существовало трактовок соответствующих взглядов Аристотеля последователями Аверроэса. Аверроэс, философ из арабской Испании, живший в эпоху культурного расцвета этой страны и сам бывший элементом этого расцвета, оказал сильное влияние на христианскую философию Запада, а также на иудейскую ученость. Комментарии Аверроэса к Аристотелю почти немедленно были подхвачены учеными и философами, образовалась группа «экстремистов», в основном молодых людей, чьи восторги по адресу Аристотеля в изложении Аверроэса заставили задуматься и взволноваться иерархов Церкви. Попытки Церкви прекратить это бурление в кругу философов и теологов воплотились в создание длинного списка осуждаемых Церковью заблуждений (*errors condemnati*).

Церковь, сплотившаяся на основе своей верности представлениям Св. Августина о времени, сделала все, что было в ее власти, чтобы прекратить распространение доктрин, имеющих аверроистское и аристотелианское происхождение, в которых Земля провозглашалась вечной, а движе-

ние, изменение и развитие — вневременным процессом. Не менее встревожена была Церковь другими аверроистскими «заблуждениями», в особенности теми, которые утверждали или настойчиво намекали, что воскрешения из мертвых не будет, что не может быть никакого «первого человека» или «последнего человека» на Земле, что род человеческий будет всегда и новые поколения будут приходить и уходить бесконечно, находясь внутри линейного потока времени. Однако, несмотря на это сопротивление, новая, пересмотренная концепция времени, человека и истории широко распространилась в интеллектуальных кругах. Как пишет Канторович: «Время стало бесконечным — континуумом последовательных моментов, вечно бегущих вперед из бесконечности в бесконечность. Tempus, ограниченный промежуток земного Времени, тем самым потерял свою эфемерную хрупкость и ограниченность, и его моральный характер так же изменился: Время больше не являло себя главным образом в качестве символа недостаточности, Смерти; Время для аверроистов стало животворящим элементом, символом бесконечной протяженности, Жизни».

Канторович, как и Жак Ле Гофф, указывает на почти немедленные практические последствия нового видения времени. «Фактор Времени... начал проникать... в ежедневную технику общественной, финансовой и правовой администрации». Так, если в прошлом налогообложение было привязано не к установленным периодам времени, а, скорее, к примечательным событиям, разрывавшим рутину жизни, то сейчас возникла и быстро распространилась идея ежегодного сбора налогов, «зависимого не от событий, но от Времени». Концепция неотчуждаемости королевских владений и обезличенной казны, «которые никогда не умирают», хотя, конечно, и имела корни в практике, нуждах и обычаях, тем не менее, обрела дополнительную энергию в новой радикальной философии времени.

Итак, концепция неограниченного, если не бесконечного, времени, хорошо известная грекам, но не ранним христианам, которые опирались только на Ветхий Завет и пророчества Нового Завета, получила, начиная с Высокого Средневековья, формулировку, которая будет принята в качестве аксиомы все большим и большим количеством

мыслителей и после окончания Средних веков. Снова цитируем Канторовича: «Оно [время] приобрело благодаря своей связи с идеями религиозного и научного прогресса этическую ценность, когда было признано, что “Истина есть дочь времени”».

Не последним в перечне преимуществ, полученных идеей прогресса вследствие реформирования концепции времени в XIII веке, было придание новой силы понятиям полноты, изобилия и непрерывности применительно к миру, человечеству и всему тому, чем управляет человек.

ПОЛНОТА И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

И средневековая, и современная версии идеи прогресса базируются на допущении, во-первых, полноты и, во-вторых, непрерывности. Под первым подразумевается присутствие в этом мире всего, что необходимо для блага человечества, и возможности достижения им совершенства, будь это «всё» действительным и полностью реализовавшимся или лишь потенциальным, реализации которого еще только предстоит свершиться. Из второго понятия, или идеи непрерывности, вытекает не менее важное следствие: каждое положение или состояние чего-либо, в чем мы заинтересованы, содержит в себе семена следующего, более совершенного положения или состояния. Идея непрерывности также содержала в себе посылку, согласно которой самые примитивные организмы на Земле и самые высокие проявления бытия, будь то человек или даже ангелы и сам всемогущий Господь, связаны тем, что Артур Лавджой назвал в одноименной книге «великой цепью бытия».

Лавджой подчеркивает, что именно Платон привнес в европейскую философию грандиозную идею о том, что в «мире становления» наличествует полнота и содержится — в готовом виде или *in potentia** — все, что необходимо для совершенства. Лавджой пишет: «Понятие самодовлеющего совершенства, посредством резкой логической инверсии (и притом не теряя ни одной из своих исходных импликаций) было превращено в понятие самотрансцендирующейся полноты». Иными словами, как ставит вопрос Платон в диало-

* Потенциально (лат.). — Прим. науч. ред.

ге «Тимей»: «...он [демиург, или тот, кто устроил возникновение и эту Вселенную] пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому». Платон продолжает: «Усмотреть в этом вслед за разумными мужами подлинное и наиглавнейшее начало рождения и космоса было бы, пожалуй, вернее всего». Для Платона, как подчеркивает Лавджой, Абсолют не будет тем, чем он является, «бы создал нечто меньшее, нежели заверченный мир, в котором “модель” (т.е. всеобщность идеальных форм) перенесена в конкретную действительность». Короче говоря, для Платона принцип полноты требовал, «требует, чтобы каждое место было занято» либо тем, что уже свершилось, совершенным, либо тем, что самовоплощается. Идея полноты и вытекающая из нее концепция самопорождающейся и самосовершенствующейся полноты представляет собой одну из самых мощных и постоянных идей европейской мысли на протяжении всей ее истории. Мы встречаем ее у Лейбница и Спинозы, в трудах биологов-эволюционистов XVIII века и, не в последнюю очередь, хотя и в иной формулировке, в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина.

Тесно связана с этой идеей другая, скорее, аристотелевская, чем платоновская мысль. Аристотель писал: «Говорю же я о непрерывном в том случае, что когда граница каждой из двух вещей, по которой они соприкасаются и которая их связывает вместе, становится одной и той же». Лавджой абсолютно прав, утверждая, что именно Аристотель «ввел принцип непрерывности в естественную историю». В своей «Истории животных» Аристотель рассказывает нам, что природа «переходит от неживого к живому столь постепенно, что делает границу между ними неуловимой; и существуют виды, которые принадлежат и неживому и живому». Лавджой пишет: «Результатом [идей полноты и непрерывности] было возникновение определенного представления о замысле и структуре мира, представления, которое в Средние века и вплоть до конца XVIII века безоговорочно принималось многими философами, большинством людей науки и, более того, большинством образованных людей — представления о мире как “Великой цепи бытия” — цепи, связывающей... бесконечное число звеньев, расположенных в иерархическом порядке: от ничтожных существ,

балансирующих на грани не-существования, по “каждой возможной” ступени и вплоть до *ens perfectissimum**...».

Лавджой пишет «вплоть до конца XVIII века». Но в действительности те же принципы полноты и непрерывности ярко выражены в трудах таких известных мыслителей XIX века, как Огюст Конт, Карл Маркс, Чарльз Дарвин и Герберт Спенсер. Дарвин был настолько привержен этим принципам, что в своем «Происхождении видов», строя систему доказательств на их основе и на эмпирическом материале полевых наблюдений, когда геологические данные не подтверждали какого-то из них, он объяснял эту неудачу «несовершенствами методов регистрации геологических данных».

Обе идеи господствовали в период Высокого Средневековья. В XII веке Пьер Абеляр стремился подчеркнуть идеи полноты и непрерывности, поскольку их можно было вывести из утверждения о неизменной благодати Божьей. Задолго до Лейбница Абеляр пришел к заключению, что в свете могущества Бога и наличия полноты этот мир должен быть наилучшим из всех *возможных* миров. «Надобно спросить, — пишет Абеляр, — было ли возможно для Бога сотворить большее количество вещей или лучшие вещи, по сравнению с сотворенным...» И он отвечает, ссылаясь на Платона: «Поэтому не подлежит сомнению то рассуждение Платона, где он доказывает, что Бог никоим образом не мог создать мир более совершенный, чем тот, который он создал. ... Все возникающее возникает по необходимости, ибо все, что существует, существует не иначе как вследствие присущих ему должной причины и разумного основания».

Все эти построения, замечает Лавджой, образуют «доводы в пользу широко распространенного в семнадцатом и восемнадцатом столетии оптимизма, очень характерного для той эпохи: благодать этого лучшего из миров состоит не в отсутствии зла, а скорее в его наличии». Этот аргумент, как мы будем иметь возможность подчеркнуть позже, был существенным для рационалистических доказательств, приводившихся в XVIII—XIX веках в пользу существования эволюционного прогресса.

* Совершеннейшая сущность (лат.). — Прим. перев.

Как и идеи полноты и избытка, идея непрерывности также оказывала свое воздействие на средневековые умы. В XIII веке Фома Аквинский писал о «чудесной связи вещей», цитируя Альберта Великого, который заявил, что «природа не переходит от крайних состояний к крайним иначе, чем посредством тонких градаций». Как и Аристотель, Фома Аквинский указывает на непрерывность в рядах организмов, от простейших до самого человека. Фома идет дальше Аристотеля, указывая на непрерывность, существующую между физическими и духовными «классами». Он пишет: «Человеку в равной степени присущи черты обоих классов, поскольку он относится к низшему члену в классе, который находится выше класса тел — речь идет о человеческой душе, которая находится на низшем уровне в ряду мыслящих существ и, таким образом, является разделительной и пограничной линией между сущностями телесными и бестелесными».

Фома Аквинский утверждает, что всякая вещь действует для блага. «И если это действие заключается в преобразовании внешней материи, то очевидно, что тот, кто изменяет, стремится привести изменяемую вещь к большему совершенству, к каковому совершенству склонна стремиться и сама изменяемая вещь, *если это преобразование естественно*» (курсив мой. — Р. Н.). Нельзя не заметить в этой фразе влияния греческой философии. То, что достижение совершенства не только божественно по природе, но также и «естественно», говорит многое о философских корнях Фомы Аквинского. В своем следующем афоризме он предстает полнейшим греком: «Поэтому каждое природное действующее существо стремится к тому, что является наилучшим, это еще более очевидно в случае действующих существ, обладающих разумом».

ЗЕМНЫЕ РАЙСКИЕ УГОЛКИ

Мы все еще находимся во власти мифа, согласно которому средневековая мысль была сосредоточена исключительно на размышлениях о небесном — потустороннем — мире, пребывая в отчаянии или презирая предметы этого, потустороннего мира. Этот миф настолько глубоко сидит в нас, что мы можем быть шокированы, когда пойдем, до какой

степени жадным был интерес средневекового мира к раю на земле! Одни считали, будто райские кущи находятся в отдаленных, но достижимых местах на Земле, другие — что рай ожидает нас (как человечество в целом) лишь в отдаленном будущем.

Джордж Боуз пишет в своем исследовании о первом случае — райских уголках, мыслимых как актуально существующих: «XII век — это великий век легендарных путешествий в Земной Рай. Иногда легенды пишутся с дидактическими целями и подаются в форме видений, в других случаях нравоучительный характер не акцентируется. Дополнительную силу этим описаниям до некоторой степени придавало то, что, по распространенному мнению, Земной Рай существует физически, а также то, что многочисленным отчетам о путешествиях в чудесные страны, написанным в апокалиптической терминологии, верили на полном серьезе».

Самые известные рассказы о Земном Рае эпохи раннего Средневековья — это рассказы Гуго Викторинца, пресвитера Иоанна и Генри из Солтри. Последний — это автор «Ущелья Святого Патрика», работы, разные версии которой восхищали читателей долгое время после своего появления на свет. Авторами этих сказаний, как видно, прилагались все усилия к тому, чтобы изображаемые ими райские кущи были как можно более реальными не только в смысле их описания, но и с точки зрения реального пути туда. Боуз пишет об этом: «Атлантика продолжала восприниматься как море, полное чудесных островов, приближающихся по своей изумительности к Земному Раю, до тех пор, пока не закончился период географических открытий. В действительности эта вера была так сильна, что сами исследователи начинали описывать земли, которые они находили, в легендарных образах. Самый яркий пример тому — отчеты Колумба. В своем «Повествовании о третьем путешествии» он подчеркивает, что местоположение Земного Рая должно лежать рядом с осью Земли, имеющей форму груши».

Средневековый спрос на земную экзотику подогревался не только легендами. Существовали, например, удивительные отчеты знаменитой семьи Поло — Николо, Маттео и Марко, в которых реальные сведения о таких отдаленных землях, как Китай, сочетались с красочными образами вы-

мысленных райских мест. Подобно тому, как существовала линия преемственности между средневековыми путешественниками и исследователями XVI столетия, такая же преемственность имела и между средневековыми хрониками и, например, «Путешествиями» Хаклюйта. В обеих линиях отражается притягательность образа Земного Рая.

Однако, с точки зрения нашего исследования, более интересной и оказавшей большее влияние была концепция земного рая, помещавшегося во времени — в будущем. Без сомнения, наиболее известным средневековым пророчеством этого рода было предсказание Иоахима Флорского, жившего и писавшего в XII веке. Хотя этот выдающийся мыслитель был осужден на Латеранском Соборе в 1215 году, следует отметить, что до этого события три папы поддержали Иоахима с его вдохновенным описанием того, что было и что будет с человечеством. И, несмотря на издававшиеся во множестве папские декреты и обвинения в ереси, его доктрина оказала огромное влияние, пока он жил, и продолжала оказывать влияние (хотя и меньшее) на протяжении веков после его смерти. Как пишет Марджори Ривз, книга которой «Влияние пророчеств в позднее Средневековье» представляет собой самое полное и авторитетное исследование Иоахима: «Пророк предсказывает будущее, но он же может создать его. Для историка история пророчеств представляет собой трудную научную проблему взаимодействия между словом и действием. Если пророчество исполняется, это происходит вследствие точного предвидения, или причиной являются действия, совершенные вследствие самого факта предсказания? Историческое значение Иоахима Флорского заключается в динамических свойствах некоторых из его основных идей. В последующие века эти идеи образовывали нечто вроде подводного течения, время от времени воскресая к новой жизни в какой-либо группе или индивидууме. Их жизнеспособность была обусловлена тем, что они воздействовали на воображение, порождая надежду, которая вела к действию; то есть их воздействие было, скорее, эмоциональным, чем интеллектуальным».

Я бы предпочел сказать «эмоциональным, а также интеллектуальным». Поскольку, как подчеркивает сама

Марджори Ривз (и другие историки, такие как Карл Лёвиг, Франк Мануэль, Норман Кон и Мелвин Ласки), интеллектуальное содержание, в отличие от пророческого духа, который вмещал в себе это содержание, прошло через все века, от XII, когда жил Иоахим, до XIX столетия, хотя иногда в этом процессе были перерывы, когда на какой-то период это содержание как бы скрывалось под поверхностью общественной жизни. В XVIII веке Лессинг с огромным уважением ссылается на Иоахима: действительно, он в значительной мере использует его взгляд на историческое время. В XIX веке Иоахима цитирует Огюст Конт, основатель позитивизма, выдающийся толкователь *науки* прогресса. Последним периодом наиболее полного и непосредственного влияния Иоахима на европейскую мысль была, вероятно, эпоха пуританской революции XVII века — более подробно мы поговорим об этом позже. Весьма примечательно высказывание об этом Марджори Ривз: «В период с XIII по XVI век и даже позже существовали мыслители и деятели, которые разделяли эту концепцию будущего духовного порядка, найдя в ней понимание собственной миссии в мире».

Иоахим широко (и совершенно обоснованно) признан как первый мыслитель, осуществивший разделение истории на три стадии в рамках выдвинутой им концепции золотого века, которому еще предстоит настать на Земле. Первая выделяемая им великая стадия человеческой истории характеризуется тем, что он называет «главенство плоти», со всеми порождаемыми ею непреодолимыми побуждениями, удерживающими, за небольшими исключениями, сознание человека на нижнем, материальном уровне. Эта первая эпоха длилась до пришествия Христа. На втором этапе истории, по выражению Иоахима, «люди живут между плотью и духом». Начавшись с первого пришествия Христа, вторая эпоха продолжается, по Иоахиму, до наших дней. Ее окончание будет периодом сильнейших общественных потрясений — насилия, ужаса, страха и страданий. Только через эти страдания и муки человечество получит возможность очиститься и быть готовым к третьей и величайшей эпохе, эпохе духа, когда люди (безусловно, все христиане, но и, как в одном месте уверяет Иоахим, остальное челове-

ство тоже, включая иудеев, которые к тому времени будут обращены) станут «созерцателями», проживающими свою жизнь исключительно посредством ума. Век созерцателей будет, пишет Иоахим, не чем иным, как небом, спустившимся на землю. Св. Троица всегда была в круге интеллектуального внимания Иоахима; можно сказать, что его философия проистекает из его замысла, которому он подчинил свою жизнь, — понять Св. Троицу и продемонстрировать, что земная история человечества может рассматриваться как «развертывание Троицы во времени». Как пишет Марджори Ривз: «Иоахим... основывал свою интерпретацию истории на вере в то, что последняя отражает природу Божественного, иногда в двусторонних отношениях Отца и Сына, иногда — в трехсторонних отношениях Отца, Сына и Святого Духа... Духовное стремление Иоахима приблизиться к тайне Троицы было неотъемлемой частью его библейских и исторических исследований».

Очевидно, что Иоахим заморожен картинами третьей эпохи, о которой он пророчествует, и тратит массу энергии на поиск фигур речи, способных дать этой эпохе конкретные образы: здесь и птицы, летающие до самых небес, и яркое солнце, и всеобщее богатство, и радость вкушения пищи на библейских пастбищах, и многое другое. Он рисует даже смелую картину исчезновения церковнослужителей перед приходом третьей эпохи. Неудивительно, что именно это, среди прочих обвинений, стало причиной того, что в следующем веке он был объявлен еретиком и осужден католической церковью.

Иоахим, будучи монахом, находился под глубоким влиянием монастырского общинного идеала христианства так же, как четыре века спустя Томас Мор, «Утопия» которого во многом отражала восхищение Мора тем лучшим, что было в английской монастырской традиции. Иоахим предсказывал, что все люди будут жить в третью эпоху общиной во имя благотворительности, в атмосфере единства, разделяя все между собой. М. Ривз указывает, что лишь в одном месте своих сочинений Иоахим предлагает бедность как элемент одухотворенной общинной жизни. Гораздо в большей степени он интересовался описанием этой эпохи в терминах процветания и изобилия. Несмотря на сосредоточенность

Иоахима на духовной и созерцательной жизни, он не выводит третью эпоху за земные пределы. Центральный момент построения Иоахима, имеющий потенциально революционный характер, состоит в том, что небеса должны сойти на Землю. Нет сомнений в том, что именно его проповедь духовного совершенства и блаженства, которое будет достигнуто в этом, а не в ином мире, в наибольшей степени захватила его последователей и читателей. Как пишет Джордж Боуз, «в начале XIII века мы видим в Европе не только распространение доктрин о трех исторических эпохах, подобных доктрине Иоахима, но и подъем мистических движений, участниками которых были мужчины и женщины, надеявшиеся на наступление царства любви и верившие в идеалы апостольской жизни. Помимо этого, они придерживались представления, что каждый человек является столь же надежным источником религиозной истины, как и иерархия, так что отпадала необходимость в священстве. ...Эти движения пропагандировали идею, согласно которой история может развиваться от худшего к лучшему, что существенно, если мы верим в прогресс; они также популяризовали идею индивидуальной интерпретации религиозных истин, что было существенно для вызревания и сохранения некоторых форм протестантизма».

Во всем этом иоахимизм мог играть и играл значительную роль, даже притом, что сам Иоахим вполне мог отказаться от открытой пропаганды своих идей. Не нужно других причин, объясняющих обвинения и осуждения, которым подверглись он и его идеи в следующем веке — со стороны Фомы Аквинского, Св. Бонавентуры и других теологов, а также, как сказано выше, со стороны участников Латеранского Собора. То, что Иоахим воздержался от любого участия в движениях вышеописанного толка (так же, как в XVIII веке поступит Руссо в отношении бунтов крестьян и ремесленников), и тот факт, что он вообще избегал участия в каких бы то ни было непосредственных общественных действиях, не уменьшает революционного потенциала его работ и того воспламеняющего действия, которое его учение в последующем оказало на других людей.

Дополнительный революционный подтекст его доктрине дало то, что Иоахим свято верил, что настоящее, т. е. вторая

историческая эпоха, неотъемлемо от жизни во зле и страданиях. Более того, все станет еще хуже перед приходом третьей эпохи. Следовательно, тем более важной — как указывает Мелвин Ласки в своей «Утопии и революции» (Melvin Laski, *Utopia and Revolution*) относительно Иоахима и тех групп, что были вдохновлены его идеями — является миссия маленькой группы истинно верных. Спасение Земли не придет само по себе. Учение Иоахима подразумевает, что реализация «неизбежного» требует активного участия тех, кто является сердцем и умом сопротивления нынешним силам порока и зла. Текущий период можно рассматривать как переходный период, характеризуемый в настоящем и будущем борьбой, насилием и войнами между противоборствующими силами добра и зла. Третья эпоха всеобщего благоденствия и согласия проявит себя только тогда, когда завершится этот период. «Каждому, — пишет Иоахим, — будет дано так, что он меньше возрадуется за себя, чем за своего соседа, который тоже что-то получил. Он будет не столько считать вещь своей, сколько данной другим через него».

Если покажется, что это звучит как-то слишком современно в том, что касается утопических идей и революционных действий, нужно вспомнить о присущих этим построениям августинианских корнях. Как мы уже видели, образ Града Небесного, который должен восторжествовать в конце времен, о котором писал Св. Августин, наполнен предметной образностью *этого* мира — в золоте и серебре, в бесконечном изобилии всего, в гармонии, свободе и справедливости. Действительно, нет ничего экстраординарного в том факте, что небесное блаженство Августина было со временем преобразовано в восторг, предметом которого является эта Земля, а не небеса.

Плоды учения Иоахима проявились в политических и общественных действиях задолго до наступления современной эпохи, между прочим, у Данте. Как утверждает Мелвин Ласки в своей «Утопии и революции», имеются безошибочно определяемые признаки влияния Иоахима на политическую мысль Данте. Может быть, он не был первой средневековой фигурой, порекомендовавшей предпринимать непосредственные действия ради ускорения прихода рая на Землю, но, без сомнения, он был среди них первой

великой литературной фигурой. Следующие отрывки, цитируемые Ласки, говорят сами за себя: «Итак, поскольку предлагаемая здесь материя есть материя политическая, больше того, поскольку она является источником и началом правильных государственных устройств, а все политическое находится в нашей власти, очевидно, что предлагаемая материя предназначена не для созерцания, а для действия. Далее, поскольку в предметах действия началом и причиной всего является последняя цель... постольку, следовательно, все особенности предпринимаемого ради цели должны проистекать из самой этой цели.

Когда корень этого чудовищного извращения [существующих правительства и общества] будет извлечен, на стволе завянут колючие ветви.

К вашему горю, вы увидите свои дворцы... павшими под стенобитными орудиями или поглощенными пожаром. Вы увидите свой народ превратившимся в бушующую толпу, охваченный хаосом, расколотый на ваших сторонников и ваших противников, но вскоре целиком объединившийся против вас... Вы увидите с сожалением свои церкви, которые сейчас каждый день наводнены толпами ваших женщин, ограбленными, а ваших детей обреченными платить за грехи своих отцов путаницей и невежеством.

Пробудитесь посему все вы и восстаньте».

Именно в книге Данте «Монархия», которая по понятным причинам была сожжена по приказу папы на площади в Болонье, невзирая на знатное происхождение и литературную славу автора, мы находим прогрессистский утопический план лучшего политического устройства на этой Земле; план, который имеет немало сходства с тем, что предсказал Иоахим. Очевидно, Данте полностью разочаровался в папском правлении, по мере того, как оно все больше простиралось на светские дела. Очевидно также, что он предпочитал могущественного, вдохновенного мессианским духом *светского* правителя, который разрушил бы старое и порочное и способствовал бы появлению нового. Степень восхищения Данте императором Генрихом VII, коронованном в Риме в 1312 году, была исключительно высока, что позволяет предположить — Данте мог думать об императоре в терминах земного спасения.

Как мы видели, Иоахим (еретически) предвидел наступление времени, когда духовенство и другие видимые знаки церковного авторитета больше не потребуются, поскольку общество будет состоять из свободных, чистых и праведных созерцателей, не нуждающихся во внешней власти. Норман Кон в своей «Погоне за Тысячелетним Царством» (*Norman Cohn, The Pursuit of Millenium*) особо подчеркнул значение этого представления. В интерпретации Иоахи́ма Христос больше не стоит в центре истории, а христианское откровение имеет лишь ограниченную и временную ценность. Отсюда постоянно возрождающаяся и все более захватывающая мечта о постхристианском обществе. Мы видим проявления этой мечты в одном из ответвлений Францисканского ордена. Профессор Кон пишет: «Эти люди, францисканские спиритуалы, сформировали партию меньшинства, в начале в пределах ордена, позже — вне его. К середине века они откопали пророчества Иоахи́ма (которые до тех пор не привлекали серьезного внимания), стали редактировать их и писать к ним комментарии. Они также придумывали пророчества, которые с успехом приписывали Иоахиму и которые получили гораздо большую известность и влияние, чем тексты самого Иоахи́ма. В этих работах спиритуалы приспособили эсхатологию Иоахи́ма таким образом, что они сами могли считаться новым орденом, который, заменив собой Римскую Церковь, должен был повести человечество в Эпоху Духа».

Затем — неизбежно и в полном соответствии с духом францисканской интерпретации Иоахи́ма — начались поиски нового мессии, носящего светские регалии, обладающего земной властью, но, тем не менее, имеющего право повести человечество через последние дни ужаса второй стадии в благословенное существование уже в пределах третьей эпохи, эпохи Духа. Многие были потенциальными кандидатами на эту мессианскую роль в глазах тех, чье воображение было воспламенено иоахимовским пророчеством. Я уже упоминал притягательность, которую имел Генрих VII, для такого влиятельного и образованного мыслителя, как Данте. Однако даже раньше имел место культ Фридриха II. Почти сразу после того, как его дед, Фридрих I Барбаросса, умер в 1190 году, появились

пророчества, из которых мы узнаем о последующем Фридрихе, который станет эсхатологическим спасителем, императором, которому суждено осуществить славное начало эпохи Духа. Кон продолжает: «Когда тридцать лет спустя императорская корона была возложена на Фридриха II... эти пророчества, конечно же, были перенесены на него. Так, впервые образ Императора Последних Дней был применен к действующему правителю сложного территориального образования, в центре которого находилась Германия, но в который также входила Бургундия и большая часть Италии...»

Как подчеркивает Кон, многое во Фридрихе II возбуждало мессианские ожидания. Образованный, обладающий блестящим умом, красивый, бесстрашный в бою, вызывающий одновременно страх и почтение, он до мелочей соответствовал тому, что сегодня мы называем харизматической фигурой. Даже такие его негативные качества, как всем известные распутство и жестокость, кажется, больше привлекали, чем отталкивали. В доказательствах величия его поступков не было недостатка. В конце концов, участвуя в крестовом походе в 1229 году, он смог отвоевать Иерусалим и провозгласил себя королем этого города. Наконец (и, возможно, это было важнее всего), Фридрих, казалось, сам глубоко верил в свою мессианскую роль. Экстравагантные труды его интеллектуальных придворных относительно духовного и космического могущества Фредерика, а также его способностей превосходить обычные жизненные масштабы прочих смертных, кажется, не вызывали скепсиса по его адресу среди интеллектуальных и светских мыслителей. Культ Фридриха II держался еще долгое время.

Существовали и другие примечательные последствия пророческих писаний Иоахима. Я упоминал выше о впечатлении, которое производили на моряков XV—XVI веков средневековые легенды о далеких райских уголках на Земле, настоящем рае, который ждет только того, чтобы его открыли. Колумб, мы видели, был одним из тех, кто вначале был убежден, как он писал в своем журнале, что заново открыл сад Эдема. Ласки пишет: «Когда Колумб пересек океан и отыскал *otro mundo*, Иной Мир, он был убежден... что переоткрыл сад Эдема». Но впоследствии, больной и

столкнувшийся в «Индии» с массой неприятностей, Колумб, продолжает Ласки, обратил внимание на предсказание Иоахима, в соответствии с которым Спаситель придет из Испании, чтобы восстановить Иерусалим и открыть третью эпоху на Земле. «Колумб представил себя, — пишет Ласки, — провозвестником миллениума, с отголосками апокалипсических ноток Иоахима Флорского, которого Колумб цитировал в своей «Книге пророчеств», написанной как раз перед последним плаванием в Америку».

Именно пророчества Иоахима и их тематику имели в виду францисканцы, когда отправились из Испании в Мексику в 1520-х годах. Как писал историк Дж. Х. Элиот: «Эти первые миссионеры в материковой Америке считали себя божественными посланниками в провиденциально развертывающейся истории, в которой обращение всего человечества в христианскую веру станет прелюдией к концу света. Эта проекция хилиастических надежд ренессансной Европы на Америку означала, что империя Монтесумы была уничтожена и основана Новая Испания в атмосфере ожиданий, которая во многом повлияла на будущее развитие Мексики. Уникальная цепь событий, которая привела к сдаче Монтесумы и крушению ацтекской цивилизации перед лицом горстки солдат Кортеса, требовала объяснений как от завоевателей, так и от завоеванных».

Такова была власть идеи или комплекса идей. Какая удивительная ирония в том, что предложенное объяснение факта покорения ацтеков, произошедшего за тысячи миль от Европы и через несколько веков после Иоахима, было дано в терминах разработанной средневековым францисканским монахом трехчастной модели истории человечества, достигающей кульминации в *renovatio mundi**.

Итак, расширение географического сознания европейцев объясняется вовсе не рационализмом Возрождения, о котором столько говорится. Силу мотивации для морских путешествий и открытий XV—XVI вв. в большей степени придали те более глубокие течения мысли все еще доминирующего христианства, которые проистекали из средневековой христианской концепции прогресса с ее миллениаризмом,

* Обновление мира (лат.). — Прим. перев.

разнообразными утопиями и ощущением высокой значимости понимания и совершенствования этого мира при подготовке к жизни в мире следующем. То, что мы обычно приписываем Возрождению, относится, скорее, к типично средневековым идеям прогресса и обновления.

ГЛАВА 4

ВОЗРОЖДЕНИЕ: ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Говоря об идее прогресса в связи с эпохой Возрождения, можно вспомнить о том, как однажды доктор Джонсон привлек внимание коллег к главе старинной книги под названием «Естественная история Исландии». Он сказал, что запомнил оттуда целую главу. Эта глава называлась «Змеи Исландии». Она состояла из одной фразы — «На всем острове нельзя встретить никаких змей».

Точно так же на протяжении всей эпохи Возрождения мы не встретим упоминаний прогресса, понимаемого как историческая идея или концепция. Это освященное слово «Возрождение» используется мной, скорее, для обозначения определенного склада мышления, чем в качестве указания на некий четко определенный период времени. Возникновение этого склада мышления, или способа мыслить, может быть отнесено к концу XIV — началу XV века, к периоду, который Йохан Хейзинга так удачно назвал «осенью Средневековья». Высшей точки это умонастроение достигает в XVI веке, но его темы и стиль простираются вплоть до первой половины XVII века.

Понятие о некоем «возрождении», имевшем место в конце эпохи Средневековья, является, по меньшей мере, некорректным. Как отмечалось в главе 3, историки, начиная с Пьера Дюгема и до современных исследователей, убедительно показали, что для средневековой культуры были характерны все те особенности, которые Мишле и Буркхардт в своих знаменитых работах, опубликованных в XIX веке, определяли как характерные для французской и итальянской культуры XV века. Мы почти всегда склонны отказывать Средним векам в наличии этих черт, приписывая их возникновение периоду некоего «возрождения» античных — греческих и римских — идей и ценностей, что, согласно популярной исторической мифологии, делает возможным проведение резкой черты, отделяющей окончание эпохи средневекового мышления от современности.

И сегодня мы можем встретить сторонников этой мифологии, выражаемой ими с почти сектантской страстностью, хотя никогда нельзя знать заранее, на каком именно элементе современности — «гражданском гуманизме», «субъективной индивидуальности» или еще чему-то столь же расплывчатом — они делают акцент.

Однако, корректное или нет, это понятие плодотворного возрождения, начавшегося в XV веке, стало неотъемлемой частью западной историографии и западного общественного сознания. Чтобы пояснить, с какой догматической уверенностью множество мыслителей воспринимают эту историческую модель Возрождения, приведем наш параграф знаменитых строк Александра Попа (предложенных им в качестве эпитафии Исааку Ньютону):

*Кромешной тьмой была окутана Европа,
И ум ее во мраке прозябал,
Но Бог сказал: «Да будет Возрождение!»
И свет над миром воссиял!*

Здесь необходимо пояснить: даже если в XV—XVI веках на самом деле и не произошло никакого «возрождения», рождение произошло практически наверняка. Я имею в виду появление в Италии XV века интеллектуалов-гуманистов, ставших начальным звеном той цепи, которая протянулась до сегодняшних дней. Характерными признаками их стиля являются вызов традиции, дух контркультуры, превознесение спонтанности и инакомыслия.

Я уже сказал, что идея прогресса в том виде, в каком мы ее видели от Ксенофана до Иоахима, не встречается в период Возрождения. Это не означает, однако, что мыслители Возрождения не интересовались проблемой культурного превосходства и неполноценности или что они не испытывали чувства гордости за свое время, выделяя его из всех предшествующих эпох, включая эпохи античной Греции и Древнего Рима. Взгляните на следующее утверждение о XV столетии, сделанное итальянским гуманистом Фичино (он говорит о своем городе, Флоренции): «Ибо этот, в некотором смысле, золотой век вывел на свет свободные искусства, которые были почти искоренены: грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру,

архитектуру, музыку, пение под орфическую лиру, — и все это во Флоренции».

В свете того, что мы знаем сегодня об изобилии всех этих интеллектуальных и художественных богатств в Средние века, поражают слова Фичино «почти искоренены». Но эта же фраза о многом говорит нам и позволяет понять причину, по которой идея прогресса не могла существовать и тем более процветать в контексте Возрождения.

Основой идеи прогресса, как мы видели в трех предыдущих главах и увидим в главах, следующих за этой, является предпосылка об *исторической непрерывности*. У Ксенофана, Платона, Лукреция, Св. Августина так же, как у Оттона из Фрейзинга и Иоахима Флорского, настоящее и будущее глубоко коренилось в постигаемом и полностью принимаемом прошлом — прошлом, которое «постепенно», или «шаг за шагом», становится настоящим. Как я подчеркивал выше, уважение к прошлому и его принятие абсолютно необходимо для существования теории прогресса — без представления о прошлом, понимаемом как перемещение во времени и в пространстве культуры к настоящему, невозможны никакие концепции развития, никакие представления о стадиях, возникающих друг из друга, никакое линейное продолжение настоящего в будущее.

Но для ренессансного мышления о подобном уважении к прошлому, ко *всему* прошлому, не могло быть и речи. Такое уважение логически влечет уважение к Средним векам — к периоду, который для итальянских гуманистов охватывал по крайней мере тысячу лет и который они называли *medium aevum**. Гуманисты, безусловно, восхищались *античным* прошлым, но именно их отрицание всего средневекового и страсть к подражанию достижениям древних греков и римлян создали основу для превозносимой ими золотой эпохи в XV веке. Их теория истории была проста: греки принесли в мир цивилизацию, римляне внесли в нее свой вклад. Однако после этого последовало падение Рима, вызванное вторжением варваров из германских лесов (внешние враги) и вторжением христианства в духовную жизнь римского народа (внутренние враги). В результате

* Средний век (лат.). — Прим. перев.

в ренессансном сознании возник образ тысячелетнего периода отсталости, интеллектуального бесплодия и, что еще хуже, всеобщего блуждания в дебрях невежества, предрасудков, поглощенности потусторонним грядущим миром и беспрестанной церковной тирании. В XV—XVI веках продолжали свое построение гуманисты эпохи Возрождения, это именно они возродили цивилизацию, отбросив все, связанное с *medium aevum*, и сосредоточившись на изучении античного наследия. Понимая, что процесс возрождения подлинной цивилизации не может длиться вечно и что он тоже, скорее всего, в конце концов угаснет, сменившись еще очередным периодом невежества и зла, гуманисты Ренессанса, тем не менее, чувствовали, что полный разрыв с прошлым достигнут, по крайней мере временно, и с ним придет установление нового золотого века в истории.

Эта теория истории подсказывает нам вторую причину, почему постепенная, раскрывающаяся, кумулятивная и преемственная, линейная теория прогресса была чужда ренессансной ментальности. Я говорю о почти полном господстве идей циклического повторения в ренессансном мышлении. Как писал Фрэнк Е. Мануэль в своей работе «Формы философской истории» (Frank E. Manuel, *Shapes of Philosophical History*), «писатели эпохи Возрождения напрямую, почти рабски зависели от циклических теорий, которые они нашли в античных текстах». Правильнее было бы сказать, в *некоторых* античных текстах, поскольку, как мы видели в главе 1, циклические идеи ни в коей мере не доминировали в работах греков и римлян. Но тезис Мануэля верен. Мыслители Возрождения, начиная с итальянских гуманистов XV—XVI веков и кончая Френсисом Бэконом, в своем большинстве воспринимали историю не как однонаправленный поток, не как нечто непрерывное и нарастающее. Они видели ее, прежде всего, как состоящую из множество повторений то восходящего, то нисходящего движения по кругу, которое представляет собой следствие наличия в природе человека постоянных элементов — зла и добра. Обратимся вновь к Фрэнку Мануэлю: «Поскольку писатели эпохи Возрождения размышляли о неизменной сущности человеческой природы, воспринимая изменения как простые следствия взаимодействия страстей человека,

по большей части дурных, с судьбой, теория истории превращалась в довольно банальный взгляд на человека, находящегося в состоянии постоянного смятения. В этих психологических джунглях не просматривается никакой определенной философии истории».

Нельзя сказать, что гуманисты и другие мыслители эпохи Возрождения относились к достижениям прошлых культур с полным безразличием. В трудах Манетти и Фичино (назовем лишь двоих итальянских гуманистов XV века) есть обширные фрагменты, подтверждающие признание человеческого гения, который проявлялся в великих изобретениях и открытиях античности. Некоторые главы, особенно у Фичино, читаются как парафраз параграфов Св. Августина (книга 22 «Града Божьего»), который, как мы видели, тоже отдавал дань человеческому гению и многообразию его художественных, научных и технологических свершений. Но здесь есть отличие. В работах Фичино, Манетти и других гуманистов, как правило, просто перечисляются прошлые чудеса. У Св. Августина все эти великие человеческие достижения прошлого вписываются в перспективу прогресса, исторически однонаправленного, непрерывного и накапливающего. Такая перспектива была совершенно чужда ренессансному строю мышления.

Культура Возрождения имела и другие аспекты, неблагоприятные для любой подлинной теории прогресса. Имел место, особенно в Италии, сильный субъективизм в том, что мыслилось и писалось. Как показал Чарльз Тринкоз в своей замечательной книге «По образу Нашему и подобию» (Charles Trinkhaus, *In Our Image and Likeness*), посвященной исследованию итальянского Возрождения, этот субъективизм восходит к некоторым элементам учения Св. Августина. Эти элементы гуманисты в свое время успешно использовали в борьбе против схоластики и церковного корпоративизма. Не то чтобы гуманисты отказывались от внешних сторон жизни — отнюдь нет. Но в своей борьбе со схоластикой и самим *внутренним строем* христианства, в поисках религиозной реальности они обратились, как это сделают протестанты во время Реформации, к внутренней природе человека, к внутреннему самосознанию, пониманию и к внутренней благодати вместо внешних форм

религии. На протяжении всего Возрождения, от Петрарки до Декарта, знаменитая фраза которого *cogito ergo sum** была выражением субъективизма, достигающего почти революционной интенсивности, мы видим сосредоточенность на феноменах человеческого сознания, а не на том, какие действия совершаются вне его и являются фундаментом любой теории исторического прогресса.

Более того, как подчеркивает тот же Тринкоз, во многих ренессансных работах присутствует сильное увлечение нерациональным или иррациональным в человеке. «Морализм гуманистов, — пишет он, — не столько подчеркивал рационалистическое ограничение и сдерживание человеческих поступков, сколько упирал на господство иррациональных или внерациональных элементов человеческой психики». Тринкоз отмечает также, что именно к гуманистам восходит традиция показывать, насколько легко добродетель сеет семена порока. Он приводит в подтверждение этого тезиса следующие слова Манетти: «И из этого человеческого достоинства и совершенства, столь великого и возвышенного, как из корня, закономерно проистекают и возрастают зависть, гордость, гнев, жажда власти, амбиции и другие подобного рода смятения души». В своей реакции на средневековую схоластику, бывшую преимущественно рационалистической и объективистской, гуманисты с неизбежностью приходили к подчеркиванию значения эмоций, страстей и других внерациональных аффективных состояний, которые плохо сочетаются с какой-либо теорией прогресса.

Отметим еще одну черту эпохи Возрождения, которая также приходила в полное противоречие с возможностью построения какой-либо теории человеческого прогресса. Имеется в виду наблюдавшийся в то время настоящий всплеск популярности оккультизма, магии, веры в судьбу и случай. В наши дни, следуя общепринятым представлениям, мало кто вспоминает о таких иррациональных или даже антирациональных предметах, как герметическая доктрина, Каббала, симонианство, культ Солнца Фиччино и его же солнечная магия, в связи с эпохой Возрождения. Совре-

* Я мыслю, следовательно, я существую (лат.). — Прим. перев.

менный историк Фрэнсис Йетс на обширном материале убедительно показала, что оккультная тематика в значительной мере была частью научного мировоззрения Джордано Бруно, Коперника и, вполне возможно, Галилея. Более чем вероятно, что главной заботой Церкви был не поиск ответа на вызов, брошенный этими гигантами в сфере строго научного и рационального, но, скорее, адекватная реакция на религиозные и магические влияния, которые расценивались как очевидно враждебные христианской вере.

Более того, никогда в истории Запада вера в колдовство и страх перед ним не процветали так, как в эпоху Возрождения. В Средние века Церковь направляла свои усилия на то, чтобы подавить подобные верования и страхи. Но в эпоху Возрождения, когда влияние Католической Церкви и феодальных отношений ослабло и общество начало терять веру в их духовную и моральную силу, воображение людей разгулялось без оглядки на сдерживающие авторитеты. На Западе дьявол появился в такой форме и так близко, как никогда ранее. В научных экспериментах и новых идеях, на какой бы рационалистической и эмпирической базе они ни основывались, было очень легко усмотреть работу дьявола и его ведьм.

Учитывая разочарование в традиционных авторитетах и доктринах, а также возрастающее увлечение оккультизмом, вполне естественно, что, как это имело место в греческом мире после Александра, повсеместно распространилось убеждение в том, что судьба или везение, а не разум и честность, определяют в конечном счете историю рода человеческого и участь отдельного человека на Земле. Возрождение было временем разрушения традиционной веры в разум и мораль, место которых заняли идеи удачи и случая. Неудивительно, что деятели этой эпохи не могли воспринимать всерьез рациональные основания, все равно — религиозного или мирского происхождения, на которые опиралась античная и средневековая вера в прогресс человека. Ниже в данной главе я проиллюстрирую отдельные грани эпохи Возрождения на примере некоторых выдающихся умов этой эпохи. Ни один из них не отражает *всех* черт эпохи. Напротив, каждый мыслитель по-своему доказывает, насколько сложным было бы для этой эпохи

(да и *было* фактически, как мы увидим в главе 5 на примере Бодена) поддержание убежденности в том, что история есть марш торжествующего человечества к лучшему будущему. А ведь именно эта вера, характерная для наших дней, была так крепка в античности и Средневековье.

МАКИАВЕЛЛИ

Макиавелли не видит в истории ничего, кроме непрерывного замкнутого круга взлетов и падений (*ricorsi**). Убежденность в существовании долгосрочного и необратимого прогресса человечества не была свойственна этому необычайному уму. Люди, пишет он, «более склонны ко злу, чем к добру», и результатом этого в истории является постоянное колебание между добром и злом, причем зло господствует чаще и на протяжении более длительных периодов времени. Фортуна правит всем, и Макиавелли посвящает главу 25 «Государя» описанию полной зависимости правителей, безотносительно их хитрости или мудрости, от доброты и благосклонности Фортуны. В другом его труде под названием «О Фортуне» он еще глубже погружается в предмет. Фортуна «низвергает государства и королевства, когда захочет, она лишает праведника благополучия и дает его неправедным». Более того, «она правит событиями так, как ей удобно; она поднимает нас наверх и безжалостно швыряет вниз без жалости, без закона или права».

Таким образом, в силу изменчивого характера Фортуны, человеческое существование является, по самой своей сути, циклическим и колеблющимся. «Тот человек наиболее удачно реализует свой план среди всех людей во дворце Фортуны, кто выбирает колесо, совпадающее с ее волей... потому что, пока ты вращаешься вместе с колесом в том направлении, которое на данный момент удачливо и благополучно, она не имеет обыкновения менять свой курс на половине цикла». Макиавелли завершает свое эссе словами: «Мы видим, наконец, на примере уже прошедших дней, что те из людей, которые были успешными, окончили свои дни прежде, чем их колесо повернулось в обратную сторону или потянуло их вниз ко дну».

* Здесь: периодически повторяться (*итал.*). — Прим. науч. ред.

Макиавелли, как известно, был увлечен историей, особенно историей государств и их правителей. Как историческое сочинение, его «История Флоренции» представляет собой немногим большее, чем средневековые хроники, отличаясь от них наличием рассуждений о движущих силах истории. Так, он делает следующее наблюдение в книге 5 «Истории»: «Переживая непрерывные превращения, все государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку уж от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу».

Ровно такое же заключение делает Макиавелли в «Рассуждении о первой декаде Тита Ливия». В главе под заголовком «Мир в целом всегда одинаков» он пишет: «Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается одинаковым, что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и добро перекочевывают из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же».

Фортуна, случай, судьба — только они являются истинными господами над делами людей. Любая попытка обнаружить в истории некий план, помимо вечного повторения (*ricorsi*), особенно план прогресса, в который вовлечено человечество от изначальных времен до настоящего времени, от настоящего до будущего, кажется Макиавелли бесполезной и бессмысленной.

Эти же убеждения можно найти в работах младшего современника Макиавелли, Франческо Гвичардини. Вызывающий восхищение администратор, дипломат, деловой человек, государственный деятель и историк, он приложил немало усилий для критики многих идей Макиавелли. Но чем больше он его критиковал, тем больше он

становился последователем Макиавелли. Он служил папству, но ненавидел его и однажды написал, что одной из трех его главных надежд была мечта о «мире, освобожденном от подлых священников». В своих историях Флоренции и Италии он почти превосходит Макиавелли в своем цинизме и презрении к большинству персонажей, которых описывает. Он исходит из того, что люди не меняются, разве только внешне. Одни и те же ситуации воспроизводятся постоянно, и нельзя встретить ни одного случая, который не происходил бы ранее. Он критикует Макиавелли за то, что тот основывает свои выводы на опыте одного только Рима, но между этими выводами и выводами самого Гвичардини нельзя найти существенной разницы.

Макиавелли хотя бы верил в идеальное превосходство демократического правительства, но Гвичардини относился к нему с презрением. Он пишет: «Кто говорит о людях, говорит о безумных чудовищах, полных грехов и заблуждений». Его *Ricordi*, сборник максим, которые он оттачивал долгие годы, свидетельствует о его почти стопроцентной убежденности в том, что если люди и могут — в силу своей природы — стремиться делать добро, то последствия их действий гораздо чаще ведут к злу. И это является, по большей части, следствием владычества Фортуны. Каким бы искушенным и проницательным в своей политической и экономической деятельности ни был Гвичардини, он имел типично ренессансную убежденность в том, что в конечном счете все решают случай и судьба. Хотя как государственный деятель Гвичардини был бесстрастным и рациональным и при написании своей истории глубоко изучил эмпирический материал, он, подобно прочим гуманистам его времени, все же не смог победить свою зависимость от нерационального и иррационального и от услуг тех, кто утверждал, будто может предсказывать судьбу. Это время, особенно после междоусобной войны 1494 года, породило в Северной Италии особое умонастроение, состоящее из пессимизма, беспомощности и полной неспособности воспринимать историю иначе как лоскутное одеяло, сшитое из удач, неудач, ошибок и демонического вмешательства, так что уповать можно только на Фортуну. И Макиавелли, и его соратник Гвичардини посчитали бы самоочевидным то, что

в следующем веке в своей неоконченной «Истории мира» напишет сэр Уолтер Рейли: «Все, что может сделать рука человека, либо свертается рукой человека же, либо в конце концов уничтожается самим своим продолжительным существованием».

ЭРАЗМ

Для творчества этого человека, ставшего образцом учености и остроумия, характерны черты, которые совершенно не свойственны Макиавелли. Его тип мышления, однако, обнаруживает такую же несовместимость с идеей прогресса человечества. В отличие от Макиавелли, Эразм сохранил приверженность (хотя далеко не слепую) Римской католической церкви, оставшись ее верным членом и сторонником. Среди его работ имеются издания некоторых трудов Отцов Церкви, в частности Иеронима и Афанасия, и комментарии к ним. Однако, несмотря на наличие богословских трудов и его последовательную поддержку Церкви, у Эразма виден отчетливый, почти протестантский, отход от трактовки религии как института в пользу идеи религии как внутренней веры. Несомненный гуманизм Эразма и присущий ему ренессансный тип мышления хорошо видны из следующего фрагмента «Воспитания христианского государя»: «Не думай, что Христос сосредоточен в обрядах и службах, как бы ты их ни соблюдал, и в церковных учреждениях. Христианин не тот, кто окроплен, не тот, кто помазан, не тот, кто присутствует на таинствах, но тот, кто проникнут любовью ко Христу и упражняется в благочестивых делах».

Действительно, благородные чувства. Но едва ли они принадлежат уму, считающему, подобно Св. Августину, Отгону из Фрейзинга или позже епископу Боссюэ, первостепенным атрибутом религии наличие исторической церкви, понимаемой как постоянно развивающийся, раскрывающийся, совершенствующийся корпоративный субъект, который один обеспечивает сущность и основание индивидуальной веры. Акцент, который Эразм делает на внутренней личной благодати и на мышлении индивида, единственно способном к тому, чтобы творить добро, столь же противоречит, на свой лад, идее прогресса, как

постоянная сосредоточенность Макиавелли на роли случая и судьбы. Начиная с древних греков, западная концепция прогресса опирается на признание реальности и ценности феноменов внешнего мира — общественных институтов, искусств и наук, в которых одних можно распознать прогрессивное движение. Но для Эразма — как и для Лютера, которого Эразм сначала поддерживал, а впоследствии выступил против его идей достаточно резко — сущность христианства не имела ничего общего с чем-либо, что может быть по своей форме или содержанию подвержено прогрессивным изменениям во времени. Христианство у Эразма имеет прямое отношение к субъективному и внутреннему, к индивидуальному мышлению и вере, которые никоим образом не могут получить подлинного выражения в институтах или ритуалах.

Эразм был прекрасно начитан, особенно хорошо он знал классические тексты античности, но лучше всего его отношение к истории, включая историю его собственного времени, видно в его блистательном труде «Похвала глупости». Глупость, в понимании Эразма, — это богиня, что-то вроде дальней родственницы итальянской Фортуны, и больше всего она любит свободу человеческого «я» от правил и обрядов. Здесь меня интересует только тот факт, что для Эразма, ошеломленного богиней Глупостью, любое понятие о человеческом прогрессе, длящемся на протяжении веков, так же невероятно, как и для итальянских гуманистов, веривших в Фортуну.

Идея о том, что может иметь место, как заявлял Св. Августин, продолжающееся во времени «образование рода человеческого», Эразму показалась бы нелепой. Скорее всего, он точно так же расценил бы метафору о карлике, стоящем на плечах гиганта. Эразм восхищался многими своими современниками — более всего, возможно, сэром Томасом Мором — и, несомненно, уважал их труды. Но общая оценка Эразмом современных ему теорий, а тем более достижений средневековой мысли, сводилась к констатации упадка и вырождения. Ничто после падения цивилизации классической античности — даже, как мы можем догадаться, Св. Писание — не превосходит гения величайших мыслителей древности. Для Эразма был бы бес-

смысленным аргумент, приводимый сторонниками «новых» в «Споре о древних и новых» в пользу превосходства «новых», который состоял в том, что последние располагали работами «старых». Он пишет: «Признаюсь свободно среди друзей, что я не могу читать Цицерона “О старости”, “О дружбе”, его “Об обязанностях” или “Тускуланские беседы”, не целуя книгу, без благоговения к этой божественной душе. И, напротив, когда я читаю некоторых наших современных авторов, рассуждающих о политике, экономике и этике, о Боже! Как можно их сравнивать с первым! Нет, они, как кажется, не понимают, что пишут. Так, что я бы лучше бы отдал Скота и еще двадцать ему подобных (представьте себе двадцать изощренных докторов философии!) за одного Цицерона или Плутарха».

Греки и римляне, великие Отцы Церкви, философы и ученые Средних веков могли уважать и чтить своих предшественников, как это делали Сократ, Лукреций, Св. Августин и Св. Бонавентура, и при этом верить в величие своих уважаемых современников, каждый из которых неотделим от постепенного прогресса от прошлого к настоящему. Но, за редчайшим исключением, мыслители эпохи Возрождения воспринимали слова Эразма как непререкаемую истину. Мы сами можем счесть творения Эразма, Мора или Монтеня, по крайней мере в том, что касается остроумия их эссе и понимания человеческих слабостей, равными любым античным произведениям этого жанра. Но сами Макиавелли, Гвичардини или Эразм вряд ли были того же мнения. Их ощущение упадка человечества было слишком всеобъемлющим.

ТОМАС МОР

В «Утопии» Томаса Мора можно усмотреть нечто близкое идее прогресса. Разве не была эта книга Мора описанием не просто «хорошего» общества, но и общества того типа, который можно построить в будущем, если люди приложат старания к достижению этого? Ответ на этот вопрос, к сожалению, является, скорее, отрицательным. Позже я вернусь к этому моменту. Хотя уже здесь можно сделать предварительное замечание. Можно допустить, что Утопия была той форма общества, к которой Мор испытывал

особые чувства, считая его прогрессивным и требующим для своего возникновения только принятия правителями и народом. Но все это не имеет никакого отношения к идее прогресса в том смысле, в котором он понимался до сих пор. Ведь сущность идеи прогресса, как было не раз показано в этой книге, заключается в особом отношении к процессу *исторического развития* во времени знаний, институтов и морали. В произведении Мора нет даже намека на что-либо подобное.

Во вступлении дается очерк злодеяний, совершенных английским дворянством против простых людей, а также показано, что никто, включая духовенство, не хотел вступить за них. Затем следует составленное неким Рафаилом Гитлодеем детальное описание некоего общества, которое он, по его словам, однажды встретил в отдаленнейшей части мира. Излишне описывать здесь это общество, так как «Утопия» — одно из самых известных и читаемых произведений западной литературы. Достаточно сказать, что почти во всех отношениях описанное общество в каждой детали противостоит современной Мору Англии. Нет сомнений в том, что многое из описанного в отчете вымышленного путешественника в действительности представляло собой личные пристрастия Мора. Но, — и здесь это ключевой момент, — название книги звучит как *utopia* (нигде), а не как *eutopia* (наилучшее общество), хотя мы не можем не ощущать, что нечто, имеющее отношение ко второму понятию, содержится в первом. Данная книга, чем бы помимо этого она ни была, — это прежде всего фантазия, и место действия отстоит максимально далеко от английских реалий.

Более того, историк Дж. Х. Хекстер (J. H. Hexter) отметил важный момент, что никакими усилиями воображения невозможно прийти к выводу, что совокупность обычаев и институтов Утопии отражает высшие идеалы Мора. Будучи убежденным христианином-католиком, Мор вряд ли мог ощущать какое-либо родство со странными религиозными верованиями утопийцев. Что является наиболее важным, общественная собственность жителей Утопии могла, при прочих равных условиях, вызывать у Мора только отвращение, поскольку он глубоко верил в частную собственность и в справедливость доходов, проистекающих от част-

ной собственности. Он написал об этом слишком много, чтобы здесь оставались какие-либо сомнения. И это только два момента, в которых жизнь утопистов Утопии, описанная Мором, несовместима с его собственными глубокими убеждениями, о которых осталось множество неоспоримых свидетельств.

Но почему же тогда Мор, после перечисления бедствий и страданий английского народа в первой части «Утопии», описал именно такую форму и сущность общественного устройства? Здесь мы опять обращаемся к блестящему анализу профессора Хекстера, который говорит нам, что обычаи утопийцев, включая запреты и применение принуждения, были или могли восприниматься как отрицание гордыни, алчности, жадности английской аристократии. Это были те качества, которые имел в виду Мор, когда он изображал жизнь на острове Утопия, а не его собственные идеалы. Как подчеркнул Хекстер, сэр Томас был занят тем, чтобы показать такое общество, которое лучше всего ограничивало бы проявления гордыни, которую он считал присущей английской аристократии. Для Мора Утопия была совсем не образом идеального общественного порядка. Скорее, она была для него своего рода властью для английского дворянства.

Еще одно последнее наблюдение над этой книгой, которое также не позволяет нам считать, будто «Утопия» воспринималась автором как идеальный план преобразования английского или европейского общества. Когда, спустя несколько лет после публикации «Утопии», появились признаки того, что воинствующие протестантские группы примут ее как модель для скорого достижения тысячелетнего царства добра на Земле, Мор сразу выразил полное неприятие таких попыток. Мелвин Ласки в работе «Утопия и революция» пишет, что Мор даже заявил, что если бы во время написания книги ему пришло в голову, что она будет когда-нибудь использоваться в революционных целях, то он вообще не стал бы ее писать, а если бы рукопись была уже готова, сжег бы ее. Хотя Мор находил отвратительным обращение с крестьянами по законам об огораживаниях и другие виды грабежа простых людей и выступал за умеренные и реалистичные реформы, он предпочел бы то, что

фактически существовало в тогдашней Англии, любимым результатом деятельности миллениариев-революционеров.

Таким образом, несмотря на высокие оценки и восторги по адресу книги со стороны десятков миллионов читателей, «Утопия» так же далека от идеи прогресса, как «Похвала глупости» Эразма, любимого друга Мора. Безусловно, обе эти книги стали классикой, но обе они ни в малейшей степени не имеют отношения к предмету данной работы — истории идеи прогресса.

ФРЭНСИС БЭКОН

В работах Фрэнсиса Бэкона, без сомнения, попадают выражения, которые можно посчитать признаками наличия у него теории исторического прогресса. Его часто цитируемое высказывание из «Великого возрождения наук» — *Antiquitas saeculi juventus mundi** — показывает со всей очевидностью, что Бэкон считал (как считали и его предшественники — многие мыслители эпохи, предшествовавшей Возрождению) истинно древними себя и своих современников. А те, кого обычно именуют древними, согласно Ф. Бэкону, относятся к этапу юности общей истории мысли. Тем самым, у Бэкона можно найти признаки понимания того процесса, который Августин называл «воспитанием рода человеческого». В этой же работе упоминаются и три стадии истории Запада: первая стадия — стадия древних греков и римлян, вторая — христианское Средневековье, третья, находящаяся в самом своем начале, — собственный век Бэкона. Эта модель, впрочем, уже для итальянских гуманистов была общепринятой — они использовали термин «Средние века» для обозначения пропасти между античным классическим просвещением и просвещением самих гуманистов. Эссе Ф. Бэкона «О мудрости древних» является далеко не тем, что можно представить по названию. На самом деле оно представляет собой своего рода развлечение, комментарий к классическим сюжетам, извлекающий из них то, что Бэкон считал истинным смыслом, скрывающимся за внешними формами выражения. Трудно не заметить то пренебрежение, с которым он относится

* Древность есть юность мира (лат.). — Прим. перев.

к этим подразумеваемым смыслом, а также иронию, содержащуюся в названии, которое он дал своему пространному сочинению.

На самом деле, отношение Бэкона к прошлому нельзя назвать уважительным. В этом он стоит ниже ранних итальянских гуманистов, для которых, по крайней мере, античный мир заслуживал уважения. Несмотря на едва ли осознанную апелляцию к формализму, обязательному для схоластической манеры, Бэкон полностью разделял ренессансное презрение и ненависть к средневековой культуре. В своем эссе «О предрассудках» он детально разбирает средневековые представления и верования. Далее, несмотря на только что упомянутую теорию трех стадий, у Бэкона отсутствует подлинное чувство истории как линейного потока, раскрывающейся, необходимой, непрерывной последовательности событий, идей и личностей. Его эссе «О превратности вещей» идеально отражает ренессансную тенденцию видеть историю в лучшем случае — как собрание поучительных историй, максимум — как хронику действия непреложного принципа чередования подъемов и спадов. Бэкон точно так же трактует значение случая в истории, как его трактовали Макиавелли и Гвичардини.

В большей степени имеет отношение к теме центральный предмет философских и научных работ Бэкона. Его целью было показать ложность или, по крайней мере, недостоверность всего, что говорили и о чем думали ученые умы прошлого, не имевшие соответствующего научного метода. Как известно, Бэкон с чрезвычайной готовностью давал описание этого метода, который в основе своей представлял собой регистрацию эмпирических наблюдений, в первую очередь экспериментального происхождения. Похоже, что Бэкон не был знаком с некоторыми замечательными научными работами, сделанными к тому времени в Европе, включая работы, выполненные на основе экспериментального метода. Существуют доказательства того, что он с антипатией относился к любым попыткам союза эмпирической науки и математики. Однако, вне зависимости от бесплодного характера научных изысканий Бэкона, можно припомнить мало философов (если можно вообще), которые с такой страстью и так красноречиво выступали бы

в защиту науки. Не будет преувеличением сказать, что он считал науку (то есть тот вид науки, который мог бы существовать, если бы предложенный им метод был повсеместно принят) спасительным евангелием, а ученых — избранными пророками и священниками.

Главной, по сути дела исключительной, целью Бэкона было стремление продемонстрировать, *во-первых*, как я уже отмечал, бесплодность и ложность всего унаследованного знания и, *во-вторых*, чудеса, которые можно ожидать в мире, если бы только истинный метод научного исследования был принят. *Если бы был принят!* Слово «наука» из его «Об умножении наук» имеет мало отношения к тому значению, которое оно имело для древних и средневековых ученых и имеет в современную нам эпоху. Этот смысл состоит не в историческом усовершенствовании знания с течением времени, но, скорее, импульс, толчок, который был бы дан знаниям, *если бы* только люди избавились ото всех накопленных ошибок — *идолов* — в своем мышлении и посвятили бы себя впервые за историю правильному методу усовершенствования знаний. Хотя Бэкон мог упоминать «благородную помощь и просвещение, которые мы имеем стараниями античных писателей», эти упоминания имеют не более чем риторический характер и ни в малейшей мере не сравнимы с тем энтузиазмом, который мы можем встретить почти у каждого итальянского гуманиста. Бэкон, будучи глубоко образованным мыслителем, знал прошлое, но он рассматривал его по большей части так же, как Монтень (от которого, скорее всего, Бэкон научился искусству написания эссе). Он смотрел на прошлое, прежде всего, как на пространство, где можно найти материал для критики, время от времени используя его в риторике и для иллюстрации. Он не видел в прошлом священную, ничем не заменимую почву, необходимую для постижения настоящего и предвидения будущего.

Самая знаменитая работа Бэкона и самая характерная для него — это, безусловно, «Новый Органон», название которой вполне соответствует содержанию книги. Наиболее известные ее разделы посвящены «идолам разума». Мы встречаем здесь череду идолов: идолы племени — предрассудки и заблуждения, присущие человечеству как таковому;

идолы пещеры — ошибки восприятия, являющиеся продуктом индивидуальных предубеждений человека; идолы рыночной площади — путаница и ошибки, проистекающие из нашей склонности принимать слова за реальность; идолы театра — ошибочные способы мышления, которые порождены тем, что люди слишком легко признают модные философские системы.

Только если люди смогут освободиться от всех этих идов, утверждает Бэкон, сможет восторжествовать «новая логика», новый научный метод, который впервые в человеческой истории сделает возможным понимание человеком природы и — на этой основе — ее покорение. Очевидно, что для этого требуется, в первую очередь, крайняя степень скептицизма по отношению ко всему, что унаследовано от прошлого, поскольку это наследие полно ошибок, связанных с наличием идолов разума, до сих пор владевших мыслью человечества. Только после освобождения от этих идолов и непосредственного применения методов наблюдения, эксперимента и индукции станет возможным усовершенствование знания, утверждает Бэкон.

Мы ни в коей мере не оспариваем тот факт, что главные философские работы Бэкона написаны блестяще — и в том, что касается содержания, и в том, что касается стиля. Бэкон был, без сомнения, блестящим мыслителем. И бесспорным является также то, что, несмотря на его собственные отступления от последовательного применения своего спасительного метода, например, в своей «Метафизике форм» или в схоластической структуре доказательств, он был исключительно ярким мыслителем. Эта его репутация сохранилась и до наших дней. Но в работах Бэкона нельзя обнаружить даже намек на наличие у него какой бы то ни было философии истории или теории прогресса — в данном отношении дело обстоит совершенно так же, как и у других мыслителей Возрождения, о которых мы говорили выше.

Хорошим источником для изучения мотивов Бэкона, его понимания истории и, прежде всего, его видения будущего, по крайней мере в том, что касается «усовершенствования наук», является «Новая Атлантида». Как и Утопия Мора, описываемое Бэконом общество расположено в удаленной части света. Но, в отличие от произведения Мора, которое,

как мы отмечали выше, было неоднозначно в том, что касается побуждений к его созданию, работа Бэкона проста и недвусмысленна, как свет прожектора. Совершенное общество не может и, вероятно, не будет когда-либо существовать, но Бэкон рассказывает нам в точности, что оно из себя представляет: общество, руководствующееся единственно и исключительно ценностями науки и управляемое ее хранителями — учеными. По сегодняшним меркам, сформированным Олдосом Хаксли в его романе «О дивный новый мир», а также работами его многочисленных последователей, книга Бэкона оставляет тягостное впечатление. Главное в «Новой Атлантиде» — это бесчеловечное, всепроникающее и непрерывное научное наблюдение за человеческой жизнью и контроль над ней. «Новая Атлантида» знаменует начало длительной традиции в западной литературе воспринимать ученых и инженеров как спасителей человечества. В XIX веке, когда эта традиция полностью сформировалась, ее высмеял Сэмюэль Батлер в своем «Иерихоне». В нашем веке она превратилась в повод для горечи и отчаяния. «Новая Атлантида» — это фантазия, помещенная авторам в никуда. Она предвосхищает в некоторой степени технологические реалии XIX—XX веков. Но это все, что можно о ней сказать.

Впрочем, есть один момент в философии Бэкона, который имеет связь с историей идеи прогресса: это, как недавно показал в своей книге «Великое восстановление» Чарльз Уэбстер (*Charles Webster, The Great Instauration*), та страстность, с которой некоторые английские и американские пуритане XVII века, вдохновляемые идеей прогресса, воспринимали работы Ф. Бэкона. Как будет показано в главе 5, пуритане, бывшие в XVII веке центральными фигурами в деле возрождения миллениаризма, имели свою собственную философию прогресса человечества. Эта философия соединяла прошлое, настоящее и будущее в одну сплошную, непрерывную бесшовную сеть, направленную к золотому будущему, которое должно продлиться на Земле тысячу, а может быть, много тысяч лет. Для достижения такого рая на Земле эти пуритане считали самым важным упорное стремление к знанию, особенно к знанию практического толка — экспериментальному и научному. Ровно

по этой причине они в своем стремлении к тысячелетнему царству опирались на такие работы, как труды Ф. Бэкона, как бы ни была далека его вера от религиозных догматов пуританства.

РЕНЕ ДЕКАРТ

Говоря о Декарте, можно утверждать, что на самом деле было два Декарта, занимавших одно и то же тело, но столь же сильно отличающихся своим мышлением, как могут отличаться два разных индивидуума. Первый — это Декарт-ученый, внесший творческий вклад в математику, а также в такие области растущего знания, как оптика, физиология и психология. Но этот Декарт больше известен историкам науки. Второй Декарт, оказавший гораздо большее влияние, — это Декарт «Рассуждения о методе» и «Размышлений». Первый Декарт, скорее всего, не мог бы существовать, если бы не было библиотек того или иного рода, хранилищ того, что было сделано раньше и было известно в тех дисциплинах, в которых он работал и в которые внес такой значительный вклад. Второй Декарт фактически понуждал к уничтожению библиотек, поскольку они хранили заблуждения и предрассудки и самим своим существованием создавали препятствия к использованию метода, который Декарт столь мастерски изложил в «Рассуждении о методе» и «Размышлениях».

Выше я говорил о скептицизме Ф. Бэкона, о том, что он настаивал на необходимости поддержания этого состояния ума, пока не станет возможным достижение подлинной истины в форме экспериментальной науки. Но скептицизм Декарта, предписываемый нам его классическими работами, еще более радикален, чем скептицизм Бэкона, поскольку распространяется буквально на все, в частности — на те эмпирические данные, которые Бэкон считал единственно реальными. Иными словами, Декарт отвергал все формы воспринимаемой внешней реальности во имя лелеемого им методологического скептицизма, отвергал, разумеется, вместе со всеми системами мышления или идеями любой формы и охвата. Современный французский комментатор не без оснований назвал картезианский метод формой «интеллектуального террора».

Существует четыре правила обретения знания, *действительного* знания (которого, в соответствии с результатами рассуждений Декарта, никогда не существовало). Во-первых, никогда не принимать ничего, истинность чего нельзя «четко и ясно» увидеть; то есть того, что не является, по сути дела, аксиоматическим. Во-вторых, следует «разделять каждую изучаемую сложность на максимально возможное число частей». Никогда не следует начинать с рассмотрения развернутых суждений — все должно быть концептуально разбито на мельчайшие из возможных мысленных элементов. В-третьих, мысли должны всегда располагаться в логическом порядке, «начиная с предметов, самых простых и легких для познания, постепенно переходя к познанию более сложных». В-четвертых, необходимо рассуждать строго, подобно тому, как это делается при доказательстве теорем геометрии, постоянно проверяя, не пропущено ли что-то в цепочке логических выводов.

Широко известно, как сам Декарт применял предложенный им метод: сначала усомнившись в существовании всего; затем осознав, что единственное, в чем можно не сомневаться, это существование сомневающегося мыслителя; затем от этой субъективно познаваемой аксиомы шаг за шагом продвигаясь к доказательству существования мира, человека и Бога.

Революционный характер картезианской философии придает утверждение Декарта, согласно которому его метод доступен каждому, и больше нет необходимости идти на поклон к ученым, естествоиспытателям, архивам и библиотекам. Единственная истина, которая имеет значение, единственная действительная истина — это та, которую любой обычный человек, образованный или нет, может достичь сам при правильном выполнении этих четырех шагов. Подобно тому, как Лютер, после того, как выводы из его доктрин были доведены до логического конца, сделал церковь и церковнослужителей, а также таинства, литургию, теологию и теологические труды ненужными, поскольку личная вера, напрямую передаваемая Богу, стала единственной основой истинной религии, точно так же и Декарт с помощью своего философского метода сделал столь же

излишними все виды накопленных знаний в форме книг, документов и т.п. Более того, он видел в них огромные препятствия, воздвигнутые на пути к истине, действительной истине. Таково было основание, на котором покоятся общеизвестные взгляды Декарта на все дисциплины, в которых имеет место эмпирическое или документальное исследование. Историки, по ироничному замечанию Декарта, это люди, которые тратят целую жизнь на изучение тех фактов о жизни Рима, которые прекрасно знал каждый неграмотный слуга во времена Цицерона.

Нам нет необходимости глубже исследовать картезианство и его отношение к какой бы то ни было концепции прогресса, которая могла бы, в принципе, зародиться в уме Декарта. Любая мысль о подобной идее для Декарта является полностью абсурдной, учитывая его презрение ко всему и отказ от всего, что когда-либо было изучено в прошлом, и его убеждение в том, что единственная реальность, которую стоит знать, должна быть постижима индивидуальным разумом, занятым собственными представлениями и понятиями. Декарт помещал все, что лежит вне нас, в сферу простой видимости или даже иллюзии, и тем самым он отвергал любую мысль о вере в прогресс, подразумевавшую обязательный прирост знаний от прошлого, через настоящее и в будущее, касается ли этот прирост искусств и наук или улучшения благосостояния человечества. В отличие от итальянских гуманистов, живших за два века до него, Декарт не мог заставить себя восхищаться даже древними греками и римлянами, а такое восхищение, как мы видели, было, фактически, сердцевиной Возрождения. Но еще ближе к сердцевине была убежденность в превосходстве субъективного воображения над всем, что было получено в наследство от прошлого или развилось из него.

Осталось упомянуть еще один момент, связанный с Декартом, ввиду поразительных следствий. Как мы видели, Декарт заявляет, что вначале он освободил свой ум от всего, что он когда-либо изучал, затем занимает позицию сомнения во всем, включая свое собственное существование, после чего он торжествующе приходит к заключению, что, хотя он может стремиться усомниться во всем, он не может

сомневаться в существовании сомневающегося мыслителя: *Cogito, ergo sum**.

Декарт мог знать, а мог и не знать, что в этом способе рассуждения его опередил не кто иной, как Св. Августин, которого, скорее всего, он читал во время своего обучения в иезуитском университете. Св. Августин (см. «О Граде Божием», XI, 26) провозглашает собственное существование и, следовательно, свою способность познавать внешний мир, хотя при этом допускает, что другие могут доказывать, что он заблуждается, полагая реальным свое собственное существование на Земле. На это Св. Августин отвечает: «Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если обманываюсь».

Как часто бывает в истории, то, что провидец, пророк или философ считает новым и оригинальным итогом своего вдохновения, почти всегда оборачивается всплывшей в его сознании мыслью из какой-то, возможно, давно забытой им книги или автора.

* Я мыслю, следовательно, я существую (лат.). — Прим. перев.

ГЛАВА 5 ВЕЛИКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Штилевая полоса, в которой пребывала идея прогресса в эпоху Возрождения, начала исчезать под собирающимися ветрами и доктринальными течениями в период Реформации. Чем бы ни считала Реформацию историческая наука, она была одним из крупнейших религиозных пробуждений в истории. Хотя нам прежде всего приходят на ум протестантские проявления этого возрождения пламенной христианской веры, не следует упускать из виду и подобные проявления со стороны Римской Католической Церкви. Великая схизма породила богатый интеллектуальный вклад и со стороны протестантских, и со стороны католических кругов.

Оживление христианской веры в Европе принесло возрождение идей, которые были тесно связаны с христианством, начиная со времен Отцов Церкви и заканчивая Средневековьем, и которые в эпоху Возрождения были подавлены или вытеснены с исторической сцены. Среди них выделяется идея прогресса. Из текстов того времени, будь то столь глубоко проникнутый католичеством труд, как «Рассуждение о всеобщей истории» епископа Боссюэ, или многочисленные книги и трактаты, изданные пуританами в XVII веке, становится очевидным, что мыслители вновь обрели веру в линейный прогресс человечества.

В этой главе мы коснемся периода, простирающегося примерно от 1560 до 1740 года, который начался с плодотворных идей Жана Бодена и завершился идеями Джамбаттиста Вико. В этот промежуток попадают важная для наших целей пуританская революция и тесно с ней связанный подъем искусств и наук в Англии XVII века, «Спор о древних и новых», расцвет литературы о путешествиях и открытиях с ее вкладом в теорию прогресса, а также реставрация в европейской философии таких понятий, как полнота и непрерывность, осуществленная великим Лейбницем.

Мне известно, что эту уникальную фигуру часто включают в контекст эпохи Возрождения. Нет сомнений, что Боден отчасти разделяет те интересы и убеждения, о которых мы говорили в предыдущей главе, и среди них идея циклов, интерес к оккультизму и, к сожалению, глубокая убежденность в реальности ведовства.

Но при этом, полностью осознавая, в какие годы протекала его жизнь (1530?—1596), я полагаю, что существуют важнейшие причины не считать его преимущественно и в основном человеком эпохи Возрождения, а, напротив, воспринимать его как своего рода утреннюю звезду философии истории и веры в человеческий прогресс, которая в XVII—XVIII веках становится частью великого восстановления религиозной веры. Прежде всего следует отметить очевидное уважение Бодена к средневековым институтам и ценностям. В своей самой знаменитой работе «Шесть книг о государстве» (Jean Bodin, *Les six livres de la République*), опубликованной во Франции в 1576 году, переведенной в 1603 году на английский язык и оказавшей прямое и широкое влияние, Боден представляет нам нечто большее, чем теорию суверенитета, которой он более всего и славен. Это также и работа по философии истории. И то, что в начальной части своих «Шести книг о государстве» Боден восхваляет гильдии, монастыри и братства, выросшие в Средние века, является знаком уважения к традиционному, кумулятивному характеру истории человеческого сообщества. Боден, далекий от ненависти к ним и не желающий от них избавляться, видит в них важные уровни человеческих объединений, находящиеся между индивидуумом и политическим сувереном.

Другое качество, которое отделяет Бодена от ренессансного мышления, состоит в его четком понимании политической власти как находящейся не просто в руках какого-либо правителя, но в руках *государства*, — суверенного государства, обладающего определенной территорией. Еще один важный элемент во взглядах Бодена, равно свойственный и древности, и Средневековью, — его абсолютная убежденность в необходимости патриархальной семьи, где

отец обладает той властью, какая была присуща римской *patria potestas**. Если мы в этом видим оглядку Бодена на античность, то нужно видеть и то, что он в этом отношении предвосхищал «Комментарии» Блэкстона, которые ратуют за сохранение всех патриархальных тенденций в законах и за фактическое уничтожение юридических, политических и экономических прав и привилегий женщин.

Далее, Боден почитает институциональную религию, основанную на Откровении, ее структуру и содержание, что, конечно, во многом чуждо эпохе Возрождения. Его поразительный, почти неподвластный времени труд «Беседа семерых» (Jean Bodin, *Colloquium Heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis*), хранившийся в виде латинской рукописи почти 300 лет, опубликованный, наконец, в 1857 году и лишь недавно переведенный на английский язык Марион Кунтц, раскрывает Бодена как глубоко образованного исследователя в области сравнительного анализа религий. В беседе участвуют представители всех религий — по одному от римского католицизма, лютеранства, кальвинизма, ислама и иудаизма, один от всех остальных религий мира и, наконец, один представитель всех в мире сект. Толерантность — выдающаяся черта «Беседы семерых». И такая толерантность есть знак уважения, а не циничного презрения к религии. Хорошее государство должно полностью принимать политически все религии, природа которых исключает нетерпимость к другим. Каковы же, спросим мы, собственные религиозные взгляды Бодена? На это нет ясного ответа. Но, как представляется, наиболее правильным предположением будет иудаизм, который в трактовке Бодена есть воплощение Закона.

Наконец, такой же впечатляющий признак современного характера мышления Бодена, — его защита свободной торговли в пределах одной нации и между разными нациями в интересах экономической справедливости. До физиократов и Адама Смита мы не найдем теории свободной торговли, выраженной столь четко и убедительно, как в «Ответе на «Парадоксы» господина Молеструа» Бодена (Jean Bodin, *Responses aux paradoxes du sieur de Malestroict*).

* Отеческая власть (лат.). — Прим. перев.

Словом, Боден — воистину выдающийся мыслитель. Будь он о трех ногах, одной он стоял бы в Средних веках, другой — в эпохе Возрождения, а третьей — в мире современного мышления.

Обратимся к его философии истории, отчасти изложенной в его «Шести книгах о государстве», оказавшей огромное влияние на протяжении десятилетий после ее публикации (среди ее общепризнанных достоинств — глубокая враждебность Бодена к идеям Макиавелли) и, более подробно, в его трактате, посвященном историческому методу. Первое, что мы замечаем в обеих работах, — уважение к прошлому, а также желание показать необходимость прошлого для понимания настоящего. Боден подчеркивает значимость времени и эпохи, причин и процессов, играющих роль в нашем понимании истории. Религиозный человек, абсолютно благоговейный перед ролью Бога в развертывании прогресса человечества, он, однако, интересуется феноменами климата и характера местности как факторами подъема и упадка тех или иных империй и народов. В западных трудах, вплоть до Монтескье, в XVIII веке никто не превзошел Бодена в искусности толкования политической географии.

Его «Метод легкого изучения истории» (*Jean Bodin, Methodus ad facilem historiarum cognitionem*), опубликованный в 1566 году, за десять лет до появления более знаменитых «Шести книг о государстве», возможно, самый лучший источник для нашего понимания теории прогресса человечества у Бодена, хотя нельзя сбрасывать со счетов «Шесть книг», особенно начальные части этой работы, а также «Беседу семерых».

Боден дает нам панораму происхождения и развития человеческого общества. Он весьма критически подходит к мифу о Золотом веке — еще один признак его отличия от столь многих умов эпохи Возрождения — и говорит, что этот примитивный век «при сравнении с нашим показался бы по сути железным». Начальные этапы человечества отмечены невежеством, страхом перед неизвестным, угнетением и постоянной уязвимостью из-за незнания ремесел.

И все же Боден показывает нам не абстрактное воображаемое «естественное состояние» — состояние, кото-

рое стало отправной точкой для стольких политических работ в последующие два века и которого, согласно этим сочинениям, люди избежали лишь благодаря «общественному договору». Боден здесь гораздо больше походит на эволюциониста, чем будущие Гоббс или Локк: «Истоки всех гражданских обществ происходят из семьи, которая (как мы говорим) сама по себе есть естественное общество. ...Но когда разум, привитый нам самим Богом, породил в человеке желание сотрудничества, общества людей и участия в разговоре и общении, то же самое происходило, когда, выходя за пределы любви к своим близким и домашним, человек начинал получать удовлетворение от распространения и увеличения семей. Так же и семьи, понемногу отталкиваясь от своих начал, учились в гражданском обществе подражать естественному обществу семьи».

Таким образом, человеческое общество происходит от родовых групп, и его развитие принимает форму образования других, более разнородных групп и союзов, которые, хотя и созданы по образцу семьи, позволяют гораздо более неоднородное существование. Стоит повторить, что для Бодена было бы абсолютной глупостью превозносить истоки вещей. Даже составляя семьи, «люди были рассеяны, как звери, по полям и лесам и имели лишь столько, сколько могли удержать силой и преступлениями, до тех пор, пока постепенно они не перешли от ярости и варварства к утонченности обычаев и к законопослушному обществу, которое мы видим вокруг себя».

Именно прогресс, раскрывающийся, развивающийся, двигающийся вперед, а не регресс или вырождение, Боден считал главной характеристикой человеческого состояния, начиная с его примитивных истоков. Если бы дела людей «шли все хуже и хуже, мы должны были бы уже давно достичь крайней степени пороков и грехов, каковая, я думаю, и имела место в прошлые времена». Он противопоставляет то, как древние, включая греков и римлян, обращались с пленными народами (обращение в рабство, пытки и нанесение увечий ради развлечения толпы), гораздо более гуманным условиям существования всех людей при христианстве. Человеческие жертвы, отмечает он, широко практиковались во время так называемого золотого века

человечества, в то время, как мы, люди современности, полностью их отменили.

Обращаясь к знаниям, Боден во всем соответствует новому времени; у него нет нелепых ренессансных фантазий по поводу достижений греков и римлян. Да, Боден уважает их, но не поклоняется им: «Кто-то скажет, что древние были изобретателями искусств, и за ними должна быть эта слава. Они, безусловно, открыли много вещей, особенно силу небесных тел, вычисления курса многих звезд, хотя и далеко не всех, поразительные орбиты неподвижных звезд и так называемых «планет»... И все же они оставили незаконченными многие из этих вещей, которые были закончены и переданы потомству людьми нашего времени... Хотя нет ничего более примечательного во всей природе вещей, чем магнит, все же древние не знали о его применении, очевидно, божественном, и, если они жили полностью в пределах Средиземноморского бассейна, наши люди, с другой стороны, пересекают всю Землю каждый год в ходе множества путешествий и заводят колонии, можно сказать, в другом мире, чтобы открыть самые отдаленные уголки Индии... Действительно, в географии, одном из самых превосходных искусств, можно понять, какой большой прогресс был достигнут благодаря тому факту, что информация об Индии, которая раньше казалась для многих сказочной... была нами подтверждена, так же, как и движение неподвижных звезд и дрожание великой сферы... Ежедневно появляются на свет дающие здоровье лекарства... я уж не говорю о методе эклиптикальной долготы вычисления при помощи механических часов, которую древние астрономы, проводившие перпендикуляр к эклиптике, могли определять лишь с очень невысокой точностью... Я опускаю, наконец, бесчисленное число искусств, а также ремесло и ткачество, с которыми жизнь человека стала значительно проще. Одно книгопечатание может с легкостью соперничать со всеми открытиями древних».

Касательно методологического подхода Бодена следует отметить два важных момента. Он настаивает, во-первых, на ответственности историка за использование только достоверных естественных причин (он приводит в качестве примера климат и географическое положение) и доку-

ментов максимальной степени достоверности. Он убеждает историков, что «наша система хронологии от сотворения мира должна выводиться из исторических документов». Во-вторых, у Бодена нет явного интереса к тому или иному будущему концу света. Как мы увидим, ему знакомы явления вырождения и упадка в человеческой истории, но это всего лишь проявления цикличности, и каждый новый цикл повторяется на более высоком уровне. Что же касается какого бы то ни было конца света, то «даже ангелы ничего о нем не знают, и уж, конечно, ни один из нас, смертных». Вот и все о пророчествах Судного дня! Историк должен быть прежде всего спокоен и объективен, насколько это возможно. Боден ссылается на тех мнимых историков, которые вечно «противоречат сами себе, либо от рвения, либо от гнева, либо из-за ошибок».

Говоря кратко, изучать прогресс человечества следует посредством разума, путем тщательного изучения и исследования, всегда учитывая слабые стороны, свойственные человеческому наблюдению. Но реальность долгосрочного прогресса человечества во всех сферах не вызывает у Бодена ни малейших сомнений. Поразительны его слова о французском короле Людовике Святом: «...какого правителя древности можно сравнить с королем Людовиком Святым?.. Нам, конечно же, не известно ни одного государя, который был бы столь полон преданности Богу, ответственности перед своей страной, любви к своим подданным и справедливости ко всем. Не только добродетели людей нашего времени равны добродетелям древних, но и благочиние».

И все же, как я уже упоминал, Боден не был слеп к фактам упадка, несмотря на свое понимание развития в большой исторической перспективе. Он, подобно Макиавелли, хорошо чувствовал *recorsi*, но если Макиавелли видел историю всего лишь как бесконечное повторение всего, без всеобщего продвижения вперед, то Боден видит следующие друг за другом циклы генезиса и упадка постоянно переходящими на все более высокий уровень.

«Литература переживает перемены судьбы». В этом высказывании Боден проявляет свое осознание того, что искусства, как мы изучаем их в истории, «некоторое время

находятся в состоянии стабильного расцвета, затем увядают от старости и, наконец, начинают умирать и уходят в небытие». Так происходит из-за слишком большого числа войн, из-за сильного интеллектуального упадка, принесенного изобилием, или оттого, что сам Бог время от времени навлекает на писателей, как и на других людей, справедливые наказания. Такие взлеты и падения, продолжает Боден, можно увидеть в истории Греции и Рима (и других более ранних или непохожих обществ). Греция со временем пришла в упадок, утверждает Боден, в силу убежденности древних греков в том, что они и их труды были вершиной возможных человеческих достижений. То же верно в отношении Рима, где «одаренных людей было так много, что почти одновременно они превзошли все народы в военной славе и в великолепии культуры». И все же они тоже в конечном итоге сдались силам упадка и распада. Но при более широком взгляде на историю человечества за падением следует подъем, за упадком — новый расцвет. В мире являются новые циклы. И каждый последующий цикл отражает более высокий уровень достижений, чем предыдущий:

«Итак, те, кто говорит, что древние понимали все, ошибаются не меньше, чем те, кто отрицает их достижения во многих искусствах. *Природа обладает бесчисленными сокровищами знаний, которые не могут быть исчерпаны в течение какой-либо одной эпохи.*

Поскольку это так и поскольку по некоему вечному закону природы путь изменений, похоже, идет по кругу, так что пороки теснят достоинства, невежество — знания... и тьма — свет, ошибаются те, кто думает, что род людской всегда ухудшается. Когда старики делают эту ошибку, можно понять, почему с ними так бывает, — потому что они вздыхают о потере цветения своей юности, которая сама по себе дышит радостью и весельем... И, словно вернувшись из дальних странствий, они повествуют молодым людям о золотом веке — золотом возрасте юности» (курсив мой. — Р. Н.).

Но сколь бы понятна ни была такая ностальгия, говорит нам Боден, ей не следует верить. На деле настоящее лучше прошлого, а будущее — лучше настоящего. Все это часть божественного плана, результат сил и причин, которые, бу-

дучи естественными и действующими во времени, есть производные божественной воли. Правда, Боден не уделяет будущему особого внимания: что можно сказать о грядущем, не впадая в бесплодный утопизм? Однако его полное отрицание любых доктрин упадка, бывших ключевым элементом эпохи Возрождения, его высокая оценка своей собственной исторической эпохи и, что, наверное, важнее всего, сам факт того, что он уделил столько старания написанию своего великого трактата о политике как средстве сделать государство более человечным и эффективным, — все это выдает в нем мыслителя, весьма чуткого к будущему. Практически из всех его значимых работ, включая «Шесть книг», «Исторический метод» и «Семь бесед», становится очевидным, что Боден живо интересовался миром в целом, всеми народами, жившими и живущими на Земле и в прошлом, и в настоящем. Он был горячим патриотом, членом группы французов, называвших себя *Les Politiques*^{*}, и справедливо отмечал неспособность какого бы то ни было института, за исключением суверенного территориального государства, поддерживать порядок в условиях крушения единого христианства. Но каким бы Боден ни был патриотом, даже националистом, он оперировал понятием единства человечества, которое было августинианским, — понятием, легко совместимым с видением прогресса человечества сквозь века. В итоге можно сказать, что, невзирая на средневековые и ренессансные черты Бодена, есть все основания считать его утренней звездой века, который принесет Западу такой интерес к истории и прогрессу и даже поглощенность этими идеями, каких не видели античность и Средневековье.

ПУРИТАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Я, конечно, имею в виду и политическую, и социальную революции, но в гораздо большей степени — интеллектуальную революцию, особенно в искусстве и науке, на которую столь существенное влияние оказали пуритане. Невозможно найти связь, более плодотворно способствовавшую появлению современной идеи прогресса, чем сочетание веры

* Политики (франц.). — Прим. науч. ред.

в искусство и науку, с одной стороны, и, с другой стороны, в грядущий миллениум, наступление которого сможет ускорить прогресс искусств и наук.

Несмотря на то что фраза «Век Разума» по-прежнему популярна, куда вернее будет воспринимать XVII век как Век Веры, религиозной веры. Джон Редвуд (John Redwood) пишет в своем недавнем исследовании интеллектуальной ситуации, о которой идет речь: «Мысль XVII века одержима Богом». Именно так и обстояло дело. Исключая Томаса Гоббса и некоторых других, невозможно в те годы найти сколь-нибудь заметные имена в науке и искусстве, философии или теологии, которые не были бы глубоко религиозны. Этот список включает, как мы увидим, даже величайшего ученого того времени, Исаака Ньютона. Его искренняя религиозность не была ни aberrацией, ни старческой причудой. С детства и до самой смерти она господствовала в его жизни.

Наш главный интерес здесь — вера пуритан и их достижения. Несомненно, при всей широте и многообразии научных исследований, проведенных пуританами в Англии за последние несколько десятилетий XVII века, здесь имеет место некоторое преувеличение. Очень может быть, как недавно заметил Кристофер Хилл (Christopher Hill), что все эти споры о действительной степени пуританского влияния на английскую науку, мысль и политическую деятельность постепенно начинают надоедать. Но даже если так, в конечном счете все то, что осталось от пуританства чисто как от интеллектуального феномена, без сомнений, производит огромное впечатление.

Не будет преувеличением сказать, что подъем пуританства и распространение его в интеллектуальных кругах Англии в XVII веке является главнейшим интеллектуальным событием того века. Макс Вебер первым, но не последним, показал, что среди других причин роста капиталистического духа в современном мире пуританство должно занять весьма высокую позицию. С тех пор во множестве работ нас также убеждали, что именно в рамках пуританской революции в современной Европе впервые отчетливо проявился социальный радикализм рабочих и низших классов. Другие же, начиная с появившейся сорок лет назад

новаторской и классической работы Роберта К. Мертона (Robert K. Merton), показали с неоспоримой ясностью, насколько близки корни пуританской религиозной веры к науке того типа, который мы связываем с Ньютоном и его современниками. Эта близость, очевидно, гораздо больше, чем просто совпадение. Мы узнали, как страстно Ньютон и многие другие научные умы, пуританские или роялистские, относились к религии и ко всему, что они принимали за неизбежную связь между наукой и религией. И, как недавно показал Чарльз Уэбстер (Charles Webster), даже учение Бэкона попало в орбиту пуританства.

И это еще не все. Очевидно (хотя всего лишь несколько десятилетий назад в основных европейских исторических трудах так не считали), что первой великой современной политической и социальной революцией была не Французская революция конца XVIII века, как долго считалось, а пуританская революция XVII века. Она началась не как социальная революция, нацеленная на захват верховной власти (хотя это относится и к более поздней Французской революции), но вскоре в пуританской Англии появились все ныне известные нам атрибуты политической, социальной и экономической революции. Якобинцы в начале 1790-х годов вполне правильно и обоснованно считали пуританских революционеров своими прямыми предшественниками.

Наконец, и это наиболее важно для целей нашего исследования, было доказано существование теснейшей интеллектуальной связи между пуританским миллениаризмом XVII века и расцветом в следующем веке «современной» светской идеи прогресса, которая, как мы увидим, в работах таких умов, как Кондорсе, Уильям Годвин, Сен-Симон и Конт, представляла собой оригинальную форму миллениаризма.

На самом деле, не все, что для нас здесь важно, произошло от пуритан. Можно припомнить, что доктор Джозеф Мид, чьи удивительные пророчества миллениума, сделанные в самом начале XVII века, имели столь сильное влияние на поздних пуританских мыслителей, сам был ученым Кембриджского университета и, возможно, англиканцем (он также был учителем Ньютона). А Квентин Скиннер

(Quentin Skinner) недавно подчеркнул, что колледж Грешем, основанный в 1597 году, один из самых знаменитых центров научных экспериментов того века, был отнюдь не пуританским. То же самое относится, отмечает Скиннер, к Королевскому колледжу врачей, где была осуществлена значительная часть наблюдений и экспериментов в области физиологии и медицины. Этот колледж был роялистским и враждебным к пуританству. И, как мы знаем, из множества ученых, работавших в Оксфорде под влиянием великого Уильяма Гарвея, ни один не был пуританином. Также следует упомянуть, что из дюжины ученых, сформировавших действующее ядро английской Королевской академии, половина была прямыми противниками пуритан. Наконец, как мы увидим в следующем разделе этой главы, одна из величайших формулировок христианской доктрины прогресса принадлежит католическому епископу Боссюэ в его «Рассуждении о всеобщей истории», опубликованной в 1681 году.

Мы признали существование непуританских и антипуританских источников науки и философии истории и согласились с тем, что действительное влияние пуритан, возможно, преувеличено или искажено. Тем не менее невозможно справедливо оценить современную мысль, научную и иную, без явного признания заслуг множества пуритан, чей вклад в физическую науку (на уровне гения Ньютона), мощное утверждение миллениаризма в духе Иоахима, его последователей, а также благоговейный интерес к прогрессивной философии истории в совокупности принадлежат к числу самых увлекательных и важных свершений XVII века.

Обратимся теперь непосредственно к идее прогресса в том виде, в каком мы встречаем ее в пуританстве. Е. Л. Тувесон в своей основополагающей работе «Тысячелетнее царство и утопия» (E. L. Tuveson, *Millennium and Utopia*) говорит об этом так: «Постепенно роль Провидения была передана «естественным законам», посредством которых, как предполагалось, действует Бог... Таким образом «эволюция» и «стадии развития» приобрели для современного человека такое же значение, как «благодать» для его предков... Понятие истории как процесса общего восходящего движения через ряд грандиозных стадий

с неизбежной кульминацией в некоем великом преобразующем событии, призванном разрешить дилеммы общества, стало концепцией, которой было суждено доминировать в «современной» мысли. Я полагаю, что ее предшественников можно видеть среди апокалипсически мыслящих теоретиков XVII века, а не среди историографов эпохи Возрождения с их представлениями о цикличности».

Тувесон, несомненно, прав в своей оценке силы и влияния пуританских миллениариев, а также в своей оценке эпохи Возрождения. И все же, как показала Марджори Ривс в своем исследовании средневековых пророчеств, к которому мы обращались ранее, здесь не хватает ссылки на действительные истоки пуританского апокалипсического мышления. Мы находим их, как документально подтверждает Ривс, в непрекращающемся бытовании пророчеств в духе пророчеств Иоахима XII века. «Нельзя изучать апокалиптиков XVI—XVII веков в отрыве от их средневековых предшественников». Как отмечает Ривз, книга Джеймса Максвелла «Замечательные и знаменитые пророчества» (James Maxwell, *Admirable and Notable Prophecies*), изданная в 1615 году, была лишь одним из большого числа пророческих произведений этого периода, в которых Иоахим признавался, по словам Максвелла, «чрезвычайно вдохновенным».

Я несколько раз подчеркивал в этой книге значимость признания *двух* основных элементов прогресса: первый, введенный в оборот греками, сосредоточивается на развитии искусств и наук; второй же — продукт августицианского смешения иудейского миллениаризма с греческой идеей разворачивающегося роста в рамках христианской философии истории — делает акцент в первую очередь не на знаниях, но на духовном состоянии блаженства, которого достигнет человечество перед тем, как земная жизнь прекратится.

Что является особенно поразительным в пуританской концепции прогресса, так это то, что она ясно и твердо *объединяет* два этих течения впервые в истории Запада. Прогресс в искусстве и науке считается одновременно *знаком* неминуемого приближения золотого века духа на Земле и *причиной* этого приближения. И этот союз знаний

и духовного совершенства не завершится и с приходом тысячелетнего царства. Кальвин уверенно отстаивал положение, что задолго до второго пришествия и Страшного суда произойдет распространение по всему миру знания, которое сможет полностью объединить во Христе все человечество, включая евреев. «Знание Бога распространится по всему миру, — предрекал Кальвин, — славу Божью узнают во всех уголках мира». Но Кальвин ограничивал это знание исключительно священным знанием, знанием Бога и его чудес. Именно в XVII веке мы видим расширение кальвинистского акцента со священного знания на знание в целом, и в том числе на то, которое содержится в светских искусствах и науках.

Нигде в тот век не найти более глубокой веры в единство религии и науки, чем в трудах Исаака Ньютона. Давно прошло время, когда «Начала» (*Principia*) Ньютона могли восприниматься в отрыве от религиозных и библейских исследований, которыми он занимался почти всю свою жизнь. В 1713 году он написал «Схолию» (*Scholium generale*) ко второму изданию «Начал», и в ней были слова: «Эта прекраснейшая система, состоящая из Солнца, планет и комет, могла иметь своим началом лишь намерения и власть разумного и могущественного Существа». Историк науки И. Бернارد Коэн (I. Bernard Cohen) подчеркнул тот факт, что Ньютон (и многие его современники, а также предшественники в XVI веке) стремился неопровержимо доказать, что коперниканский порядок есть «божественный порядок». Другому исследователю истории науки, П. М. Раттанси (P. M. Rattansi), принадлежит ценное замечание об отношении Ньютона к традиции, которая «жила в ньютоновской Англии и гласила, что тысячелетнему царству будет предшествовать расцвет искусств и наук, и благодаря этому люди приблизятся к состоянию Адама до грехопадения». И Фрэнк Э. Мануэль в некоторых из своих блестящих и проницательных работ о Ньютоне, в частности в «Религии Исаака Ньютона» (Frank E. Manuel, *The Religion of Isaac Newton*), полностью документально подтвердил ньютоновское абсолютное и неколебимое убеждение, его законы движения и результаты его непрекращающегося изучения библейских пророчеств, особенно пророчеств,

содержащихся в книге Даниила и в Апокалипсисе, происходят из одного и того же метода. Мы узнаём, что результаты последних лет своих библейских исследований Ньютон считал равноценными утверждениям, сформулированным в «Началах». Библейские и другие религиозные исследования были, по словам самого Ньютона, которого цитирует Раттанси, «не пустыми спекуляциями и не незначительными вопросами, а долгом высшего порядка». Ньютон, разумеется, был в свой век лишь одним из многих, кто стремился показать, с одной стороны, необходимость религиозного служения для научных достижений и, с другой стороны, необходимость научных наблюдений и доказательств для истинного понимания божественного порядка.

Очевидна глубокая значимость всего этого для идеи прогресса. Фундаментальную роль для этой идеи, как мы видели, играет вера в ценность человеческих знаний, того рода знаний, что содержатся в науках и ремеслах, и в способность таких знаний поднимать человечество на все более высокие уровни человеческой жизни. Для того, чтобы такая идея столь глубоко внедрилась в западное сознание, начав свое развитие с древних греков и римлян и получив дополнительную силу и импульс от христиан, было недостаточно обычных опыта, логики и разума. Едва ли столь всеобъемлющее утверждение, объявляющее прогресс *необходимостью* для человечества, может быть основано на обычных правилах логического доказательства. Требуются более глубокие кладези веры, и они неизменно ведут не столько к умозаключению, сколько к *догме*.

И здесь на сцену выходит пуританство. Эта религия более любой другой из составляющих христианство наделяла знания (теоретические, практические и превыше всего — научные) эсхатологической значимостью. Лишь через культивирование исследований природы и человека, утверждали пуритане, может быть ускорено пришествие тысячелетнего царства на Землю. Пуритане вовсе не страдали недооценкой происходящего вокруг них в мире науки. Благодаря большому количеству ученых, а также центров, институтов и колледжей, где трудились ученые, благодаря публикации результатов научных исследований миллениум должен был наступить в самом ближайшем будущем. Так думали бес-

численные пуритане, а также и представители других религиозных групп в Англии, в том числе англикане.

И так же, как умы в Англии (и в Новой Англии) XVII века, опьяненные религией, были опьянены и верой в искусства и науки, они оказывались еще более охвачены уверенностью в прогрессе как универсальном законе человеческой истории — таком законе, который неизбежно должен привести к золотому веку на Земле в обозримом будущем. По мере того, как мы приближаемся к середине XVII века и движемся дальше, Бог перестает восприниматься как далекое, обособленное, направляюще Всемогущество. Он начинает восприниматься, скорее, как своего рода *процесс*. Эрнест Тувесон цитирует на этот счет весьма уместные слова влиятельного Томаса Бернета (Thomas Burnet): «Вы обязаны всегда держать перед глазами и всегда иметь в виду *прогресс Провидения* в постепенном усилении благочестия в мире и в просвещении Человечества» (курсив мой. — Р. Н.) .

«Прогресс Провидения»! Фраза Бернета идеальным образом демонстрирует чрезвычайно важный исторический процесс, который мы рассматриваем в этой главе: тот процесс, в ходе которого вера в христианского Бога была замещена в умах интеллектуалов верой в некую естественную и детерминированную модель прогресса. Во фразе Бернета мы видим, как Бог-Существо заменяется Богом-Развертыванием, Богом-Развитием. Вера в постоянство и регулярность естественного закона, которую столько историков приписывали картезианским источникам, следовало бы приписать христианству, главным образом в его пуританском варианте. На самом деле, как просто было Тюрго, Кондорсе и многим другим в следующем веке позволить Богу совсем уйти. Этот путь был подготовлен тем типом мышления, распространенным среди пуритан, которое так хорошо представлено Бернетом.

Другие эпохи — Возрождение и более ранние, вплоть до Древней Греции — считали знания, достигнутые в искусствах и науках, — важными и заслуживающими сбережения. Но выдающимся вкладом пуритан Англии XVII века было то, что они наделили искусства и науки чем-то гораздо более величественным, чем просто утилитарная полезность,

а именно — спасительной ценностью. Так же, как религия сделалась главным оправданием непрерывного исследования природы и человека, так и само это изучение стало абсолютным необходимым для должного упрочения религии. Джон Эдвардс, согласно цитате, приведенной Робертом Мертоном, в 1699 году писал: «Признаюсь, я не понимаю, отчего нельзя ожидать соответствующего улучшения знания о божественном, а также моральных и христианских даров. Может ли существовать причина, по которой Бог не сделает религию столь же процветающей, сколь искусства?» Невозможно не поразиться порядку, в котором Эдвардс упоминает религию и искусства. И прямо перед процитированной выше фразой Эдвардс говорит: «Таким образом, мы превосходим все времена, которые были до нас; и очень вероятно, что те, кто последует за нами, весьма превзойдут нас».

Существует еще один крупный вклад в современную идею прогресса, который можно найти во множестве пуританских философских и научных произведений. Это касается способа или условий, с помощью которых человечество в конце концов войдет в тысячелетнее царство. Как мы видели, для Иоахима и многих других его последователей и продолжателей в последующие века достижение золотого века на Земле или, как называл его Иоахим, «Века духа», требовало высокой цены: периода времени, когда будет править анархия, умножатся страдания, воцарятся всякого рода раздоры. И миллениум, когда он, наконец, придет, разразится внезапно, быстро, ослепляюще. Однако в пуританских текстах (не во всех, разумеется, но в значительной их части, особенно у великих теологов и ученых) мы встречаем миллениум, понятый лишь как этап, как конечная земная ступень прогресса человечества. Суть состоит в эволюции, а не в революции. И это — еще один из ингредиентов теорий прогресса XIX века, наряду с духом реформ и утилитарным акцентом на материальном счастье человечества.

Ричард Ф. Джонс в своих «Древних и новых» (Richard F. Jones, *Ancients and Moderns*) предположил, что «наш современный утилитаризм — это потомок Бэкона, порожденный пуританством». Есть все основания полагать, что профессор Джонс прав. XVII век, несомненно, был

религиозным, но это тот вид религии, который, особенно среди пуритан, легко сочетался с утилитаризмом и реформами, социальными и политическими. Очень может быть, что современный смысл слова *public* («общественный» или «публичный») возник именно в этом, а не в следующем веке. Как подчеркивает Джонс, «общественное благо» (*the public good*), как фраза и мысль, получает все большее хождение на протяжении XVII века. Человеческие нужды, возможно, впервые после классического мира античности, становятся реальной заботой умов философов, ученых и богословов. Человек в XVII веке, по крайней мере в Англии, становится социально ориентированным. И с этим пришел дух реформ, который тогда, как и в последующие века, был тесно связан с принимаемыми моделями естественного или провиденциального прогресса.

Установка на образование ничуть не уступала страсти к реформам, увязанным с прогрессом. Желание избавиться от старого и строить новое (в свете науки и разума) редко бывало столь сильным, как в Англии XVII века. Джон Вебстер, бывший вначале студентом в Кембридже, а затем записавшийся в парламентскую армию, в 1654 году опубликовал именно с таким предложением — очистить университеты от всего устаревшего и бесполезного. В одной из глав, названной «Традиции и метод», Уэбстер негодует против потворства университетов безделью и непослушанию студентов в том, что касается их учебы. Он жалуется, что студенты «никогда не ведут тщательных исследований, наблюдений и опытов, чтобы открыть тайны, скрытые в природе». Уэбстер нападает на использование латыни вместо английского, на нелепое преклонение перед Аристотелем и классической античностью в целом. Как пишет Ричард Джонс, «его взгляд на английский язык оправдан и свидетельствует о той роли, которую наука, а также пуританство, сыграли в снижении значимости латыни и признании важности родного языка». Уэбстер пишет, что греки и римляне имели достаточно гордости и ума, чтобы использовать свои собственные языки, «а мы, пренебрегая нашим собственным, глупо восхищаемся языками чужеземцев и продолжаем их использовать, и это столь же нелепый, сколь и вредный обычай».

В Англии было широко распространено враждебное отношение к университетам. (Гоббс ненавидел их и возлагал на них значительную часть вины за развязывание Гражданской войны.) Но именно пуританская атака, сигналом к которой послужила книга Уэбстера, имела намного большую силу. То, чего желали пуритане — это искоренить в университетах всякую деятельность к насаждению религии и благочестия. В конце концов, для религиозных целей достаточно Библии. Поэтому пусть университеты ограничатся накоплением знаний о мирских предметах, в первую очередь научно-экспериментальным познанием. Нигде перекличка между Бэконом и пуританами не проявляется столь ярко, как в вопросе об университетской учебной программе. Этот упор на практическое и утилитарное, который обычно мы ассоциируем с теориями прогресса XIX века, процветал в XVII веке везде, где получали голос пуритане. Они настаивали на отказе от богословия и всех связанных с ним исследований; они подчиняли классическую науку той, что воплощалась в непосредственном наблюдении и эксперименте; они предлагали отмену или, по крайней мере, значительное ограничение преподавания гуманитарных наук в университетах, чтобы место древних языков и литературы заняли такие области, как математика, химия, география и чисто прикладные дисциплины. Отношение пуритан к классическому образованию, занимавшему такое значимое место в Средние века, в эпоху Возрождения и вновь в XIX веке до новой волны реформ во имя полезности, было, за редкими исключениями, неизменно враждебным — причем во имя общественного прогресса. Ученые-экспериментаторы, заявил епископ Спрат, предпочитали «язык мастеровых, сельских жителей и купцов языку умников и гуманитариев».

Я упоминал глубокий интерес к прогрессу, понимаемому в терминах последовательных стадий, среди пуританских ученых и богословов. Существовала весьма тесная связь между проектами и схемами реформ образования и социального порядка, вроде тех, которые столь прочно ассоциировались с именами Гленвиля, Гука и Бойля, и тем видом прогрессивистской истории, которую писали такие люди, как Гленвиль и Спрат. Гленвиль в своей работе «*Plus Ultra*,

или *Прогресс и увеличение знаний со времен Аристотеля*» (Joseph Glanvill, *Plus Ultra, or, The Progress and Advancement of Knowledge since the Days of Aristotle*) видел устойчивый прогресс в науке — в истинной науке — со времен древних греков и считал, что этот прогресс создал в его собственное время условия для еще большего прогресса в будущем: «Мы должны искать и собирать, наблюдать и изучать, откладывать в копилку для будущих эпох». Роберт Мертон в своем исследовании пуританства и науки цитирует слова опьяненного прогрессом современника Гленвиля, некоего Джереми Шейкерли: «И, действительно, отчего мы, смертные, должны теперь впадать в отчаяние? Какие пределы удержат наш разум?» Действительно, о каких границах может идти речь, если учесть происходящий вокруг взрывной рост научных достижений, и не следует об этом забывать, грядущее тысячелетнее царство, когда наука и человеческое счастье будут прочно соединены, возможно, навсегда.

Впрочем, лучшим примером исследования прошлого и настоящего, демонстрирующего прогресс знаний, служит знаменитая работа Томаса Спрата «История Королевского общества» (Thomas Sprat, *History of the Royal Society*), опубликованная в 1667 году. Ричард Ф. Джонс пишет: «Ее значимость состоит не только в том, что это самая тщательно разработанная и всесторонняя защита Общества и экспериментальной философии в этом веке, но более всего в том, что она представляет официальное мнение по этому вопросу». Но значение работы Спрата даже больше. Его наиглавнейшей целью было поместить это чудесное Королевское общество в историческую перспективу и тем самым подтвердить исторический прогресс, ссылаясь на Общество, и превознести Общество, объявив его триумфом исторического прогресса. При всем при том, что Спрат по складу был бэконинцем, он уважал эволюционные исторические процессы и полагался на них (т.е. осознавал кумулятивный характер прогресса), что вовсе не присуще Бэкону.

Спрат начинает свою книгу с рассказа о зарождении науки на Древнем Востоке и ее распространении на античные Грецию и Рим. Не отрицая наличия инициативы и интеллекта в античном мире, он точно замечает разруши-

тельное воздействие неприязни античных ученых к эксперименту, к применению труда собственных рук при поиске истины. Спрат не отрицает проницательности и опыта умозаключений даже у средневековых философов, но их идеи не могли получить развитие из-за схоластической сосредоточенности на абстракциях и «понятиях». Спрат говорит нам, что у схоластов и прочих не было способа, чтобы перейти от аппарата мышления к действительному изучению внешнего мира. Несмотря на то, что схоластическая мысль может по-прежнему занимать достойное место в школах для обучения юных умов, ей не место в организации, подобной Королевскому обществу.

У нас здесь нет возможности дать описание содержания первой части книги Спраты даже в терминах его собственного изложения общих исторических перспектив. Достаточно сказать, что на всем ее протяжении, имел ли он дело с древними греками, средневековыми или современными мыслителями, готовность к наблюдениям и эксперименту неизменно была для него критерием превосходства. Он проявляет подозрительность или, по крайней мере, колебания в своих похвалах по отношению к некоторым величайшим современникам за их склонность обращаться к построению больших теорий, математических или иных. Для Спраты существует лишь одна великая форма исследования — эксперимент. Прошлое оставило настоящему огромный, хотя и неравноценный вклад, но главной задачей настоящего, а также будущего является сбор данных и выведение из них условных, предварительных заключений. Спрат испытывал мало симпатии к картезианскому складу ума, который влекли открытия великих и всеобъемлющих законов, и много его критиковал.

Вторая часть его «Истории» полностью посвящена Королевскому обществу — его зарождению, прогрессу и тем формам научной работы, которые прославили его в наибольшей степени. Спрат превозносит то, что он называет скромностью первых членов Общества, или, скорее, их сдержанностью; создание всеобъемлющих законов, пишет он, не для них. Их цель — «собрать разнородную массу экспериментальных данных, не сводя их в некую совершенную модель...» Ричард Джонс талантливо перефразирует

его: «Они [экспериментаторы Королевского общества] экспериментировали ради данных, а не ради теорий, потому что поспешность в изобретении последних казалась им «*фатальной точкой*, в которой столь многие величайшие *Умы* всех эпох терпели неудачу»». И хотя экспериментаторы допускали абсолютную свободу для тех, кто стремится с помощью опыта найти путь к истине, они всегда настаивали на «*критическом и многократном исследовании* тех вещей, которые представляют собой простые объекты, находящиеся перед глазами».

Спрат не сомневается в том, что Королевское общество или, по крайней мере, работа, которая в нем велась, представляет собой путь в золотое будущее. Его слова, процитированные профессором Джонсом, чрезвычайно красноречивы и оптимистичны: «... Низвежда *Философию* обратно к точке зрения и практике людей, откуда она так высоко взлетела, *Королевское общество* поставило ее в условия, в которых она должна выстоять против вторжения *Времени* или даже самого *Варварства*... они [основатели Общества] сделали так, что оно не может исчезнуть в будущем в случае потери Библиотеки, исчезновении Языка или смерти нескольких *Философов*; но люди должны потерять свои *глаза* и *руки* и должны перестать хотеть сделать свою *Жизнь* удобной или приятной, прежде чем они смогут захотеть *уничтожить* его».

Самая последняя часть «Истории» посвящена еще более решительной защите экспериментального пути к знаниям, где Спрат стремится успокоить страхи тех, кто думает, что этот путь может со временем привести к разрушению христианской веры, англиканской церкви, бизнеса, торговли, титулованного и нетитулованного дворянства и всей английской нации. Оно далеко от любого зла, посещающего людей. То, что мы увидим, настаивает Спрат, будет прямой противоположностью любого зла, от которого страдают люди. «Прекрасное лоно *Природы* раскроется нашему взгляду... мы войдем в ее Сад, и отведаем ее *Плоды* и удовлетворимся ее *изобилием*».

Мелвин Ласки в «Утопии и революции» проникательно различил странную утопичность мысли Спрата, а также ее кажущуюся силу предвидения. Спрата влекло видение Аме-

рики, становящейся самостоятельной державой. «...Если когда-либо эта широкая Полоса *Земли* станет более известна Европе, либо через свободную торговлю, либо через завоевание, либо путем новой *Революции* в ее гражданских делах, Америка окажется для нас весьма новым *Явлением*». Как предполагает Ласки, очень рано «некая разновидность американской революции стала частью утопической мечты».

Не то чтобы Спрат был абсолютно последователен в различных своих описаниях типов мышления, которые требуются для продолжения прогресса науки. Он пишет в одном месте о необходимости «яростных и пламенных, ... импульсивных людей» на том основании, что каким бы важным и ценным ни был эксперимент, он не переносит тупиц и людей, не имеющих широкого кругозора. С другой стороны, Спрат говорит о том, что новые ученые должны быть «тверды в вечном спокойствии и умеренности при реализации своих экспериментальных программ».

Есть в рассуждении Спрата, говорит нам Ласки, один момент, который устанавливает его близость с позднейшими учеными, начиная с Вико в начале XVIII века, далее с Юмом и Тюрго в том же веке, Мейном и Токвилем в XIX веке, и заканчивая Теггартом и Тойнби в веке XX, которые рассматривали интеллектуальное брожение и развитие как функцию социального, политического, даже военного беспорядка. Спрат пишет: «Заключительная часть *Гражданской войны и смуты*, будто в компенсацию за бесконечные несчастья, принесла с собой то преимущество, что они будоражили умы людей, пребывавших в долгом покое и ленивом отдыхе, делали их *активными, энергичными и любознательными*: это обычное преимущество, появляющееся вслед за *Бурями и Грозой в Государстве* — так же, как и в небе, где они очищают и просветляют возмущенный ими *Воздух*».

Спрат выступает как своего рода связующее звено между эволюционистско-униформистской ментальностью (тип мышления, стремящийся показать, как с помощью последовательного, накапливающего, постепенного развития знаний люди могут достичь тысячелетнего царства без потрясений) и другим, взрывным, и тоже пуританским

типом мышления, который видит в миллениуме продукт прогрессивного развития, но для полного успеха которого нужны насилие, война и даже террор. Нет лучшего воплощения этого последнего, катастрофического, типа пуританского мышления, чем «люди Пятой монархии», отчаянно стремившиеся обернуть войну и революцию Кромвеля в своих апокалипсических целях. Согласно вере сторонников «Пятой монархии», в мировой истории уже совершились четыре великие стадии, или «монархии» (описанные, как они объясняли, в Книге пророка Даниила, если читать ее должным образом): ассиро-вавилонская, мидо-персидская, греческая и римская. Все они были злом, но все они были необходимы как шаги на пути к пятой, которая, будучи инициирована пуританской революцией, должна привести к тому, что землей и человечеством будет править сам Христос, который, однако, вернется лишь после того, как мир полностью очистится от нечестивых и вновь станет добрым. Такое очищение должно стать радикальным шагом, при осуществлении которого не обойтись без огня и меча. «Люди Пятой монархии» должны были помнить, как помнили иудеи-миллениарии I века н.э., сражавшиеся против римлян при обороне Иерусалима, что, согласно Книге пророка Даниила, триумф и исполнение придут только в результате «времени тяжкого, какого не бывало с тех пор, как существуют люди»*. Они были готовы действовать соответственно. Слова, которые Гюнтер Леви пишет о движении «Пятой монархии», многое проясняют: «Первое коллективное усилие учредить Пятую монархию и появление миллениариев как организованной группы или партии приняло форму петиции от Норфолка, представленной вождем армии в феврале 1649 года. Авторы «Некоторых запросов, смиренно представленных в виде петиции многими христианами, рассеянными по графству Норфолк» (*Certain Queries Humbly Presented in Way of Petition by many Christian People Dispersed Abroad throughout the County of Norfolk*) объявили, что они ожидают «новых небес и новой земли» и предостерегают против реставрации «старого мирского правительства» нечестивых. Вместо этого должно

* Дан 12, 1. — Прим. науч. ред.

быть возведено видимое Царство Христа и святых, хотя оно должно появиться не «человеческой силой и властью», но «по велению Бога и Христа».

Обратим внимание на упоминание в петиции «новой земли» и предостережение от починки чего бы то ни было вместо полной перестройки. В этих людях пылал революционный дух прогресса. Заметим также, что, несмотря на веру в то, что эта полная перестройка на земле будет делом Бога и Христа, а не «человеческой силы и власти», именно человеческая сила и власть во время пуританской революции достигли такой высоты в лице организованного правительства, какая едва ли когда-либо прежде достигалась в европейской истории.

К 1651 году, читаем мы, регулярные собрания секты «Пятой монархии» проходили в Лондоне, где она быстро росла, привлекая множество женщин и мужчин, в основном из городских низших классов. Затем в ней появились неопиты из кромвелевской армии «нового образца»: и офицеры столь высокого ранга, как полковник, и офицеры низших рангов, и значительное число необразованных, но страстно преданных солдат.

Надо признать, что вопрос о степени, в которой движение «Пятой монархии» было порождено действительным общественным самосознанием, т.е. было плодом осознанного и активного желания улучшить участь бедных и угнетенных, является спорным. Его предметом были не видимые страдания масс, а абсолютная, тотальная трансформация Земли и всех, кто живет на ней, силой Христа и его власти. Но, тем не менее, в открытой ненависти к богатству, рангам и могуществу среди власть имущих (особенно в официальных церквях, но также и в правительстве, и экономике, где можно было встретить сопротивление), во всем том, что широко распространяли проповедники и памфлетисты «Пятой монархии», мы должны увидеть нечто большее, чем несколько выводов чисто социального характера. Факт остается фактом: пробный камень для определения истинных приверженцев имел духовный характер и состоял в вере в существование общества истинных святых на Земле, в чьи руки в конце концов должна перейти вся земная власть. И не будем забывать о том, что полтора века спустя

деятели Французской революции — события, которое имело множество совершенно очевидных социальных, экономических и политических последствий, — превыше всего вдохновлялись *добродетелью*, т.е. гражданской моралью.

На легкость, с которой Христос может быть заменен чисто земными правителями и реформаторами, в качестве средства для учреждения пятого, золотого, века на Земле, указывает быстро возникшая связь между представителями «Пятой монархии» и самим Оливером Кромвелем. В сердцах большинства членов движения воцарилась великая радость, когда они узнали об интересе Кромвеля, и его даже сочли Моисеем, который возглавит их в пути. Хотя существовали отдельные прото-популисты, которые считали, что правительство святых должно избираться с помощью голосования, было и множество других, включая влиятельного и красноречивого Джона Роджерса, проповедника церкви Св. Апостола Фомы, который ратовал за Синедрион семидесяти безгрешных земных святых, которых должен был выбрать Кромвель, «великий Освободитель своего народа (с Божьей помощью) из плена египетского».

Да и Кромвель с самого начала не был глух к проповедям «Пятой монархии». В 1653 году, выступая перед весьма миллениаристски настроенным Малым, или Бэрбонским, парламентом, Кромвель, упомянув учение о «Пятой монархии», приветствовал членов новообразованного органа власти как истинных Святых, провозгласив (согласно профессору Леви): «...Я признаю, что никогда не надеялся увидеть такой день, как этот... когда Иисус Христос будет так близок, каков Он есть сегодня, в этом творении... И почему мы должны бояться сказать или подумать, что именно *это* может стать дверью к тому, что обещано Богом... Действительно, я думаю, что что-то стоит в дверях, мы находимся на пороге...»

На пороге! Именно этот дух, хотя и в несколько более секуляризованном варианте, будет вдохновлять лидеров Французской, а затем и Русской революций.

Конечно, дружба Кромвеля и миллениариев «Пятой монархии» не продлилась долго. Относясь с симпатией к их видениям и надеждам, он все же был одним из великих политических реалистов мира, особенно в критические мо-

менты. Неизбежно должен был наступить день, когда его проклянут опьяненные прогрессом миллениарии, которые требовали не реформирования правительства и закона, а абсолютного разрушения всего существующего правительства и закона и замены их законами, данными в Библии. Роспуск Кромвелем Малого парламента окончательно отвратил их друг от друга. С тех пор конфликт между лордом-протектором и весьма разочарованной сектой «Пятой монархии» стал еще более острым. Кромвель осудил их, как и всех других миллениариев, на сессии следующего парламента; он с презрением говорил об их претензиях на то, что *они*, а не один только Иисус Христос, могут править землей хорошо и мудро. Существует запись странной, почти фантастической встречи Кромвеля и Джона Роджерса, которая привела к этому парламентскому осуждению.

Но «Пятая монархия» не сдалась легко. Рассмотрим одно лишь заглавие проповеди, которую Томас Гудвин прочел в сентябре того же года, когда Кромвель окончательно порвал со «святыми» и осудил их: «Проповедь о Пятой монархии, доказывающая неопровержимыми доводами, что святые будут иметь царство здесь, на Земле, которому еще суждено наступить, после того как Четвертая монархия будет разрушена мечом святых, последователей Агнца». Джон Роджерс был столь убежден в неотвратимости Пятой монархии, что в памфлете, написанном в 1653 году и озаглавленном «Сагрир, приближающийся Судный день» (John Rogers, *Sagrir, Doomesday drawing nigh*), он предсказал, что Пятая монархия будет основана в Англии задолго до 1660 года и что к этому году достигнет даже Рима, а затем к 1666 году станет «зримой по всей земле».

Хотя приход Пятой монархии представлялся неизбежным ввиду предустановленной Богом исторической последовательности событий во времени и, по представлениям фанатиков «Пятой Монархии», он не мог быть передвинут во времени, а тем более предотвращен, тем не менее практическим аспектам этого вопроса было уделено много внимания. Манифест «Установленный стандарт» (*A Standard Set Up*), опубликованный в 1657 году, содержал различные предписания, планы и обещания. Будет установлено полное равенство перед законом, и никто не будет заключен

в тюрьму, кроме как по справедливой и признанной причине. Все акцизные сборы, таможенные пошлины и десятины будут отменены. Прекратится несправедливое владение землей и рентные платежи любого вида. (Хотя левеллеры больше не были действительно активной силой, будучи серьезно ослаблены Кромвелем в 1649 году, «люди Пятой монархии» усвоили множество их эгалитарных идей). Наконец, тот же манифест провозглашал, что Святые через свой Синедрион будут вносить изменения в права и свободы людей лишь тогда, когда «благо народа» потребует этого. Учитывая подобные обещания, нетрудно понять, почему «Пятая монархия» привлекла великое множество низших классов. Любой золотой век на земле они лучше всего воспринимали в терминах отмены налогов и ренты. Манифест «Дверь Надежды» (*A Door of Hope*), написанный в 1660 году, подчеркивал желание «снять с шеи бедных людей всякое ярмо и угнетение как гражданской, так и духовной природы».

Здесь не место для рассмотрения упадка и краха движения «Пятой монархии». Достаточно сказать, что влияние Кромвеля оказалось слишком велико. Все больше и больше членов меняло свою веру, многие становились квакерами. К концу века остались лишь затухающие воспоминания о славных видениях Пятого монарха. И в самом деле: к концу века пуританский миллениаризм как таковой иссяк почти полностью.

Но мы не можем не обратить внимания на силу веры в Пятую монархию в то время, ни на ее способность стать прецедентом для позднейших верований. В подтверждение значимости «Пятой монархии» для своего времени Мелвин Ласки в своей «Утопии и революции» цитирует результаты одного современного исторического исследования коллекции памфлетов XVII века, принадлежавшей лондонскому книготорговцу Джорджу Томасону. В период 1640—1643 годов, в соответствии с этим исследованием, из сотен опубликованных работ 70% могут обоснованно считаться миллениаристскими. В них мы находим веру в грядущий золотой век, царство славы и справедливости, а также веру в абсолютную необходимость войны и других форм насилия для того, чтобы сделать это царство возможным.

В некотором роде самым примечательным аспектом всего этого было убеждение, господствовавшее в умах людей, даже таких одаренных и влиятельных, как Джон Роджерс, что все, что уже имеет место в Англии, быстро достигнет успеха и затем распространится по всему миру. По мнению Ласки, вычисления Роджерса привели к предсказанию, что к 1660 году эта трансформация достигнет Рима, а к 1666 году будет «зрима по всей Земле».

Относительно исторического влияния ментальности «Пятой Монархии» достаточно процитировать поразительную подборку высказываний, приводимую Ласки: *«Гром и молния... дни потрясений... шатания и надежды... кровь за кровь... близящийся Судный день... царство праведных... истинная реформация... Приливная волна перемен... дерзкие люди и темные пророчества... слова — это действия... умы людей... очищение нации... ниспровержение прогнивших построек... священное разрушение греха угнетения и несправедливости... золотой век рядом... огонь и меч»*. Ласки продолжает: «На протяжении трех веков эти основные акценты с некоторыми историческими вариациями оставались основными элементами в мире радикального менталитета. Это неизменные звенья великой цепи человеческой надежды. Цикл революции Нового времени начинается с ее святых и заканчивается ее учеными».

Есть историки Европы Нового времени, которые склонны проводить жесткую разделительную черту между взрывными, катастрофическими, апокалипсическими пророчествами, а также манифестами пуритан (и других групп, отвечающих этому описанию, например, утопистов XIX века), и ментальностью, представленной идеей прогресса. Утверждается, что прогресс всегда означает медленные, постепенные, накапливающиеся изменения во времени. Миллениарии же и утописты интересуются лишь внезапным, резким, властным восхождением к совершенному обществу, когда под рукой всегда имеются такие инструменты, как принуждение, пытки и террор.

Но это слишком ограниченное и искусственное понимание идеи прогресса. Эта идея, как мы видели, означает прежде всего то, что человечество последовательно, непре-

клонно и неминуемо движется вперед в направлении некоей цели. Эта идея имеет такую же ценность для хилястического мышления (и в действительности неотъемлема от него), склоняющегося к внезапной трансформации с использованием любых средств, как и для Тюрго, Милля или Спенсера. Те, кто рискует собственными жизнями и не позволяет себе уклоняться от самого необузданного насилия и террора против других, должны во что-то верить, если они не являются просто мазохистами или садистами. Начиная с постсредневековых последователей Иоахима, готовых ускорить огнем и мечом наступление и завершение ужасного времени, которое должно предшествовать приходу миллениума, а впоследствии — фанатиков пуританской революции, якобинцев Французской революции, и заканчивая лениными, сталиными, гитлерами и мао XX века, самые страшные преследования, пытки, убийства и долгие периоды террора оправдывались чувством исторического развития, *необходимого* развития, столь же возбуждающим, как и для любого крестоносца — чувством того, что Бог требует мести неверным.

L'ENVOI*

Генри Томас Бокль (Henry Thomas Buckle) в конце своей знаменитой главы «О влиянии религии, литературы и правительства» на прогресс интеллекта рассказывает, что в конце XVI века в Силезии родился ребенок с одним золотым зубом. После этого всю Европу, повествует Бокль, охватило огромное воодушевление. Некий доктор Хорст выступил с объяснением этого феномена, которое приобрело известность и вызвало самое широкое доверие. Золотой зуб, объяснял доктор Хорст, проведя астрологические и другие загадочные исследования, «был предвестником золотого века, когда Император выдворит турок из христианских стран и заложит основы империи, которая просуществует тысячи лет». И это, добавил доктор Хорст в духе последующих десятилетий, ясно предсказано в Книге пророка Даниила, вторая глава которой повествует об истукане с золотой головой.

* Посылка (франц.). — Прим. науч. ред.

Разумеется, Бокль, следуя тематике своей великой «Истории цивилизации в Англии» (*History of Civilization in England*), приводит этот случай как еще одно доказательство интеллектуальной отсталости и предрассудков Европы XVI—XVII веков. Но этот случай можно истолковать иначе, как еще один небольшой элемент растущей, ширящейся и углубляющейся в Западной Европе веры в приближающееся тысячелетнее царство — самый золотой из всех веков, когда либо имевших место в мире со времени Адама до грехопадения.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ БОССЮЭ

От страсти пуританского миллениаризма до спокойной эрудиции французского епископа Боссюэ, советника Людовика XIV, наставника дофина, одного из мудрейших и наиболее здравомыслящих церковных сановников XVII века — дистанция огромного размера. Даже если бы он никогда не писал свое «Рассуждение о всеобщей истории» (*Bossuet, Discours sur l'histoire universelle*), вышедшее в 1681 году, он занял бы важное место в интеллектуальной истории из-за впечатляющих достоинств других работ, например, глубоко аналитической и провидческой «Истории изменений протестантских церквей» (*Bossuet, Histoire des variations des Églises protestantes*). Никто так ясно и детально, как Боссюэ, не предсказал курс на растущую фрагментацию, на который вскоре встанет протестантизм и которому он будет следовать вплоть до нашего времени. Во Франции Боссюэ был самым знаменитым проповедником своего времени, и его речи стоят в ряду лучших литературных работ в эту эпоху непревзойденного стиля.

Здесь нас будет занимать исключительно его «Рассуждение о всеобщей истории». Эту работу европейские ученые практически сразу же признали мастерским синтезом мировой истории. Полтора века спустя Огюст Конт в своем «Духе позитивной философии» (*Auguste Comte, Cours de philosophie positive*) воздал должное этому труду, несмотря на его католическую и провиденциалистскую ориентацию. Конт писал: «Нет спора, Боссюэ был первым, кто предложил полный обзор общества с точки зрения стонного взгляда. Мы не можем принять его объяснений,

с легкостью выводимых из теологических источников, но дух универсальности, столь полно воспринятый и в тех обстоятельствах так чудесно выдержанный, навсегда сохранит эту выдающуюся работу как образец, предлагающий нам истинный результат исторического анализа, рациональную согласованность большой череды событий в соответствии с единой композицией...»

То, что Конт выбрал, как мы увидим, иную композицию, никоим образом не уменьшает его почтения по отношению к Боссюэ. Подобное же уважение едва ли не со дня публикации ожидало его работу со стороны и протестантов, и католиков, а позднее — светских ученых и философов. К числу последних относятся Тюрго и Кондорсе в XVIII веке.

Даже сегодня поражает в высшей степени современная форма работы Боссюэ, хотя очевидно ее прямое происхождение от более ранних попыток создать всеобщую историю, предпринятых Евсевием и Св. Августином. Как мы уже видели, в эпоху Боссюэ существовало множество работ, преимущественно протестантских, в которых авторы при помощи библейских пророчеств пытались придать целостность прошлому и настоящему, а также осветить будущее. Но практически без единого исключения это были работы в жанре священной истории, в которых почти не предпринималось попыток объединить божественное с расцветающим мирским, выраженным в науке, философии, искусстве и в важных политических событиях. Поучительны слова историка Леонарда Кригера (Leonard Krieger) о Боссюэ: «...Предпринятое Боссюэ соединение христианской основы, которую он позаимствовал у Августина и Евсевия, с гуманистическими мотивами классической риторики и гражданской морали... придало современный оттенок его провиденциальной структуре истории и подготовило ее для преобразования в светскую рациональную схему, которая так сильно разрастется в работах по всеобщей истории, созданных в последующие два века. Согласованность, которую замыслы трансцендентного божества придали человеческой истории, перейдет в схемы мировой истории, из которых будет вообще исключено всякое вмешательство божественного, и, однажды появившись, эта всеобщая взаимосвязь станет существенной чертой, конфликт которой

с идеалом покрытия всей совокупности мультикультурного человеческого прошлого с тех пор будет составлять основную проблему изучения мировой истории».

Так оно и было. Я отмечал несколько раз в этой книге, что без использования вездесущего и всемогущего Провидения, понимаемого как создателя и исполнителя плана, в который четко вписываются все человеческие культуры, сколь широко они ни были бы разбросаны во времени и пространстве, нет никакой возможности подходить к «мировой истории» нарративным, линейным образом. Эта невозможность, конечно, не смогла помешать таким светским мыслителям, как Кондорсе и Маркс, пробовать совершать этот подвиг, но в каждом из этих случаев очевидный и неизбежный *modus operandi* становился некоей метафизической заменой Провидению.

Для Боссюэ, впрочем, в его мировой истории такой проблемы вообще не существовало. Он совершенно явным образом утверждает, что та всеобщая история, вроде той, которую он излагает в своем «Рассуждении», не имеет смысла без ее всеохватного и первоначального присутствия Бога. Ему хорошо известна проблема, которую ставит существование внешне различных народов в прошлом и настоящем. Для своего ученика королевской крови, которому было предназначено «Рассуждение», Боссюэ пишет во вводной главе, озаглавленной «Общий план настоящей работы»: «Тот, кто не научился из истории различать различные эпохи, будет представлять людей, живущих по закону Природы или по писаному закону, как если бы они жили по закону Евангелия. Он будет говорить о персах, покоренных Александром, так же, как говорит о победоносных персах при Кире; он сделает греков эпохи Филиппа такими же свободными, как и во времена Фемистокла или Мильтиада, римский народ — столь же гордым при Диоклетиане, как и при Константине, а Францию в смутное время гражданских войн при Карле IX и Генрихе III такой же могучей, как во времена Людовика XIV, когда Франция, объединенная под властью великого короля, одна торжествовала над всей Европой» (курсив мой. — Р. Н.).

Одним словом, Боссюэ говорит своему ученику и всем читателям, что мы потеряемся в исторических частностях,

не поймем смысла великих событий и, главное, их места в более крупной композиции, каковой является всеобщая истории. Необходима панорама целого, «в сжатой форме — весь путь эпох». Боссюэ продолжает:

«Всеобщая история такого рода представляет собой для истории каждой страны и каждого народа то же самое, что и карта мира для карт отдельных территорий. На частной карте мы видим все детали какого-нибудь королевства или провинции. Но общая карта учит нас помещать эти части мира в соответствующий контекст; вы видите, какое место Париж или Иль-де-Франс занимает в королевстве, какое место занимает королевство в Европе, а Европа — в мире.

Таким же образом частные истории показывают череду событий, происходивших в рамках отдельной нации, со всей полнотой деталей. Но, чтобы понять все, мы должны знать, как эта история связана с другими; и это можно сделать, уплотнив всю последовательность времен так, чтобы мы могли охватить все словно бы единым взглядом.

Такое сжатие... позволит вам увидеть грандиозную панораму. Перед вашими глазами за несколько часов словно бы пройдут все предыдущие столетия в их развитии; вы увидите, как империи сменяли друг друга, как религия в ее различных формах обеспечивала свою устойчивость с начала мира до нашего времени...

Именно поступательное движение этих двух предметов, а именно религии и империй, вы должны отпечатать в своей памяти. А поскольку религия и политическое правительство есть два центра, вокруг которых вращаются человеческие дела, то из этого следует, что получить все сведения о них в сжатой форме и таким образом обнаружить их порядок и последствия означает понять единым умом все, что есть великого в человечестве и, в некотором смысле, удерживать в уме общую направленность всего, происходящего в мире» (курсив мой. — Р. Н.).

Как часто в последующие десятилетия и столетия люди будут писать почти те же самые слова! Поместить мельчайшие детали, касающиеся дат, мест, событий и лиц, в один великий план, который придаст значение всем и каждому, — именно это, начиная с Боссюэ, стало обоснованием для создания многочисленных всеобщих и мировых исто-

рий. Никто не сказал об этом лучше Боссюэ, поэтому я и процитировал его столь подробно.

Боссюэ понимал, что лишь Провидение может стать истинным автором любого сжатия исторического многообразия в единое, спрессованное, линейное повествование. Невозможно переоценить значение этого понимания. И Боссюэ неустанно настаивает на огромной важности Провидения.

Боссюэ вводит понятие *эпох*. Подобно тому, как мы держим в уме ориентиры на местности или определенные центральные города, по отношению к которым мы располагаем остальные объекты в соответствии с их удаленностью, «...у нас должны быть определенные временные периоды, отмеченные некими великими событиями, относительно которых мы можем расположить остальные.

Это то, что мы называем *эпохой*, от греческого слова, означающего «остановку», потому что мы останавливаемся там, чтобы рассмотреть, словно из точки покоя, все, что произошло до и после, тем самым избегая анахронизмов, т.е. ошибок, состоящих в смешении времен».

Боссюэ различал двенадцать великих эпох прошлого. Я не буду здесь приводить конкретные характеристики каждой, поскольку на самом деле важна не природа каждой эпохи, но идея разделения мировой истории на эпохи, независимо от их содержания. Именно *эта идея* оказала мощное влияние на более поздних светских мыслителей, таких как Тюрго, Кондорсе, Конт и др. Достаточно сказать, что для верного христианина Боссюэ первой великой эпохой было само Сотворение мира и все, что сопровождало его. Мы проходим через такие эпохи, как потоп, деятельность Моисея, падение Трои, построение Рима, пришествие Христа и далее, вплоть до Карла Великого и Священной Римской Империи. По Боссюэ, каждая из этих эпох имеет точно определенный смысл по отношению последовательности всех прочих. Он приносит извинения за завершение этого раздела своей книги Карлом Великим и говорит нам, что в следующей работе (к которой Боссюэ, кажется, так никогда и не приступил или не закончил) он доведет ряд эпох вплоть до его собственного блестящего времени, века Людовика XIV. Нет совершенно никаких сомнений, что для Боссюэ *прогресс* есть характеристика всеобщей истории в целом.

Часть вторая «Рассуждения» озаглавлена «Преемственность религии», и здесь точно так же восприятие прогресса безошибочно определяется в трактовке Боссюэ христианства и особенно католической церкви. Он не оставляет в наших умах никаких сомнений, что сама суть прогресса человечества на протяжении веков носит религиозный характер и что Иисус Христос и основание христианства имеют все то же величие в век Людовика XIV, что и прежде.

Заключительная часть книги в некотором роде наиболее интересна для современного читателя. Озаглавленная просто «Империи», она представляет собой ряд пронизательных размышлений о росте, падении и других исторических изменениях, происходивших с великими империями прошлого. Боссюэ дает нам обзор скифов, эфиопов, египтян, персов, греков и римлян. Вторая глава этого раздела называется «Изменения в империях имеют особые причины, которые следует изучать правителям». Следующий отрывок дает представление об особенностях этой главы:

«Но это зрелище будет более полезным и интересным, если вы поразмыслите не только о подъеме и падении империй, но и о причинах их прогресса и упадка.

Бог, который сделал вселенную внутренне взаимосвязанной, который, будучи всемогущим сам по себе, пожелал ради порядка, чтобы части великого целого были зависимы друг от друга — и тот же Бог пожелал, чтобы ходу человеческих дел была присуща непрерывность и пропорциональность. Под этим я разумею то, что люди и нации были наделены качествами, соответствующими тем высотам, которых им суждено было достичь, а также то, что за исключением некоторых значимых примеров смены направления движения на обратное, с помощью которых Бог хотел продемонстрировать свою власть, никогда не происходило изменений без причин, уходящих корнями в предшествующие века.

И поскольку в каждом событии есть нечто, подготавливающее его, мотивирующее его начало и определяющее его успех, истинная наука истории состоит в раскрытии для каждой эпохи скрытых тенденций, которые пролагают путь для больших изменений и важных стечений обстоятельств, которые приводят к ним.

На самом деле недостаточно видеть лишь то, что находится перед нашими глазами, т.е. рассматривать только масштабные события, которые неожиданно решают судьбу империй. Если мы искренне желаем понять дела человеческие, мы должны начинать с предыстории; мы также должны исследовать предпочтения и пути или, говоря короче, характер господствующих наций в целом, их правителей — в частности, а также выдающихся людей, которые, ввиду своей важной роли, коей они наделены в этом мире, внесли свой вклад, будь то к лучшему или к худшему, в изменения, происходившие с империями, и в судьбы наций».

Примечательный аспект этого третьего заключительного раздела «Рассуждений» заключается в его на удивление светском характере. Автор, разумеется, не дает нам никаких поводов для сомнений в том, что начальная и конечная причина всему — Провидение, но при этом он представляет нам ряд социальных, экономических, культурологических и политических объяснений подъема и падения империй. Две главы о Риме, его величии и последующем упадке столь же лишены упоминаний о Боге и его вмешательстве, как и большинство многочисленных трактовок подъема и падения Рима, написанных в XVIII веке. Это не значит, что Боссюэ отрицал Провидение, но он здесь занят тем, чтобы показать и проиллюстрировать те «светские» способы, посредством которых Провидение действует в истории.

Миллениаристское пуританство середины XVII века сыграло большую роль в распространении среди неграмотных, равно как и грамотных, масс хилиастического воодушевления, которое было связано с представлениями об истории, основанными на видении прогресса в прошлом, настоящем и будущем; я также утверждаю, что основанное на широкой эрудиции и элегантно выстроенное «Рассуждение о всеобщей истории» епископа Боссюэ придало идее прогресса столь же мощное влияние на умы ученых и философов. — тех, кому были отвратительны или чужды всплески религиозного энтузиазма, свойственные пуританам. Справедливо будет сказать о «Рассуждении» (и вряд ли можно сделать этой работе более высокий комплимент), что его роль и для XVII, и для XVIII веков соответствует той, которую книга «О Граде Божьем» сыграла для периода,

начавшегося после крушения Римской империи, да и для всего Средневековья.

ОСВОЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ

Джон Эдвардс в работе, на которую мы ссылались ранее в этой главе, написал в 1699 году: «Прилежные исследования, проводимые дома, и путешествия в дальние страны произвели новые наблюдения и сведения, ранее неслыханные открытия и изобретения. Таким образом, мы превосходим все времена, которые были до нас, и очень вероятно, что те, кто придет за нами, далеко превзойдут нас...»

Слова Эдвардса позволяют нам понять, как могли использоваться и как использовались многочисленные материалы великих путешествий и исследований, доступные всем образованным европейцам в XVII веке. Увлечение земным раем, которое мы обнаружили в Высоком Средневековье и которое привело к общему интересу ко всему, что могло быть время от времени сообщено или сделано сюжетом легенды, в конце XVI века пережило поразительное возрождение, захватило умы общества и продлилось вплоть до XVIII века. Публикация книги Хаклюйта «Важнейшие плавания, путешествия и открытия английской нации» (Richard Hakluyt, *The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation*) в самом конце XVI века, за которыми последовало «Паломничество Перчеса» (Samuel Purchas, *Purchas, His Pilgrimage*) Сэмюэля Перчеса в 1613 году и затем его более крупная работа, основанная на неопубликованных бумагах Хаклюйта и записях Ост-Индской кампании, «Хаклюйт Посмертный, или Паломничество Перчеса» (*Hakluytus Post-humus, or Purchas His Pilgrims*) в 1625 году, гарантировала увлекательное чтение для большой непрофессиональной аудитории в Западной Европе, жадной до такого рода литературы. Эти материалы к тому же предоставляли информацию ученым, желавшим поместить западноевропейскую цивилизацию в правильную географическую и *временную* перспективу. Как показывает цитата, с которой начинается этот раздел, для европейцев оказалось легким делом

отождествить культуры, которые открывали и о которых рассказывали навигаторы и исследователи, с более ранними стадиями их собственной, милой их сердцу и, на их взгляд, передовой цивилизации Запада.

Христианство упростило людям Запада поиск определенного родства или сходства между их собственной культурой и экзотическими обществами, обнаруженными в других частях света. В конце концов, Св. Августин придал идее единства человечества поистине канонический статус. С самого начала христианской миссионерской деятельности, начиная, по крайней мере, с Григория Великого и с его наставлений другому Августину, обратившему в христианство Британию, имела место удивительная симпатия и терпимость к обычаям незападных, нехристианских народов. Этим объясняется практически постоянная готовность христианских исследователей к принятию большей части верований и обычаев, с которыми они встречались и в которые они лишь желали привнести как можно больше христианского смысла. Вероятно, величайшим примером тому является работа Жозефа-Франсуа Лафито «Обычаи примитивных американцев в сравнении с обычаями древних времен» (Joseph-François Lafitau, *Mœurs des Sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps*), опубликованная в 1724 году. Эта книга — примечательный пример той толерантности, понимания и огромного уважения, какие только можно встретить у образованного французского католика-миссионера, который провел многие годы среди американских индейцев. Еще более поразительно временное измерение этой работы. Христианская теория прогресса человечества облегчила Лафито поиск параллелей между верованиями и обычаями американских индейцев и теми, что существовали в более ранние времена в Западной Европе. Он смог сделать из этого факта вывод, что более развитая цивилизация Запада когда-то тоже была знакома с такими верованиями и обычаями, но за длительный период исторического времени ушла далеко вперед.

Но, как подчеркнул Дж. Х. Эллиотт в своей важной работе «Старый и Новый Свет: 1422—1650» (J. H. Elliott, *The Old World and the New: 1422—1650*), тот тип мышления, который мы встречаем в работе Лафито начала

XVIII века, проявлялся в XVII веке и даже раньше. Несомненно, именно Америка вызвала величайший интерес среди европейцев, после того как Колумб должным образом представил отчеты о своих великих путешествиях. Эллиотт пишет: «Наблюдение за процессом, в ходе которого Европа в XVI веке приспособилась к реалиям Америки, дает возможность увидеть нечто в самом характере европейской цивилизации XVI века, его сильные и слабые стороны. Определенные элементы европейского культурного наследия осложнили усвоение новых фактов и новых впечатлений, но другие, как представляется, дали определенные преимущества при столкновении с вызовом такого масштаба».

Здесь, конечно, оказалась крайне полезной идея прогресса, причем именно экуменическая идея прогресса. Как разрешить огромную проблему размещения народов Америки и других частей света, где люди жили абсолютно иной жизнью, во многом «варварски» иной, чем европейцы, в моральном, экономическом и социальном пространстве? Для европейцев XVI века, как и для древних греков и римлян, существовало, как минимум, два доступных объяснения: первое — все эти народы когда-то представляли собой цивилизованные расы, находящиеся теперь в состоянии упадка и разложения; второе — все эти народы отличаются преимущественно примитивностью, дикостью или варварством, оттого что они еще не развились до уровня Европы. И именно второе объяснение оказалось более популярным. Как отмечает Эллиотт: «Таким образом, в изменении и усовершенствовании европейской концепции варварства и цивилизованности, так же, как и во многих других сферах мысли, открытие Америки было важно не столько потому, что оно породило абсолютно новые идеи, сколько потому что заставило европейцев столкнуться лицом к лицу с идеями и проблемами, которые уже наличествовали в рамках их собственных культурных традиций».

Для рефлексивного и христианизированного мышления Европы оказалось просто невозможно не разглядеть классификационную проблему, которую ставило существование этих народов по отношению к христианам Запада. Эти народы были иными. Означало ли это, что они стояли ниже? Следовало ли считать их истинными частями того же че-

ловческого рода, к которому принадлежали европейцы? Были ли народы Америки иными из-за того, что сделаны из другого физического и духовного материала? Это лишь некоторые из вопросов, поднятых в многочисленных центрах европейской мысли, когда исследователи вернулись для того, чтобы написать книги об экзотических народах, которых они встретили и среди которых зачастую прожили значительные периоды времени. Здесь снова будет полезно процитировать Дж. Х. Эллиотта: «Таким образом, к концу XVI века опыт познания Америки дал Европе, по крайней мере, слабые наброски теории общественного развития. Но эта теория была помещена в общую канву исторической мысли, которая была европейской в своих исходных посылах, но также христианской и провиденциалистской в своих интерпретациях исторического процесса. Критерии оценки развития неевропейских народов оставались жестко европоцентричными...

Если открытие Нового Света таким образом подкрепило христианскую провиденциалистскую интерпретацию истории как прогрессивного движения, кульминацией которого станет евангелизация всего человечества, то оно в равной мере придало новую силу и более ярко выраженной светской интерпретации истории как прогрессивного движения, высшей точкой которого станет приобщение всего человечества к цивилизации. Недавние события показали превосходство современных европейцев над людьми античной эпохи, по крайней мере, в некоторых отношениях. Но они также показали их превосходство над варварскими народами значительной части земного шара.

Однако Эллиотт не говорит о том, что метод включения неевропейских народов в прогрессивную интерпретацию истории (когда недавно обнаруженные варвары, которым суждено было стать живыми примерами того, какими когда-то были европейцы в своих привычках и обычаях, и когда всеобщая панорама подается в европоцентричных терминах) был именно тем методом, который, как мы видели, применяли древние греки и римляне, когда они встречались с дикими, варварскими народами. Как мы уже отмечали, Фукидид начинает свою «Историю» с рассуждений о том, как греки, самый цивилизованный из всех народов,

когда-то сами были такими же, как те народы, что сейчас живут на окраинах. Более того, метод, который описывает Эллиотт, сохранится на протяжении последующих трех веков как основной метод сравнения людей Запада с другими народами.

Если эти народы Америки и другие варвары действительно находились тогда на низших, ранних стадиях развития, через которые европейцы уже давно прошли, то возникает интересный вопрос: как должна обращаться с ними Европа? Они могли считаться сделанными из такой же плоти и крови, пусть даже отличными по цвету кожи и таким образом принадлежащими к единой человеческой расе, о которой говорил Августин; но их грубые, даже дикие культуры делали их законной добычей для порабощения, эксплуатации и колонизации западными нациями — разумеется, ради прибыли, но в конечном счете также с намерением обучить и христианизировать эти народы, чтобы ускорить их развитие.

Многое из того, что ярко проявилось в политической и военной истории XVIII—XIX веков, имело очевидные интеллектуальные корни в различных способах восприятия народов Африки, Азии, Океании и Западного полушария, а также в том, как эти народы были, так сказать, втиснуты в западную идею прогресса, которая столько прочно утвердилась в XVI—XVII веках. Правда, Монтень в своем знаменитом эссе «О каннибалах» (*Michel de Montaigne, Essais, I, XXXI. Des Cannibales*) с толерантностью и снисходительностью, даже с восхищением относится к так называемым диким народам, которые убивали друг друга ради еды. Монтень противопоставил их народам Западной Европы, которые, как он едко замечает, убивают, пытаются, опустошают и избивают безо всяких причин, за исключением религиозных и политических догм. В XVIII веке среди некоторых интеллектуалов появится также «культ благородного дикаря», вера в экзотику. Но такая идеализация неевропейского мира была редкостью на фоне заявлений, согласно которым не-западный мир состоял преимущественно из дикарей и варваров. Западная идея прогресса с самого начала была, как мы видели, европоцентричной. Философы XVII—XVIII веков, в точности как Гомер

и, гораздо позднее, Фукидид, смотрели на окружающие их примитивные народы (циклопы Гомера, «пираты» Фукидида) как на примеры того, какими когда-то были сами греки.

Нигде использование литературы о дальних путешествиях не нашло более широкого и разностороннего выражения, чем в политической теории. Утверждалось, что, если мы хотим знать, какой вид государства возможен и необходим, мы также должны знать и то, каков человек по своей природе. Мы привыкли к интерпретациям, в конечном итоге утверждающим, что разные гоббсы, локки и руссо вначале решали, какой вид государства они желают построить, а затем начинали искать, какие примитивные народы могли бы лучше всего послужить их целям. Но, как отметил полвека назад Джон Линтон Майерс в своей работе «Влияние антропологии на развитие политической науки» (John Linton Myers, *The Influence of Anthropology on the Course of Political Science*), есть не меньше оснований полагать — учитывая широко распространенное пристрастие к чтению литературы о примитивных народах мира — что способы, которыми тот или иной политический философ предпочитал описывать естественное состояние, в котором жил первобытный европейский человек, во многом зависели от того, с какими именно книгами и рассказами о диких народах он был больше всего знаком или какие из них решил принять как наиболее авторитетные.

Как получилось, что Гоббс мог с таким содроганием говорить о естественном состоянии, объявляя его состоянием без собственности, безопасности и практических ремесел, ареной насилия и страха, где жизнь человека была «одинокой, бедной, жалкой, животной и краткой»? Как могло получиться, что Локк, полвека спустя, напротив, полагал естественное состояние совершенно иным, где собственность существовала и была защищена и где правилом была естественная собственность на сельскохозяйственные земли? Каким образом Монтескье через полвека после Локка пришел к заключению, что первобытный человек жил в вечном страхе? Как Руссо еще позднее дошел до своих прославленных взглядов на первоначальное, природное состояние человечества?

Я не пытаюсь отрицать, что прямое воздействие практических современных условий и событий (Гражданская война в Англии, революция 1688 года, упадок *ancien régime**) в значительной степени сформировало типы государства, которые Гоббс, Локк, Монтескье и Руссо представили нам в своих текстах. Разумеется, это так. Но слишком мало и редко замечается тот факт, что эти люди, особенно Локк, были погружены в антропологическую литературу своего времени и, без сомнений, находились под глубоким воздействием того, что прочитали. Гоббс, как показывает знаменитый отрывок из «Левиафана», был весьма восприимчив к тому, что он читал и слышал о воинственных племенах Северо-Восточной Америки. Еще больше упоминаний примитивных народов в работах Локка. В действительности, как показал Майрс (Myres), мы сможем подойти очень близко к тому, чтобы проследить развитие Локка как политического философа, если используем сохранившиеся записи о его чтении в области путешествий и этнографии. Мы сможем увидеть, как его читательские интересы смещаются, например, от тех самых воинственных северо-американских индейцев, которые в свое время поразили Гоббса, к гораздо более мирным земледельцам — юго-восточным индейцам. На Монтескье, которого нельзя назвать несведущим в трудах по дикарям, гораздо больше влияло то, что он читал о персах, русских, японцах, турках и других народах, стоявших по шкале прогресса выше американских индейцев. Политическое внимание Руссо было направлено на индейцев Центральной Америки, но ему были известны и другие дописьменные народы.

Здесь важно, впрочем, не отношение между этнографией и политической теорией или влияние первой на вторую. Главное — это степень, в которой вера в человеческий прогресс стала средством включения всех не-западных народов в единую последовательность прогресса, достигающую апогея в Западной цивилизации. Почерпнутая из христианства вера в прогресс и в лежащую в его основе предпосылку единства человечества позволила обратить восприимчивую гетерогенность в концептуальную гомогенность:

* Старый порядок (франц.). — Прим. науч. ред.

гомогенность единой, ориентированной во времени, последовательности, включающей все народы мира, от примитивнейших до самых развитых (под которыми, конечно, народы Западной Европы разумели самих себя).

Конечно, XVIII веке были мыслители, такие как Монтескье и Вольтер, готовые говорить о персах и китайцах как о цивилизациях, превосходящих Запад. Но это было, по сути, идеологическим ходом — способом укорить Запад, подобно тому, как Тацит в I веке н.э. аналогичным образом использовал германцев. Что касается человеческого прогресса, эти мыслители на деле не сомневались в превосходстве Запада и в его ведущем положении.

Интересно также отметить, что по мере того, как западным мыслителям становилась доступна масса данных, касающихся остальной части мира, собранных миссионерами, путешественниками и прочими, их представление о центральной роли Запада приобретало все большую значимость. Артур Лавджой прекрасно описал связанный с этим парадокс: «И только *после* того, как Земля потеряла свою монополию, ее обитатели стали придавать такое исключительное значение ходу земных событий и так живо обсуждать действительные и потенциальные достижения рода человеческого ... как если бы вся судьба Вселенной целиком зависела от них и обрела в них свое осуществление и завершение. И не в тринадцатом, а в девятнадцатом веке озаботился *homo sapiens* вопросом значительности и исключительного положения своего бесконечно малого уголка космической сцены».

Но эти хлопоты уже в XVII веке были в полном разгаре. В XIX веке они просто стали более интенсивными в результате усиливавшегося в течение двух веков европоцентризма, основанного на идее прогресса.

Все это довольно-таки удивительно. Наши стереотипы в отношении западной истории учат нас считать сознание человека Средневековья более ограниченным, чем сознание современного человека. Возможно, в некоторых отношениях это справедливо. Но в некоторых более важных отношениях это не так. С уменьшением влияния в западном мышлении христианских представлений — таких понятий, как единство человеческого рода, цепь бытия во Вселенной и относительная незначительность как этого мира, так и этой жизни

в общей схеме вещей, — западный человек постепенно стал более озабочен не просто предметами этого мира, но и, что важнее, той крошечной их частью, которая находится в Западной Европе. Я думаю, будет справедливым утверждение, что рассказы Марка Поло, написанные в XIII веке для других людей Запада, сыграли гораздо большую роль в прекращении фиксации западного человека на самом себе, чем обильная литература XVII—XVIII веков о народах и культурах мира. Ко времени последней магия идеи прогресса и вместе с ней европоцентричный взгляд на весь мир выросли в такой пропорции, что небольшое в мире, если вообще хоть что-то, могло рассматриваться само по себе. Все должно было восприниматься через Запад и его ценности.

СПОР О ДРЕВНИХ И НОВЫХ

Какой бы абсурдной ни казалась сегодня эта полемика, она имела большое значение в умах ее участников в XVII веке, среди которых были писатели такого масштаба, как Буало, Свифт, Бенгли и Перро. Более того, это была литературная баталия, из которой возникла современная идея прогресса, по крайней мере по мнению Огюста Конта в XIX веке и Дж. Б. Бэри в его «Идее прогресса» в XX веке. Бэри посвящает этому спору целых две главы и присуждает одному из его участников, французу Фонтенелю, честь быть «первым, кто сформулировал идею прогресса знаний как целостную доктрину». Сегодня, благодаря новым знаниям, мы бы этого не утверждали, и все же данное событие обладает полной мерой значимости в истории идеи прогресса.

Полемика или дискуссия, о которой идет речь, велась вокруг следующего вопроса: что стоит выше — литературные, философские и научные работы классической Греции и Рима или, напротив, современные труды, т.е. созданные в XVI—XVII веках? Полемика началась в Италии в начале XVII века, когда блистательный Тассони в своих «Разнообразных мыслях» (*Varieta di pensieri di Alessandro Tassoni*, 1620) напал на Гомера за все погрешности в сюжете, характерах и языке, которые он смог найти. Сегодня ни один писатель, с пафосом говорил Тассони, не продержался бы в своем статусе и минуты, если бы использовал столь нелепые образы и неправдоподобные события, какие встре-

чаются в «Илиаде» и «Одиссее». Тассони зашел и дальше: современные писатели в целом выше всех тех, кто писал свои «классические» работы в древности.

Хотя Тассони и начал баталию, настоящим ее полем стали Франция и Англия. Именно в этих двух странах защитники древних — Буало, Темпл и в значительной степени Свифт — вели яростное сражение с Перро, Фонтенелем и другими, кто настаивал, что ничего из того, что было сделано в древние времена, не могло быть такого же высокого качества, как в современную эпоху.

В Англии сэр Уильям Темпл в своем «Эссе о древней и современной учености» (*Sir William Temple, Essay Upon the Ancient and Modern Learning*) заявил от имени древних и с прискорбной недооценкой современной науки: «Не было бы ничего нового в астрономии, что могло бы сравниться с древними, если бы не система Коперника; в медицине тоже — если бы не кровообращение Гарвея». На это мы можем только ответить: и правда, «если бы не»! За книгой Темпла последовали «Рассуждения о древней и современной учености» Уильяма Уоттона, которые превосходят работу Темпла хотя бы тем, что Уоттон справедливо настаивал на необходимости отличать науку от литературы и искусства. Науке присуще накопление знаний, утверждает Уоттон, и, к примеру, работы Ньютона неизбежно превосходят труды, скажем, Архимеда. Однако произведения литературы и искусства имеют совсем другой характер. Очень может быть, что никому все еще не удалось превзойти гений Эсхила или Праксителя или даже сравниться с ним.

Но вершиной английской полемики по этой проблеме стала «Битва книг» Джонатана Свифта (*Jonathan Swift, Battle of the Books*), опубликованная в 1704 году, — в том же году, когда вышла другая его блестящая сатира, «Сказка бочки» (*Jonathan Swift, A Tale of a Tub*). Свифт служил секретарем у Темпла и был прекрасно знаком с педантами, эрудитами, выскочками и невеждами, которых встречал по обе стороны баррикад (и описывал их язвительными и полными презрения словами). Свифт в своей восхитительной «Битве книг» придерживается гомеровского стиля. По сей день доводы и контрдоводы, приводимые типичными книгами из соперничающих лагерей ночью в тихой библиотеке,

описываемые в этом классическом произведении Свифта, представляют собой увлекательное чтение, тем более уместное, если вспомнить сегодняшних модернистских «высочек» и «невежд». Свифт, возможно, считал эту дискуссию пустой и скучной, но он старается поддержать древних и по-настоящему больно ударить по тем своим современникам, которые считали, что классики вышли из моды.

Но, с точки зрения истории идеи прогресса, гораздо более важны французские, а не английские проявления этого спора, даже притом, что ни одна из соответствующих работ (за исключением произведений Буало, принявшего сторону древних) в полной мере не сравнится с гением тех же Уоттона и Свифта. Кроме того, французы несколько раньше англичан опубликовали свои основные работы.

Французская Академия, основанная в 1635 году и позднее ставшая арбитром во всех литературных вопросах, не имела тогда ни лидеров, ни определенной политической линии. Горячность, с которой велась баталия между защитниками древних и адвокатами новых, в значительной степени объяснялась борьбой за контроль над Академией. Величайшим из умов Академии был Буало, но неизменное предпочтение, которое он отдавал грекам и римлянам, дорого ему стоило в том, что касается влияния на дела Академии. Большинство ее членов всерьез считали таких бездарностей и писак, как Мейнар, Гомбо, Годо, Ракан, Сарразен и Вуатюр (имена, не говорящие никому практически ничего после краткого всплеска известности в свое время), ведомыми тем же гением, который проявлялся в величайшие эпохи Древней Греции и Рима. Буало быстро разглядел пустоту претензий тех, кто поддерживал «новых», и отреагировал с соответствующим презрением, а также высказав ученое и критическое осуждение. Но его дело было проиграно задолго до начала сражения. Солдаты современности держали в своих руках все главные полемические позиции. Они были решительно настроены доказать, что современные авторы — поэты, драматурги, эссеисты и прочие, — а также современные ученые, превзошли древних греков и римлян.

Никто никогда не давал более проницательной и более презрительной оценки стратегии французских сторонников модерна времен этого спора, чем Жорж Сорель в сво-

их «Иллюзиях прогресса» (Georges Sorel, *Les Illusions du progrès*), опубликованных во Франции более чем двумя столетиями позже. Он раскрыл суть дела, показав, как новые с помощью порочного круга в рассуждениях «доказали», что они выше древних благодаря действию закона интеллектуального прогресса, и одновременно «доказали» действительность утверждаемого закона прогресса очевидным превосходством современных поэтов и драматургов над древними. Для Сореля, всегда настроенного наступательно, этот эпизод был примером лицемерия французских интеллектуалов XVIII века, низводящих себя до уровня современной им богатой и властной буржуазии, которая ничего так сильно не хотела, как доказать своей собственной значимости, полученных из сфер, о которых она не имела никакого представления — желание, подчеркивает Сорель, которое интеллектуалы того времени были рады удовлетворить в обмен на обещания покровительства.

Двое из защитников «новых» отличались, по крайней мере, эффективностью полемики: Шарль Перро и Бернар де Фонтенель. Первый из двух был более творческим человеком. В то же время его представления о будущем не содержали розовых тонов. В своем «Сравнении древних и новых» (Charles Perrault, *Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Dialogues avec le poème du siècle de Louis-le-Grand et une épître en vers sur le génie*) он говорит нам, что его собственный век «достиг... высшего совершенства». Он сомневался, что у нас есть много такого, «о чем позавидуют те, кто придет после нас». По крайней мере в том, что касается идеи прогресса, Перро (который, безусловно, вошел в историю в первую очередь как автор «Золушки», «Спящей красавицы» и других сказок для детей) особенно интересен тем изобретательным способом, с помощью которого он разделяется с пугалом итальянских гуманистов, которым были Средние века. Как можно говорить о линейном непрерывном прогрессе из прошлого в настоящее, зная, что существовало Средневековье, период невежества, тирании и порока, длившийся тысячу лет? Такой вопрос задавали гуманисты. Перро нашел на это остроумный ответ. Мы можем сравнивать прогресс искусства и науки, говорит он, с «реками, которые внезапно уходят

под землю, а затем, после того, как пройдут определенную часть пути под землей, они, наконец, вытекают наружу... и их можно видеть вновь столь же полноводными, какими они были, когда исчезли из вида». Итак, во время ненавистного Средневековья знания продолжали развиваться, но в виде подводных течений, к примеру, в изолированных монастырях. Прогресс знаний время от времени замедлялся, но до сих пор ни разу не останавливался полностью.

Впрочем Фонтенель в своей панораме прогресса хотел проследить весь путь в будущее. В своем «Отступлении о древних и новых» (Bernard de Fontenelle, *Digression sur les anciens et les modernes*) он говорит нам, что истинный вопрос о прогрессе человечества состоит в том, остается ли природа одной и той же на протяжении веков и тысячелетий. Фонтенель, твердый картезианец, считал, что природа неизменна: «Единожды проясненный, весь вопрос о превосходстве древних или новых сводится к тому, были ли деревья вчера выше, чем те, что растут сегодня. Если да, то с Гомером, Платоном и Демосфеном нельзя сегодня сравниться, но если наши деревья так же велики, как в прошедшие времена, то мы можем сравниться с Гомером, Платоном и Демосфеном».

Короче говоря, если сегодня деревья такие же высокие, львы и тигры такие же свирепые, то мы, конечно, имеем право полагать, что человеческий ум и сегодня во всем все так же остр и восприимчив к гению, каким он был в эпоху Эсхила и Сократа: «Природа обладает своего рода глиной, которая всегда одинакова, которую она непрерывно формирует и переформирует тысячами различными способами и из которой она лепит людей, животных и растения. И, конечно, она не сформировала Платона, Демосфена или Гомера из более тонкой или лучше вымешанной глины, чем наших сегодняшних философов, ораторов и поэтов».

Вот все о неизменности потенциала человеческого гения в истории. Как насчет различий физической географии и климата? Ими тоже можно пренебречь, заявляет Фонтенель, потому что их преимущества и недостатки в том, что касается обеспечения достаточного питания и приемлемых жизненных условий для людей, почти одинаковы по всему миру, за исключением «засушливого пояса и двух полярных областей».

Но разве не следует похвалить древних и отдать им первое место за то, что они были первыми в изобретениях, творческих и иных достижениях? Никоим образом, настаивает Фонтенель. При всем уважении к тем, кто был первым по времени, нужно учитывать два момента: во-первых, если бы мы, «новые», жили бы в начале времен, все говорит о том, что мы бы сделали именно то, что сделали древние; во-вторых, что еще более важно, зачастую гораздо труднее *добавить* к тому, что уже было сделано, чем осуществить самое первое достижение. Следует заметить, что Фонтенель не развивает этот сомнительный довод, ограничиваясь простым утверждением. Но он проявляет куда большее красноречие в своей защите «новых», когда подчеркивает тот факт, что мы имеем то, чего *не* имели древние, даже величайшие творцы и изобретатели из их числа, а именно — их собственные труды, на которые можно опираться и которыми можно вдохновляться. «Мы интеллектуально выиграли от открытий, сделанных до нас; мы черпаем вдохновение у других вдобавок к тому, которым обладаем сами; и если мы превосходим первооткрывателя, то именно он помогает нам превзойти себя самого...»

И все же зададим вопрос: почему все века, прошедшие после древних греков и римлян, не стали великими эпохами, более великими, чем времена Эсхила и Платона, Цицерона и Ливия? В конце концов, природа дает такие же высокие деревья, такое же богатство человеческих способностей. Почему же тогда взялись, задает риторический вопрос Фонтенель, «темные века, которые последовали за веком Августа и предшествовали нашему времени?» Чем объяснить атмосферу невежества и предрассудков, которая нависала над всей Европой почти на пятнадцать столетий? Как мы уже видели на примере раннего периода эпохи Возрождения, гуманисты и интеллектуалы в целом считали само собой разумеющимся, что весь период примерно от 300 до 1400 годов был временем непрерывного варварства. Фонтенель никоим образом не свободен от приверженности к этому постулату. Но, как утверждает он, эта ситуация напоминает то, как если бы человек был подвержен некоей болезни, от которой все его знания и вся память оказались временно разрушены, стали бессильными. Со временем такой человек

обычно оправляется от болезни, и к нему возвращается память. Более того, продолжает Фонтенель, невзирая на болезнь, наш воображаемый индивид на протяжении всего времени болезни скорее всего продолжал бы расти, развивать свои естественные способности и даже, возможно, под сознательно наращивать свои знания. Так же происходит с нациями и с цивилизациями. Периодически они бывают подвержены регрессу в результате войн, религий, тирании; кажется, что знания увядают и даже исчезают. Но со временем цивилизации возрождаются, и вновь возобновляется процесс интеллектуального роста. Следующая цитата иностранно иллюстрирует центральную позицию Фонтенеля в защите прогресса и утверждении превосходства «новых»: «Сравнение, которое мы хотим сейчас сделать между людьми всех времен и одним-единственным человеком, может быть распространено на всю эту проблему древних и новых. Хорошо развитый ум, если можно так сказать, складывается из всех умов предшествующих веков: его можно считать одним и тем же умом, воспитывающимся на протяжении всего этого времени. Итак, человек этот, живущий от начала мира до наших времен, имел свое детство, в течение которого он был занят только самыми насущными своими нуждами, и свою юность, во время которой он достаточно хорошо преуспел в области воображения, т.е. в поэзии и красноречии, и даже начал понемногу рассуждать, хотя и не очень солидно, но с жаром. Сейчас он находится в поре возмужалости, когда он рассуждает сильнее и просвещен больше, чем в прежние времена... Очень досадно не иметь возможности довести до конца хорошо начатое сравнение. Но я вынужден признать, что наш человек совсем лишен старости... Иначе говоря — мы оставим в стороне аллегория, — люди никогда не вырождаются, и здравые взгляды людей здравого ума будут, следуя друг за другом во времени, объединяться и взаимно друг друга поддерживать».

На этом завершим наше обсуждение «спора о древних и новых», которому Бэри и другие историки придавали столь решающее значение в истории идеи прогресса. Разумеется, этот спор не был началом жизненного пути этой идеи — в поисках этого начала мы обращались к философам античности и раннего христианства. Неверным было бы также

утверждать, что аргументы в пользу прогресса, т. е. превосходства настоящего над прошлым, а будущего над настоящим, были изложены участниками спора с той солидной обоснованностью и эрудицией, какую мы находим у других авторов этой эпохи, никак не связанных с упомянутым спором. Французские сторонники современности и прогресса были, как яростно подчеркивал Сорель, просто интеллектуалами, вовлеченными в словесные игры, и они ни в коей мере не могли сравниться с теми, кто защищал древних. И все же истории предстояло решить дело в пользу «новых»; именно они, а не Буало, проторили путь сторонникам прогресса в XVIII—XIX веках. Именно они, а не их ученые соперники, пусть даже очень слабо, но высказали ту идею, которой суждено было господствовать в сознании последующих двух с половиной веков.

Нельзя удержаться от одного последнего замечания. Фонтенель представляет собой в этом эпизоде забавное зрелище — секретарь Французской Академии, популяризатор чудес науки, интеллектуал, настолько свободный от религии, насколько было возможно в то время, и использующий ради словесной демонстрации реальности человеческого прогресса аналогию, которую сделал популярной Св. Августин и которая была передана XVII веку исключительно по христианским каналам. И это зрелище становится еще забавнее благодаря его серьезности и явной уверенности в собственной оригинальности, сопровождавшей использование Фонтенелем этой аналогии.

ЛЕЙБНИЦ

Одним из главных событий XVIII века, пишет Лавджой в своей «Великой цепи бытия», стала «темпорализация» цепи бытия». «*Plenum formarum*», — продолжает он, — все больше стал восприниматься... как программа природы, постепенно и чрезвычайно неспешно совершающаяся в космической истории. Да, все возможности требуют своего осуществления, но такое осуществление не предоставляется сразу им всем». На самом деле, как мы отмечали, в средневековой мысли имелись намеки на эту темпорализацию,

* Множественность форм (лат.). — Прим. науч. ред.

а в некоторых трудах пуритан — больше чем намеки. Но утверждение Лавджоя может служить уместным комментарием к XVIII веку. И никто не имеет большего отношения к этой темпорализации, чем великий Лейбниц.

Нет сомнений, один лишь его ум смог дать достаточную опору идее прогресса, чтобы обеспечить ее интеллектуальное восхождение на протяжении последних трех веков. Едва ли со времен Аристотеля появлялся человек, столь же широко, глубоко и разносторонне одаренный в философских и научных предметах, как Лейбниц. В своем изобретении анализа бесконечно малых он опередил Ньютона. Похоже, что он шел на одной линии со всеми крупными открытиями, изобретениями или теоретическими формулировками в науке его времени. Считается, что Лейбниц был основателем символической логики. Он также был доктором права. Несмотря на огромное богатство и обилие его философских и научных работ, после студенческих лет Лейбниц так и не нашел времени на то, чтобы приобрести академический статус, который позволил бы ему полностью посвятить себя своим трудам. Он был слишком поглощен дипломатическими и политическими занятиями.

Но наш интерес к Лейбницу больше связан не с тем, что он изобрел или открыл, а с тем, что он *восстановил* в европейском мышлении. Период его жизни приходится на самую середину того времени, которое я назвал Великим восстановлением, и Лейбниц, восстановив античные и средневековые идеи полноты и непрерывности, внес такой же большой вклад в идею прогресса, как те, кто возродил интерес к миллениуму, к практическим искусствам и наукам, как предвестникам тысячелетнего царства, и к «земным райским уголкам», открытым моряками и вписанным в линейную философию истории.

Лейбниц находился под влиянием Спинозы и его веры в Великий План. Все, что произойдет в будущем, заложено в настоящем. Спиноза, подобно схоластам, выводил л из истины, принимаемой за аксиому: что бы ни создавал всемогущий, всеведущий Бог, оно непременно будет содержать все мыслимое. Так в этом божественном космическом порядке воплощается иерархия бытия, абсолютно непрерывная в своем восхождении от низшего к высшему.

Артур Лавджой писал: «Но Спиноза (в отличие от Бруно) уделял не слишком много внимания принципу полноты, который суждено было принести самые богатые плоды в XVIII веке. В своей собственной доктрине его больше всего интересовало не то соображение, что все, что логически может существовать, должно и будет существовать, а то, что все, что есть, по извечной логической природе вещей должно было быть и было именно таким, каково оно есть».

Такого ограничения (или предрешенной альтернативы) у Лейбница найти нельзя. В борьбе с доктринами Спинозы (среди прочих) Лейбниц преуспел в формулировании метафизики столь открытой и гибкой и столь гармонично сочетающейся с идеями роста, развития и эволюции, что он не мог не оказывать сильного влияния на формулирование теории прогресса не только в XVIII, но и в XIX веке. Конт, Маркс и даже Дарвин обнаруживали, что в ряде важных контекстов цитируют Лейбница.

Здесь для нас особенно важно, во-первых, настойчивое утверждение Лейбница об абсолютной *необходимости* каждой вещи, которую можно встретить во Вселенной и в мире (даже крокодилов, о которых он говорит в одном из весьма пространных примеров!): не может быть иначе, чем есть, и все есть лишь результат непреложной необходимости, учитывая природу Бога и Его план; во-вторых, доктрина Лейбница о бесконечной потенциальности; и, в-третьих, и это, возможно, важнее всего, — его теория непрерывности (континуальности).

Именно из своей доктрины необходимости Лейбниц вывел свое знаменитое заключение, что этот мир — наилучший из возможных, заключение, которое позднее осмелел Вольтер. Однако акцент в нем следует ставить на слово «возможный». Лейбниц ни секунды не верил, что все в мире — «благо» и что зла не существует, как уверял бы нас «Кандид». Вовсе нет! Он прекрасно осознавал существование зла, но его аргумент заключался лишь в том, что когда все «возможности» учтены (как только мог учесть всемогущий Бог), то следует заключить, что, действительно, был сотворен лучший из *возможных* миров, который затем развился до состояния зрелости. Но как бы ни трактовать Лейбница, нельзя усомниться в том, что его размышлениям

о завершенности и необходимости мирового порядка было суждено придать огромный импульс идее прогресса.

Впрочем, монада Лейбница или, скорее, концепция динамической потенциальности, запечатленной в монаде, стала в некотором смысле куда более важной для идеи прогресса. В своей работе «О глубинном происхождении вещей» Лейбниц писал: «...К довершению красоты и общего совершенства божественных творений надо признать, что во всей Вселенной (Universi) совершается известный непрерывный и свободный прогресс, который все больше продвигает культуру (cultuin). Так, цивилизация (cultura) с каждым днем охватывает все большую и большую часть нашей земли... Что же касается возможного возражения, что в этом случае мир давно стал бы раем, то ответить на него легко. Хотя многие существа достигли уже совершенства, но из того, что непрерывное делимо до бесконечности, следует, что в бесконечной глубине вещей всегда остаются части как бы уснувшие, которые должны пробудиться, развиваться, улучшиться и, так сказать, подняться на более высокую ступень совершенства и культуры. *Нет, следовательно, какого-либо предела для прогресса*» (курсив мой. — Р. Н.).

Во всей западной философии лишь немногие положения нашли более громкий отклик или более широко проникли в разнообразные контексты философской и научной работы на протяжении двух последующих столетий, чем это утверждение Лейбница. Греческое по существу и аристотелевское по характеру, оно тем не менее обладало уникальной мощью и современностью.

Рассмотрим следующий отрывок из «Новых опытов о человеческом разумении»: «Ничто не происходит сразу и одно из моих основных и достоверных положений — это то, что *природа никогда не делает скачков*. Я назвал это *законом непрерывности*... Все в природе идет постепенно и ничего — прыжками, и это правило в отношении изменений — часть моего закона непрерывности».

То, что эти утверждения распространяются далеко за пределы абстрактного обобщения, вплоть до частных деталей природы, хорошо подтверждается следующим отрывком, также из «Новых опытов»: «Письмо, 1707. Я думаю

теперь, что у меня есть хорошие основания полагать, что разные классы существ, разнообразие которых формирует Вселенную, в идеях Бога, который четко знает их основные градации, просто подобны множеству ординат одной и той же кривой, отношения, которые не позволяют другим, встающим между любыми двумя из них, потому что это означало бы беспорядок и несовершенство. Таким способом люди связаны с животными, животные — с растениями, а растения — с окаменелостями, которые в свою очередь связаны с теми телами с разумом и воображением, представляемые нами полностью как мертвые и неорганические... Поэтому любой порядок природных существ должен обязательно представлять собой только одну цепь, в которой разные классы, а также множество соединений так близко связаны друг с другом, что невозможно разуму или воображению точно определить точку, где любой из них начинается или заканчивается; все виды, которые граничат друг с другом или занимают, так сказать, спорную территорию, обязательно двойственны и наделены характеристиками, которые можно так же применить к соседствующему виду».

Непрерывность присутствия в западной мысли центральных элементов «Письма» Лейбница такова, что мы легко можем представить себе Лукреция, который понимает его и восхищается им в свое время, так же, как Гераклита задолго до него. Но столь же красноречивым является и тот факт, что полтора века спустя все те же центральные элементы встречаются в «Происхождении видов» Дарвина. Никто не оценил лучше, чем Дарвин, фразу Лейбница *Natura non facit saltum*^{*}, (которую он цитирует в соответствующем контексте), поскольку Дарвин отстаивал естественный отбор как ключевой процесс биологической эволюции. Столь же высоко он должен был бы оценить (и, возможно, оценил) заключительные фразы «Письма», поскольку одной из общеизвестных целей Дарвина было освобождение биологии от неподвижного *видового мышления* и замена его таким пониманием природы, которое можно встретить в его теории естественного отбора, а также, в не столь определенной форме, в высказывании из Лейбница.

* Природа не делает скачков (лат.). — Прим. науч. ред.

Еще одну линию преемственности можно увидеть в следующем: «Отсюда легко вывести заключение, что совокупность всех духов должна составлять Град Божий, т.е. самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного Монарха.

Этот Град Божий, эта воистину Вселенская Монархия (Monarchie Universelle) есть мир нравственный в мире естественном и представляет собой наиболее возвышенное и самое божественное из дел Божиих; в нем и состоит истинная слава Божия, ибо ее не было бы, если бы духи не познали величия Бога и благодати его и не поразились им. Именно в отношении к этому государству и обнаруживается, собственно, его благодать, так как его премудрость, его всемогущество проявляется повсюду».

И это слова изобретателя исчисления, основателя Прусской академии наук и блестящего политического советника короля Пруссии! Св. Августин его бы одобрил. А также, возможно, одобрил бы и Исаак Ньютон.

ВИКО

В «Автобиографии» (Giambattista Vico, *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo*) Вико высказывается о своем выдающемся произведении «Новая наука» (Giambattista Vico, *La Scienza Nuova*) таким образом: «В этой работе, к славе католической религии, были открыты принципы всей божественной и человеческой мудрости иноверцев в наш век и в лоне истинной Церкви, и тем самым Вико принес нашей Италии пользу тем, что она больше не испытывает зависти к протестантской Голландии, Англии или Германии и трем князьям этой науки [имеются в виду Гроций, Селден и Пуфендорф]».

В этом состоит одна из причин того, что Вико, чья жизнь проходила в конце XVII и в начале XVIII века, так мало читали его современники, и того, что он при жизни обладал столь малым влиянием: при всей оригинальности и творческом характере его исторических, социологических, филологических и экономических работ он предпочел формулировать их в строгих рамках не просто Провидения, но веры в Церковь, интеллектуальное богатство которой во времена Вико быстро убывало. Второй основной причиной

пренебрежения, с которым к нему относились на протяжении XVIII века, была его стойкая и временами резкая оппозиция картезианству. Декарт строго предписал ищущим истину избегать использования эмпирических, а тем более библиографических и архивных данных, и наказал им использовать чистый дедуктивный разум — тот, что лежит в основе геометрии — как единственно возможный способ отличить все истинное и реальное в человеке от простой видимости. В то же время у Вико все надежды на науку о человеке основывались ровно на противоположной точке зрения: без данных, извлекаемых из прямого наблюдения и из записей прошлого, такой науки просто не может быть.

Хотя Вико почти полностью игнорировали при жизни, особенно как философа истории, награда пришла к нему век спустя после его смерти, когда французский историк Жюль Мишле во время путешествия в Италию в начале 1820-х годов наткнулся на «Новую науку» Вико. По-видимому, он сразу же пришел от нее в восторг. Мишле немедленно осуществил перевод книги на французский язык и в своей монументальной «Истории Франции» (Jules Michelet, *L' Histoire de France*) заявил, что Вико был гением масштаба Ньютона.

Есть некая ирония в том, что реабилитация Вико пришла в первую очередь от Мишле, поскольку последний был страстным врагом Римско-католической церкви и христианства в целом. Вико по всем признакам был правоверным католиком (хотя некоторые его комментаторы отметили, что Вико в своей «Новой науке» нигде не упоминает Иисуса) и почитателем Средних веков, периода, к которому Мишле относился с глубоким презрением, которое привело его к привнесению в европейскую историографию концепции Возрождения, позднее примененную Буркхардтом в ставших классическими работах.

Провидение было для Вико так же реально, как и для любого пуританина XVII века. Ничто не случается, не случалось или не случится когда-либо в будущем без участия Провидения, непосредственного или по изначальному плану. Леон Помпа, один из самых проникательных современных исследователей Вико, утверждает, что можно убрать Провидение из «Новой науки» Вико без существенного

изменения его фундаментальных принципов истории. Может, это и так, но точно так же можно вычеркнуть «Схолию» из «Начал» Ньютона без изменения законов движения. Однако главное состоит в том, что ни Вико, ни Ньютон ни на секунду не представляли, что Вселенная, мир, человечество возможны без творящего и направляющего Провидения.

Провидение, пишет Вико, позаботилось о том, чтобы не было двух наций, следующих в точности одним и тем же путем развития, хотя прослеживание параллелей в развитии различных стран входило в число его основных целей. По его мнению, хотя история каждого народа представляет собой один из повторяющихся циклов рождения и угасания, Провидение заботится о том, чтобы каждый новый цикл начинался на более высоком уровне культурного развития, чем предыдущий. Распад римской цивилизации и, следовательно, конец цикла, или *corso* *, не означал, что начало нового цикла, т.е. раннее Средневековье, должно было иметь место на том же уровне, с которого начался римский цикл. На последних страницах «Новой науки» Вико есть рассуждения (правда, несколько путаные) о вероятности того, что христианство не позволит варварству когда бы то ни было вновь повлиять на курс западной цивилизации. (Эдуард Гиббон позднее в том же веке придет к тому же заключению о варварстве, но по причинам, ни в коей мере не связанным с христианством.)

Следующий отрывок, цитируемый Леоном Помпа в его замечательном исследовании Вико (Leon Pompa, *Giambattista Vico*), в достаточной мере свидетельствует о подчинении этого мыслителя Богу. Нашей целью, пишет Вико, «должна быть демонстрация того, как Провидение действовало в истории, поскольку это должна быть история институтов, с помощью которых Провидение, без участия человеческого понимания или совета, а часто и вопреки людским планам, упорядочило этот великий город человеческого рода. Поскольку, хотя мир был создан индивидуально и во времени, институты, установленные в нем Провидением, универсальны и вечны».

* Здесь: курс, путь (итал.). — Прим. науч. ред.

Для Вико Провидение, очевидно, имеет тот же привкус, который «невидимая рука» рынка имела для экономической теории Адама Смита позднее в том же веке. И, как отметил Кроче (находившийся под сильным влиянием Вико и Гегеля), «Вико не меньше Гегеля использовал понятие *хитрости разума* и называл ее Божественным Провидением». В Элементе 7 «Новой науки» есть интересная отсылка к Провидению как единственному средству, с помощью которого естественные неистовые и алчные страсти людей преобразуются через институты в стабильность общества. Вико пишет: «Эта аксиома доказывает, что существует Божественное Провидение, и более того, что существует Божественный законодательный разум. Из-за страстей человеческих каждый стремится к личным преимуществам для себя, и потому люди жили бы, как дикие животные в дикой местности, но оно [Провидение] создало гражданские институты, благодаря которым они имеют возможность жить в человеческом обществе».

Неудивительно, что Вико практически полностью игнорировали современники, несмотря на его почти неистовые и нередко полные отчаяния попытки представить себя и «Новую науку» на рассмотрение разуму своего века. То, что Вико настойчиво называл результатом действия Провидения — а именно, преобразование дисгармоничных, даже воинственных естественных импульсов человека в нечто вроде социального равновесия — другие мыслителя, чьи работы пользовались читательским вниманием в XVIII веке, транслировали Провидение в набор светских понятий. Для Френсиса Хатчесона, учителя Адама Смита, понятие альтруизма служило самодостаточной моральной силой в мире. В свою очередь, для Бернарда Мандевиля (которого Хатчесон терпеть не мог) секрет равновесия состоял просто в человеческих «я», соревнующихся друг с другом. [«Частные пороки — общественные выгоды» — таков подзаголовок его знаменитой «Басни о пчелах».] Адам Смит, который, как представляется, добрался до этой книги, несмотря на ненависть к ней своего учителя, результативно применил идеи и Хатчесона, и Мандевиля. Если в «Богатстве народов» больше Мандевиля, чем Хатчесона, то в более ранней «Теории нравственных чувств» больше Хатчесона. Но все

это, в сущности, лишь представление в светских терминах идеи Вико об «имманентном Провидении».

Выше я упоминал враждебность Вико к картезианству, и потому будет интересно узнать из его «Автобиографии», что в молодости Вико был поклонником декартовского «царского пути» к знаниям любого рода, в любой области, — естественной, гуманитарной, исторической или социальной. Он довольно откровенно говорит об этом, как показывает следующее высказывание: «Всю свою жизнь я получал большее удовольствие от пользования разумом, чем памятью, и чем больше я узнавал в области филологии, тем большим невеждой я себя осознавал. Декарт и Мальбранш, по-видимому, не слишком ошибались, когда говорили, что для философа чужды долгие и упорные занятия филологией».

Но как бы ни был Вико вначале захвачен картезианским подходом, он полностью поменял свое мнение по мере продолжения своих исторических исследований. Он постепенно пришел к пониманию того, что картезианство подходит в качестве метода только для математики или логики, но не для понимания внешнего мира, физического или социального. Как выяснил и впоследствии постоянно подчеркивал Вико, существуют два типа знания: *Verum** и *Certum*** . Первое — априори истинное, зависящее от аксиом или принципов, которые конструирует сам человек, и требующее лишь строгого следования дедукции для того, чтобы последовательно приходило ко все более сложным заключениям. *Verum* — это абсолютное знание и, разумеется, единственный вид знания, которым заинтересовался Декарт. Прекрасным примером такого знания служит геометрия. Второй вид знания или истины, *Certum*, — приблизительное, неабсолютное знание, зависящее не от интуитивно полученных аксиом и строгих выводов из «ясных и простых идей», а от терпеливого наблюдения за вещами — прошлыми и настоящими. Как только Вико порвал с картезианством из-за полной его неприменимости к изучению человеческого общества, он тут же полностью отказался от

* Истинное (лат.). — Прим. науч. ред.

** Определенное (лат.). — Прим. науч. ред.

Verum. Следующий отрывок из «Новой науки» показательен в том отношении: «Подобно тому, как геометрия, когда она строит мир количества из своих элементов или созерцает этот мир, создает его для себя, так же и наша Наука [создает для себя мир народов], но с настолько же большей степенью реальности, насколько институты, имеющие отношение к деятельности людей, более реальны, чем точки, линии, поверхности и фигуры».

Лишь в XIX веке, когда изучение истории в целом и социальной и институциональной истории в частности стало очень популярным и когда место идеи XVIII века о *естественных* правах и *естественном* праве в общественных науках заняли *действительные* права, обязанности, традиции и кодексы людей, Вико пожал плоды своего институционализма. XVIII век был к этому, по большей части, не готов.

Вико восхищался «Государством» Бодена и говорил о нем, как о «самом эрудированном юристе, равно как и политическом мыслителе». Он даже посвятил ему главу в «Новой науке», подробно высказав свое одобрение основным принципам политической теории Бодена. Однако Вико не упоминает труды Бодена по истории и историческому методу. Конечно, возможно, что он почему-то не смог прочесть эту ключевую работу философа, которым так сильно восхищался, но это представляется крайне маловероятным. Слишком много параллелей, примеров почти идентичного мышления по различным вопросам, чтобы предположить, что Вико не был хорошо знаком с «Методом» и не основывался на нем. Как отметил в своем важном исследовании Джироламо Котронео, теории происхождения человеческого общества, которые мы встречаем в работах Бодена и Вико, имеют почти совершенное сходство. То же самое относится к систематическому опровержению не только существования золотого века (которое, как мы видели, было очень распространенным представлением в мысли эпохи Возрождения), но также и пророчества Даниила о четырех монархиях, производившего, как говорилось выше, столь сильное впечатление на умы пуритан и других людей XVII века. Хотя опровержение Вико этого пророчества буквально дословно воспроизводит соответствующий текст

Бодена, в его работе никак не упоминается глава 7 «Метода легкого изучения истории». Я, как и Котронео, не пытаюсь умалить оригинальность работы Вико. Мне гораздо важнее показать, что мышление Вико гораздо теснее связано с ученым, жившим веком ранее, — с Жаном Боденом, — чем с любым из своих современников. Подобно Бодену, вынужденному бороться не только с влиянием Макиавелли, но и с течениями мысли, возникшими из итальянского Ренессанса задолго до эпохи Макиавелли, Вико оказался затопленным потоками картезианства.

Я говорил о желании Вико поместить историю в сферу истинной науки, а не оставлять ее там, где она находилась на протяжении стольких столетий, т.е. в сфере искусства повествования. Он прекрасно понимал необходимость *сравнительной* истории для самого существования исторической науки. Его «Новая наука» начинается, на самом деле, с того, что он называет «хронологической таблицей», где в параллельных колонках приводятся главные события и лица из семи разных историй: иудейской, халдейской, скифской, финикийской, египетской, греческой и римской. Заявленным намерением Вико было вывести (с помощью детального эмпирического и сравнительного изучения этих историй) принципы, которые были бы по своему характеру истинно научными. Вико искренне восхищался Френсисом Бэконом, подобно столь многим религиозным людям в Англии XVII века, к числу которых относились и католики, и англиканцы, и протестанты. Вико считал бесплодной какую-либо подчиненность якобы самоочевидным принципам при изучении человеческого общества. Все истинные принципы должны быть результатом терпеливого сравнительного изучения документов конкретных народов. В таком случае есть ли что-либо странное в том, что этот выдающийся мыслитель был предан забвению в XVIII веке, т.е. в период, когда считалось, что сама суть истинных знаний о человечестве состоит в аксиомах, которые должны пролить свет на развитие человечества (после того, как из них сделаны правильные и строгие логические заключения), подобно тому, как они пролили свет на геометрические утверждения? Когда в своем втором «Рассуждении» Руссо написал знаменитую и столь часто подвергавшуюся

недоброжелательным толкованиям фразу: «Начнем с того, что отложим факты в сторону, поскольку они не влияют на суть вопроса», — он следовал общепринятому картезианскому пути. Что пыльные документы действительной истории народов могут дать такого, что годилось бы для истинного и рационального понимания человечества? Именно такое умонастроение стремился поколебать Вико и потерпел неудачу. Вновь и вновь он говорит нам, что метод чистого разума, так хорошо подходящий для математики, при изучении человечества никак не может занять место серьезного эмпирического исследования действительного опыта народов.

Даже когда мы обращаемся к знаменитому принципу Вико, к принципу «идеальной вечной истории», мы имеем дело с построением (безусловно, порожденным Провидением), которое хотя и имело на деле несколько более дедуктивный характер, чем предполагал Вико, тем не менее выводилось из конкретной, зафиксированной в документах, истории народов и стран, а не из абстракций, таких, как «человечество» или «человеческий род», и применялось именно к этой истории.

«Путь национальных институтов был и должен быть, теперь и в будущем, таков, как показывает наша наука, даже если бесконечное число миров рождалось бы время от времени на протяжении вечности, что, безусловно, не так. Наша наука, таким образом, описывает идеальную историю, проходящую во времени через историю каждой нации в ее рождении, развитии, зрелости, упадке и крушении. Действительно, мы имеем смелость утверждать, что тот, кто мыслит этой наукой, рассказывает сам себе эту идеальную вечную историю в той степени, в какой он тем самым доказывает себе, что “так и должно было быть в прошлом, должно быть и ныне и должно быть в будущем”».

Учитывая природу человека, какой она всегда была и будет, говорит Вико, необходимо существует *corso*, т.е. модель или цикл изменений, через который должны пройти все народы и каждый из них в отдельности.

Эта «идеальная вечная история» имеет много общего с тем, что Макс Вебер назовет в начале XX века «идеальным типом». Отдельные общества, по мнению Вико, не следуют

в своей истории какой-либо абсолютно фиксированной модели; но в том, что все народы (или, по крайней мере, те, о которых Вико говорит как о «благородных нациях»), проходя через три основные стадии, развиваются достаточно сходным образом, чтобы дать ему возможность для обобщения, выявления модели или идеального типа. Как указывает сэр Исайя Берлин, разъясняя текст Вико, причиной существования идеальной модели или фундаментального сходства исторических курсов разных народов является «структура “разума”, одинаковая для всех людей и всех обществ... поскольку лишь она делает их человеческими». Вико задолго до Гегеля и Маркса, подчеркивает Берлин, описал человеческую природу и человеческий ум как деятельность или процессы, не отделимые от социального контекста, в котором они функционируют.

Краткий обзор фактического, ментального, культурного и социального содержания закона исторического развития, сформулированного Вико, показывает, что *тот* автор не говорит о «естественном состоянии» в том смысле, в котором мы встречаем *это* понятие у Гоббса, Локка и Руссо. Человеческое общество появилось, утверждает Вико, когда люди, напуганные тем или иным аспектом окружающей среды, нашли убежища, вначале — в семье, затем — в религиозных и местных группах. Начальный этап человеческой истории у любого народа мы изучаем как «эпоху богов», в которой каждое действие и каждая мысль управлялись предписаниями богов, которые можно было найти в мифах и символах. Кровные узы освящены богами, так же, как и патриархальный характер общества и каждой его семьи или группы.

Вико считает разрушение этой первой великой эпохи результатом неспособности общества, основанного на кровных узах, терпимо принимать тех участников (*socii*), кто приходил извне, как чужак, стремился получить защиту и волей-неволей оказывался внутри нового общества, но не принадлежал ему. Напряженность росла, выливаясь в кровавые конфликты, а затем, говорит Вико, пришла вторая великая эпоха — «эпоха героев». Вслед за изменениями в социальной и политической организации пришли изменения в руководящих символах. Религию постепенно

заменила поэзия. Это воистину была эпоха человеческих чувств, эмоций и страстного желания сохранять верность в человеческих делах. Если первая эпоха была эпохой богов и царственных жрецов, то вторая была сродни тому, что мы обычно называем феодализмом.

Третья эпоха, как и вторая, проистекла из недостатков, постепенно развивавшихся в предыдущей; эти недостатки породили новые конфликты, которые начали охватывать все большее число людей. Именно в третью эпоху народы, имеющие государство, становились все более сильными, первоначально при помощи могущественных монархов, чья поддержка, оказанная народу, вела их к смертельному конфликту с «героями» аристократии. Подобно тому, как религия была характерной символической моделью, в рамках которой люди жили в первую эпоху, и как поэзия с ее эпическими героями была моделью для второй эпохи, так и третья эпоха приобрела особый культурно-филологический характер, который можно выразить одним словом «проза». Поэзия теперь становится столь формализованной, столь классической по своей природе и столь лишенной героических эмоций, что по своей подлинной сущности она превращается в прозу.

Но со временем придет к концу и эта эпоха. Ее опора на рационализм, технику, растущее число подданных или граждан, ширящуюся торговлю и символы, из которых все больше и больше изгоняются человеческие чувства, должна иметь непременно следствиями упадок и крах. Начнется новый цикл истории, обновление *corso*, хотя, разумеется, он ни в коем случае не будет точным повторением прошлого — детерминизм Вико вовсе не является железным.

Многое здесь напоминает греческую и римскую доктрину циклов. Можно с основанием допустить, учитывая достаточное знакомство Вико с античными трудами, что его концепция *ricorsi*, т.е. повторений в истории, подобно концепциям его ренессансных предшественников, уходит корнями в античную доктрину. Но здесь имеется большое отличие: вера Вико в Провидение, которую он постоянно подчеркивает, ведет его к тому, чтобы рассматривать *corso*, по которому идет каждая нация, как индивидуальный по отношению к Богу (это в некоторой степени предвосхищает

видение истории и Бога у Ранке) и поэтому отличный в важных деталях от других *corsi**. И, как уже отмечалось, та же вера в Провидение позволяла Вико, подобно столь же религиозному Бодену, видеть последовательные *corsi* на все более высоких уровнях цивилизации.

Прежде чем закончить раздел, посвященный Вико, представляется важным подчеркнуть еще одну примечательную особенность его мышления, который распадается на несколько тесно связанных друг с другом частей. Для Вико существует отчетливая и ни к чему не сводимая *модель*, которая, если использовать обобщающее высказывание сэра Исаяи Берлина, «характеризует всю деятельность в рамках данного общества, общий стиль, отраженный в мышлении, искусстве, общественных институтах, языке, образе жизни и деятельности всего общества». Таким образом, опять же следуя за сэром Исайей, мы можем увидеть во временной последовательности таких моделей динамический, изменяющийся, способный к переменам характер человеческого рода; мы также можем понять тот факт, что, как настаивал Вико, те, кто в действительности что-либо придумывает или создает, могут понимать истинную реальность создаваемого лучше, чем те, кто просто рассматривает все это с некоторого расстояния (во времени или в пространстве). Наконец, человеческие творения для Вико — не искусственные сущности, которые можно изменять или преобразовывать как угодно, а, по словам сэра Исаяи, «естественные формы самовыражения, общения с другими людьми или с Богом». Многие во времена Вико были склонны видеть в сказках, легендах и мифах — и продолжают видеть спустя долгое время после него — нелепые, бессмысленные «пережитки». Вико задолго до Гердера, а затем Гегеля и его последователей, увидел в мифах абсолютно разумные, рациональные методы, с помощью которых примитивные люди упорядочивали и обосновывали для себя окружающий мир. Именно это качество делает Вико социологом знания. Независимо от того, считаем мы миф или суеверие произведением искусства, пережившим века, или философской теорией Вселенной и человечества, важно, что мы видим

* Множественное число от *corso*. — Прим. науч. ред.

их не как противопоставление неким абстрактным и вне-временным принципам, но как часть культуры, в пределах которой они возникли. Стоит ли в таком случае удивляться, что Вико, после того, как на него в XIX веке обратил внимание Мишле, вызвал столь широкое уважение среди тех мыслителей, кто (как, например, Конт и Маркс), имея иные идейные источники по данной проблеме, тем не менее высказывал ему свою похвалу? Уместно закончить наше изложение той данью, которую Кроче отдал Вико: «В своем видении исторического развития человечества он пролил новый свет на примитивный язык, состоящий из воображения, ритма и песни; на примитивное мышление, характеризующее мифами; на примитивную и искреннюю поэзию Гомера в античности и Данте в христианские времена, отличную от интеллектуалистской поэзии непоэтических эпох и XVIII века... Несмотря на пессимизм, который оставил его в одиночестве в эпоху великого революционного движения, суть и отдельные характеристики его мышления представляли собой ансамбль доктрин и исторических интерпретаций, которым суждено было интегрировать, исправить и преобразовать рационализм XVIII века».

Все это верно и важно. Но если и есть ключевой элемент в его целостной, сложной и запутанной системе мысли, за который можно ухватиться при установлении значимости Вико для истории идеи прогресса, то это, я думаю, идея, содержащаяся в самом заглавии его величайшей работы — «Новая наука». Постхристианскую, *современную* идею прогресса лучше всего характеризует то, что она содержится в системах мышления, которые их авторы считали настолько же научными, насколько научными являются физика и биология. Вико признавал и подчеркивал ведущую роль Провидения. Но в рамках этой веры лежала вера в науку, которая для грядущих поколений будет становиться все более автономной и независимой.

ЧАСТЬ II

ТРИУМФ ИДЕИ ПРОГРЕССА

ВВЕДЕНИЕ

За время с 1750 до 1900 года идея прогресса в западной мысли достигла своего зенита в западной мысли как в общественных, так и в научных кругах. Она стала даже не *одной* из важных идей Запада, а доминирующей идеей, даже если принять во внимание растущую значимость других идей, — таких как равенство, социальная справедливость и суверенитет, народа — каждая из которых, бесспорно, в то время сама по себе служила сигнальным огнем.

Однако особенность и ключевая роль понятия прогресса состоит в том, что именно оно становится *контекстом* для развития остальных идей. Свобода, равенство, суверенитет народа — все это становилось еще более желанным, побуждало к трудам и пробуждало надежды; но каждая из этих идей, будучи помещенной в контекст идеи прогресса, могла представлять как нечто не просто желаемое, но и исторически необходимое, как неизбежное конечное достижение. Стало возможным продемонстрировать — как это сделали, в частности, Тюрго, Кондорсе, Сен-Симон, Конт, Гегель, Маркс и Спенсер — что всю историю можно рассматривать как медленное и постепенное, но при этом непрерывное и необходимое восхождение к некоей определенной цели. Очевидно, что любая ценность, которую можно представить в качестве составной части исторической необходимости, имеет стратегическое преимущество в области политической и общественной деятельности. Значимость относительно мелких дел, которые можно совершить в течение одного поколения для осуществления некоей идеи или ценности, повышается, когда их воспринимают как шаги неумолимой поступи человечества. Вероятно, Маркс осознавал это лучше других мыслителей XIX века, но он был в этом далеко не одинок.

В период, о котором сейчас речь, мы видим также начало и усиление секуляризации идеи прогресса, т.е. освобождения ее от долго поддерживавшейся взаимосвязи с Богом, в результате чего прогресс превратился в исторический процесс, приводимый в действие и поддерживаемый исключительно естественными причинами. От известных

лекций и рассуждений Тьюрго в 1750—1751 годах, до Кондорсе, Конта, Маркса, Милля, Спенсера и других, — везде наблюдалось явное желание освободить прогресс от любых существенных взаимоотношений с активным, ведущим, главенствующим Провидением. На протяжении этого периода мы видим, что в философии и социальных науках одна система за другой были озабочены прежде всего демонстрацией *научной* реальности прогресса человечества, а также законов и принципов, делающих прогресс неизбежным. Философы прогресса рассматривали свои собственные произведения в том же свете, что и работы Дарвина и Уоллеса, или Фарадея и Максвелла. Для Кондорсе или Маркса были абсурдом построения, выдвигающие гипотезу о Боге в качестве средства объяснения того, что гораздо правдоподобнее и проще объяснить действием естественных и чисто человеческих сил. Этот процесс секуляризации идеи прогресса, который начался в значительной степени в XVIII веке, постепенно набирал силу в течение последующих двух веков и, без сомнения, достиг пика во второй половине XX века (о чем я буду говорить далее, в главе 9).

Однако, отметив секуляризацию как основную силу в новых и современных формулировках веры в прогресс, тут же предупредим читателя, что секуляризация далеко не исчерпывает историю данной идеи в этот период. Даже в эпоху Просвещения, когда начался процесс секуляризации, весьма уважаемые и влиятельные мыслители продолжали настаивать на ключевой роли Провидения в прогрессе человечества. Едва ли кто-либо из умов того времени пользовался большим почтением у философов Просвещения в Западной Европе, чем Лессинг и Гердер в Германии и Джозеф Пристли в Англии. Все трое глубоко верили в прогресс и в то же время неоднократно демонстрировали свою веру в Бога и приверженность христианству. Христианская вера не исчезла из истории этой идеи и в XIX веке. Ученые масштаба Луи Агассиса в Америке и столь выдающиеся философы, как Гегель, сочетали веру в научную доказуемость прогресса с благочестием и открыто выражаемой верой в христианского Бога.

Однако мы здесь говорим о гораздо большем, чем христианство: о религиозности (независимо от вероисповеда-

ния), о священном, о мифологическом и о том, чего нельзя обойти вниманием применительно к XIX веку, — о своего рода энтелехии, которая с сегодняшней точки зрения должна восприниматься как суррогат религии. Действительно, XIX век должен считаться одним из двух или трех наиболее плодотворных периодов в истории религии на Западе. Это век, богатый на теологические труды, в котором евангелизация распространялась во всех классах общества, возникло движение «Социального Евангелия» [Social Gospel] (и в протестантстве, и в католичестве) и, что, наверное, важнее всего, как грибы после дождя выросли новые верования: христианская наука, мормонство, адвентизм, религия позитивизма и другие.

Это бурное цветение не могло не затронуть идею прогресса, тем самым ограничивая или смягчая ее секуляризацию. Даже Сен-Симон, которого часто считают основателем современного социализма, а также новой науки социологии, отрекся от атеизма своей юности и все больше видел свою воображаемую утопию под маркой «нового христианства». Конт, — вероятно, самый знаменитый и влиятельный философ прогресса в XIX веке, основатель *систематической* социологии и, более того, изобретатель самого этого слова и первейший представитель данной науки, — ко времени написания в середине века своей «Позитивной политики», работы, посвященной весьма детальному описанию особенностей своей позитивистской утопии, горячо уверовал в то, что он назвал Религией Человечества. Все истинные позитивисты, настаивал он, объединяют науку и религию и будут поклоняться *Grand Être**, причем для этого даже появятся соответствующие молитвы и ритуалы.

Но в XIX—XX веках есть и другие, столь же убедительные примеры того, о чем идет речь. Достаточно вспомнить об использовании — преимущественно в Германии, а затем, через заимствование из Германии, и в других странах — таких понятий, как дух, *Zeitgeist***, диалектика и Первопричина. Марксисты, разумеется, будут оспаривать этот тезис применительно к диалектике, настаивая (как они делали

* Великое Существо (франц.). — Прим. перев.

** Дух времени (нем.). — Прим. перев.

с самого начала) на том, что в этой идее нет и намека на религию или метафизику, а есть лишь научное содержание. Но для тех, чьи умы не одурманены марксовым «писанием», надрациональный, неорелигиозный характер этого слова очевиден и в работах Гегеля, откуда Маркс его позаимствовал, и в работах самого Маркса. Вполне возможно, что Маркс, по его утверждению, поставил диалектику с головы на ноги, но квазирелигиозный характер этого понятия сохранился. Точно так же Герберт Спенсер, — несомненно, самый влиятельный социальный философ и социолог своего времени, — написал в своих «Основных началах»: «Атеистическая теория... абсолютно невысказима». Для Спенсера необходимой заменой совершенного Божества было то, что он называл Первопричиной. Он писал: «...у нас нет другой альтернативы, кроме как считать эту Первопричину бесконечной и абсолютной», — атрибуты, явно принадлежащие Богу Св. Августина.

Тем не менее, признав всю эту сохраняющуюся в XIX веке религиозность, мы не вправе игнорировать могущественное заклятие, которое накладывалось словом «наука». И само это слово, и родственное ему слово «ученый» в современном смысле суть неологизмы начала XIX века, и по ходу столетия каждое из них становилось все более и более священным символом в западной лексике как научной, так и общеупотребительной. Благоговейный трепет, который до весьма недавнего времени вызывали наука и ученые, — это продукт XIX века. Во всех слоях населения желание приобщиться к науке или хотя бы восхвалять ее было столь сильным, что даже религии стали приводить «научные» доказательства своей реальности. Само словосочетание «Христианская наука», изобретенное Мэри Бейкер Эдди, кратко выразило суть множества сект и церквей, основанных как в XIX, так и в XX веке. Одним словом, если мы обязаны признать факт проникновения религии в науку, особенно в общественные науки, мы точно так же вынуждены признать необычайный блеск и притягательность науки самой по себе.

В общем введении к последующим главам необходимо сделать еще одно предварительное замечание. Сегодня мы обычно с полным на то основанием различаем слова

«прогресс» и «эволюция», или «развитие». Но, как подробно показал Кеннет Е. Бок, в XVIII—XIX веках такой дифференциации не существовало. Подобно тому, как в XVIII веке слова «естественная история», «предположительная история» и «гипотетическая история» сделали синонимами «прогресса», точно так же в XIX веке понятия «прогресс» и «эволюция» использовались как взаимозаменяемые. Как нигде лучше этот факт иллюстрируется книгой Дарвина «Происхождении видов», опубликованной в 1859 году. Вновь и вновь «прогресс» используется для описания процесса или феномена, на который сегодня наклеили бы этикетку «эволюция» или «развитие» в биологии. И то, что было верно в отношении Дарвина в области биологии, было так же верно в отношении Лайелла в геологии, Тайлора в антропологии и Спенсера в социологии — и вообще в отношении любого автора XIX века, так или иначе интересовавшегося фактами постепенного и процессуального изменения.

С этой особенностью терминологии XIX века тесно связана другая: отношение «социальной эволюции» к «биологической эволюции». Даже сегодня мы встречаем ссылки на происхождение концепций социальной эволюции и социального прогресса от «революционного» провозглашения Дарвином в 1859 году учения о происхождении и расхождении видов. Похоже, что исследования так никогда не избавят мир от этого огромного недоразумения. Единственное, что есть оригинального в великой работе Дарвина, — это его теория *естественного отбора*, в лучшем случае представляющая собой популяционно-статистическую теорию, в которой ни прогресс, ни кумулятивное развитие не играют никакой существенной роли. Эта теория не имела параллелей и не имеет их и сегодня ни в одной из социальных наук. (Пусть, впрочем, читатели на этом месте вспомнят, что дарвиновская концепция естественного отбора была предвосхищена Лукрецием, а также, добавим, дедом самого Дарвина, Эразмом).

Но, как прояснил Кеннет Е. Бок, «социальную эволюцию», как теорию, не только следует четко отделять от центральной идеи Дарвина по поводу эволюции. Что еще важнее, эта теория появилась задолго до биологических

трудов Дарвина. Корни теорий социальной эволюции, которые мы встречаем в постдарвинском мире, легко проследить в работах таких предшествовавших Дарвину философов XVIII — начала XIX веков, как Кондорсе, Конт, Гегель и многих других. Я уже говорил, что Дарвин использовал слова «прогресс», «эволюция» и «развитие» как взаимозаменяемые, что легко продемонстрировать. Несомненно, это словоупотребление весьма способствовало необычайной популярности идей социальной эволюции после Дарвина. Но это ни в коей мере не меняет значения того, что я только что подчеркнул: теории *социальной* эволюции в XIX—XX веках (вплоть до современных работ Талкотта Парсонса и позднего Лесли Уайта и их последователей) ведут свое происхождение от того, что Конт назвал в 1830-е годы «законом прогресса», а не от работ Дарвина, Уоллеса или Менделя.

Еще один важный момент. Я решил представить идею прогресса в период 1750—1900 годов в двух главах, посвященных свободе и власти соответственно. Но такая избирательность не должна уводить читателя в сторону от всеобщей распространенности этой идеи в ученых, научных, литературных и других сферах мышления и воображения в те времена. Философия была буквально пропитана прогрессистскими настроениями, причем я имею в виду центральные области философии, такие как метафизика, онтология, этика и эстетика, а также о философия истории. Для всех общественных наук без исключения — политической экономии, социологии, антропологии, социальной психологии, культурной географии и другие — вера в человеческий прогресс была буквально краеугольным камнем, начиная с Тюрго и Адама Смита и заканчивая Контом, Марксом, Тайлором, Спенсером и многими другими. Если идею разворачивающейся цивилизации непросто разглядеть в строго экономических трудах классической школы, не станем забывать об огромной роли, которую играла эта идея в «Принципах политической экономии» Джона Стюарта Милля и совсем уж очевидным образом в работах исторической школы (в основном немецкой) экономической науки.

Я упоминал Дарвина в различных контекстах. Значимость идеи прогресса в биологической науке XIX ве-

ка поможет продемонстрировать следующий фрагмент из «Происхождения видов»: «...мы можем быть уверены, что обычная последовательность поколений не была ни разу прервана и что никогда никакие катаклизмы не опустошали всю землю. Отсюда мы можем с доверием рассчитывать на безопасное и продолжительное будущее. И так как естественный отбор действует только в силу и *ради блага каждого существа*, то все качества, телесные и умственные, склонны развиваться в направлении *совершенства*» (Курсив мой. — Р. Н.).

Или этот: «Хотя у нас нет никаких надежных доказательств существования у органических существ врожденной склонности к прогрессивному развитию, такое развитие, как я пытался показать в главе IV, с необходимостью вытекает из продолжительного действия естественного отбора».

И, чтобы показать, что даже Дарвин мог сочетать с прогрессизмом рудименты того, что когда-то было повсеместной верой в христианство, процитируем заключительные слова книги: «Есть величие в этом воззрении, по которому *жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм*; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм» (курсив мой. — Р. Н.).

Чего же удивительного в том, что бесчисленное число исповедующих христианство людей, как ученых, так и далеких от науки, нашли в историческом труде Дарвина много такого, с чем они могли согласиться и что смогли совместить со взглядами, к которым пришли ранее? Да, у Дарвина были свои критики. Но их число и интенсивность критики сильно преувеличены; и такая критика, по крайней мере исходящая от его коллег-натуралистов, имела целью, скорее всего, не проявить непочтительность к Дарвину, а указать на логические ошибки и недочеты в доказательствах, которые в позднейших изданиях признал сам Дарвин, пусть и неохотно. (Вплоть до того времени, когда в начале XX века впервые получили известность удивительные открытия

Менделя, дарвиновская теория эволюции не имела подлинно научного основания).

Мышление Альфреда Уоллеса, который был современником Дарвина и вместе с ним открыл принцип естественного отбора, было еще более прогрессистским, чем у Дарвина. Он не сомневался, что процесс эволюции должен однажды достичь завершения в «единой гомогенной расе, в которой ни один индивид не будет ниже выдающихся экземпляров существующего человечества». Зависимость от основных инстинктов и страстей сменится, заявлял Уоллес, свободным участием в мире разума и гуманности, как только члены этой расы «разовьют способности своей высшей природы, чтобы преобразовать землю, которая так долго была ареной их необузданных страстей и юдолью невообразимых несчастий, в такой светлый рай, какой только мог когда-либо посещать мечты провидца или поэта».

В историографии идея прогресса стала, за редчайшими исключениями, главным основанием этой области науки. По обе стороны Атлантики буквально сотни историков так или иначе вторили вере в прогресс, которая была основополагающей у Маколея или у Джорджа Банкрофта. Не осталось незатронутым и христианское богословие. Здесь достаточно привести лишь одну классическую работу, «Развитие христианской доктрины» Джона Генри Ньюмена (John Henry Newman, *Development of Christian Doctrine*, 1845), написанную для того, чтобы показать некоторым критикам христианства, что сложный, по сравнению с апостольским христианством, характер теологии XIX века был результатом не отклонения от оригинала или его искажения, но *прогресса* христианского вероучения.

Литература тоже была вместилищем религии прогресса, хотя в ней работали и некоторые выдающиеся нонконформисты. Еще до начала интересующего нас периода Александр Поп писал: «Да будет все полное или неполное понятным, / а все, что растет, пусть растет в должной степени». Эдуард Юнг в XVIII веке мог сказать: «Природа наслаждается прогрессом, в движении / от худшего к лучшему». В XIX веке Браунинг буквально теми же словами, которые использовал бы Герберт Спенсер, заявил: «Прогресс — это закон жизни». И Теннисон (который в свои

последние годы полностью изменит свою точку зрения) писал: «И я погрузился в будущее, насколько может видеть человеческий взор, / и узрел видение мира и все будущие чудеса». Кольридж пришел к заключению, что если поверхностное чтение истории может склонить к цинизму, то должным образом изученная история, «как великая драма раскрывающегося Провидения, оказывает совершенно иное действие. Она внушает надежду и благочестивые мысли о человеке и о его предназначении». И было, вероятно, бесчисленное множество тех, кто читал и читал «Не говори, что битва напрасна» Артура Клоу. Этих нескольких примеров должно быть достаточно. Джером Х. Бакли в своем «Триумфе времени» (Jerome H. Buckley, *The Triumph of Time*) показал воздействие идеи прогресса на литературу викторианской эпохи, приведя множество подробностей.

Следует сделать еще одно общее замечание о роли идеи прогресса в конце XVIII—XIX веках. Существовало очень близкое сходство между верой в прогресс и верой в то, что сегодня мы называем экономическим ростом. Это сходство было особенно сильным в эпоху Просвещения. Вольтер верил и постоянно писал, что торговля, свобода и прогресс нераздельны. В главе 6 мы обнаружим такого же рода взгляды в работах Тюрго, Адама Смита и Мальтуса. Здесь стоит упомянуть, что даже такой выдающийся научный экспериментатор, как Джозеф Пристли, пользовавшийся большим уважением во всем западном мире за его работы о науке и христианстве, душой и сердцем был за экономический рост и богатство. В своей работе «Способность человека к совершенствованию» Джон Пассмор (John Passmore, *The Perfectibility of Man*) подчеркивал разницу между присутствующей интеллектуалам XX века антипатией к экономическим темам, особенно если речь идет о том, что имеет место в условиях капитализма, и отношением просветителей и философов-радикалов конца XVIII и начала XIX веков. Пассмор цитирует высказывание Пристли о торговле и о том, что «она имеет тенденцию значительно расширять сознание и излечивать нас от многих пагубных предрасположений... Богатые и влиятельные люди, которые действуют в согласии с принципами добродетели и религии, и добросовестно подчиняют свою силу благу своей страны, — эти

люди составляют величайшую честь человеческой природе и представляют собой величайшее благословение для человеческих обществ».

Кондорсе, вдохновенный поборник равенства, фанатично веривший во Французскую революцию (даже когда его преследовала якобинская полиция Робеспьера), воспринимал экономическое производство и торговлю едва ли менее восторженно. Эта деятельность пока не может полностью раскрыть свой потенциал для всеобщего блага, но то произойдет, как только будут уничтожены церковь и политический деспотизм, заявлял он.

В XIX веке существовали, конечно, и пессимисты в отношении производства и торговли, и противники последних. Даже Джон Стюарт Милль жаловался на некоторые наиболее бросающиеся в глаза недостатки экономической системы и написал знаменитую главу в своих «Принципах политической экономии» о достоинствах того, что он называл «стационарным состоянием», когда страна отказывается от цели экономического развития. Еще задолго до середины века поэты, романисты и художники засвидетельствовали свое недовольство тем, что Блейк ранее назвал «сатанинскими мельницами», порожденными промышленной революцией. Но, если изучить работы основных философов прогресса, писавших в том веке (в том числе Сен-Симона, Конта, Маркса, Спенсера), то в отношении промышленности мы не найдем ничего, кроме похвал. Маркс, как мы знаем, мечтал о социализме и работал во имя его, но и он, и Энгельс твердо верили, что технологическая и даже организационная инфраструктура социалистического и коммунистического общества должна остаться в основном такой, какой ее создал капитализм. Как знает каждый читатель «Манифеста Коммунистической партии», капитализм для Маркса и Энгельса был одним из чудес мировой истории, перед которым блекнут так называемые семь чудес древнего мира.

Но независимо от того, основывалась ли вера в прогресс человечества в явном виде на том или ином физическом, биологическом, экономическом, технологическом, религиозном или метафизическом принципе, она была практически всеобщей среди самых просвещенных и передовых

людей в период, простиравшийся от 1750 года до середины XX века. Как я более детально продемонстрирую ниже, существовали скептики и прямые противники этой веры, но они составляли незначительное меньшинство. Для подавляющего большинства людей на Западе прогресс был, согласно знаменитому высказыванию Герберта Спенсера, «не случайностью, но необходимостью».

Эту веру в прогресс невозможно полностью описать в одной книге (или даже в дюжине книг). Поэтому в главах 6 и 7, посвященных теориям прогресса XVIII—XIX веков, я был вынужден проявить избирательность и ограничиться небольшим набором тем. Поскольку для интеллектуалов этих веков не существовало ценностей более важных, чем свобода, с одной стороны, и легитимность власти, с другой, я выбрал именно эти две ценности в качестве контекста для иллюстрации того, как проявляла себя вера в прогресс.

ГЛАВА 6 ПРОГРЕСС КАК СВОБОДА

В XVIII—XIX веках не было недостатка в историках, ученых, философах — словом, в интеллектуалах — которые считали *свободу* и *вольность* священными. Таким образом, для многих мыслителей сущностной целью, конечным устремлением прогресса неизбежно становился постоянный и все более всеохватный рост индивидуальной свободы в мире. Реальность прогресса подтверждалась явными достижениями человеческих знаний и человеческой власти над миром природы, но такие достижения стали возможны лишь со снятием всех мыслимых ограничений с личной свободы думать, работать и творить. Критерием прогресса, таким образом, была степень свободы, которой обладал народ или нация.

ТЮРГО

Никто в XVIII веке не объединял прогресс и свободу более полно, чем этот выдающийся человек. Истории известны две роли Тюрго: в первой он выступал как философ прогресса (основатель философии прогресса, как позднее будут заявлять Кондорсе и другие), а во второй — как экономист, теоретик и практик, чьи произведения и достижения в правительственной администрации по финансовым делам были настолько выдающимися, что Людовик XVI назначил их автора генеральным контролером Франции. Тюрго провел важные, давно назревшие и шумно приветствовавшиеся реформы, но этот успех привел его к раннему краху карьеры, т.е. политическому падению, обусловленному тем, что он вызвал противодействие со стороны весьма влиятельных аристократов, которые не были настроены на какие бы то ни было реформы. То, что объединяло этих двух Тюрго — молодого философа прогресса и зрелого министра финансов — это приверженность индивидуальной свободе.

Тюрго было всего двадцать три года, когда в декабре 1750 года в Сорбонне он произнес публичную речь под названием «Философский обзор последовательного развития человеческого разума» (Anne Robert Jacques Turgot, *Tableau*

philosophique des progrès successifs de l'esprit humain). Это сразу же создало ему репутацию среди философов и других парижских интеллектуалов. По общему согласию историков, речь Тюрго была первым систематическим, светским и естественно-историческим изложением «современной» идеи прогресса (не считая пары риторических завитушек по поводу Провидения). Он в ярких красках описал «общий путь развития человеческого разума», развития, определенного «цепью причин и следствий, которые объединяют существующее состояние мира со всем, что было раньше». Когда мы смотрим на сегодняшний мир, заявляет Тюрго, — мир, с которым нас познакомили европейские мореплаватели и исследователи, — мы можем видеть «каждый оттенок варварства и утонченности... каждый шаг, предпринятый человеческим разумом, схожесть каждой стадии, через которую он прошел, историю всех эпох». Мы уже можем не зависеть в нашем понимании прогресса ни от чего, кроме науки. «Философ природы формулирует гипотезы и наблюдает их следствия. ...Время, исследования и удача ведут к накоплению наблюдений и обнаружению скрытых связей, которые объединяют явления». И каковы же механизмы, отвечающие за прогресс человечества? Так мог бы сказать и Мандевиль: «эгоизм, амбиции, тщеславие» являются первичной движущей силой, «и посреди их разгула смягчались манеры, просвещался человеческий разум, объединялись изолированные нации, торговые и политические узы в конце концов связали все части земного шара, и вся совокупность человеческого рода через чередование покоя и потрясений, удач и неудач, пусть медленно, но движется вперед, к большему совершенству». Вывод Тюрго прекрасно сочетался с этноцентрическим характером рассуждений о прогрессе, которые встречаются уже со времен Возрождения. «Век Людовика Великого, да украсит твой свет драгоценное правление его наследника! Да продлится оно вечно, да распространится по всей Земле! Да продолжают люди идти по дороге истины! И да станут они еще лучше и счастливее!» Но нельзя не заметить, что эти слова относятся лишь к французскому образу совершенствования и счастья.

То, что отличает речь Тюрго в Сорбонне, это идея сплетения истин и ошибок, продвижений вперед и отступлений,

периодов роста и упадка, славы и унижений в одно объединенное прогрессивное движение всего человечества. Бэри довольно точно характеризует Тюрго: «Он считает весь действительный опыт человеческой расы неотъемлемым механизмом прогресса и не сожалеет об ошибках и бедствиях».

Достижения Тюрго воистину замечательны. Но для полного и ясного понимания контекста мы должны отметить несколько моментов. Во-первых, любопытная деталь состоит в том, что Тюрго во время своей речи о прогрессе учился в *Maison de Sorbonne* — колледже, входившем в состав теологического факультета университета. Во-вторых, когда он поступал в университет, он намечал для себя духовную карьеру — служить Католической Церкви в том или ином качестве (разумеется, его цель изменилась со временем, когда он оставил Сорбонну). В-третьих, всего за шесть месяцев до упомянутой речи Тюрго выступил (и тоже публично) с другой речью под названием «Преимущества, которые учреждение христианства дало человеческой расе» (*Anne Robert Jacques Turgot, Les avantages que la religion chrétienne a procurés au genre humain*). Эта речь, датируемая июлем 1750 года, не только была посвящена христианству и его благим последствиям, но и по структуре представляла собой изложение уже знакомой нам христианской философии истории, берущей начало с Евсевия и Св. Августина. Да, прогресс восхвалялся, но в хорошо нам известной форме: Провидение как прогресс. В-четвертых, Тюрго, по его собственному признанию, находился под глубоким влиянием «Рассуждения о всеобщей истории» епископа Боссюэ; та работа на деле стала, пусть и в секуляризованной перспективе, образцом для «Плана двух рассуждений о всеобщей истории», который Тюрго набросал в 1751 году, как раз перед его поступлением на государственную службу, к которой мы скоро перейдем.

Первое заключение, которое вытекает из всего этого, очевидно: в некий момент между июлем 1750 года, когда Тюрго выступил с публичной речью о дарах христианства мировой истории и в ходе того выступления приветствовал христианское Провидение, и декабрем 1750 года, когда он выступил с более светским и рационалистским (хотя и не без упоминаний о Провидении) «Философским обзором»

перед восприимчивой парижской аудиторией, он, по-видимому, утерял по крайней мере часть своей веры в Бога или, если избегать столь решительных утверждений, свое желание служить Богу и Католической Церкви. Действительно, как уже отмечалось, в следующем году он отказался от церковных амбиций, пошел на государственную службу и начал карьеру, в ходе которой, благодаря как административным достижениям, так и теоретическим работам по экономике, он завоевал восхищение величайших умов Франции. Однако здесь меня интересует единственно тот факт, что применительно к идее прогресса Тюрго, не отказываясь от структуры или каркаса, заданного своей первой речью в Сорбонне, секуляризовал его. Он был не первым и не последним, кто поместил рационалистическое и натуралистическое содержание в структуру, порожденную христианской догмой.

Но еще более важен второй момент, который я хочу отметить. Опыт, пережитый Тюрго в течение одного года, можно воспринимать как изображение в миниатюре всего процесса интеллектуального развития, о котором мы говорим: движение от Провидения как прогресса к прогрессу как Провидению. Боден, пуританские историки и пророки, Боссюэ, Лейбниц и Вико — все они, как мы видели, были глубоко привержены прогрессу человечества и в материальных, и в духовных аспектах. Но, хотя все они уделяли все большее внимание естественным и общественным факторам, Провидение являлось конечной и неизменной причиной прогресса, а провиденциальный порядок — главным разворачивающимся контекстом так же, как для Исаака Ньютона в его «Схолии».

Разумеется, за шесть месяцев, прошедших от его речи о христианстве в июле 1750 года до декабрьской речи, которая так впечатлила его преимущественно светскую аудиторию, Тюрго не отрекся от Провидения. И действительно, в позднейшем рассуждении есть отрывок, начинающийся со слов: «Святая религия! Мог ли я забыть совершенство морали... просвещения человечества в вопросе Божественного!» Но достаточно очевидно, что за эти шесть месяцев, какова бы ни была мотивация или причина, внимание Тюрго все более и более явно обращалось к предметам светским, а не религиозным.

Его величайшая работа о прогрессе — это «Всеобщая история» (Anne Robert Jacques Turgot, *Plan de deux Discours sur l'Histoire Universelle*), набросок к которой он, очевидно, написал в 1751 году, и которая, по его признанию, была навеяна чтением «Рассуждения» епископа Боссюэ. Но такое признание не должно уменьшать оценку оригинальности и полноты эскиза всеобщей истории, сделанного Тюрго. Он начинает с упоминания «верховного существа» и «следа руки Бога», но за этим следует схема на удивление современной трактовки социальной эволюции. Эпохи в развитии, выделяемые Боссюэ, как мы видели, определялись религией; эпохи Тюрго представлены в терминах примитивного начала культуры человечества, восхождения к стадии охоты, пастушества, следующего за ними этапа земледелия, а затем — мореплавания и торговли. Он разбирает появление первых правительств, неизменно деспотических и монархических, и начало человеческого освобождения от политического деспотизма. «Деспотизм поддерживает, увековечивает невежество, и последнее укрепляет деспотизм... Деспотизм подобен огромной массе, которая, вися на деревянных столбах, ослабляет силу их сопротивления и с каждым днем все более их погружает». Тюрго раз за разом утверждает необходимость свободы для всех видов человеческого творчества и объявляет достижение свободы — для женщин, для рабов, для людей, принадлежащих всем социальным слоям — величайшей целью человеческого прогресса. Он анализирует переселения, завоевания и даже войны в свете их влияния на разрушение культурной жесткости и инерции, возникающих вследствие географической и культурной изоляции.

В наброске ко второму рассуждению о всеобщей истории его акцент на свободе становится еще большее сильным. Здесь предметом его главного интереса является развитие искусств и наук с течением времени. Он отвергает мнение Монтескье, подчеркивавшего значение климата и территории для понимания деспотизма и свободы, считая культурные и социальные факторы достаточным объяснением. Перед нами предстает обзор естественных истоков речи и письменного языка, физических наук и практических ремесел, и таких дисциплин, как история, математика, логика,

этика и политика. Одним из самых блестящих элементов в эскизе прогресса человеческих знаний у Тюрго является ряд объяснений того, почему определенным странам не удалось продвинуться вперед далее определенной точки, и описаний причин того, почему у отдельных народов высочайшие достижения так быстро сменялись упадком, хотя человечеству в целом присущ постоянный и непрерывный всеобщий прогресс. Тюрго осознает огромное воздействие, которое язык людей и способ его развития могут оказывать на способность к творчеству.

«Если язык, слишком рано закрепленный, может замедлить прогресс народа, говорящего на нем, то нация, получившая слишком быструю устойчивость, может... быть как бы остановленной в научном прогрессе. Китайцы были слишком рано закреплены в своей цивилизации. Они уподобились тем деревьям, у которых подрезали ствол и ветви которых вырастают близко к земле. Они никогда не выходят из состояния посредственности».

В XVIII веке многие (как, например, Монтескье) искали естественные причины и естественные законы для объяснения разных типов культур и общественного строя, которые можно встретить в мире. Однако Тюрго был первым, кто заговорил об этих различиях в терминах прогресса, т.е. описывал их как различия в уровне развития. Он был очарован географией, но, в отличие от интереса Монтескье к этому предмету, интерес Тюрго (который он выразил в черновой рукописи, озаглавленной «План для работы по политической географии», написанной примерно в то же время, что его «Всеобщая история») выражался в эволюционистских и исторических терминах. Так, он дает нам загадочно краткие сообщения о том, что должно стать «политическими картами мира», первая из которых должна будет отражать расположение и передвижения человеческих рас, вторая — создание наций, рассмотренных в их множестве, и другие, последовательно, эволюционно организованные «политические карты», отражающие рост могущества каждого великого народа, которые составляют историю Запада. В своем наброске Тюрго представляет настоящую историческую географию. Он неоднократно подчеркивает опасность приписывания причинного воздействия одним только

географическим данным, без указания их места в человеческой истории и в стадиях развития человечества.

Вновь и вновь Тюрго использует трехстадийную типологию, которую мы уже встречали в качестве важнейшей составляющей истории идеи прогресса с самого ее начала. Но для Тюрго стадии неизменно коренятся в сущности всего, что он в данный момент описывает. Человечество в целом можно рассматривать как проходящее путь прогресса через три стадии — охотничье-пастушескую, земледельческую, торогово-городскую. Но каждый из его основных институтов — язык, математика, живопись и т.д. — может точно так же рассматриваться как проходящий через три стадии, и у каждого института есть своя собственная модель развития, вытекающая из его природы.

Даже если бы Тюрго никогда не написал или не сделал ничего, кроме рассуждений о прогрессе, которые я вкратце пересказал, он бы, несомненно, стал одной из знаковых фигур XVIII века. Именно восхищение работами Тюрго, причем главным образом теми, которые были посвящены прогрессу, подтолкнуло его современника Кондорсе к написанию его биографии. Когда читаешь зачастую обрывочные, составленные в телеграфном стиле фрагменты и фразы его «Всеобщей истории» и думаешь о том, во что они могли развиваться и, без сомнений, развились бы, если бы Тюрго остался в Сорбонне до конца своей жизни, то понимаешь, что перед тобой намеки на монументальный труд, посвященный прогрессу, который, по всей вероятности, не мог бы быть и не будет написан никем другим.

Но, как нам известно, Тюрго ушел из Сорбонны, оставил свою цель стать ученым в рамках Церкви и занялся карьерой, которой он, по-видимому, в основном обязан своей известностью, т.е. стал правительственным чиновником, добиваясь все более высоких уровней успеха и признания прежде, чем он в конце концов впал в политическую немилость. И в рамках этой карьеры, направленной почти полностью на финансовые и налоговые дела, Тюрго находил время писать эссе по экономике, лучшие из которых по качеству не превзошел, и с которыми даже не сравнился сам Адам Смит. Покойный Йозеф Шумпетер в своей «Истории экономического анализа» писал о Тюрго: «Не будет

преувеличением сказать, что аналитическая экономическая наука потратила целое столетие, чтобы подняться до того уровня, которого она могла достичь за двадцать лет после опубликования трактата Тюрго, если бы его содержание было надлежащим образом понято и усвоено внимательными профессионалами». Шумпетер утверждает также, что столь же хорошей работы по вопросам заработной платы, цен и капитала среди европейских экономистов не было вплоть до второй половины XIX века.

Экономический шедевр Тюрго — его длинное эссе «Размышления о создании и распределении богатств» (Anne Robert Jacques Turgot, *Réflexions sur la formation et la distribution des richesses*). Написанная в 1766 и опубликованная в 1769 году, т.е. за несколько лет до появления «Богатства народов» Адама Смита, работа Тюрго предварила работу Смита в нескольких важных аспектах. Ее тезис, как и у Смита, состоит в абсолютной необходимости экономической системы, основанной на личной свободе, на автономии от правительственных декретов и капризов, и главное — на свободном частном предпринимательстве.

С нашей точки зрения, величайшая значимость «Размышлений» Тюрго заключается в соотношении этой работы с текстами Тюрго о прогрессе. Во «Всеобщей истории», особенно в ее первой части, он очертил естественный прогресс экономического предпринимательства от «охотничьего» к «пастушескому», затем к «земледельческому», со следующей естественной стадией прогресса, которой должно было стать свободное коммерческое предпринимательство. По Тюрго, каждая стадия возникает из предшествовавшей ей во времени как прогрессивное изменение, и это в не меньшей степени, чем к какой-либо из предыдущих стадий экономического прогресса, относится к мануфактурно-коммерческой системе, становление которой Тюрго мог наблюдать в свое время. Как отмечает в своем издании основных работ Тюрго английский экономист Рональд Мик (Ronald Meek): «Основной целью “Рассуждений” Тюрго было исследование способа работы экономической «машины» в обществе, в котором существует три основных класса, или «сословия» экономических деятелей, — землевладель-

цы, наемные работники и *капиталистические предприниматели*... Но еще более примечателен путь, которым, по его оценке, ... можно было прийти к глубокому пониманию этого общества, начиная с анализа работы «машины» в том *типе общества, который исторически ему предшествовал*, а затем, задав себе вопрос, какие изменения в ее работе произошли с приходом на историческую сцену нового класса капиталистических предпринимателей».

Словом, почти за целое столетие до того, как Карл Маркс стал трактовать капитализм как исторически и эволюционно возникшего из предшествующей ему стадии экономики, Тюрго рассматривает новую экономическую систему точно в тех же терминах прогресса и движения вперед во времени.

По Тюрго, квинтэссенцией успешной системы предпринимательства является свобода: освобождение личности из дебрей обычаев, привилегий, статусов и законов, которые везде в Европе, как представлялось, угрожали остановить прогресс новой системы еще до того, как он наберет силу. В своей первой речи в Сорбонне в июле 1750 года Тюрго восхвалял христианство превыше всего за его роль в предоставлении свободы рабам и прочим людям, лишенным свободы в языческом обществе, в том числе женщинам. В своей следующей и куда более знаменитой речи в декабре 1750 года Тюрго сделал своим основным предметом естественный прогресс искусств и наук на протяжении истории, и, как я уж отмечал, он часто упоминал необходимость индивидуальной свободы и автономии для подъема искусств и наук. В своем черновом «Плане двух рассуждений о всеобщей истории» Тюрго стремился показать, каким образом прогресс общественных институтов и политических законов происходил в направлении все большей степени свободы. Отсюда оставался всего один небольшой шаг к «Рассуждениям», написанным спустя пятнадцать лет после «Всеобщей истории». «Рассуждения» можно воспринимать как детальное изложение именно той формы экономической свободы, которая была для Тюрго основой прогресса человечества. Мы можем считать Тюрго самым первым в современном мире философом экономического роста и защитником этого роста. И в своей

«Всеобщей истории», и в «Размышлениях» он старательно подчеркивает зависимость всех форм прогресса в искусствах, науках и других сферах от экономического роста и «экономического избытка». Будучи молодым человеком двадцати трех лет от роду, Тьюрго характеризовал искусства и науки как истинную меру прогресса. Ко времени написания «Размышлений» он полностью осознал взаимоотношения интеллектуального и экономического прогресса, а также зависимость и того, и другого от личной свободы.

Приверженность Тьюрго личной свободе предпринимательства была столь сильна, что он (будучи принужденным подать в отставку с поста министра финансов) критиковал в письме к Ричарду Прайсу двухпалатное законодательное собрание и независимую исполнительную власть в американских штатах. Такое умножение властей, утверждал Тьюрго, ограничивает индивидуальную свободу мысли и действия гораздо больше, чем ограничивало бы правительство, состоящее просто из однопалатной законодательной власти и очень строго ограниченной исполнительной власти. После смерти Тьюрго в 1781 году Прайс опубликовал его письмо, дошедшее в итоге до Джона Адамса, которого решительное несогласие с позицией Тьюрго побудило к написанию знаменитой трехтомной работы «В защиту устройства правительственной власти Соединенных Штатов» (*Defense of the Constitutions of the United States*). Я вернусь к этой книге, когда мы займемся философией прогресса у отцов-основателей Америки.

ЭДУАРД ГИББОН

Примерно посередине работы «История упадка и разрушения Римской империи» (Edward Gibbon, *History of the decline and fall of the Roman empire*) Гиббон, размышляя о способности германских варваров разрушить целую цивилизацию, задается вопросом о том, может ли когда-нибудь погибнуть западная цивилизация, к которой принадлежит он сам. Результат его размышлений в целом оптимистичен. Будут взлеты и падения отдельных государств, но они «не в состоянии уничтожить тех искусств, законов и нравов, которые так возвышают европейцев и их колонии над остальным человечеством».

Но, продолжает он, не могут ли те части Земли, все еще населенные «варварскими народами», исторгнуть завоевателей, как поступили Азия и Восточная Европа с Римом? Гиббон спокоен и безмятежен, если не сказать большего. Во-первых, прогресс военного искусства Запада делает его неуязвимым для варварских народов, которые неизбежно лишены этого искусства. Более важен, впрочем, тот факт, что эти самые дикари тоже пройдут путем прогресса в искусствах и науках, и этот прогресс будет проходить под руководством Запада. Европа, уверяет нас Гиббон, «...не может опасаться нового нашествия варваров, поскольку, чтобы победить, им пришлось бы перестать быть варварами. Их успехи в военном искусстве непременно сопровождались бы, — как то видно на примере России, — соответствующими улучшениями в мирных занятиях и в делах гражданского управления, а тогда они сами сделались бы достойными занимать место наряду с теми образованными народами, которых они подчинили бы своей власти».

Пугающая возможность того, что новые и более ужасные формы варварства могут возникнуть *изнутри*, под властью своих сталиных и гитлеров, невзирая на прогресс искусств и наук, по-видимому, нимало не тревожила Гиббона. Мы не можем знать, пишет он, «какой высоты может достигнуть человечество в своем стремлении к совершенствованию, но можно основательно предполагать, что если внешний вид природы не изменится, то ни один народ не возвратится в свое первобытное варварство... Потому мы можем прийти к тому приятному заключению, что с каждым веком увеличивались и до сих пор увеличиваются материальные богатства, благосостояние, знания и, быть может, добродетели человеческого рода».

Какие бы то ни было параллели между Западной цивилизацией и Римом — это не для Гиббона!

АДАМ СМИТ

В том же 1776 году, когда увидел свет первый том работы Гиббона о Римской империи, было издано «Богатство народов» Адама Смита. Нет сомнений, что именно Адам Смит ярче всех своих современников, включая Тюрго и физиократов, представляет идею личной экономической

свободы — систему «естественной свободы», говоря словами Смита. Воздействие этой книги проявилось почти сразу, и оно постоянно расширялось на протяжении полувека после ее публикации, дойдя до высочайших правительственных сфер по обе стороны Атлантики.

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*) не было первой книгой Смита. За семнадцать лет до этого, все еще находясь под сильным (хотя и не абсолютным) влиянием Френсиса Хатчесона, своего великого учителя из Глазго, Смит написал «Теорию нравственных чувств» (Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments*). Хатчесон, преданный последователь Шафтсбери, все внимание уделил «страсти» к альтруизму и сотрудничеству, которые, по его утверждению, и были главным источником существования общества и способности людей жить вместе дружно и плодотворно. Значительная часть «Теории нравственных чувств» Смита лучше всего может быть понята в свете учений Хатчесона, хотя внимательный читатель различит то тут, то там интерес к человеческому своекорыстию, который станет главенствующим в «Богатстве народов». Я не знаю, насколько внимательно Смит читал «Басню о пчелах» Мандевиля, впервые опубликованную в 1714 году, а затем в виде дополненных изданий в 1723 и 1728 годах. Очевидно, он знал эту книгу и ее доводы, столь хорошо выраженные подзаголовком «Пороки частных лиц — блага для общества», хотя бы потому, что его учитель Хатчесон непрестанно нападал на тезис Мандевиля, гласящий, что из сложного взаимодействия эгоизма и своекорыстия отдельных людей возникают и стабильность, и благоденствие общества. Такие нападки должны были направить Смита к этой книге и к ее легко понимаемым и запоминаемым аргументам.

В некоторой минимальной степени тезис Мандевиля можно встретить и в «Теории нравственных чувств» Смита, но большая часть этой книги представляет собой разработку делавшегося Хатчесоном акцента на альтруизм и сотрудничество как строительные блоки социального порядка. За доказательствами влияния мандевилевской темы личного интереса как единственной надежной движущей силы

человеческого поведения и общества в целом мы должны обратиться к «Богатству народов». Это влияние очевидно в самом, наверное, знаменитом отрывке из «Богатства народов»: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах».

Итак, «пороки частных лиц — блага для общества». И все же, как заключают многочисленные последующие исследователи классической работы Адама Смита (начиная, по крайней мере, по моим сведениям, с глубокой интерпретации, данной в работе Эли Гинзберга «Дом Адама Смита» (Eli Ginsberg, *The House of Adam Smith*), опубликованной примерно полвека назад), пришествие Мандевиля ни в какой мере не изгнало полностью Хатчесона из ума Смита. Конечно, приходится более внимательно всматриваться в содержание «Богатства народов», чем в предыдущую книгу, чтобы обнаружить признание альтруизма и сотрудничества, и нигде Смит не возводит эти два качества в ранг принципов для объяснения экономики и наилучшего способа ее функционирования. Но вполне обоснованно можно сказать, что Смит развивал индивидуалистические аргументы позднейшей своей книги в свете более ранней или в рамках содержащихся в ней посылок. Мы по праву можем сказать, что именно потому, что социальный порядок надежно сценарирован ценностями и институтами, проистекающими из альтруизма и сотрудничества, в рамках этого порядка становится возможной экономическая система, направляемая просвещенным личным интересом. Что касается знаменитого смитовского рецепта «естественной свободы» или *laissez faire*^{*}, — т. е. исключения прямого управления частной жизнью людей со стороны политического правительства — то можно столь же легко обосновать его ссылкой на до-политические социальные узы, как и на «невидимую руку» рынка.

Конечно, «Богатство народов» по тематике неизбежно попадает в категорию экономических работ и, более того,

* Здесь: невмешательство государства в экономику. — Прим. науч. ред.

считается основным источником того, что со временем будет названо экономической теорией или политической экономией. Но это еще и текст, сыгравший роль в истории идеи прогресса. Я бы позволил себе утверждать, что главной целью книги было не только описание человеческого прогресса, особенно экономического прогресса, но и стремление продемонстрировать модель этого прогресса, и прежде всего — коренные причины экономического прогресса. Книга насыщена такими фразами, как «прогресс институтов» и «прогресс изобилия», и простой подсчет употребления слова «прогресс» даст довольно большое число. Смит был восхищен той разновидностью истории, которая в его век называлась по-разному: «гипотетическая», «естественная», «предположительная» или «умозрительная», т.е. тем видом исторического повествования, который имеет целью не пересказ действительного, конкретного опыта определенного народа или государства, событие за событием и личность за личностью, но той разновидностью истории, которая через комбинацию исторических, этнографических и физиологических средств пытается показать *реальную* историю человека на протяжении веков. Этот вид исторического описания предполагал надежду на выявление действия универсальных сил и стадий социального и культурного развития, через которые в действительности проходило человечество или через которые оно пройдет, если не будет происходить задержек в прогрессе, бывшем для Смита, как и для многих его современников, естественным свойством человечества. Многое в книге Смита, говоря в сегодняшних терминах, относится к теме «экономического роста», и излишне говорить, что Смит всем сердцем его поддерживал.

Разнообразие работ Смита свидетельствует о его глубоко интересе к прогрессивному развитию: это и труды о происхождении языка, и история астрономии, и развитие юриспруденции, и другие. Рональд Мик в недавней работе подчеркнул, что Адам Смит так же, как Тюрго в своей «Всеобщей истории», использует в своих лекциях по юриспруденции способы получения средств к существованию в развитии человечества для выделения стадий прогресса, указывая четыре пройденных человечеством основных

стадии. И Эндрю Скиннер (Andrew Skinner) предоставил нам значительное количество текстуальных доказательств того, что работы Смита могут рассматриваться как выполненные в рамках того же прогрессистско-эволюционистского взгляда на типы хозяйства, как и работы Маркса, а также многих других авторов следующего века.

Но решающим доказательством приверженности Адама Смита идее прогресса в экономической и других сферах служат красноречивые слова его современника, друга и поклонника, профессора политической экономии Дугалда Стюарта. Он писал в своей работе «Жизнь и труды Адама Смита» (Dugald Stewart, *The Life and Writings of Adam Smith*): «В своих трудах мистер Смит, какой бы ни была природа его предмета, редко упускает возможность удовлетворить свое любопытство, прослеживая в принципах человеческой природы или в общественных обстоятельствах происхождение описываемых им мнений и институтов...

...Огромная и центральная тема его рассуждений — это демонстрация условий, заложенных природой в принципах человеческого мышления в обстоятельствах внешней среды для постепенного и прогрессирующего наращивания предметов национального богатства; и показ того, что самый действенный план восхождения народа к величию состоит в том, чтобы поддерживать указанный природой порядок вещей, позволяя каждому человеку, *до тех пор, пока он соблюдает правила справедливости*, преследовать свои собственные интересы по-своему разумению и применять как свое мастерство, так и свой капитал в максимально свободной конкуренции со своими согражданами» (курсив мой. — Р. Н.).

Когда сторонники или противники Адама Смита упоминают его приверженность конкуренции и свободному предпринимательству, они слишком часто опускают важнейшее положение: «*до тех пор, пока он соблюдает правила справедливости*». Возвращаясь к моему предыдущему рассмотрению так называемой «проблемы Адама Смита», можно легко установить преемственность между «Богатством народов» и более ранней «Теорией нравственных чувств». Как отмечалось, можно рассматривать раннюю работу как изложение социологии Смита, рассматривающей

те силы, которые скрепляют социальный порядок, тем самым делая возможным специализацию и другие выражения частного предпринимательства в сочетании с конкуренцией, которая без до-экономических социальных скрепов привела бы просто к анархии. Конкуренция — да, но лишь в пределах «правил справедливости».

Несмотря на сохраняющееся в наше время убеждение в обратном, Адам Смит глубоко сочувствовал нуждам бедняков и рабочего класса. Один из сильнейших доводов, который он приводит относительно экономической конкуренции, состоит в том, что от нее выиграют рабочие, «трудящиеся бедняки». Смит пишет: «Следует, пожалуй, отметить, что положение рабочих, этой главной массы народа, становится, по-видимому, наиболее счастливым и благоприятным скорее при прогрессирующем состоянии общества, когда оно идет вперед в направлении дальнейшего обогащения, чем когда оно приобрело уже всевозможные богатства. Положение рабочих тяжело при стационарном состоянии общества и плачевно при упадке его. Прогрессирующее состояние общества означает в действительности радость и изобилие для всех его классов, неподвижное состояние лишено радости, а регрессирующее его состояние полно печали».

Ничто не представлялось ему более неблагоприятным как для экономической эффективности в стране, так и для свободы граждан во всех сферах, чем попытки правительства управлять экономическими процессами или направлять их. Вновь и вновь Смит показывает нам примеры вреда, причиненного не только классу бизнесменов или богатых людей, но *особенно* бедным — политическим вмешательством, которое, сколь бы ни были добрыми намерения осуществлявших его людей, разрушают равновесие экономической машины. Правительство, настроенное таким образом, «задерживает вместо того, чтобы ускорять прогресс общества в направлении к действительному богатству и величию, и уменьшает вместо того, чтобы увеличивать, суммарную ценность годовой продукции его земли и труда». Отсюда бесконечные просьбы Адама Смита к правительствам Запада полностью снять или хотя бы уменьшить существующие ограничения личной свободы. Он утверждает: «Таким образом, поскольку совершенно отпадают все системы пред-

почтения или стеснений, очевидно, остается и утверждается простая и незамысловатая система естественной свободы. Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса».

В системе истинной «естественной» свободы, по мнению Смита, нет места вмешательству правительства в дела, где оно «всегда будет подвергаться бесчисленным заблуждениям и надлежащее исполнение которых недоступно никакой человеческой мудрости и знанию»; правительство должно быть освобождено «от обязанности руководить деятельностью частных лиц и направлять ее к занятиям, наиболее соответствующим интересам общества».

Для Адама Смита существовало лишь три законные функции государственного управления: защита страны от вторжения извне, отправление правосудия и поддержание некоторых жизненно важных общественных сооружений.

Главное, по крайней мере с нашей точки зрения, заключается в том, что Адам Смит выдвигает свою «систему естественной свободы», основываясь *не* на личных предпочтениях и даже не на разуме индивида, хотя и то и другое, конечно, играло роль в рассуждениях Смита. Для него существенной и бесспорной основой являлась природа прогресса — нормального, необходимого «прогресса благосостояния». Отсюда его знаменитая глава, названная «Естественный прогресс благосостояния», и отсюда его настойчивое подчеркивание того, что в то время, как «при естественном ходе вещей бо́льшая часть капитала всякого развивающегося общества направляется прежде всего на земледелие, а затем в мануфактуры и, в последнюю очередь, на внешнюю торговлю». То, что на самом деле происходило во всех современных государствах Европы, означало, что естественный ход прогресса во многих отношениях был «перевернут на голову». Он продолжает: «Обычаи и нравы, привитые этим народам характером их первоначального правительства и сохранившиеся после того, как это правительство значительно изменилось, неизбежно толкали их на тот противоестественный и регрессивный путь».

Для Адама Смита главной движущей силой прогресса человечества, нигде не выраженной более ярко, чем в экономической сфере, являлось «естественное стремление каждого человека улучшить свое положение». Когда этому естественному стремлению предоставлена возможность «свободно и беспрепятственно проявлять себя», оно способно «без всякого содействия со стороны вести общество к богатству и процветанию» и даже «преодолеть сотни досадных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его действие; хотя результат этих препятствий всегда состоит в том, чтобы в большей или меньшей степени ограничить свободу или беспрепятственность его проявления».

Адам Смит настолько привержен к *личной* свободе и свободной игре *личного* своекорыстия, что он даже предостерегает против тех более или менее добровольных союзов или объединений людей, которые своим существованием неизбежно накладывают ограничения на личные склонности и действия. Смит с пронизательностью распознает и порицает стремление людей, занимающихся одним и тем же видом экономической деятельности устанавливать или поднимать цены на основе сговора, жертвой чего становится общество. «Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен». Он не менее враждебно относится к корпорациям, заявляя, что «мнение о необходимости цехов для лучшего управления торговлей или ремеслом лишено всякого основания». Вся необходимую дисциплину истинно свободная экономическая система обеспечит страхом либо потери работы, либо покупателей.

Интересно отметить, что Смит усматривает ярко выраженное и повсеместное равенство талантов среди людей. «Различные люди отличаются друг от друга своими естественными способностями гораздо меньше, чем мы предполагаем». Основные различия определяются «привычкой, практикой и воспитанием». Более полезные и творческие различия среди людей (или, иначе говоря, социальную дифференциацию) приносит «склонность к торговле, бар-

теру и обмену... Эта склонность не только создает различие в способностях, столь заметное у людей различных профессий, но и делает это различие полезным».

Та же самая предрасположенность лежит в основе расширения и прогресса самого важного аспекта процветающего общества — разделения труда. Именно разделение труда и вместе с ним развитие личных способностей, которые иначе не появились бы, отмечает достижения самых прогрессивных народов. «Разделение труда, приводящее к таким выгодам, отнюдь не является результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознавшей то общее благосостояние, которое будет порождено им: оно представляет собой последствие — хотя очень медленно и постепенно развивающееся — определенной склонности человеческой природы, которая отнюдь не имела в виду такой цели, а именно склонности к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой».

Другие, например, французские физиократы, от которых Адам Смит научился столь многому в годы, последовавшие за публикацией «Теории нравственных чувств», предлагали отменить противоречащие законам природы гильдии, синдикаты и другие формы искусственного вмешательства в личную свободу. И после Смита многие, исходя из различных мотивов, выдвигали те же самые предложения. Но, как мне кажется, никто ни до, ни после Смита не сочетал столь изобретательно доктрину личной свободы с тем, что он без колебаний называл «естественным прогрессом благосостояния». Его знаменитое упоминание «невидимой руки», которая, как он доказывает, ведет индивидуума, преследующего собственные, частные интересы, к достижению максимума общественного блага, следует воспринимать в более широком контексте его философии прогресса человечества.

«Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид, что они ведут торговлю ради блага общества. Впрочем, подобные претензии не очень обычны среди купцов, и немного надо слов, чтобы уговорить их отказаться от них».

Помимо того, что Адам Смит был поборником свободы и пророком экономического прогресса, он был, очевидно, не чужд иронии.

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ США

Если 1776 год отмечен классическими трудами Адама Смита и Эдуарда Гиббона (к которым следует также добавить содержащую плодотворные идеи работу Иеремии Бентама «Отрывок о правительстве»), то «Декларация независимости», провозглашенная в том же году в американских колониях, чтобы в буквальном смысле проложить себе путь во все части света, придала тому году всемирно-историческое значение. Строго говоря, «Декларация» — это не основополагающий текст в истории идеи прогресса, но продукт умов, которые, начиная с ее составителя, Джефферсона, глубоко верили в прогресс человечества.

Интересно отметить, что в 1748 году Тюрго незадолго до того, как его приняли студентом в Сорбонну, предсказал освобождение колоний от британского правления. Это предсказание мы находим в его «Исследованиях причин прогресса и упадка наук и искусств...» — несколько разбросанном, фрагментарном, но блестящем наборе заметок об исторических взлетах и падениях, который, несомненно, был непосредственным источником уже рассмотренных нами двух, гораздо лучше скомпонованных, более зрелых речей в Сорбонне. В «Исследованиях» Тюрго в одном месте размышляет о роли колоний в истории; они «подобны плодам, которые держатся на дереве до тех пор, пока не созреют в достаточной степени; затем они отрываются, прорастают и производят новые деревья». Тюрго пишет: «Карфаген осуществил то же самое, что сделали Фивы и что однажды сделает Америка». Мы знаем, что Тюрго на протяжении своей жизни искренне восхищался американскими достижениями в Новом Свете. Даже в последние годы жизни, после того, как он был вынужден покинуть политическое поприще и оказался практически под домашним арестом, он сохранил интерес и уважение к Америке. В письме к Ричарду Прайсу, которое я уже упоминал, Тюрго зашел настолько далеко, что заявил, что «Америка — это надежда человеческого рода».

Тьюрго не был одинок в своих чувствах. Да, до него в том же веке находились люди (и в их числе великий Бюффон), объявлявшие Америку континентом, где невозможно основать истинную цивилизацию. Здесь, заявляли они, недостаточно природных ресурсов, и все формы животной и человеческой жизни, исконно существовавшие на этом континенте, являются более низкими по своей природе. Таковы были аргументы Бюффона и других против возможности настоящего прогресса на континенте. Но американцы не замедлили с ответом. Франклин, Джефферсон, Джон Адамс и Бенджамин Раш встали в авангарде контратаки. Обладая огромным богатством соответствующих доказательств (геологических, ботанических, зоологических, физиологических и т. д.), американцы быстро показали, что Америка во всех отношениях молода, сильна и способна предоставить гораздо больше необходимых для прогресса цивилизации ресурсов, чем любая европейская страна. Франклин в своих «Наблюдениях по поводу роста человечества» (*Benjamin Franklin, Observations Concerning the Increase of Mankind*) в 1755 году использовал быстро растущее население Америки в качестве главного аргумента для своего предсказания того, что она станет великой и могущественной цивилизацией. Значительно позже, в 1785 году, Джефферсон в своих «Заметках о штате Виргиния» (*Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia*) все еще отвечал на утверждение Бюффона о том, что природа Америки беднее природы других частей мира. Он заявил, что американцы, включая туземных индейцев, по меньшей мере равны европейским физическим типам, а возможно, и превосходят их. Джефферсон безо всяких сомнений использовал победу Америки над английскими и другими войсками в революционной войне как доказательство того, что американцы не только физически превосходят англичан, но и что поражение последних свидетельствует об их вырождении в телесном и умственном отношении.

К концу XVIII века в Европе стало встречаться гораздо меньше оценок, подобных той, что высказал Бюффон. Достигновения американцев во многих областях были слишком очевидны, чтобы какие бы то ни было обвинения в регрессе могли иметь место. Гораздо более распространенными

были замечания, подобные сделанным Тюрго в 1748 году, которые были повторены такими мыслителями, как Вольтер и Кондорсе. В своих «Философских письмах» Вольтер объявил, что Америка является усовершенствованием всего, что было совершенным в Англии. Квakerы в Пенсильвании, утверждал Вольтер, уже создали «тот золотой век, о котором говорят люди». Аббат де Рейналь (который раньше был в этом споре на стороне Бюффона) приветствовал Америку словами: «Новый Олимп, новая Аркадия, новые Афины, новая Греция». И Кондорсе в своем предсказании того, что принесет следующая стадия прогресса человечества, использовал Америку как пример, являющий все, что было, по его убеждению, лучшим и наиболее передовым на текущей стадии развития, и как образец того, каким должен со временем стать весь мир, если он дойдет до высочайших уровней цивилизации.

Нет необходимости говорить, что в Америке такого рода оценки были чрезвычайно распространены. Великие отцы-основатели подчеркивали свою убежденность в прошлом прогрессе человечества, длившемся долгое время, и в будущий длительный прогресс, в авангарде которого будет стоять Америка. Эти люди, в большинстве своем глубоко погруженные в античную классику, время от времени могли высказывать нео-циклические взгляды о том или ином конкретном народе или о человеческой природе и ее постоянной подверженности ошибкам. Но все это вряд ли существенно перед лицом величественных утверждений прогресса цивилизации, которые мы находим у Джефферсона, Джона Адамса, Франклина, Пейна и др.

Отношения между пуританством в Америке и развитием философии светского прогресса очень похожи на те, которые мы встречаем в Европе. Здесь нет возможности дать полное описание пуританских воззрений XVII—XVIII веков, имеющих отношение к этому вопросу. Но все же кое-что необходимо сказать. Историк Дэвид Левин в своем недавнем исследовании молодого Коттона Метера (David Levin, *Cotton Mather: The Young Life of the Lord's Remembrancer: 1663—1703*) хорошо освещает эту тему. Он отмечает, что в 1669 году отец Коттона, Инкрис Метер, неоднократно публично выражал твердую уверенность в том, что тыся-

четлетнее царство уже на подходе, и свою личную веру в то, что Новая Англия, к тому времени уже вышедшая из-под британского владычества, станет Новым Иерусалимом. Левин свидетельствует, что сам Коттон Метер, еще будучи молодым человеком, сочетал в своем мышлении те же черты милленаристской страсти и интереса к практическим искусствам и наукам, которые, как мы видели, процветали в пуританской Англии. Коттон Метер считал, что тремя величайшими событиями современной эпохи являются открытие Америки, возрождение искусств и наук и Реформация. Как пишет Леви, Коттон «мог восхвалять Френсиса Бэкона, чтить Роберта Бойля, восхищаться Исааком Ньютоном и при этом продолжал бы писать о демонах, ангелах и ведьмах как о явлениях не менее реальных, чем люди или сила гравитации». В свои молодые годы Коттон Метер объявил о своей убежденности, основанной на усердном изучении библейских пророчеств и на наблюдениях за тем, что происходит в его собственное время, в том, что миллениум настанет в 1679 году. Интересно заметить, что задолго до Бенджамина Франклина Метер использовал темпы роста населения в Америке в сравнении с Европой в поддержку утверждения, что Новая Англия вскоре вступит в тысячетлетнее царство.

Пуританское мышление о прогрессе — в Новой Англии XVII века преимущественно духовное и направленное на миллениум, но постепенно утрачивающего эти черты с приближением XVIII века — постепенно и непрерывно двигалось в направлении позитивных суждений, которые мы встретим у отцов-основателей. Перри Миллер (Perry Miller) доказывает это, приводя множество примеров в исследовании о Джонатане Эдвардсе, который надолго останется в американской истории единственным философским умом, достойным сравнения с европейскими мыслителями. Эдвардс, будучи глубоко религиозным человеком и пламенным пуританином (он, в конце концов, был ведущей фигурой «Великого пробуждения» Америки в 1730—1760 годах), тем не менее в своих теологических работах явно выказывал глубокий интерес к вопросам психологического, философского, экономического и политического характера. Я признаю, что интерпретация, даваемая

Эдвардсу Перри Миллером, подразумевающая «модернизацию» его возвышенного религиозного ума считается спорной среди исследователей пуританства, но любой заинтересованный наблюдатель не может не прийти к выводу, что у Эдвардса, несомненно, присутствовали явные признаки современности, — признаки, которые были восприняты и стали основой для дальнейших построений в годы, последовавшие за написанием его работ. И это в полной мере относится к идеям тысячелетнего царства и прогресса. Здесь очень уместно привести то, что впоследствии скажет Сакван Беркович в своей «Американской иеримиаде» (Sacvan Bercovitch, *American Jeremiad*); Беркович говорит о направленности мысли Эдвардса: «Она показывает, во-первых, что Эдвардс обнаруживает протонационалистические тенденции “Пути Новой Англии”. Он унаследовал концепцию нового избранного народа и расширил ее содержание, включив в состав этого народа, помимо пуританских теократов Новой Англии, нарождающийся американский народ Божий».

Беркович усматривает у Эдвардса «акцентирование процесса». Хотя я не могу согласиться с его мнением об отсутствии такого акцентирования у английских пуритан (в большей степени интересовавшихся, как он пишет, конечным событием прихода миллениума, чем процессом, в результате которого оно наступит), у меня нет никаких сомнений в том, что американцам было свойственно то акцентирование процесса, о котором говорит Беркович. «Эдвардс, — пишет он, — изменив сценарий для последнего акта пьесы, связал всю последовательность событий в органическое божественно-человеческое (и божественно-природное) целое». Вот именно. Корни мышления Эдвардса действительно пуританские; истоки его собственной «божественно-человеческой» философии истории с ее неизбежным милленаристским результатом нельзя отделить от взглядов американских пуритан XVII века, которые видели прогресс имеющим преимущественно божественное происхождение. Но тот вид представлений о прогрессе человечества, который содержится в уже цитировавшемся письме из «Вирджинской газеты» (*Virginia Gazette*) за 1737 год, и тот вид мировоззрения, который мы находим еще более

ярко выраженным в пред- и пост-революционных работах отцов-основателей и их современников, не могут быть поняты без учета неосекулярного акцента на человеческом и материальном в работах величайшего американского богослова своего времени. Как и в Европе, в Америке того времени для легитимации чего бы то ни было политического и социального требовалась санкция со стороны священного.

Я надеюсь, что все вышесказанное не оставило впечатления, что в Америке никак не воспринимались те силы, которые проистекали непосредственно из западноевропейского Просвещения. Американцы, в том числе религиозные лидеры, с большим вниманием читали произведения Локка, Юма, Монтескье, Пристли, Прайса, многих энциклопедистов и большого числа других европейских знаменитостей. Также не следует забывать, что в конце XVIII века Америка пережила собственное Просвещение, во многом похожее на европейское. Но, как убедительно показал Генри Мей в своем «Американском Просвещении» (Henry May, *The American Enlightenment*), практически невозможно разделить религиозные и светские составляющие американского расцвета или понять его без учета все еще сильной протестантской оболочки. В Европе было немало просветителей, которые могли сохранять, подобно Лессингу, Гердеру, Канту и Пристли, веру в христианские принципы наряду с верой в науку. Но в европейском (особенно во французском) Просвещении в невиданном для Америки количестве нашлись и те, кто предпринял мощную атаку на христианство.

Эрнест Тувесон в своей работе «Нация-спаситель: идея о роли Америки в наступлении миллениума» (Ernest Tuveson, *Redeemer Nation: The Idea of America's Millennial Role*) многое прояснил, сведя вместе религиозно-апокалиптические и рационально-политические влияния в американской мысли. Как я отмечал ранее, одной из первых жертв Великого Восстановления была августирианская догма единого неделимого человечества как истинного и единственного объекта, в рамках которого воплощается прогресс. Такая догма не могла выжить в условиях взрывного роста национализма, который пришел вместе с протестантской Реформацией, и, как мы видели, лютеране

и кальвинисты XVI века обладали весьма сильным национально-политическим чувством. Так, постепенно, пришло ощущение нации как своего рода спасителя в процессе исторического развития. Религиозные фанатики соперничали с политическими националистами в создании этого чувства. Как, впрочем, показывает Тувесон, нигде чувство единственной нации как спасителя человечества не было таким сильным и длительным, как в Америке. Он пишет: «...Когда сформировалась милленаристская теория протестантов, вместе с ней логически пришла необходимость отыскать новый избранный народ или народы. Если история — это теодицея, если спасение исторично, равно как и индивидуально, если зло должно быть окончательно и решительно побеждено в ходе грандиозных конфликтов, то Бог должен действовать через сплоченные группы людей; должны существовать дети света и дети тьмы, разделенные географически, и должна существовать возможность обозначить град Божий и город мира на картах».

Положительные оценки прогресса, которые мы встречаем в Америке XVIII—XIX веков, едва ли могут быть отделены от глубокого убеждения, что Америка не только является избранной страной, но и страной-спасителем для огромной части человечества (Европы и других, более отдаленных частей света), которая все еще была скована устаревшими и рабскими идеями. Успех Войны за независимость только усилил ощущение наступившего миллениума или его приближения. Как писал Беркович, термины «политический миллениум» и более часто используемый термин «американский миллениум» был обычным в речах и письменных работах, изобиловавших в последние десятилетия XVIII века и весьма распространенных на протяжении заметной части XIX века. Беркович пишет: «Американский милленаризм пронизывал весь спектр общественной мысли. Деятели в области образования планировали “духовную революцию”, которая должна привести человечество к совершенству. Политические и моральные реформаторы рекламировали свои программы как “революционное завершение Божественного плана”. Выдающиеся мыслители настаивали, что технологии “революционируют землю” и превратят ее в “божественно-человеческий рай”, где «но-

вый доступ к жизненной силе... художественной, утопической, трансцендентальной не будет уступать механической мощи; и дух приобретательства будет “служить прообразом” [“typify”] “бесконечного” размаха души. Профсоюзные лидеры находили в революции “пост-миллениаристское оправдание профсоюзному движению”».

Подобно тому, как ощущение миллениума, унаследованное от пуританства, было преобразовано в политику миллениума, вместилищем которой стало американское правительство, точно так же завещанное пуританами чувство движения человечества *вперед* к будущему тысячелетнему царству было преобразовано в Америке во все более и более светский взгляд на природу этого продвижения. Тем не менее в рамках этого взгляда сохранялись навеянные религией атрибуты непреклонности и неизбежности. Многие американцы могли мыслить новую нацию как разновидность земного спасения, и идея расширения данного политического сообщества занимала видное место в их мышлении, и точно так же они могли полагать все прошлое человечества длительным периодом подготовки к созданию тех элементов материальной и духовной культуры, которые преобладали в американской жизни. Революция стала повивальной бабкой при рождении новой, священной республики, но не более того. Гораздо важнее было понять *место* новообразованных Соединенных Штатов Америки, (занимавших лишь малую часть обширного континента) в марше человечества к продвинутым стадиям знания и благоденствия. И, по мнению значительного числа американцев, это место было в авангарде марширующего человечества. В одном из самых захватывающих отрывков, которые можно встретить в литературе о прогрессе, Джефферсон, в возрасте восьмидесяти одного года, всего за два года до своей смерти, дал обзор достижений, которые он наблюдал на протяжении своей жизни. Особую пикантность его взгляду придает то, что весь американский континент он использует как живую картину, которая, будучи правильным образом представленной, может служить иллюстрацией прогресса всего человеческого рода.

«Пусть философский настроенный наблюдатель начнет путешествие с дикарей, заселяющих земли от Скалистых

гор на восток в сторону нашего морского побережья. Он увидит тех, кто находится на самой ранней стадии общественного строя, живущих безо всякого закона, не считая естественного... Он затем встретит тех, кто живет на нашем фронтире в пастушеском состоянии, разводящих скот, чтобы возместить нехватку продуктов, доставляемых охотой... и так, продвигаясь вперед, он будет встречать постепенно возрастающие градации улучшения человека до тех пор, пока не достигнет своего собственного, на данный момент, самого совершенного состояния в наших приморских портовых городах. Фактически это равносильно обзору прогресса человека во времени, от детского состояния в момент сотворения и до сего дня. И где остановится этот прогресс, никто не может сказать. Варварство тем временем продолжает отступать перед мерными шагами усовершенствования и со временем, я уверен, вовсе исчезнет с лица Земли».

Ни Тюрго, ни Кондорсе, ни кто-либо еще из европейских философов прогресса не смог бы лучше соединить антропологический метод с верой в неизбежное улучшение человеческой участи на Земле.

Даже суровый, временами пессимистичный Джон Адамс мог в самых красноречивых выражениях дать высокую оценку человеческому прогрессу. Так, Адамс начинает «Предисловие» в своей знаменитой работе «В защиту устройства правительственной власти Соединенных Штатов» (John Adams, *Defense of the Constitutions of Government of the United States*) словами: «Искусства и науки в целом на протяжении трех или четырех последних веков двигались постоянным курсом прогрессивного улучшения. Изобретения в механических ремеслах, открытия в естественной философии, навигации и торговле, а также рост цивилизованности и человечности вызвали такие изменения в мире и в человеческом характере, которые поразили бы самые утонченные народы древности. Продолжение подобных усилий с каждым днем все больше и больше превращают Европу в одно сообщество или в единую семью. Даже в теории и практике государственного управления, во всех просто устроенных монархиях были осуществлены значительные усовершенствования».

Но главной темой книги было обоснование еще более значительных улучшений, реализованных в Америке в результате принятия конституций отдельных штатов и общенациональной конституции. Для Джона Адамса это означало ключевое разделение властей: исполнительной, законодательной и судебной. Здесь было бы неуместным давать подробное описание защиты Адамсом принципа разделения властей, выполненной с подлинным искусством и эрудицией. Я здесь хочу лишь подчеркнуть связь этой защиты с его верой в существование прогресса в прошлом, настоящем и будущем. Его уверенность в будущем, а также его чувство движения вперед во времени можно увидеть в следующем отрывке: «Институты, созданные в настоящее время в Америке, не изнасятся полностью и за тысячи лет. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы они с самого начала были учреждены правильно. Если начало было неправильным, то они никогда не смогут вернуться на верный путь, разве что случайно. Зная историю Европы, и, в особенности, Англии, было бы вершиной глупости возвращаться назад к институтам Вотана и Тора, как советуют сделать американцам...»

Последнее предложение представляет собой довольно язвительный ответ на критику Тьюрго в адрес американских конституций. Чтобы оценить степень серьезности симпатий Джона Адамса к прогрессизму, интересно отметить, что спустя годы в одном из многочисленных писем, которыми он обменивался с Джефферсоном, Адамс упоминал и даже цитировал отрывки из «Предисловия». Можно догадаться, что он был уязвлен высказываниями некоторых оппонентов, которые он воспринимал как несправедливые обвинения в «рекомендациях молодым “смотреть назад, а не вперед” в поисках наставлений и улучшений». По той же причине он цитирует отрывок из «Предисловия», начинающийся со слов «искусства и науки... двигались постоянным курсом *прогрессивного* улучшения», на сей раз добавляя курсив.

Бенджамин Франклин не раз давал волю своим чувствам по поводу прогресса человечества. Письмо, написанное в 1788 году преподобному Джону Латропу, служит достаточной иллюстрацией как мысли, так и силы эмоций: «...Я долгое время находился под воздействием того же

чувства, которое Вы так хорошо выражаете, — чувства растущего счастья человечества от усовершенствований в философии, морали, политике и даже от улучшения обычных жизненных удобств, происходящего от изобретения и приобретения новых и полезных принадлежностей и инструментов, что иногда я почти мечтаю о том, чтобы мне было суждено родиться два или три века спустя. Ибо изобретения и усовершенствования имеются в изобилии и приводят к рождению все новых улучшений такого рода. Современный прогресс быстр».

Франклин завершает свое письмо рассуждением, что, если «искусство медицины» будет совершенствоваться пропорционально тому, что наблюдается в других областях знания, то «мы сможем тогда избегать болезней и жить так же долго, как библейские патриархи». И в письме от 1780 года к Джозефу Пристли Франклин говорит: «Невозможно представить высоты, до каких может дойти через тысячу лет власть человека над материей». (Можно предположить, что «тысяча лет» естественным образом приходила на ум любому человеку, знакомому с пуританским миллениаризмом, а такие люди, несомненно, были в роду Франклина).

Не будет неуместным процитировать здесь самого Пристли, которому писал Франклин, поскольку этот великий ученый, хотя и родился в Англии и там осуществил свои самые знаменитые работы в области экспериментальной науки, был вынужден бежать в Америку после того, как бирмингемская толпа подвергла его истязаниям, сожгла его дом, библиотеку и лабораторию из-за его симпатий к французским революционерам и из-за его критики Берка. Стоит ли говорить, что Пристли радостно приветствовали — более того, фактически пригласили — высокопоставленные американцы. Его встретил в нью-йоркской гавани сам губернатор Клинтон, ему предоставили место профессора химии в Университете Пенсильвании, Джефферсон пригласил его помочь в создании и развитии Университета Вирджинии. Но Пристли предпочел жить на пенсильванском фронтире, не переставая надеяться, что его европейские друзья и студенты присоединятся к нему в деле построения либертарианской Утопии.

Пристли — еще один из выдающихся представителей Просвещения, находивших возможным и необходимым сочетание экспериментальной научной работы с глубокой и непрекращающейся религиозной верой. Он мог раздражаться беспощадными филиппиками в адрес Гиббона и Юма за их отступление от христианской веры. И он оставался верным унитарием до конца своей жизни. Вера Пристли в прогресс человечества оставалась очень сильной, что показывает следующий отрывок, процитированный Коммаджером (Commager): «Я зрю восторг на восхитительном лице природы и восхищаюсь ее чудесным устройством, законы которого ежедневно раскрываются нашему взгляду... Гражданское общество еще находится в младенчестве, мир как таковой очень мало известен его цивилизованным обитателям, и мы плохо знакомы с истинной ценностью тех немногих известных нам его плодов, которым мы лишь начинаем давать имена, упорядочивая их. Как же гражданин мира должен желать знать о будущем его прогрессе?»

В Америке Пристли мог испытывать интеллектуальное поощрение, пришедшее с членством в Американском философском обществе (в Филадельфии, недалеко от которой он жил), основанном Бенджамином Франклином много лет назад для того, чтобы на его регулярных собраниях могли встречаться люди из всех колоний, интересующиеся развитием науки и практических искусств и ремесел. Не может быть сомнений по поводу миллениаристской природы веры Пристли в науку и прогресс, на что указывают следующие восторженные строки: «[Люди] сделают свое положение в этом мире гораздо более легким и удобным; они, вероятно, продлят свое пребывание в нем и с каждым днем будут становиться все более счастливыми, каждый в отдельности, а также смогут (и я верю, что они будут еще больше к тому склонны) передавать счастье другим. Таким образом, каким бы ни было начало этого мира, конец его будет столь славным и райским, что сейчас наше воображение не может этого представить».

Только Уильям Годвин, живший в Англии, к которому мы вскоре перейдем в этой главе, превзошел в риторике эту уверенную надежду на будущее.

Джефферсон был одним из тех американцев, кто, веря в несомненность прогресса, не колеблясь предлагал социальные условия, при которых прогресс пойдет более легко. Его склонность к сельской жизни хорошо известна, и следующий отрывок свидетельствует об этом в той же мере, как и о его заинтересованности в прогрессу; отрывок взят из Вопроса XIX «Заметок» Джефферсона: «Случайные обстоятельства, возможно, иногда замедляли естественный прогресс и развитие ремесел, но, вообще говоря, в любом государстве соотношение численности земледельцев и всех других классов населения — это соотношение его здоровых и нездоровых частей, которое является довольно точным барометром для измерения степени его разложения».

Интересно узнать, что Франсуа Жан Шатлю, автор «Путешествий в Северную Америку, 1780, 1781 и 1782» (Franzouis Jean Chastellux, *Travels in North America, 1780, 1781, and 1782*), основанных на его собственном опыте участия французского генерала в Войне за независимость, имел достаточно неоднозначное мнение о рецепте Джефферсона. Шатлю за несколько лет до этого написал получившую широкую аудиторию, хотя и спорную, книгу о прогрессе человеческого счастья, в которой он связывал высшие достижения в развитии с установлением полной свободы. По просьбе президента Колледжа Вильгельма и Марии, где Шатлю встретил радушный и фактически вошел в число преподавателей, он письменно изложил свои взгляды на перспективы искусств и наук в Америке и объявил незадолго до возвращения во Францию о своей полной уверенности в том, что знания в Америке будут постоянно и прогрессивно развиваться так же, как, по его мнению, будут развиваться и изящные искусства. Но Шатлю посоветовал американцам уделять больше внимания развитию своих (пяти) городов, поскольку, утверждал он, искусства и науки могут развиваться только в городской атмосфере. Сельская местность тоже важна, но ее обитатели должны быть приближены к городам.

Том Пейн, родившийся в Англии, но бывший до мозга костей американским патриотом, чья самая известная работа «Права человека» была написана с целью подробно опровержения пессимистических и крайне враждебных

взглядов Берка на Французскую революцию, столь же восторженно относился к будущему американского общества.

«Судя по быстрому прогрессу, который делает Америке во всех сферах, будет разумным заключить, что, если правительства Азии, Африки и Европы стали бы следовать принципу, подобному американскому, или если бы они не были столь давно испорчены, эти страны должны были к настоящему времени находиться в гораздо лучших условиях по сравнению с теми, которые есть сегодня».

Новая нация не была лишена и поэтического выражения уверенности в уникальном величии Америки и в ее неизбежном совершенствовании в будущем. В распоряжении американских поэтов был, разумеется, выдающийся европейский образец — самые, вероятно, знаменитые строки епископа Беркли, которые он написал в 1726 году:

*Westward the course of empire takes its way;
The four first Acts already past,
A fifth shall close the Drama with the Day;
Times noblest offspring is the last.*

*Империя берет курс на запад;
Четыре первых акта уже прошли,
Пятый завершит драму в {Судный} День;
Благороднейший потомок Времени
будет последним.*

Тимоти Дуайт, один из «Коннектикутских остроумцев», добавил к словам Беркли в 1794 году следующие стихотворные строки с «западной» направленностью:

*All Hail, thou western world; by heaven designed
Th' example bright, to renovate mankind.
Soon shall thy sons across the mainland roam;
And claim, on far Pacific shores, their home;
Their rule, religion, manners, arts, convey
And spread their freedom to the Asian sea.*

*Здравствуй, о Западный мир: созданный небесами.
Яркий пример для обновления человечества.
Вскоре будут твои сыны блуждать по континенту
И объявят дальние берега Тихого океана своим домом;
Их право, религия, обычаи, искусства выражают
И распространяют их свободу через Азиатское море.*

Филипп Френо, самый известный американский поэт, прославляющий революцию и ее миссию на в этом мире, писал:

*And men will rise from what they are ;
Sublimier and superior, far,
Than Solon guessed, or Plato saw ;
All will be just, all will be good —
That harmony, "not understood,"
Will reign the general law.*

*И люди поднимутся над тем, что они есть ;
Станут намного возвышеннее и совершеннее,
Чем думал Солон или видел Платон ;
Все будут справедливы, все будут добры —
Гармония, «непостижимая»,
Будет господствовать в общем праве.*

Мы завершим тему поэзии фрагментом, принадлежащим перу Джоэла Барлоу из его «Колумбиады». Провидение, проповедует Барлоу, предназначило Америке миссию показать всему миру своим примером и наставлением природу истинного прогресса:

*For here great nature with a bolder hand,
Roll'd the broad stream and heaved the lifted hand ;
And here, from finisht earth, triumphant trod,
The last ascending steps of her creating God*

*Ибо здесь великая природа смелой рукой
Катила мощный поток и воздевала поднятую руку ;
И здесь, с сотворенной Земли, торжествуя, восходил
По последним ступеням создавший ее Бог.*

Нет лучшего способа резюмировать то уважение, которым пользовались искусство и наука в эпоху отцов-основателей, и ту тесную связь, которую усматривали люди того времени между знаниями и прогрессом, чем привлечь внимание читателя к разделу 8 статьи I, Конституции США. Она звучит так: «Конгресс имеет право... содействовать прогрессу науки и полезных ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия».

Исследователь Конституции доктор Роберт Голдвин, которому я обязан тем, что он обратил мое внимание на упо-

мянутое положение, добавляет, что этот фрагмент — единственный во всей Конституции (за исключением поправок, разумеется), где есть явное упоминание индивидуального «права» или «прав». Очевидно, по мнению авторов Конституции, не было ничего более важного для создания и роста богатства и благополучия Америки, чем гарантии, предоставляемые творческим умам.

То, что так бурно началось в XVIII веке в сфере прогресса знаний, Америка продолжила в еще больших масштабах в XIX веке. Будь то, Джордж Банкрофт, посвятивший полвека исторических исследований и трудов публикации своей десяти томной работы по американской истории, темой которой было ни много, ни мало, а неумолимое развертывание «эпоса свободы», или, скажем, Джон У. Дрейпер, выступавший перед большими аудиториями в Нью-Йорке, предлагая на обсуждение тезис, что американская история воплощает «общественное развитие... так же полностью подконтрольное естественному закону, как рост тела человека», или любой из множества ораторов, выступавших на празднике Четвертого июля, число которых когда-то казалось бесконечным, — все они демонстрируют широкую распространенность и глубокую укорененность веры в прогресс. Даже Эмерсон, так часто критиковавший американские ценности, спросил в своей работе «Прогресс культуры» (Ralph Waldo Emerson, *Progress of Culture*): «Кто стал бы жить в каменном веке, или бронзовом, или железном, или в эпоху озерных свайных построек? Кто не предпочел бы век стали, золота, угля, нефти, шерсти, пара, электричества и спектроскопа?» От восточного побережья до западного на протяжении всего XIX и, если уж на то пошло, значительной части нашего века газетчики соперничали друг с другом в воспевании прогресса, почти неизменно подчеркивая роль индустрии и технологии и их способности влиять на политическое, общественное и моральное развитие американцев. «Нельзя остановить прогресс» — было национальным разговорным выражением (как редко мы слышим его сейчас!), наравне с афоризмами из «Альманаха бедного Ричарда». Нет более яркого доказательства американской очарованности прогрессом, чем знаменитая чикагская выставка 1893 года. Более 27 миллионов человек посетили

эту огромную (600 акров) выставку научных, технических, архитектурных и промышленных достижений прогресса. Чикагская выставка сделала для Америки и Европы (множество ее посетителей прибыло из Европы и других частей мира) в 1893 году то же, что сделала почти столь же знаменитая более ранняя выставка в Хрустальном дворце в Лондоне в том, что касается укрепления веры в прогресс. Целью этой выставки, как заявил один посетитель, было «понять живой свиток человеческого прогресса, куда вписывается каждое успешное завоевание человеческого разума».

Ко второй половине XIX века понятие прогресса стало такой же святыней для американцев всех классов, как и любая формальная религиозная заповедь. То, что, скажем, во Франции или Англии было, по большей части, неприступной философской мудростью, ограниченной преимущественно образованным слоем, в Америке стало массовым благовестованием от побережья до побережья. Основываясь на изучении подшивок газет Питтсбурга, Чикаго и Сан-Франциско, я могу засвидетельствовать, что в конце XIX века не только редакционные статьи, но и бесчисленные письма читателей бесконечно повторяли литанию прогресса — общего прогресса человечества, но в особенности американского прогресса. Хотя подавляющее большинство таких высказываний в Америке содержало соответствующее признание Бога и Его мудрости, акцент делался на самом прогрессе, и энтузиазм вызывал именно прогресс как таковой.

В заключение сделаем одно важное замечание в отношении XIX века в Америке. Ни одно обсуждение американской веры в прогресс в тот период не может быть завершено без упоминания блестящего Генри Джорджа и его книги «Прогресс и бедность» (Henry George, *Progress and Poverty*). Оставим в стороне неприменимость центрального тезиса книги сегодня и даже те вопросы, которые были вызваны его предложениями в момент ее появления. Генри Джордж выпустил книгу за свой счет в 1879 году, а в следующем году она была принята для публикации внутри страны и за рубежом издательством *D. Appleton & Co.* Книга почти немедленно была признана в Англии — газетой *The Times*, а также *The Edinburgh Review* и другими

газетами и журналами — гениальным творением. Толстой считал ее центральный аргумент неопровержимым и похвально отзывался о Генри Джордже как об истинно творческом мыслителе и потенциальном спасителе доведенных до бедности масс. За пару лет книга была переведена на несколько языков, и за счет выпуска дешевых изданий, которые Джордж с самого начала поощрял, были проданы миллионы экземпляров по всему миру.

Самый главный вопрос, который задал сам себе Генри Джордж, был таков: почему при всех неопровержимых доказательствах прогресса человечества страдания бедных увеличиваются почти прямо пропорционально прогрессу в технологии, науке, государственном управлении, искусстве и множестве других сфер общественного устройства? Что нужно сделать, чтобы вовлечь бедных в общий человеческий прогресс? Как хорошо известно историкам и социологам, Джордж нашел ответ единственно и исключительно в системе землевладения, которая преобладала повсюду в мире, включая Соединенные Штаты.

«Собственность на землю — вот тот великий основной факт, которым в конце концов определяется общественное, политическое и, следовательно, интеллектуальное и нравственное положение народа... На земле мы родимся, от нее мы живем, в нее мы возвращаемся, мы — дети земли, такие же дети ее, как какая-нибудь былинка или полемой цветок».

Здесь не место входить в тонкости его рассуждений, анализа всей проблемы собственности на землю и ренты и его знаменитого единого налога, поскольку предмет нашего интереса лежит в его теории социального прогресса и вере в него. Достаточно, если мы скажем, что Джордж нашел основную и неизменную причину бедности посреди богатства и прогресса в индивидуальной собственности на землю вместо общей. Как только этот факт поймут народ и его правительство, можно будет отменить все налоги, кроме налога на экономическую земельную ренту земли и на большой прирост ценности земли, особенно необработанной земли, приистекающий не из частного предпринимательства или труда, а просто из давления увеличивающегося населения.

Для нас интересно то, как Джордж объединяет свою теорию бедности, земельной ренты и единого налога с «законами прогресса». У него не возникает ни малейшего сомнения в том, что все основные энергии человека и общества гармонично работают на прогресс или, точнее, что будут способствовать прогрессу как только проблема землевладения будет решена.

Основной тенденцией на протяжении всей истории человечества, пишет он в разделе, посвященном «Законам прогресса», было стремление уменьшить или устранить самые сильные проявления неравенства: отмена рабства и наследственных привилегий, замена абсолютизма парламентским правлением, поощрение частных религиозных мнений вместо церковного деспотизма, равенство перед законом вместо сословного суда и т.д. «История современной цивилизации есть история успехов в этом направлении, история борьбы и побед личной, политической и религиозной свободы». Остается лишь одно знаменательное и роковое (для любого человеческого общества) неравенство: собственность на землю и несправедливое накопление прибыли и других доходов от земли. Прогресс твердо и навсегда встанет на путь восходящий путь вперед, когда мы, народы и наши правительства, с помощью соответствующего законодательства избавимся от этого последнего пережитка варварства.

Характерной чертой веры Генри Джорджа в Америку было то, что, по его мнению, именно эта страна вероятнее всего подвигнет мир к реформам, жизненно важным реформам, необходимым для устранения тягостной прямой пропорциональности между прогрессом и бедностью. Он красноречиво говорит о свободах, которыми мы уже пользуемся в Америке: «...где политические и гражданские права приведены к абсолютному равенству и где благодаря порядку замещения государственных должностей предупрежден даже рост бюрократии, где всякая религиозная вера или неверие пользуется постоянной свободой, где каждый мальчик может надеяться сделаться президентом, каждый человек имеет равный с прочими голос в общественных делах, и каждый чиновник на короткий срок своей службы избирается *прямо или косвенно через*

народное голосование». (Курсив мой. — Р. Н. О, Генри Джордж, если бы ты жил сегодня!..)

При условии одного единственного и необходимого изменения в нашем отношении к земле и к возрастанию ее ценности, провозглашает Джордж, не будет предела высотам, которые сможет достичь цивилизация.

«Слов не хватает для выражения мысли! То будет Золотой век, который воспевали поэты, и о котором говорили в образах вдохновенные пророки. То будет славное видение, которое всегда представлялось людям в лучах мерцающего сияния. То будет то самое видение, которое видел на острове Патмос человек, глаза которого закрылись в иступлении. То будет высшее состояние христианства — то будет Град Божий на земле, с его стенами из яшмы и воротами из жемчуга. то будет царство Князя мира!»

Так заканчивает свою книгу Генри Джордж. Иоахим Флорский, люди Пятой монархии, Кондорсе, Уильям Годвин, — все они поняли бы слова Джорджа и возрадовались бы.

КОНДОРСЕ

Этому выдающемуся человеку, потомку дворянского рода и страстному защитнику революций, американской и французской, математику и постоянному секретарю Академии Наук, но также активному участнику литературного процесса и политических действий, было всего семь лет, когда в декабре 1750 года Тюрго выступил с речью о прогрессе. Но прошло немного лет, и Кондорсе познакомился с творческими достижениями Тюрго в теории прогресса и в экономической теории. Именно Кондорсе написал первую биографию (даже, скорее, панегирик) Тюрго, восславив его как истинного открывателя «закона прогресса», — оценка, которую позже повторят Сен-Симон и Конт.

И такова была сила собственной страсти Кондорсе к этому «закону», что он написал свой прославленный «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (Marie Jean Antoine Nicolas Condorcet, *Esquisse d'un tableau historique des progrus de l'esprit humain*) (который был опубликован в 1795 году, через год после его смерти), в то время, когда скрывался на протяжении нескольких

недель от якобинской полиции Робеспьера. Кондорсе, хотя и относился почти с исступленным восторгом к историческому величию происходящей Французской революции, был связан с партией жирондистов, и несколько его резких замечаний о якобинской власти привели к вражде с Робеспьером и к приказам поместить Кондорсе под стражу. В конце концов его поймали, или, скорее, он сдался сам, и его несомненно гильотинировали бы как врага народа, если бы он не умер (по-видимому, приняв яд) в первый же день тюремного заключения.

При этом ему удалось написать работу, которая в начале XIX века окажет значительное влияние не только на либерализм, но и на подъем социальных наук, особенно социологии. И Сен-Симон, и Конт объявили, что Кондорсе, развивая работы Тюрго и Пристли, впервые установил, что прогресс является одним из важнейших законов науки о человечестве. Речь идет, разумеется, о его «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума».

В этой небольшой работе приводятся десять стадий человеческого прогресса, начиная от примитивной дикости, десятая же стадия была оставлена для будущего, которое, как верил Кондорсе, сделает возможным Французская революция. Сам он жил, по его мнению, на девятой стадии человеческого прогресса, прославившейся работами великих ученых его века и века предшествовавшего. Они, заявлял Кондорсе, и есть те, кто в конечном счете позволил человеку освободиться от предрассудков, стать свободным интеллектуально и, таким образом, продвинуться вперед к окончательному совершенству. В начале книги говорится о том, «что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способности человека к совершенствованию действительно безграничны, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей границей только длительность существования нашей планеты, в которую мы включены природой. ...Прогресс ...никогда не пойдет вспять до тех пор, пока Земля будет занимать то же самое место в мировой системе и пока общие законы этой системы не вызовут на земном шаре ни общего потрясения, ни изменений, которые не позво-

лили бы больше человеческому роду на нем сохраняться, развернуть свои способности и находить такие же источники существования».

За этим следует ряд глав, в каждой из которых содержатся размышления о жизненно важных и необходимых стадиях человеческого прогресса, начиная с самой первой, которая есть стадия «общества с небольшим числом людей, существовавших охотой и рыболовством, обладавших примитивным искусством изготовлять оружие и домашнюю утварь, строить или копать себе жилище...» Кондорсе рассматривает социальную организацию примитивного человека, его кланы и родственные связи, то, как появились язык, абстрактное мышление, моральные представления; обстоятельства возникновения искусств и литературы, городов, торговли и все больше расширяющихся знаний о мире и самом человеке. Он рассказывает читателю о возникновении рациональной философии в античном мире (прочной основы, на которой покоится вся наука) и о развитии этой рациональной философии и наук на протяжении веков, ведущих к девятой стадии. Эта стадия, по его мнению, начинается с плодотворной философии Декарта и достигает высшей точки в «основании Французской Республики». В начале главы, посвященной девятой стадии, Кондорсе пишет: «Мы уже видели, как разум поднимает свои цепи, ослабляет некоторые из них и, приобретая беспрерывно новые силы, подготавливает и ускоряет момент своей свободы. Нам остается бросить взгляд на эпоху, когда он окончательно разбивает свои цепи; когда вынужденный влачить их остатки, он постепенно от них освобождается; когда свободный, наконец, в своих движениях, он может быть остановлен только теми препятствиями, возобновление которых неизбежно при каждом новом прогрессе, ибо они обусловлены самой организацией нашего ума или отношением, установленным природой, между нашими средствами открывать истину и сопротивлением, которое она противопоставляет нашим усилиям».

На протяжении примерно сорока страниц дается краткий обзор прогрессивных изменений, которые имели место в XVII—XVIII веках и которые продолжали происходить в философии, науке, искусствах и понимании правильных

основ государственного управления, экономики и общества. Кондорсе щедр на похвалы достижениям таких мыслителей, как Декарт, Локк, Лейбниц, Бейль, Фонтенель, Монтескье и других, с работами которых Кондорсе не просто был знаком, но мог буквально цитировать их, находясь в своей вынужденной изоляции. Он обсуждает американскую революцию и, хотя он испытывал высочайшее уважение к ее достижениям, тем не менее противопоставляет ее французской, и не в пользу первой. Американская революция, утверждает он, так и не добралась до настоящих корней деспотизма и неравенства.

«Французы, напротив, атаковали одновременно и деспотизм королей, и политическое неравенство полусвободных конституций, и надменность дворянства, и господство, нетерпимость и богатство духовенства, и злоупотребление феодалов, свирепствовавших почти по всей Европе; поэтому могущественные европейские государи должны были общими силами встать на защиту тирании».

Но при всей его гордости за политические действия, которые составляли сущность Французской революции, Кондорсе уделил гораздо больше внимания описанию значительного научного вклада, осуществленного во время девятой стадии. Согласно Кондорсе, наука — это золотая дорога в будущее, к окончательному совершенству и эгалитарному духу грядущего. Достижение будущего счастья с неизбежностью будет задерживаться до тех пор, пока предрассудки, особенно религиозные, не будут повсеместно искоренены.

«Все заблуждения в политике и морали покоятся на философских заблуждениях, которые, в свою очередь, связаны с заблуждениями в области физики. Нет ни одной религиозной системы, ни одной сверхъестественной нелепости, которые не основывались бы на незнании законов природы. Изобретатели и защитники этих нелепостей не могли предвидеть последовательного совершенствования человеческого разума. Убежденные, что люди знали в их время все то, что они могли когда-нибудь узнать, и будут всегда верить в то, что тогда составляло предмет их веры, они самонадеянно обосновывали свои бредни на общих воззрениях своей страны и своего века».

Неисчерпаемая вера Кондорсе в науку и ее законы движения и строения привела его ко мнению, что предсказание курса, которым пойдет политическая, социальная и экономическая история в последующие века, — относительно простое дело. Он ни в коем случае не был первым «футурологом», но никто никогда не превзошел уверенность Кондорсе в отношении предсказаний. «Если человек может почти с полной уверенностью предсказывать явления, законы которых он знает... то зачем считать химерическим предприятием желание начертать с некоторой правдоподобностью картину будущих судеб человеческого рода по результатам его истории?»

Итак, Кондорсе с удовольствием перешел от девятой эпохи, в которой он жил, к десятой, которая все еще стояла впереди во времени, хотя и недалеко. Какую картину предлагает Кондорсе? Есть ученые (к числу которых относится Франк Мануэль), которые, основываясь на конкретных прогнозах Кондорсе, довольно логично доказывали, что для него эта десятая и, вероятно, последняя стадия прогресса человечества представляла собой разновидность деспотического строя под управлением ученых, который не сильно отличался от общества, представленного Френсисом Бэконом в его «Новой Атлантиде». Если разуму суждено господствовать в эту эпоху, если науке предстояло править обществом, как и природным миром, то ученые, как класс, должны были бы взойти на самую вершину и сформировать правящий класс, сравнимый с тем, который составляли ученые и инженеры в позднейших утопиях Сен-Симона и Конта. Одним словом, если мы будем следовать толкованию Кондорсе, которое, опираясь на многочисленные доказательства, предлагает нам Франк Мануэль, то рассмотрение Кондорсе в этой книге должно находиться не в главе, посвященной прогрессу как свободе, а в следующей главе, где мы будем рассматривать различные (в том числе утопические) формы абсолютной власти, которые многочисленные мыслители выдвигали в качестве воплощения прогресса.

Но при всем уважении к Мануэлю я вынужден заключить, что в целом Кондорсе был в большей степени поборником свободы, нежели власти. В начале своей главы,

посвященной образу будущего Кондорсе задает три основополагающих вопроса: первый — существуют ли страны, природа которых осудила не «наслаждаться никакой свободой», второй — будут ли существующие в настоящее время во всех странах сильнейшие проявления неравенства ограничены до «неравенства, полезного интересу всех», третий — должен ли человеческий род улучшаться либо «благодаря новым открытиям в науках и искусствах», либо «благодаря развитию моральных принципов поведения», либо наконец в силу «действительного совершенства интеллектуальных, моральных и физических способностей»?

Кондорсе на все эти три вопроса отвечает утвердительно: «Настанет... момент, когда солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, кроме собственного разума...» Да, Кондорсе был твердо убежден в священном характере того места, которое должны будут занять наука и ученые, и мы можем предположить, что, независимо от уверенности Кондорсе в совместимости свободы с правлением ученых, результат может оказаться гораздо больше похожим на научную бюрократию, чем на подлинное общество свободных людей. Но здесь мы все же должны поверить Кондорсе на слово. И в своей длинной и страстной похвале образованию Кондорсе подчеркивает значимость обучения каждого отдельного индивида законам и методам науки в целях распространения научных знаний и открытий среди жителей Земли настолько широко, насколько это возможно. То же самое он предлагает в отношении искусств и ремесел. Каждый сам себе ученый и сам себе художник — примерно такова мечта Кондорсе о совершенном будущем. Я нахожу, что то будущее, которое Кондорсе воздвигает на фундаменте науки, представляет собой определенно иную и более свободную форму общества, чем та, которую обрисовал Бэкон в своей «Новой Атлантиде».

Далее, помимо видения будущего, в котором свобода играет или должна играть большую роль, Кондорсе дает прогноз развития равенства. За несколько лет до написания «Эскиза» он подготовил статью «О признании за женщинами гражданских прав» (*Marie Jean Antoine Nicolas Condorcet, Sur l'admission des femmes au droit de cité*). Он

утверждает, что права мужчин «...проистекают просто из того факта, что они — сознательные существа, способные постигать моральные идеи и обоснования этих идей. Женщины, имея те же качества, должны непременно обладать такими же правами. Либо ни один представитель человеческого рода не имеет каких-либо подлинных прав, либо все имеют одни и те же права. И тот, кто голосует против прав другого человека любой религии, любого цвета кожи или пола, тем самым отрекается от своих собственных прав».

В «Эскизе» нет ничего такого, что шло бы вразрез с данным утверждением равенства. Кондорсе стремится не к абсолютному и полному равенству, не к уравниванию людей как самоцели и не предсказывает такового. Как мы уже видели, Кондорсе при всей его враждебности к разновидностям неравенства, распространенным при старом порядке, при всей его надежде на освобождающее равенство, отмечал значимость сохранения возможности тех видов неравенства, которые будут «полезны интересу всех людей». И, как мы уже отмечали, Кондорсе почти беспредельно восхищался идеями Тюрго, в которых нет недостатка в подчеркивании значения личной свободы — интеллектуальной, моральной и экономической. Несмотря на некоторые высказывания, отношение Кондорсе к равенству в основном не сильно отличается от того, что мог бы написать Тюрго и что напишет в следующем веке Джон Стюарт Милль. В наши дни даже Фридрих Хайек и Милтон Фридмен не забывают о необходимости равенства (главным образом правового) как предпосылки истинной свободы.

Рассматривая историю цивилизаций прошлого, Кондорсе пишет: «Существует часто большое различие между правами, которые закон признает за гражданами, и теми, которыми они действительно пользуются; между равенством, установленным политическими учреждениями, и фактически существующим...» Джефферсон мог бы написать точно так же, и он мог согласиться с объяснением существования этих различий, даваемым Кондорсе: «неравенство богатства», «неравенство условий» и «неравенство образования». В следующем отрывке из Кондорсе вновь утверждается взаимосвязь между равенством и свободой: «Нужно будет, таким образом, показать, что эти три рода

реального неравенства должны беспрестанно уменьшаться, не исчезая, однако, ибо причины их естественны и необходимы, что было бы нелепо и опасно их устранить, что невозможно было бы даже попытаться всецело уничтожить их следствия, не открывая в то же время еще более обильных источников неравенства, не нанося правам людей еще более непосредственных и губительных ударов».

Идет ли речь о личностях в пределах страны или о соотношении между разными странами, Кондорсе, как и отцы-основатели США, питал надежду именно на равенство возможностей, на равенство, которое дает личности и странам одинаковую возможность обнаруживать и реализовывать свои высшие потенции, и наступление именно такого равенства он предсказывал в будущем.

Наконец, у него присутствует тема фундаментальной способности людей к совершенствованию, возможности достижения ими такого состояния на Земле, которое будет отмечено «индивидуальным благосостоянием и общим процветанием» и «действительным улучшением интеллектуальных, моральных и физических качеств». Это тоже произойдет в результате законов, которые привели человечество к его настоящему развитому состоянию в цивилизованных частях света, и, не в последнюю очередь, как результат все более интенсивного и общедоступного образования. Правильно руководимое образование «...смягчает естественное неравенство способностей... подобно тому, как хорошие законы ослабляют естественное неравенство в распределении средств к существованию; и в обществах, где учреждения установят это равенство, свобода, хотя подчиненная правильной конституции, будет шире, полнее, чем при самостоятельной жизни в диком состоянии».

Преимущества, которые появляются в результате прогресса, «могут иметь пределом только совершенствование человеческого рода».

Далее Кондорсе рассматривает возможность перенаселения. Если человечество станет еще более совершенным, еще более процветающим в результате развития ремесел, разве не должно придти время, когда «увеличение числа людей [превзойдет] количество средств существования», и результат этого проявится в «уменьшении благосостояния

и населения», когда «нечто вроде колебания между добром и злом...» станут «постоянной причиной нищеты, в некотором роде периодической»? Это, разумеется, именно тот вопрос, который задаст Мальтус (к которому мы скоро перейдем) и на который он ответит двумя различными способами в следующих друг за другом изданиях его знаменитого «Опыта о законе народонаселения». Кондорсе, очевидно, понимает серьезность этой проблемы и признает, что при прочих равных условиях совершенство человека приведет к неконтролируемой, невыносимой перенаселенности по отношению к запасам продовольствия. Но Мальтус придет в своих размышлениях к мысли о том, что продолжающийся рост знаний и разума может быть принят в качестве «морального обуздания» рождаемости, и к тому же самому приходит Кондорсе. Задолго до пагубного и разрушительного перенаселения земли, утверждает он, непременно произойдет изменение в человеческом восприятии тех древних «предрассудков», которые предписывают неограниченную плодовитость: «...если предполагается, что до этого времени прогресс разума будет идти рядом с прогрессом наук и искусств... Люди будут тогда знать, что если они имеют обязанности по отношению к существам, еще не родившимся, то они заключаются не в том, чтобы дать им жизнь, а в том, чтобы дать им счастье, что предмет этих обязанностей — это общее благосостояние человеческого рода, или общества, в котором они живут, или семьи, с которой они связаны, а отнюдь не ребяческая идея обременять землю бесполезными и несчастными существами. Таким образом, возможная масса средств к существованию могла бы быть ограниченной, и, следовательно, мог бы наступить предел возможному возрастанию народонаселения, но это обстоятельство не вызвало бы столь противного природе и социальному благополучию преждевременного истребления части существ, получивших жизнь».

Как я уже сказал, сам Мальтус в итоге пришел к заключению, не слишком сильно отличающемуся от этого. Но прежде чем заняться Мальтусом, нам стоит узнать о философе, который вместе с Кондорсе побудил Мальтуса к написанию первого варианта «Опыта о законе народонаселения».

УИЛЬЯМ ГОДВИН

Философский анархист, радикальный либерал, утопист, верящий в возможность совершенства — вот лишь некоторые из ярлыков, которые наклеили на Годвина. Даже фанатичный Кондорсе не превзошел его в силе приверженности личной свободе: не только свободе от государства и церкви, прежде всего, но и от любой формы социальной зависимости, включая семью, которая ограничивает личную свободу мысли и действия.

Его «Исследование о политической справедливости и ее влиянии на нравственность и счастье» (*William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Morals and Happiness*) было опубликовано в 1793 году, когда ему было тридцать семь лет. Он родился в глубоко кальвинистской семье, и отпечаток кальвинистской доктрины благодати и спасении человека постоянно будет лежать на мышлении Годвина, несмотря на то, что с тридцати двух лет он провозгласил себя полностью освобожденным от всякой религии. Но, сколь бы он ни был освобожденным, в самом сердце философии прогресса Годвина находилась та разновидность миллениаристского совершенства и счастья, которую пуритане поведали человечеству в качестве неизбежного результата раскрытия Божественного плана, хотя, разумеется, Божественный план был им отброшен. Годвин непререкаемо верил в присущую человечеству способность к развитию знания, нравственности и, в первую очередь, уважения к отдельному человеку.

«Индивидуальность — это сама суть разумного существования». Это высказывание есть лейтмотив «Исследования о политической справедливости» Годвина, а также всех остальных его работ. Должно быть осуждено все, что ограничивает индивидуальность в ее естественном развитии. Это относится и к сотрудничеству, которое для большинства анархистов XIX века было краеугольным камнем их веры. Годвин пишет (в связи со своими принципами индивидуального развития свободы и добродетели): «Из этих принципов вытекает, что все, что обычно понимается под термином «сотрудничество» [cooperation], в некоторой степени есть зло. Человек, находящийся в одино-

честве, вынужден жертвовать или откладывать воплощение своих лучших идей в соответствии со своими нуждами или своими недостатками. Как много восхитительных планов погибло в результате такого представления из-за этих обстоятельств... Отсюда следует, что необходимо тщательно избегать любого излишнего сотрудничества, общего труда и общего питания».

Насколько непреклонен был Годвин в своем стремлении к индивидуальности и к освобождению от всех ограничений, можно понять из его предписания избегать даже оркестров и других «кооперативных» представлений личного мастерства, поскольку истинные музыкальные способности наилучшим образом развиваются и выражаются при сольном исполнении. Как я уже упоминал, не получила пощады и семья, которую Годвин называл «сожителем». «Зло, сопровождающее такой образ жизни, очевидно... Нелепо ожидать, что намерения и желания двух человек будут совпадать на протяжении длительного времени. Обязывать их действовать и жить вместе — это значит подвергать их неизбежной участи, приносящей взаимные помехи, ссоры и несчастье».

Идея прогресса составляет основу размышлений Годвина о достижении совершенной, освобожденной индивидуальности. Годвин не сомневался, что с самого начала существовала сильная тенденция к улучшению. Существует «...степень реального, наблюдаемого в мире улучшения. Это особенно проявляется в истории цивилизованной части человечества на протяжении последних трех столетий... Оно [совершенствование человечества] глубоко укоренено, и нет никакой возможности, что оно когда-либо будет подорвано. Когда-то моралисты имели обыкновенные превозносить прошлые времена и беспрестанно разглагольствовать о вырождении человечества. Но эта мода сейчас практически уничтожена... И, поскольку совершенствование давно уже стало непрерывным, нет никаких шансов на то, что оно не будет продолжаться. Никакая, даже самая всеобъемлющая философия не может предписать ему ограничений, и никакое, даже самое живое изображение не может адекватно представить себе будущие перспективы».

Годвин в последнем предложении проявляет излишнюю умеренность. Очарование его местами скучной книги состоит отчасти в безграничном полете его воображения, когда дело доходит до описания будущего, которого люди могут ожидать, если раз и навсегда расстанутся со всеми ограничениями индивидуальной свободы. Рассмотрим следующее размышление о будущем состоянии человека (нам пришлось бы возвратиться к Иоахиму Флорскому или к кому-нибудь из наиболее вдохновенных пуританских апокалиптических писателей Англии XVII века, чтобы найти что-либо подобное): «Сумма доказательств, которые были здесь предложены, означает по сути дела допущение, что срок человеческой жизни может быть продлен путем непосредственной работы интеллекта за всякие пределы, какие только мы можем себе представить». Годвин не позволяет себе предсказать личное бессмертие на Земле в будущем; т.е. уничтожение смерти. Но он очень близко подходит к такому предсказанию. Он не верит, что смерть с необходимостью присуща человеческому циклу.

Подобно тем христианам, которые, начиная с Иоахима, предвидели длительную стадию, в ходе которой человеческий дух займет место человеческого тела на Земле, в результате чего придет абсолютное счастье, истинное духовное счастье, Уильям Годвин предвидит упадок современных удовольствий человека, состоящих в удовлетворении телесных ощущений, особенно сексуальных. По мере того как личная свобода и добродетель будет брать верх, влияние всего чисто чувственного уменьшится.

«Потому люди, которые будут существовать к тому времени, когда земли станет недостаточно для более многочисленного населения, вероятно, перестанут плодиться. ...В целом это будет народ, состоящий из зрелых людей, а не из детей. Поколения не будут сменять поколения, и истина не должна будет на исходе каждых тридцати лет возобновляться. Можно ожидать, что ход других улучшений не будет отставать от улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Не будет войн и преступлений, ни отправления правосудия, как то теперь называется, не будет правительства. ...Но помимо того, не будет болезней, страданий, печали, злопамятства. Каждый человек

будет ревностно стремиться к общему благу. Ум будет активен и энергичен и никогда не будет знать разочарований. Люди будут наблюдать постепенные успехи добра и блага и будут знать, что если порой их надежды не осуществляются, то сама эта неудача составляет необходимую часть прогресса».

Годвин проявляет достаточную умеренность, завершая главу, в которой появляются эти строки, предостережением читателю, что его идея основывается на догадках и является всего лишь утверждением о возможности. Но это предостережение, как мы можем обоснованно полагать, не принимали слишком всерьез ни он сам, ни бесчисленное число читателей, чье видение будущего совершенного состояния возбуждалось чтением «правдоподобной догадки» Годвина. Следующий отрывок показывает, что в глубинной основе его видения лежит более широкое понятие исторической необходимости: «...доктрина необходимости учит нас, что все во вселенной связано друг с другом. Ничто не могло бы случиться по-другому, чем оно случилось. Поздравляем ли мы себя с восходящим гением свободы? Глядим ли мы с гордостью на улучшение человечества и сравниваем ли с удивлением человека в том состоянии, в каком он когда-то был, голым, невежественным и жестоким, с человеком, как мы иногда его видим, обогащенного безграничными запасами знаний и пропитанным чувствами чистейшей филантропии? Все это не могло бы существовать в своем современном виде, если бы не было подготовлено предшествующими событиями».

И снова мы встречаемся с аналогией между индивидуальным разумом и историей всего человечества: «человеческий разум — это принцип, имеющий простейшую природу, просто способность чувствовать или воспринимать. Должно быть, он начался с полного невежества, скорее всего, он совершенствовался медленными шагами, наверняка, он проходил различные стадии глупостей и ошибок. Такова история человечества, и она не могла быть иной».

И все же Годвин при всей своей временами почти слепой вере в историческую необходимость не позволяет забыть, что и условия, и конечная цель прогресса — это максимально возможная степень свободы индивидуума.

«Кто может остановить прогресс пытливого ума? Если кто и может, то разве что наиабсолютнейший деспотизм. Интеллект постоянно стремится продвигаться вперед. Его нельзя задержать, кроме как силой, которая в каждый момент его существования противостоит присущему ему стремлению. Средства, используемые для этого, будут тираническими и кровопролитными».

Поэтому политика государства должна неизменно поощрять все возможные формы мысли и обсуждения. Более того, должна прекратиться ожесточенная борьба между группировками, должны исчезнуть организованные движения за незамедлительное спасение людей и т.п., которые, заявляет Годвин, существуют сейчас.

«Истинный прогресс политического усовершенствования внимателен и доброжелателен к чувствам всех. Он меняет мнения людей неощутимыми шагами, не делает ничего шокирующего и резкого и далек от того, чтобы требовать бедствий для кого-либо. Конфискации и объявления людей вне закона не имеют с этим ничего общего».

Далеко же от этих человеколюбивых, великодушных и мирных чувств Годвина-утописта, преданного индивидуальной свободе и равенству, которое никогда не позволит уравнивать умы, до утопий того рода, который мы будем рассматривать в этой книге дальше, утопий, не отделимых от неограниченного применения власти. В раннем черновике «Политической справедливости» есть раздел, озаглавленный «Рассмотрение трех главных причин морального совершенствования». Он называет в их числе изучение литературы, беспрестанное и всеобщее образование и политическую справедливость — последняя означает свободу индивида. «Таковы три главных причины, благодаря которым человеческий ум движется вперед, к состоянию совершенства...» Годвину отвратительна даже мысль об использовании любого рода абсолютной власти над людьми, вроде той, которую, например, у Конта символизирует Высшее Существо (*Grand Être*), а у Маркса — «диктатура пролетариата». Это был мыслитель, если угодно, предельно наивный, но при этом преданный принципу, согласно которому человечество движется в направлении наибольшего освобождения индивида, а окончательное и полное осво-

бождение является целью, к которой история шла с самого начала и продолжит стремиться, пока совершенная свобода не установится на всей Земле.

ТОМАС МАЛЬТУС

Многим читателям, возможно, покажется странным, что Мальтус помещен в контекст этой главы, т.е. в контекст оптимизма и человеческого прогресса. Разве это не тот самый Мальтус, который в своем знаменитом «Опыте о законе народонаселения» (с его железным законом роста населения в геометрической пропорции и увеличения производства продовольствия в арифметической прогрессии) по сути дела провозгласил невозможность даже просто хорошего общества, не говоря уж о совершенном? Ответ на этот вопрос сильно расходится с тем, который обычно ассоциируется с этим выдающимся мыслителем. В последние годы, благодаря исследованиям Гертруды Гиммельфарб, Уильяма Петерсена и некоторых других ученых, возникла иная интерпретация Мальтуса и его «Опыта», которая, очевидно, отсутствовала на протяжении всех тех лет, пока Мальтус воспринимался только в контексте «мрачной науки».

«Опыт о законе народонаселения» впервые появился в 1798 году. Он был написан Мальтусом как прямой ответ на идеи о возможности человеческого совершенства вроде тех, которые мы видели у Кондорсе и Годвина. Сам Мальтус характеризует свой «Опыт» как «замечания о рассуждениях мистера Годвина, месье Кондорсе и других писателей». Как мы видели, Годвин в явном виде рассматривал возможность перенаселения, но уверял, что прогресс разума уменьшит человеческое желание плодиться, добавляя, что «могут пройти бесчисленные века в условиях по-прежнему увеличивающегося населения, и земли все еще будет достаточно для обеспечения ее жителей».

Именно это предположение Годвина Мальтус нашел полностью неприемлемым, по крайней мере, в то время, когда сочинял первое издание «Опыта». В своем обсуждении Годвина и Кондорсе Мальтус предельно уважительно отзывается об их желании реформировать состояние людей и их убежденности в том, что законы прогресса смогут гарантировать эту реформу, приведя в конечном итоге

к совершенству и беспредельному счастью. Но его уважение к мотивам этих двух авторов не помешало ясно и резко высказаться о том, что, по его убеждению, было роковой ошибкой в их концепции прогресса и будущего.

Здесь нет места для подробного рассмотрения знаменитого тезиса Мальтуса, сформулированного в «Опыте». Достаточно просто вспомнить, что, нападая на доктрины будущего совершенного человечества, Мальтус подчеркивал, что население всегда будет увеличиваться в геометрической прогрессии (2, 4, 8, 16 и т.д.) в силу постоянного потворства своей деятельности, направленной на продолжение рода; однако, утверждает Мальтус, количество продовольствия, доступного поколениям, умножающимся таким образом, следует считать растущим лишь в арифметической прогрессии, что неизбежно ведет к голоду и жалкому состоянию человечества вместо совершенства, предсказывавшегося Годвином и Кондорсе, достигаемого путем постоянного увеличения знаний и применения человеческого разума. Пока существует диктат сексуального влечения, тщетна любая мысль о совершенном или даже улучшенном общественном порядке.

Тезис Мальтуса был веским и немедленно был признан таковым его читателями, в числе которых, естественно, был и сам Годвин. В письме Годвин поздравил Мальтуса с блестящим тезисом его «Опыта». Но здесь же Годвин вновь высказал свою веру в силу человеческого разума, способного служить моральным ограничителем процесса размножения. Мальтус, писал Годвин, не смог должным образом учесть «другой противовес росту населения, который очень успешно и широко действует в стране, в которой мы живем...» Этот позитивный ограничитель Годвин определял как «то чувство, будь то добродетель, благоразумие или гордость, которое постоянно ограничивает всеобщую распространенность и частое повторное заключение брачных контрактов... Чем больше людей поднимется над бедностью и жизнью на уровне простого выживания, тем больше будет благопристойности в их поведении и воздержанности в их чувствах».

Неизвестно, приводил ли этот довод один лишь Годвин, но источники свидетельствуют, что эти взгляды Годвина

серьезно повлияли на Мальтуса. Поскольку во втором и во всех последующих изданиях «Опыта» Мальтус полностью признает эффективность «разрушительных препятствий», налагаемых разумом, направленным на «нравственное обуздание». Факт состоит в том, что, как отметили и документально обосновали Гертруда Гиммельфарб и Уильям Петерсен, Мальтус за несколько лет перешел от пессимизма, коренящегося в биологии, к оптимизму, проистекающему от перехода к социологически-прогрессивному взгляду. Мы видим, как на смену Мальтусу-пессимисту пришел Мальтус — социальный демократ, верящий в будущее улучшение состояния человечества. Даже в своих «Принципах политической экономии» он демонстрирует свою веру в то, что с развитием экономического благосостояния, с ростом и распространением заработной платы рабочий класс станет средним классом с изменившимися вкусами и впервые станет способен использовать продиктованное моралью или благоразумием ограничение на производство потомства.

А теперь мы переходим к вере Мальтуса в личную свободу. Он пишет в «Принципах политической экономии»: «Из всех причин, которые могут производить благоразумные привычки среди низших классов общества, важнейшей является гражданская свобода. Люди не могут по-настоящему привыкнуть к планированию будущего, если они не будут уверены в том, что их старательные усилия... получат свободу для реализации. [Более того,] гражданская свобода не может постоянно поддерживаться без политической свободы...»

И в позднейших изданиях «Опытов о законе народонаселения» мы встречаем такие слова: «Почти во всех странах для низшего класса народа существует предел нищеты, за которым прекращаются браки и продолжение рода... Главнейшими условиями, повышающими этот предел и уменьшающими нищету наиболее нуждающихся классов населения, является свобода, обеспечение собственности, распространение среди народа знаний, стремление к приобретению преимуществ и наслаждений, доставляемых дольством. Деспотизм и невежество, наоборот, понижают этот предел».

Адам Смит или Уильям Годвин могли бы поставить и на свой лад ставили обществу такой мальтузианский диагноз. Давайте взглянем еще на одно утверждение Мальтуса, которое должно шокировать тех, чье знание о Мальтусе ограничивается неумолимым соотношением населения и продовольствия, сформулированным в первом издании. Это утверждение также появляется во втором и во всех последующих изданиях «Опыта»: «Вообще, если относительно бедствий, производимых законом народонаселения, будущее и не представляется нам столь блестящим, как мы того желали бы, все же оно не настолько печально и безотрадно, чтобы нам не оставалось уже никакой надежды на медленные и постепенные улучшения в человеческом обществе; такая надежда нам казалась благоразумной до последнего времени, когда неосновательные преувеличения стали представлять нам будущее в ином свете... Мы не должны, правда, обольщать себя надеждой, что прогресс счастья и добродетели будет идти такими же быстрыми шагами, как естественные науки, успех которых постоянно возрастает, покрывая блеском нашу эпоху. Но мы смело можем надеяться, что эти науки прольют свой свет и на другие области знаний» (курсив мой. — Р. Н.).

Почему же, несмотря на выраженную в таких словах веру в способность человечества двигать вперед знания, разум, мораль и удобства земной жизни, сохраняется и преобладает миф о Мальтусе — миф о том, что Мальтус якобы потратил жизнь, пытаясь показать, что прогресс невозможен и что положение бедняков всегда останется жалким, практически на уровне голодания и безо всякой надежды?

Как показал и особо подчеркнул Уильям Петерсен в своем новейшем исследовании Мальтуса, ответ состоит в том, что до последнего времени единственный Мальтус, с которым когда-либо ознакомилось подавляющее большинство, это был Мальтус первого издания «Опыта». И, остро подмечает Петерсен, *этот* Мальтус немедленно стал популярен у радикальных критиков и противников капитализма. Мальтуса первого издания можно было успешно использовать, чтобы показать, что *при капитализме* неизбежно будет господствовать неумолимое соотношение между на-

селением и источниками питания, оставляя рабочий класс в постоянной смирительной рубашке нищеты и безработицы в результате устойчивого воспроизведения себе подобных. Так, подчеркивает Петерсен, Мальтус (первого издания «Опыта») стал для Маркса крайне полезной палкой, которой тот лупил буржуазию и всех других сторонников капиталистического свободного частного предпринимательства. Если Маркс и был знаком с более поздними изданиями «Опыта» и произошедшим в нем поразительным изменением содержания, то он никак этого не показывает. Он полностью ограничивается первым изданием и даже в отношении него допускает весьма вольную трактовку, делающую буквально карикатуру из работы Мальтуса.

Итак, Мальтуса следует рассматривать в числе тех людей его столетия, кто действительно верил в прогресс. Даже в первом издании «Опыта» содержится то, что, по сути, является изложением естественной историей человечества, от ее примитивного начала через открытие одомашнивания животных, земледелия, торговли и до последовательного развития искусств, ремесел и наук, создавшего цивилизацию, по мнению Мальтуса, гораздо более высокую, при всех ее слабостях, чем все, существовавшие ранее. Есть много общего между подходом Мальтуса и подходом Кондорсе к историческому прогрессу человечества от прошлого к настоящему. Даже в первом издании было довольно много такого, на чем Мальтус, Годвин и Кондорсе могли бы легко сойтись. Различия, разумеется, тоже были разительными. Эпидемии, катастрофы и другие естественные механизмы контроля роста населения, существование которых в прошлом и настоящем признавали *все трое*, первоначально были для Мальтуса ограничителем, который всегда присутствовал и который должен присутствовать, чтобы уберечь Землю от громадных масс населения, которые могут привести лишь к бедствиям и регрессу, худшим, чем что-либо известное в прошлом. Именно это раннее убеждение Мальтуса, и только оно сформировало основной барьер на пути согласия между Мальтусом и Годвином, хотя, несомненно, даже более поздний, зрелый Мальтус отверг бы (и на самом деле отвергал) самые крайние выражения уверенности Годвина в счастливом будущем.

даже у Тюрго. Тем не менее Кант столь же известен своим интересом к прогрессу человечества и его исследованиями, как и другие его современники.

Первое предложение «Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» гласит: «Какое бы понятие мы ни составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако, признать, что проявления воли, человеческие поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими законами природы». И далее: «если бы [история] рассматривала действия свободы человеческой воли в совокупности, то могла бы открыть ее закономерный ход». То, что на первый взгляд кажется спутанными зарослями, состоящими их людей и действий, направленных на достижение несовпадающих целей, без плана или упорядоченной последовательности, превращается в «неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие... первичных задатков». Он говорит, разумеется, о человеческом роде. Согласно Канту, Бог играет определяющую роль в прогрессе, и здесь в его теории очевидно влияние идей Августина. И снова приходится вспомнить, что в XVIII веке, куда бы мы ни обратились, под «светской» идеей прогресса можно разглядеть религиозное происхождение.

По Канту, всем задаткам и способностям индивида или человеческого рода, данным природой, суждено, по его словам, «когда-нибудь... полностью развиться, и его [человеческого рода] назначение на земле будет исполнено». В человеке, единственном организме или существе на Земле, обладающем разумом, направление прогресса, охватывающего всю историю человечества, задано в сторону совершенства и все более свободного использования разума индивида.

«Природа не делает ничего лишнего и не расточительна в применении средств для своих целей. Так как она дала человеку разум и основывающуюся на нем свободную волю, то уже это было ясным свидетельством ее намерения наделить его [способностями]. Она не хотела, чтобы он руководствовался инстинктом или был обеспечен природными знаниями и обучен им, она хотела, чтобы он все произвел из себя».

Подобно тому, как Августин рассматривал конфликт в качестве действенной причины восхождения человечества ко все более высоким уровням, которые были изначально запланированы Богом, так и Кант рассматривает то, что он называет «антагонизмом». Человек обладает «недоброжелательной общительностью», утверждает он, и, хотя природа упорно побуждает его вести общественную жизнь, жить с другими людьми, та же природа наделяет человека сопротивлением общению, защитой своего «я» и своей воли от других, которая приводит к антагонизму, к недоброжелательной общительности. Без этого конфликта человеческая раса осталась бы пассивной, не совершила бы того, что совершила, и никогда не смогла бы достичь высших уровней достижений в будущем. «Без этих самих по себе непривлекательных свойств необщительности, порождающих сопротивление, на которое каждый неизбежно должен натолкнуться в своих корыстолюбивых притязаниях, все таланты в условиях жизни аркадских пастухов, [т.е.] в условиях полного единодушия, умеренности и взаимной любви, навсегда остались бы скрытыми в зародыше».

Как мы видели, объектом, движущей целью развития человечества было и будет достижение все более совершенных условий для реализации индивидуальной свободы. Эти условия, по Канту, носят политический характер. «Историю человеческого рода в целом можно рассматривать как выполнение тайного плана природы — осуществить... совершенное государственное устройство как единственное состояние, в котором она может полностью развить все задатки, вложенные ею в человечество». Так, Кант оказывается среди тех людей своего века и своей страны, которые способствовали наделянию идеи политического государства привлекательностью для современных интеллектуалов Запада. Будут и другие (к их числу относится Фихте), кто, беря за основу воззрения Канта, наделит его идеальное либеральное государство все более коллективистским, властным характером, который мы в изобилии встречаем в немецкой, преимущественно идеалистической философии XIX—XX веков. Но, признав все это, нельзя усомниться в весьма либеральной природе взгляда самого Канта на государство. На самом деле, тип государства, которое Кант

характеризует как справедливое, мало чем отличается от того, что мы встречали в размышлениях Тюрго и Адама Смита. Любое серьезное ограничение того, что Кант называет «гражданской свободой» индивида, объясняет он в точных терминах, может повлечь за собой вредные последствия для экономического благосостояния. Исходя из любых предпосылок — моральных, политических, а также экономических — индивиду должна быть предоставлена максимальная автономия личности во всех сферах жизни.

«...Когда препятствуют гражданину строить свое благополучие выбранным им способом, совместимым со свободой других, то лишают жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки уменьшают силы целого. Вот почему все более решительно упраздняется ограничение личности в ее деятельности, а всеобщая свобода вероисповедания все более расширяется».

Кант очень уважал Руссо и с благодарностью позаимствовал у него формулировку общественного договора, который должен лежать в основе справедливого общественного порядка. Но там, где Руссо стремился сделать заключения, главным образом, касающиеся природы и абсолютного характера «общей воли», а также, разумеется, равенства, Кант делает выводы, касающиеся автономии и свободы индивида. Ни в одной из существующих форм национального государства Кант не видит предшественника или модели для идеальной формы общественного строя. По Канту, восхождение, которое началось с примитивной стадии дикости, будучи порожденным лишь «недоброжелательной общительностью», которое прошло этап столь могущественных цивилизаций, как Греция и Рим, а ныне достигло высшей точки в лице современной западной цивилизации, — это восхождение продолжится до тех пор, пока не появится «Федерация наций». Это видение становится основой столь же знаменитого кантовского труда «К вечному миру» — проекта или предложения по объединению всех наций в одно великую и высшую ассоциацию, которая сделает невозможными войны между народами.

Насколько глубоким могло быть влияние перспективы прогресса на Канта, несмотря на встречающиеся время от времени сомнения и двусмысленности, можно понять из

следующих слов, почти французских по своему характеру: «...осмелюсь допустить, что так как род человеческий постоянно идет вперед в отношении культуры как своей естественной цели, то это подразумевает, что он идет к лучшему и в отношении моральной цели своего существования; и хотя это движение иногда прерывается, но никогда не прекратится».

Мне видится определенная доля иронии в том, что эти слова взяты из небольшой работы, озаглавленной Кантом, «О поговорке “может быть, это и верно в теории, но не годится для практики”».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Космополит, хотя и принужденный к этому событиями в Германии, насквозь пропитанный культурой Парижа, в котором он проживал с 1831 года, и который помог ему интеллектуально воспрянуть, Гейне все же остается немцем — одним из величайших немецких лирических поэтов. В Париже он некоторое время участвовал в движении сен-симонистов, и нет никаких свидетельств того, что обида и ощущение предательства со стороны отдельных интеллектуалов и современного ему хода событий лишили Гейне чувства оптимизма и веры в прогресс человечества, к которым столь сильно побуждало наследие Французской революции. Следующий краткий фрагмент в сжатом виде представляет убежденность Гейне в прогрессе: «Когда человечество вновь обретет полное здравие, когда будет восстановлен мир между телом и душой и они снова сольются в первоначальной гармонии, мы едва ли сможем понять неестественную вражду между ними, которую посеяло христианство. Более счастливые и утонченные поколения, которые, будучи зачатými в объятиях свободного выбора, расцветут в религии радости, грустно улыбнутся вслед своим предкам, которые угрюмо отказывали себе во всех удовольствиях этого мира... Да, я говорю это с уверенностью: наши потомки будут прекраснее и счастливее, чем мы. Поэтому что я верю в прогресс, я верю, что человечеству суждено счастье, и поэтому я лелею более великое понятие Божества, чем те набожные люди, которые воображают, будто человек рожден исключительно для страданий. Даже здесь,

на Земле я бы хотел с помощью благодатного дара свободных политических и производственных институтов основать это благоденствие, которое, по мнению набожных людей, будет дано только в Судный день, на небесах».

Не стоит сомневаться, что те «набожные люди», которых критикует Гейне, действительно существовали и существуют до сих пор. И все же жаль, что он не знал некоторых столь же набожных людей, вроде Лессинга, Шеллинга или Пристли, у которых искреннее религиозное — христианское — благочестие сочеталось с ожиданием будущего всемирного счастья на Земле, которое столь созвучно Гейне.

ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ

Милль больше всего известен сегодня своей работой «О свободе», вышедшей в 1859 году, и эта работа посвящена тому, что он называл «одним очень простым принципом» человеческой свободы. Милль пишет: «Принцип этот заключается в том, что люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения, что каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей: личное же благо самого индивидуума, физическое или нравственное, не составляет достаточного основания для какого бы то ни было вмешательства в его действие».

Гертруда Гиммельфарб в своем замечательном исследовании эволюции личного мышления Милля подчеркнула, что содержание абзаца, из которого взяты эти слова, разительно противоречит тому, что он писал в 1831 году в своем «Духе века». В этой работе Милль, оставаясь верным свободе, подчеркивал необходимость того рода ограничений свободы, который составляют в рамках социального порядка мораль, суждения мудрецов и людей, сведуших в вопросах общественного устройства.

Такие ограничения едва ли можно встретить в позднейшей работе «О свободе», хотя, если продолжить читать текст после абзаца, предписывающего «один очень простой принцип», мы увидим, что Милль не распространяет этот

принцип свободы на слабоумных, на несовершеннолетних (что, по Миллю, среди прочих исключает его применение ко всем студентам университетов) и, что интереснее всего, на народы, которые еще не развились до того уровня цивилизации, примером которого является Западная Европа. Более того, когда мы переходим к главе 3 этой работы, то обнаруживаем дальнейшие ограничения, установленные на применение «одного очень простого принципа». Например: «...Никто не станет утверждать, чтобы действия должны были быть так же свободны, как и мнения, а напротив, даже сами мнения утрачивают свою неприкосновенность, если выражаются при таких обстоятельствах, что выражение их становится прямым подстрекательством к какому-нибудь вредному действию... Индивидуальная свобода должна быть ограничена следующим образом: индивидуум не должен быть вреден для людей, но если он воздерживается от всего, что вредно другим, и действует сообразно своим склонностям и своим мнениям только в тех случаях, когда его действия касаются непосредственно только его самого, то при таких условиях по тем же причинам, по которым абсолютно необходима для людей полная свобода мнений, абсолютно необходима для них и полная свобода действий, т. е. полная свобода осуществлять свои мнения в действительной жизни на свой собственный страх» (курсив мой. — Р. Н.).

Достаточно очевидно, что такие выражения означают значительно бóльшие ограничения индивидуальной свободы, чем можно предположить из простого прочтения абзаца, формулирующего знаменитый принцип. С нашей точки зрения, самым интересным из всех ограничений свободы у Милля, которые он рекомендует в работе «О свободе», является то, что относится к народам в «отсталых общественных условиях». Он откровенен и прям: «Свобода не применима как принцип при таком порядке вещей, когда люди еще не способны к саморазвитию путем свободы; в таком случае самое лучшее, что они могут сделать для достижения прогресса, — это, безусловно, повиноваться какому-нибудь Акбару или Карлу Великому, если только так будут счастливы, что в среде их найдутся подобные личности.

Но как скоро люди достигают такого состояния, что становятся способны развиваться через свободу... тогда всякое принуждение, прямое или косвенное, посредством преследования или кары, может быть оправдано только как необходимое средство, чтобы оградить других людей от вредных действий индивидуума, но не как средство сделать добро самому тому индивидууму, которого свобода нарушается этим принуждением».

С точки зрения, господствующей в наши дни, т. е. в последней части XX века, нам следует быть готовыми к исключению Миллем немощных и слабоумных, и, вероятно, хотя и не обязательно, молодежи до достижения юридического совершеннолетия. Но «расы», находящиеся в «отсталом состоянии»? Откровенный деспотизм применителен к ним? Для нас эти ограничения, которые Милль налагает на свой знаменитый принцип свободы (которые можно воспринять как противоречащие его страстному воспеванию культурного разнообразия), станут неожиданными, если мы не будем знать, какое глубокое влияние имела идея прогресса на мышление Милля.

Дело в том, что принцип прогресса лежал в основе или подразумевался почти во всем, что писал Милль, хотя он, возможно, использует это слово куда реже, чем многие его современники. Знаменитая шестая книга «Системы логики» Милля, где он рассматривает метод, свойственный моральным и общественным наукам, не оставляет сомнений в его приверженности прогрессу. Он пишет: «Я убежден, что за эпизодическими и временными исключениями общей тенденцией была, есть и будет тенденция к улучшению, к лучшему и более счастливому состоянию... Для наших целей достаточно того, что имеют место прогрессивные изменения как в характере человеческого рода, так в его внешних обстоятельствах в той мере, в которой они формируются им самим; в каждую новую эпоху основные общественные явления отличны от тех, какими они были в предшествующую, и еще более отличны от всех более ранних эпох».

И немного дальше: «Прогрессивное развитие человеческого рода есть тот фундамент, на котором в последние годы был воздвигнут метод философствования в общественных науках, намного превосходящий два другие метода, доми-

нировавших ранее, — химический, или экспериментальный, и геометрический методы».

Насколько тесно уверенность Милля в прогрессе человечества была связана с его либерализмом, с его настойчивым требованием почти абсолютной свободы мысли и действия, можно понять из следующего высказывания, содержащегося в «Системе логики»: «На основании этих собранных доказательств мы оправданно можем заключить, что последовательность человеческого прогресса во всех отношениях в основном будет зависеть от последовательности прогресса в интеллектуальных убеждениях человечества, т.е. от закона последовательных трансформаций человеческих воззрений».

Но в преданности Милля принципу прогрессивного развития заключено гораздо большее: «С его помощью мы можем затем не только успешно заглянуть далеко в будущую историю человеческой расы, но и определить, какие искусственные средства и до какой степени могут применяться для ускорения естественного прогресса до тех пор, пока он благотворен... Такие практические указания, основанные на верхних ветвях спекулятивной социологии, сформируют самую благородную и благотворную часть политического искусства».

Милль был щедр на похвалы «Позитивной философии» Конта, опубликованной во Франции вскоре после написания «Духа века». Он полностью принял закон трех стадий Конта и следствия из него и согласился с Контом, что «анархия», которую наблюдали оба философа в интеллектуальной жизни Запада в начале XIX века, может быть прекращена только признанием реальности общественных наук.

Милль был настолько привержен *общим* законам исторического прогресса вроде тех, который подробно обрисовал Конт, что объявил, будто гениев следует считать вторичными по отношению к не индивидуальным, социальным или коллективным процессам, действующим в направлении прогресса общества. Признавая огромный вклад Ньютона, Милль все же утверждает, что, если бы Ньютона никогда не было, со временем явился бы другой Ньютон; или, что столь же важно, вклад Ньютона был бы восполнен медленно, постепенно и непрерывно следующими друг за другом

мыслителями, каждый из которых стоял бы ниже Ньютона по интеллекту, но постоянная, кумулятивная последовательность неизбежно сравнялась бы с его достижениями.

Мы нечасто думаем о Джоне Стюарте Милле (сыне Джеймса Милля и молодом ученике Бентама, которые оба полностью игнорировали историческое развитие и полагались исключительно на те причины и процессы, которые можно было вывести непосредственно из индивида, его разума и инстинктов) как о философе прогресса. Мы более склонны размышлять над дидактическими отрывками из его более знаменитых трудов, таких как «О представительном правлении», «О свободе» и «Утилитаризм», чем над длинными разделами «Логики», в которой Милль раскрывается как сторонник теории социальной эволюции и прогресса человеческого прогресса, идущего сквозь века, как и другие люди его столетия. Как я уже отмечал, Милль этим был глубоко обязан Конту так же, как другому французу, Алексису де Токвилю, он был обязан своим возрастающим интересом к добровольному объединению людей, уравновешивающему слишком жесткий индивидуализм, а также своим акцентом на общественное и культурное многообразие, местные традиции и децентрализацию как средство предотвращения политической централизации, стандартизации мышления и подъема усредненной массы.

Как мы узнаем из его «Автобиографии», Милль обнаружил, что в свои зрелые годы все более и более интересуется социализмом, и среди читателей Милля были те, кто был готов заявить, будто для него результат прогресса перестал состоять в максимуме личной свободы и стал означать социализм. Но, если взглянуть на содержание «социализма» Милля и, что так же важно, на границы, которые он ставит социалистическому вмешательству в свободу любого рода (в сфере собственности, доходов, предпринимательства, а также философской и политической мысли), становится очевидным, что Милля от настоящих социалистов того времени разделяет глубокая пропасть. Даже в последнем издании «Принципов политической экономии» он строго разделяет принципы и процессы, которые должны лежать в основе производства, с одной стороны, и распределения, с другой. Только в области последнего может иметь место

вмешательство в интересах бедных, говорит он, но ни в какой мере не в сфере производства. И даже в том, что касается распределения, хотя правительство может применять власть для создания соответствующих каналов или институтов, он «не может произвольно определять, как эти институты будут работать». Трудно серьезно воспринимать такой социализм, в рамках которого не может существовать прогрессивного подоходного налога, нет ограничений на производство и нет вмешательства в частную собственность любого вида или размеров, даже с помощью налога на наследство! Известно, что Милль, а также его жена Гарриет Тейлор надеялись, что огромное неравенство между индивидами, а также между странами, в конце концов, исчезнет с продвижением прогресса, и останется лишь то неравенство, которое естественно и созидательно. Но прямые и немедленные правительственные меры по достижению такого сокращения неравенства он считал бы абсолютно неприемлемым. Несомненно, существуют различия в подходах к социализму в первом издании «Основ политической экономии», опубликованного в 1848 году, и в третьем издании 1852 года. Милль в третьем издании гораздо более благосклонно относится к возможности совместного владения собственностью, в противоположность индивидуальному владению, и при этом к постоянной необходимости конструктивной работы. Он действительно хочет сказать, что, *если бы* выбор стоял между коммунизмом и текущим экономическим положением, когда во многих случаях отношение к трудящимся было слишком жестким, и у слишком многих вообще не было работы, он предпочел бы коммунизм.

Но необходимо отметить и помнить это важнейшее «если». Милль, с его безграничной уверенностью в непрерывности и неизбежности прогресса и с абсолютной верой в свободу индивида как важнейший механизм прогресса, ни на минуту не мог предположить, что отвратительные условия 1852 года будут длиться долго. Его человеческая реакция на нищенскую, жалкую и полную опасностей жизнь, которую вело множество людей его времени, подтолкнула его к размышлениям о преимуществах социализма. Но его убежденность в абсолютной необходимости

индивидуальной свободы и страх перед однородностью, единообразием, полным уравниванием населения, которые принес бы насажденный сверху и направляемый правительством социализм, были таковы, что он на деле никогда не мог бы подумать о чем-то большем, чем экспериментирование с маленькими добровольными коммунами с общей собственностью.

В экономическом мышлении Милля есть еще один элемент, который необходимо здесь упомянуть и который на первый взгляд может показаться противоречащим его приверженности и прогрессу, и индивидуальной свободе. Это его описание «стационарного состояния» в главе 6 книги 4 «Принципов». Необходимо учитывать, что это описание следует сразу после продолжительного рассмотрения «влияния общественного развития на производство и распределение», где Милль убедительно обосновывает гармонию полной свободы индивидов и прогрессивного развития общества. Тем не менее Милль находит возможным эмоционально и даже с энтузиазмом рассмотреть преимущества, которые люди могут однажды получить в обществе, которое не находится в постоянном расширении по критериям роста населения, приумножения экономических благ и т. п.

«Без сомнения, в мире, даже в старых странах, существуют возможности для значительного увеличения численности населения, если предположить, что и в дальнейшем производство будет продолжать развиваться для улучшения жизненных условий, а капитал — расти. Однако, даже если подобное увеличение численности не принесет вреда, я не вижу достаточно причин, чтобы стремиться к нему... Такая плотность [населения] может оказаться чрезмерной, хотя все будут иметь в изобилии продукты питания и одежду. Нет ничего хорошего в том, что человек вынужден постоянно находиться в обществе себе подобных. Мир, в котором искоренили одиночество, никуда не годный идеал. Одиночество, означающее, что человек часто остается наедине с самим собой, имеет решающее значение для достижения глубины мышления или развития личности, а одиночество перед лицом красоты и величия природы есть не только источник мыслей и надежд, возвышающих отдельного человека, вряд ли без него обойдется и общество в целом.

Если земля должна потерять ту огромную часть своего очарования, какую придает ей все то, что неизбежно должно исчезнуть в результате неограниченного роста богатства и населения, только ради того, чтобы прокормить возросшее число не лучших и не более счастливых людей, то я искренне надеюсь, что ради нашего будущего человечество удовлетворится своей неизменной численностью задолго до того, как необходимость заставит его сделать это».

Этот отрывок шокировал многих во времена Милля и продолжает шокировать тех из нас, кто на основании свидетельств человеческой истории верит, что ничто так не способствует процессам политического, социального и морального упадка, как прекращение экономического роста. Тщетно пытаться примирить Милля стационарного состояния с Миллем экономического прогресса, но надо сказать следующее. Даже в его излюбленных размышлениях об остановке материального прогресса и о возникновении стационарного состояния, независимость, автономия и интеллектуальная свобода индивида остаются самым главным оправданием такому состоянию.

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

Герберт Спенсер, бесспорно, — высшее воплощение либерального индивидуализма и идеи прогресса в конце XIX века. Ни до, ни после него никто не объединял так действительно философию свободы с философией прогресса и не скреплял так основательно первую с последней. Вся органическая эволюция для Спенсера должна рассматриваться как длительный процесс изменений, в котором «гомогенность» повсюду заменяется на «гетерогенность». Возведенная из царства живых организмов в царство социального, она превращается в эволюцию, или прогресс, движущуюся от монолитного, статичного и репрессивного типа к разнообразному, плюралистическому и индивидуалистическому типу социальной организации. Все формы авторитаризма — религиозного, кастового, расового, морального и политического — обречены на упадок и в конечном счете на исчезновение так же, как в физической и биологической сферах гомогенность неизбежно сменяется гетерогенностью. Такова в предельно сжатом виде философия прогресса и

свободы, которую представил миру Спенсер во второй половине XIX века, — и не только западной цивилизации, но и всему миру, включая Дальний Восток, где его идеи были в числе влиятельнейших теорий, пошатнувших древние доктрины и порядки.

Его приверженность личной свободе, рожденная из религиозного нонконформизма его семьи, возможно, предварила его интерес и преданность принципу космического прогресса. Мы знаем, что уже в 1842 году, в возрасте двадцати двух лет, Спенсер опубликовал в газете *The Nonconformist* серию статей в форме писем, которой он дал общее заглавие «Письма о надлежащей сфере деятельности правительства» (“Letters on the Proper Sphere of Government”). Из этих статей мы узнаем, что главная функция государства, независимо от формы правления — монархической, республиканской, демократической и т.д. — состоит в том, чтобы «не позволять одному человеку посягать на права другого». В этот период своей жизни Спенсер даже не позволил бы политическому государству в какой-либо степени надзирать за образованием, производством, религией, общественным здоровьем и санитарией и даже вести войну. Мало что отличает его философию государственного управления от более ранней философии Уильяма Годвина.

В этих ранних статьях берут начало все зрелые взгляды Спенсера на свободу. Он говорит в своей «Автобиографии» (*Autobiography*), что все размышления, которым суждено было появиться в работах «Социальная статика» (*Social Statics*) (1850) и «Личность и государство» (*The Man versus the State*) (1884) и сделать имя Спенсера во всем образованном мире символом либерального индивидуализма, выросли из того, что он писал в газете *The Nonconformist* в 1842 году. «Моя цель, — писал он, — это свобода каждого, ограниченная только подобной же свободой всех». И далее: «Каждый человек обладает свободой делать все, что он хочет, если он не посягает тем самым на такую же свободу какого-либо другого человека». Эти слова были написаны за девять лет до того, как Милль опубликовал свою работу «О свободе». Но если Милль смягчал свою защиту личной свободы принятием социализма добровольного типа в определенных сферах и в какой-то степени по-

терял веру в экономический рост и развитие общества, то Спенсер никогда, до самой смерти, не отступал ни на шаг. В работах Спенсера, посвященных человеческому поведению, упор везде делается на свободу отдельного человека, а все формы власти, соответственно, осуждаются. Мы видим это в его «Принципах морали» (*The Principles of Morality*), в «Образовании» (*Education*), «Социологических исследованиях» (*The Study of Sociology*), «Данных этики» (*The Data of Ethics*) и в самых знаменитых — в «Социальной статике» и в «Личности и государстве». Простого перечисления нескольких заголовков глав из последних двух работ достаточно, чтобы передать их общую тему: «Первоначальный источник основного начала» (свобода!), «Права на жизнь и личную свободу», «Право пользования землей», «Право собственности», «Право мены», «Право свободного слова», «Права женщин», «Права детей», «Право игнорировать государство». Это главы из «Социальной статике», и вслед за ними идет длинный раздел, где Спенсер эффективно сводит сферу применения государственной власти почти исключительно к защите только что перечисленных прав. Точно так же в «Личности и государстве» есть следующие заголовки глав: «Новый торизм» («либеральное» и «социалистическое» принятие государства как главной силы, обеспечивающей «социальную справедливость»), «Грядущее рабство» (политическое, во имя демократии и свободы), «Грехи законодателей» и «Великое политическое суеверие». В последней главе Спенсер показывает, как прежние всеобщие *религиозные* предрассудки человечества сменились в новое время такой же одержимостью политическим государством, как причиной и условием социального прогресса.

Если кому-нибудь захочется получить из единственной статьи точное и полное представление о либерализме Спенсера, нет лучшей работы, к которой можно обратиться, чем его замечательное и вместе с тем провидческое эссе «За пределами законодательства» (“*Over Legislation*”), первоначально написанное для *The Westminster Review* в июле 1853 года и позднее включенное в сборники опубликованных им эссе и статей. Эта статья одновременно и мощное утверждение свободы индивида как единственной свободы,

заслуживающей рассмотрения, и одновременно демонстрация присущей политическому государству неспособности эффективно или справедливо решать какие бы то ни было общественные или моральные проблемы. Именно второе он сделал главным предметом своего эссе, и основная его часть сегодня воспринимается как специально нацеленное на проблемы бюрократии уже в наше время. Он твердо верит, что правительство или правительственные учреждения неспособны планировать за всех жителей страны.

«...Когда я вспоминаю, как много моих личных планов потерпело неудачу, как спекуляции оказались неверными... как то, против чего я отчаянно боролся, считая несчастьем, принесло мне огромную пользу, в то время как то, чего я страстно добивался, принесло мне так мало радости, когда я это получил... Я поражаюсь слишком большой некомпетентности своего интеллекта, чтобы выдавать рецепты всему обществу.

Есть огромная нехватка этого практического смирения в нашем политическом поведении... Хотя мы больше не считаем, что наши религиозные верования безошибочны, и потому перестали их насаждать, мы не прекратили насаждать сонмы других верований столь же сомнительного рода. Хотя мы больше не прибегаем к принуждению людей ради их *духовного блага*, мы все еще считаем себя вправе принуждать их ради их же *материальных благ*, не видя, что одно так же бесполезно и неоправданно, как другое».

Далее на более чем пятидесяти страницах следует детальный, логичный, пошаговый анализ каждой функции, которую современное государство приняло на себя в ходе создания его институтов, от военного дела и отправления правосудия до всевозможных видов социального обеспечения. И делается здраво сформулированный и обильно проиллюстрированный вывод, состоящий в том, что в каждом из этих случаев цель не только не была достигнута, но, что еще хуже, были порождены новые пороки, худшие, чем те, ради исправления которых изначально создавалось соответствующее государственное законодательство.

«Это порок эмпирической школы политиков, которые никогда не заглядывают дальше, чем непосредственные причины и немедленные результаты... Они не учитывают,

что каждое явление связано с бесконечным рядом явлений, — оно есть результат мириад предшествующих явлений, и оно примет участие в порождении мириад последующих явлений. Потому они не обращают внимания на то, что, нарушая естественную последовательность событий, они не только изменяют следующий результат в последовательности, но и меняют все будущие результаты, на которые он повлияет как частичная причина. Происхождение явлений из последовательности предшествующих явлений и взаимодействие каждой серии со всеми другими порождает сложную систему, находящуюся полностью за пределами возможностей человеческого восприятия».

Анализ, даваемый Спенсером правительственной администрации, которая со временем станет широко известна как бюрократия, безжалостен, но по всем стандартам рациональности, включая стандарты, установленные Максом Вебером, является пронизательным и справедливым. «Чиновничья система», говорит он, медлительна, и тупа: «При естественном ходе вещей каждый гражданин стремится найти себе самую подходящую функцию... Но в государственных структурах фактически получается наоборот. Здесь, как всем известно, происхождение, возраст, закулисные интриги и лесть определяют отбор скорее, чем достоинства. «Семейный дурачок» легко находит себе место в церкви, если «семья» имеет хорошие связи. Молодежь, слишком плохо образованная для любой профессии, хорошо подходит на роль армейских офицеров. Седые волосы или титул — гораздо лучшая гарантия продвижения во флоте, чем любые способности...»

Чиновничья система по ее неизменной природе финансово «расточительна», «неадаптивна» и «продажна». Последнее непременно следует, утверждает Спенсер, из всех остальных болезней, присущих государственной бюрократии. Наконец, как отмечает Спенсер, государство, вторгаясь в многочисленные области, где оно не имеет возможности преуспеть, тем самым препятствует своей способности честно и эффективно выполнять две вещи, в которых только оно компетентно и для которых оно представляет ценность: защита индивидов от потенциальных агрессоров и отправление правосудия.

Вопреки расхожему представлению о том, что результатом страсти Спенсера к свободе явилось попустительство богатым и сильным (он несет ответственность за фразу, примененную им в ранних работах по эволюции, — «выживание сильнейших», которую хвалит и принимает Дарвин в «Происхождении видов»), в его работах присутствует сильная и настойчивая гуманитарная жилка. Никто больше Спенсера не был осведомлен о пороках своего времени, о спекуляциях и грабеже, о низведении множества способных трудолюбивых людей в класс бедняков, об ужасном расточительстве нуворишей и типичном для них крайнем пренебрежении положением остальных людей. Эссе Спенсера «Торговая нравственность» (“The Morals of Trade”), впервые опубликованное в 1859 году, — превосходное размышление над этими вопросами. Нельзя также сказать, что его приверженность личной свободе означала невнимание к социальным связям. В работе «От свободы к рабству» (“From Freedom to Bondage”) (1891) он говорит, что великой целью, к которой следует стремиться, является «добровольное сотрудничество», и что единственным действительно важным различием между обществами является разница между «теми, где человеку позволено делать то, что он лучше всего умеет делать своими собственными усилиями, и его успех или неудача зависит от его собственной эффективности, и теми, где человек назначается на свое место, работает под принудительным руководством и получает назначенную ему долю еды, одежды и крова». Он завершает свою книгу «Введение в этику» (*Inductions to Ethics*) наблюдением, что тем, кто смотрит назад на те изменения, которые произошли на протяжении тысяч прошедших лет, и вперед на те изменения, которые будут иметь место в течение тысяч будущих лет, «принесет удовлетворение созерцание человечества, так приспособленного к гармоничной общественной жизни, что все нужды спонтанно и с удовольствием восполняются каждым без вреда для других».

Настоящий ключ ко взглядам Спенсера на действительный источник общественных улучшений можно найти во фразе, которую он использует в эссе, которые мы упоминали выше, «За пределами законодательства»: *общественная жизненная сила*. Под этим он имеет в виду те разно-

видности энергии, которые спонтанно проявляются в людях, либо по одиночке, либо в добровольном объединении ради сотрудничества.

«Дело не просто в том, что общественной жизненной силе можно доверять... выполнение любого раздутого требования неким спокойным самопроизвольным образом, не просто в том, что, выполненное таким естественным образом, оно будет выполнено эффективно, а не небрежно, как при искусственных попытках, но в том, что, если оно не реализуется естественно, оно может не быть выполнено вообще».

Это, собственно, подводит нас ко второму великому принципу, содержащемуся в работах Герберта Спенсера: принципу адаптивной эволюции и прогресса. Его вера в индивидуальную свободу и ответственность, а также отрицание им всех искусственных форм принуждения и насилия (начиная с политического государства как такового, которое он считал не более, чем пережитком или продолжением существования примитивно-дикарской формы применения силы) не могли бы принять ту чистую форму пророчества, которую они приняли, не будь они связаны с верой в естественный прогресс и на самом деле основаны на ней. Есть свидетельства (подтвержденные в его «Автобиографии»), что открытие Спенсером того, что он называл «гипотезой развития», произошедшее задолго до публикации великой книги Дарвина, имело место примерно в то же время, когда он осознал необходимость свободы индивида и пагубность политического государства.

Едва ли существует книга и даже глава в многочисленных произведениях Спенсера, в которой каким-либо образом не использовалось то, что он назвал «законом прогресса», который для него, как и для других людей его века, был эквивалентен «закону эволюции». Обратимся, однако, к одному единственному эссе «Прогресс: его закон и причины», опубликованному в 1857 году. Сам Спенсер заявлял, что это самое раннее полное и систематическое изложение этого предмета и источник всего, что позже ему довелось написать в столь многих разных областях знания. В начале эссе один абзац в достаточной мере демонстрирует масштаб и цель работы: «Здесь мы намерены прежде

всего показать, что закон органического прогресса [который он только что описал, в значительной степени опираясь на работы немцев Вольфа и фон Бэра по биологии] — есть закон всякого прогресса. Касается ли дело развития Земли или развития жизни на ее поверхности, развития общества, государственного управления, промышленности, торговли, языка, литературы, науки или искусства, — всюду происходит то же самое развитие простого в сложное через ряд дифференцирований. Начиная с первых сколько-нибудь заметных изменений и до последних результатов цивилизации, мы находим, что превращение однородного в разнородное есть именно то явление, в котором заключается сущность прогресса».

На пятидесяти пяти страницах этого эссе Спенсер предлагает, по сути дела, краткое изложение трудов всей своей жизни в области геологии и биологии, а также в психологии и социологии. Куда бы мы ни взглянули, утверждает он, мы наблюдаем развитие или прогресс, определяемый как смена гомогенного (однородного) на гетерогенное (разнородное). Мы видим это в самом организме человека, видим это изменение во всем великолепии органической жизни на планете. Старейшие и простейшие формы жизни наиболее гомогенны, позднейшие и наиболее развитые открывают высокую степень специализации и пестрого многообразия. «Переход от однородного к разнородному одинаково проявляется как в прогрессе всей цивилизации, так и в прогрессе каждого народа и продолжается постоянно с возрастающей быстротой». Мы наблюдаем это изменение в каждом институте или общественной форме, но мы также видим его во всех институтах и формах, которые существовали в прошлом и продолжают существовать на всех стадиях эволюционного развития на Земле. Закон прогрессирующей гетерогенности, или дифференциации, «выказывающийся столь ясно в развитии социального организма, так же ясно выказывается и в развитии всех произведений человеческой мысли и человеческих действий, конкретных или абстрактных, реальных или идеальных».

Нет смысла подробно останавливаться на каждом примере, который Спенсер приводит в поддержку своего принципа эволюции или прогресса. Достаточно знать, что для

Спенсера этот принцип имеет космический характер и пронизывает все удаленные уголки планеты, жизни, человечества и общества. Он завершает свое эссе следующими словами: «Тогда можно будет видеть, что в каждом обыденном явлении, как и с самого начала вещей, разложение затраченной силы на несколько сил постоянно производило еще большее усложнение; что возрастание разнородности, произведенное таким образом, все еще продолжается и должно продолжаться еще далее, и что, следовательно, *прогресс не есть ни дело случая, ни дело, подчиненное воле человеческой, а благотворная необходимость*» (курсив мой. — Р. Н.).

Ни Св. Августин, ни Иоахим Флорский, ни даже кто-либо из миллениариев пуританской революции не обращался к идее необходимости, необходимого движения к заданной цели с большей и более догматичной уверенностью, чем это делает светский рационалист Спенсер в заключительных словах только что процитированного фрагмента. Причем провозглашение им необходимости прогресса не ограничивается лишь этим эссе. Эта идея была высказана почти теми же словами в «Социальной статике» несколькими годами раньше: «Следовательно, прогресс есть не случайность, а необходимость». Что касается самой этой мысли, он будет использовать ее до конца своих дней в почти бесконечных вариациях формулировок и стиля.

В «Социальной статике» подобная фраза следует за обсуждением того, что Спенсер называет «исчезновением зла». Все, что мы определяем как зло, пишет он, проистекает из «несовершенства», т. е. «неприспособленности к условиям существования». Но такова сила присущего всем формам жизни и культуры стремления к «приспособлению» или адаптации к необходимым условиям жизни, что, в конце концов, «всякая чрезмерность и всякая недостаточность должны исчезнуть, т. е. всякая неприспособленность должна прекратиться и всякое несовершенство должно найти свой конец». Спенсер продолжает следующим пылким и недвусмысленным кредо прогресса и свободы: «Окончательное развитие идеального человека логически достоверно, оно так же достоверно, как всякое другое заключение, которому мы доверяем безусловно... Опыт всех народов

и всех времен... убеждает, что органы, способности, силы, свойства всяких наименований растут от употребления и ослабляются от бездействия, потому выводится заключение, что то явление будет иметь место и впоследствии. И если это заключение несомненно, то не подлежит сомнению и сделанный из него вывод, что человечество, наконец, совершенно приспособится к условиям своей жизни».

Невозможно вспомнить имени, более глубоко уважаемого, более широко читаемого среди социальных философов и исследователей общества и более влиятельного в во множестве областей знания, чем имя Герберта Спенсера. Его влияние на общественные науки было огромным, и не в последнюю очередь в американских колледжах и университетах в последней четверти XIX века. Даже несмотря на то, что тот вид либерализма, который поддерживал Спенсер (основанного исключительно на увеличении и расширении свободы индивида и «общественной жизненной силы»), как мы увидим в главе 8, был, в конечном счете, подвергнут мутации благодаря таким людям, как Л. Т. Хобхаус и Дж. Л. Хобсон в Англии, а также Лестер Уорд и Торстейн Веблен в Америке во имя более широкого применения государственной власти для осуществления экономических и социальных реформ, известно, что все представители Нового либерализма опирались на Герберта Спенсера и восхищались им.

Сегодня мы скорее будем считать Спенсера одним из представителей «консерватизма», учитывая его безграничного предпочтения правительственного невмешательства и *laissez-faire* во всех возможных сферах, включая экономическую*. Но, вплоть до его смерти в 1903 году, репутация Спенсера по всему миру была какой угодно, но только не консервативной и не традиционалистской. Его слава и про-

* Автор здесь имеет в виду инверсию терминов, произошедшую в англо-саксонских, а затем и в других странах в течение XX века, когда «консерваторами» стали называть сторонников ограничения государственного вмешательства в экономику, а «либералами» — людей, выступающих за расширение государственного регулирования экономики и перераспределения доходов и богатства, а также за активное использование правительственной «социальной инженерии» для проведения разного рода «прогрессивных» реформ. — *Прим. науч. ред.*

изведения проникли в Восточную Европу (включая царскую Россию), и эти работы стали интеллектуальной опорой либерализма в этих странах, каким бы слабым и недолговечным он ни оказался. Если взять только один пример, задолго до того, как труды Карла Маркса попали в Венгрию, интерес к доктринам такого рода был пробужден, как это ни парадоксально, сочинениями Спенсера. В отдельных частях Ближнего Востока, в Индии, в Китае и в других не-западных странах имя Спенсера стояло в кругу самых почитаемых западных имен в кругах интеллектуалов, стремившихся проводить реформы образовательных, религиозных и государственных систем во имя увеличения личной свободы и рационализма. Японские и китайские деятели образования (точнее, те из них, кто стремился модернизировать устаревшие учебные программы) никак не считали Спенсера «консерватором». Его непреклонный рационализм, неугасимая вера в индивида и в добровольное сотрудничество, а также его убежденность в необходимости человеческого прогресса во всем мире в направлении еще более высокого уровня свободы придали ему в социальной и экономической сферах такое влияние, которое превзошел лишь Карл Маркс.

То, что начали Тюрго и Адам Смит, отцы-основатели США, Годвин и Милль, достигло у Спенсера наивысшей кульминации и величайшего воплощения. Никто с тех пор не добавил ни йоты к тому, что так красноречиво изложено в произведениях Спенсера: вера, что свобода необходима для прогресса и что цель прогресса, начиная с самого давнего прошлого и до самого отдаленного будущего, состоит в постоянно восходящем воплощении свободы.

ГЛАВА 7

ПРОГРЕСС КАК ВЛАСТЬ

В тот же самый период, когда личная свобода была провозглашена критерием и конечной целью прогресса, мы обнаруживаем совершенно иную ценность, также прославляемую как необходимое средство и цель прогресса, — это *власть*. Никогда (или очень редко) власть как таковая; не принуждение ради принуждения; не восхваление деспотизма как такового; но, тем не менее, власть.

Я имею в виду развитие в период с 1750 до 1900 года новых доктрин национализма и этатизма, а также утопизма и расизма. В каждой из этих доктрин власть связана с перспективой прогресса — всегда, разумеется, во имя некоего освобождения, некоего искупления или земного спасения. Едва ли раньше в истории встречалась власть такого рода, направленная не столько на ограничение или сдерживание человеческих действий, а на подчинение и формирование человеческого сознания. К числу главных имен этой традиции относятся Руссо, Фихте, Гегель, Сен-Симон, Конт, Маркс и Гобино.

Не следует думать, что эти мыслители были равнодушны или враждебны к свободе, по крайней мере к свободе, определяемой по-своему (и каждым из них по-разному). Руссо сделал свободу центральным предметом своего трактата «Об общественном договоре». Гегель мог написать: «История мира есть не что иное, как прогресс осознания свободы». Маркс от начала и до конца провозглашал потребность человека в восстановлении свободы, в освобождении от частной собственности, конкуренции, бюрократии, отчуждения и т.д. Сен-Симон, Конт и Фурье, среди прочих, отдали дань преданности человеческой свободе в своих утопиях. Даже в имевшем большое влияние «Опыте о неравенстве человеческих рас» Гобино (Joseph Artur comte de Gobineau, *Essai sur l' inégalité des races humaines*) мы встречаем высокую степень уважения к свободе мысли и действия, впрочем, связанной, как мы увидим, с единственной господствующей расой.

Между понятием свободы, которое мы обсуждали в предыдущей главе, начиная с Тюрго и заканчивая Гербертом Спенсером, и тем понятием, которое мы встречаем у разных авторов, о которых пойдет речь в этой главе, пролегает огромная пропасть. Для Тюрго или Спенсера свобода всегда и неизменно означала свободу *от* всякого рода угнетения, политического, религиозного и т. д., и свободу *для* развития личных задатков, сил и талантов с наименьшими ограничениями и даже при минимальном руководстве.

Идея свободы, представленная в теориях, которыми мы займемся на последующих страницах, совершенно иная. Свобода здесь неотделима от некоей предьявляемой общности — политической, социальной, расовой или иной — и от использования, если это необходимо, принуждения и строгой дисциплины. Только через более тесное и искреннее осознание себя органической частью абсолютного государства индивид сможет достичь, по мнению Гегеля, истинной свободы — «более высокой свободы», чем та, которую постулировал Адам Смит. Маркс объявил решающим условием для создания социализма и последующей переделки человека то, что он назвал «революционной диктатурой пролетариата. Абсолютизм составляет сущность «Нового христианства» Сен-Симона и четырехтомного описания позитивистского общества Конта — абсолютная власть ученых и промышленных технологов над людьми, власть «интеллектуалов» над «эмоционалами», как говорится в одном из наиболее откровенных высказываний Конта. Гобино и его многочисленные последователи считали свободу мысли нераздельно связанной с единственной великой расой на Земле — с германской расой. Когда эта раса будет очищена, защищена от генетических искажений и когда она будет абсолютно править миром, снова появится возможность для расцвета, причем на все более высоких уровнях, того рода цивилизации, которую мы ассоциируем индивидуальным творчеством.

У тех, кого мы разбирали в предыдущих главах, свобода всегда связана с индивидами, *такими, каковы они есть на самом деле*. Но у той группы мыслителей, которых мы будем рассматривать теперь, свобода неотделима от членства в некоем коллективе или общности — государстве, про-

летариате, расе и т.д. — и от создания *нового типа человека*, если необходимо, то посредством абсолютной власти. Такая точка зрения на власть вовсе не уникальна в современном мире. Ее зерна лежат в «Государстве» Платона. И, как напоминает нам аллегория Великого инквизитора у Достоевского, это и есть та власть, то понятие «свободы через власть», которое присутствует в некоторых религиях мира. Никто не описал этот вид власти красноречивее, чем Токвиль в своей «Демократии в Америке» (Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*), в знаменитой главе о том типе деспотизма, которого должны опасаться демократические народы.

УТОПИСТЫ

«Утопия, — писал Лешек Колаковский, — это отчаянное желание достичь абсолютного совершенства; это желание есть жалкий остаток религиозного наследия в нерелигиозных умах». Он также пишет: «Неосознанная платоническая вера в то, что сущность человечества может теоретически определяться таким образом, что экзистенциальные стремления и желания людей не играют никакой роли в этом определении, объясняет скрытую готовность утопической ментальности к принятию деспотических средств на пути к земле обетованной, даже несмотря на то, что многие авторы утопий (даже большинство из них) рассчитывали, что их мечты воплотятся без насилия или принуждения. В действительности только самые пронизательные утопические умы не стали уклоняться от признания необходимости насилия, чтобы привести человечество в рай».

Описание Колаковским утопической ментальности, особенно в том виде, в котором мы встречаем ее в XIX—XX веках, великолепно. Жаль, впрочем, что он не видит связи, которая может существовать, более того, явным образом существует между утопистским исповеданием и верой в разворачивающийся линейный прогресс на протяжении продолжительного прошлого. Он воспринимает утопический разум лишенным какого бы то ни было восприятия прошлого, кроме как чего-то злого и подавляющего, и лишенным понимания постадийного продвижения вперед из прошлого в настоящее. Для этой ментальности,

пишет Колаковский, «история рисуется как катастрофа... Существует радикальный разрыв между таким миром, какой он есть, и таким, каким он будет; необходим отчаянный прыжок, чтобы разделаться с прошлым, и тогда начнется новое время».

Но Иоахим и иоахимиты, «люди Пятой монархии» и *revolutionistes* конца XVIII века, такие как Сен-Жюст, а затем Бабеф, были способны сочетать веру в необходимость периода катастрофического насилия ради прихода золотого века на Земле с философией нарастающего постадийного прогресса от прошлого к будущему. Именно это можно сказать об утопистах XIX века. Сен-Симон, Конт, Маркс и другие утописты фактически были апокалиптиками и милленариями. Они пришли, чтобы пылать страстным рвением ради как можно более раннего наступления золотого века, как они его понимали, и каждый был готов использовать любую меру власти, необходимую для достижения выношенного в мечтах идеального общества. Но во всем XIX веке нет более верных и влиятельных интерпретаторов теорий прогресса как постадийного, неумолимого и необходимого продвижения человечества вперед из прошлого в будущее. Более того, их апокалиптические видения были объявлены (Сен-Симоном и Контом, а также Марксом) *научными*, в отличие от праздных утопий, которыми были озабочены другие, такие как Роберт Оуэн. Таким образом, утопизм в своем наиболее влиятельном виде является одновременно выражением власти и веры в прогресс.

РУССО

Руссо — утопист, хотя мы обычно не считаем его таковым. Книга «Об общественном договоре» представляет собой, по сути дела, труд законодателя. Именно в таких ярких и запоминающихся главах, как посвященные общественному договору, суверену, непогрешимости Общей Воли, законодателю, голосованию, цензуре и, возможно, в первую очередь, гражданской религии, мы видим, что на деле играет центральную роль в книге и в мышлении автора. И это не что иное, как *предписание*, ни в малом, ни в большом не отличающееся от того, что мы встречаем у Сен-Симона или Конта, не считая объема текста. Интерес, проявляемый

Руссо к политической власти в «Общественном договоре» и в более раннем «О политической экономии», — это интерес того рода, который лежал в основе политических утопий, начиная с Платона (которого Руссо превозносит как оказавшего наибольшее влияние на его мысль).

Руссо рано пришел к своему утопизму. В «Исповеди» он рассказывает, что в 1743 году, когда он служил в должности секретаря французского посланника в Венеции, он пришел к важному выводу, «что все в своей основе связано с политикой, и ни один народ, каков бы ни был его путь, не станет иным, чем его сделала природа его правительства». Нет свидетельств, что Руссо менял свои взгляды или отказывался от увлечения использованием власти в социальных и моральных целях. Он был буквально зачарован властью. Мы видим это в «Новой Элоизе»; все важное, что происходит в семье, есть результат закулисных действий зловещей фигуры Вольмара, настоящего *deus ex machina**. Это восхищение проявляется и в «Эмиле», где власть представлена учителем и его скрытым, но абсолютным господством над Эмилем. Следующие слова учителя (Руссо) выражают тот вид власти, который Руссо больше всего любил. «Вы даже не можете себе представить, каким послушным был Эмил в возрасте 20 лет... я, признаюсь, оставил ему ощущение независимости, но никогда он не был подчинен мне более полно, так как он подчиняется потому, что хочет этого».

Не власти боится Руссо, не ее он ненавидит, но *неравенство*. В истории политической мысли он являет собой образец совершенного эгалитариста. Стремление искоренить неравенство и установить равенство можно увидеть в трех рассуждениях и в «Общественном договоре». В первом из рассуждений, где говорится об искусстве и науке, а также об их испорченности и развращающем влиянии, он заявляет, что неравенство есть корень зла. Во втором рассуждении, которое я вскоре разберу более подробно, мы видим эволюционистское толкование, имеющее целью показать, как первоначально возникло неравенство. Содержание треть-

* Букв. «бог из машины» (*лат.*); в театральном искусстве — новый персонаж, своим неожиданным вмешательством приводящий к искусственной, неправдоподобной развязке. — *Прим. науч. ред.*

его рассуждения, посвященного политической экономии (которое было написано для «Энциклопедии» по просьбе Дидро) от начала и до конца является тот тип политического порядка, который потребуется для уничтожения неравенства во всех его формах. В этом рассуждении встречается многозначительная фраза: «Если это хорошо — уметь использовать людей такими, каковы они есть, — то еще много лучше — сделать их такими, какими нужно, чтобы они были; самая неограниченная власть — *это та, которая проникает в самое нутро человека и оказывает не меньшее влияние на его волю, чем на его поступки*» (курсив мой. — Р. Н.). И в том же рассуждении: «Вы желаете, чтобы осуществилась общая воля? Сделайте так, чтобы все изъявления воли отдельных людей с нею сообразовались, а так как добродетель есть лишь соответствие воли отдельного человека общей воле, то, дабы выразить это в немногих словах, *установите царство добродетели!*» (Курсив мой. — Р. Н.)

Стоит ли продолжать, чтобы доказать утопизм мышления Руссо и его одержимость властью? Мне будет довольно трех еще более кратких примеров, взятых из «Общественного договора». Во-первых, заметим, что заглавие не имеет ничего общего с тем типом общественного договора, о котором писали Гоббс, Пуфендорф, Локк и другие, и который представлял собой действительный или гипотетический пакт, заключенный между людьми, а также между ними и правителем в отдаленном прошлом. Для Руссо общественный договор — это соглашение или завет, которое люди должны заключить, если они собираются войти в его спасительное политическое государство. Здесь нет никаких благоглупостей о правах или свободе. Должно произойти «полное отчуждение каждого члена ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины». За этим идет то, что Руссо называет «сущностью» общественного договора (он выделяет курсивом всю эту фразу): «Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого». Совершенно очевидно, что в утопии Руссо нет места правам и свободе отдельного человека!

Не то чтобы он позабыл о свободе. Вскоре после вышеприведенного отрывка идет его предписание в духе Ликурга: «Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что *его силою принудят быть свободным*» (курсив мой. — Р. Н.). Другие оправдывали абсолютную власть во имя порядка и защиты от вспышек гоббсовского природного состояния. Руссо был первый, хотя и не последний, кто по сути дела *определил* абсолютную власть как свободу.

Насколько радикальным был утопизм Руссо, можно увидеть в еще одной цитате, взятой из знаменитой главы «О законодателе». Он здесь говорит вовсе не об обычном законодателе.

«Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого... Одним словом, нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других».

С такой же страстью это требование будет выдвигать Комитет общественного спасения будущей революции, а также Сен-Симон, Конт и Маркс и, не в последнюю очередь, те, кто в 1917 году занялись созданием нового советского человека.

Теперь обратимся к Руссо как к теоретику прогресса. Зададим вопрос: какое отношение имеет его приверженность к абсолютной и преобразующей власти к идее прогресса? Знаменитое второе рассуждение «Каково происхождение неравенства между людьми и о том, и допускается ли оно естественным законом?» ярко высвечивает Руссо как теоретика прогресса, хотя в других его работах, включая «Об общественном договоре», мало свидетельств его прогрессистского эволюционизма. Это рассуждение во всех смыслах слова представляет собой предположительную историю или, как предпочитал ее называть Руссо, «гипотетическую историю», аналогичную по структуре любой другой

гипотетической или естественной истории, написанных Адамом Смитом, Адамом Фергюсоном, а до них — Тюрго. По содержанию рассуждение одновременно относится к сфере антропологии, этнологии, социологии, экономики и политики — все, разумеется, облачено в эволюционистские термины, присущие устоявшейся идее развертывающегося прогресса.

Прежде чем описывать эту замечательную работу, укажем читателю на два момента, которые обычно понимают неверно. Первое: Руссо *не* давал рекомендации человеку убегать от цивилизации ни по каким причинам, в том числе и по тем, которые он выдвигает в первом рассуждении о наблюдаемых им упадке и разложении искусств, науки и культуры. Второе: он *не* предлагал возвращаться к естественному состоянию. То, что он на самом деле рекомендовал в третьем рассуждении, т.е. «Об общественном договоре», и других работах, это полное преобразование политического сообщества в качестве средства преобразования всей культуры, всей человеческой природы.

Целью гипотетической истории Руссо было показать, во-первых, то, как человеческое общество достигло своего настоящего уровня упадка и разложения, и, во-вторых, то, почему в деле восстановления добродетели и, в первую очередь, равенства можно рассчитывать лишь на политическое переустройство самого радикального рода. Подобно тому, как Адам Смит, чтобы подчеркнуть значение своих рекомендаций по созданию правильной экономики, основанной на естественной свободе, считал себя обязанным показать *естественный* путь прогресса в экономических делах и то, как общество сошло со своего естественного пути, так же поступает и Руссо, только в отношении равенства, а не свободы как цели и идеала. Далее мы приводим необходимый краткий пересказ содержания второго рассуждения Руссо.

Изложение начинается с природного состояния, имевшего место до появления каких бы то ни было институтов. Естественный человек, свободный от всякой взаимозависимости, включая брак, блуждал по местности, собирая пищу с кустов, деревьев и земли, вступая в связи с противоположным полом ради воспроизведения себе подоб-

ных, защищая себя хитростью от свирепых животных, укрываясь в пещерах или других естественных убежищах и сохраняя здоровье во многом из-за невежества или неизбежного отсутствия зависимости от роскоши, а также лекарств, доступных в современной жизни. В итоге, пишет Руссо, мы видим в человеке в своем исходном состоянии «...животное, более слабое, чем одни, и менее проворное, чем другие; но при всем этом оно наилучшим образом организовано. Я вижу его удовлетворяющим жажду у первого же ручья, находящим свою постель в корнях дерева, которое дарит ему также и пищу, — вот как удовлетворяет он свои нужды».

Представляется ли это естественное состояние, описанное Руссо, столь манящим, что перед перспективой возвращения в него невозможно устоять? Несомненно. И во времена Руссо, и сегодня, многие предлагали вернуться туда. Но, как я отмечал, Руссо вовсе не относится к их числу. Даже утверждая, что существование этого роскошного и восхитительного природного состояния подтверждается ссылками на имевшиеся в то время этнографические данные с Карибских островов и из Венесуэлы, Руссо, тем не менее, противостоит любой идее такого возвращения.

Для человечества невозможно, утверждает Руссо, оставаться в естественном состоянии, каким бы счастливым оно ни было в сравнении с нашим временем. Причина тому — инстинкт, глубоко укорененный в природе человека: инстинкт самосовершенствования. Именно «способность к самосовершенствованию... при помощи обстоятельств постепенно развила все остальные наши свойства, присущие всему виду, а также индивидууму...» Тюрго в самом начале своей сорбоннской речи о прогрессе за пять лет до этого противопоставлял человека, обладающего инстинктом самосовершенствования и способного сохранять в своей культуре каждое новое достижение ума, низшим органическим существам, каждое поколение которых вынуждено начинать с той же отметки, что и все предыдущие. Такое же противопоставление приводит Руссо.

И вновь рамки этой книги не дают нам возможности подробно рассмотреть одно из самых примечательных этнологических эссе XVIII века. Впрочем, подчеркнем, что

Руссо шаг за шагом, этап за этапом проводит нас через обретение человечеством моральных чувств, устного и письменного языка, общественных связей, включая семью, деревню и даже «нацию», множество других элементов культуры, которые возвышают человека над всеми другими существами биологического мира. Все это, признает Руссо, потребовало долгих веков развития, с неизбежными пробами и ошибками, с неминуемыми периодическими откатами назад. И все же прогресс человечества продолжался. Чем более просвещенными становились люди, тем более трудолюбивыми они делались. Они изобрели утварь и оружие, построили лачуги, в которых можно жить. «Это была эпоха первой революции, которая учредила семьи, провела меж ними различия и ввела собственность...» Все стало меняться. «Люди, которые дотеле бродили в лесах, перейдя к более оседлому стилю жизни, постепенно сплотились, образовали отдельные группы, и со временем в каждой стране возникла своя нация, объединенная характером и нравами». А теперь, ключевой абзац: «Чем больше мы размышляем об этом, тем больше мы видим, что такое состояние было менее подвержено революциям и *во всех отношениях было лучшим из того, что мог испытать человек*, так что он мог расстаться с этой моделью только из-за какой-то роковой случайности, которой ради общественного блага никогда не должно было произойти» (курсив мой. — Р. Н.).

Что же это была за роковая случайность, которая отклонила ход прогресса, продолжавшегося «бесчисленные века»? Говоря кратко, это был возникновение неравенства. Но что привело к нему? Во-первых, распространение того, что Руссо называл «сочетаниями, роковыми для невинности и счастья». Какое-то время люди были довольны своими «деревенскими хижинами», «одеждой, сделанной из шкур животных», и тому подобным: «...[И] до тех пор, пока они делали только то, что мог выполнить один человек, и ограничивали себя такими искусствами, которые не требовали совместного труда нескольких рук, они жили свободной, здоровой, честной и счастливой жизнью... Но с того момента, когда один человек начал нуждаться в помощи другого... равенство исчезло, появилась собственность, работа стала

необходима, и огромные леса стали щедрыми полями, которые человек должен был поливать потом со своего лба, и где зародились и проросли с урожаем рабство и несчастья».

Земледелие и металлургия вместе с частной собственностью, говорит нам Руссо, обозначили очевидное начало порабощения человека, потерю равенства и счастья, которые выжили в ходе прогресса человечества, шедшего через развитие морали, языка, мышления, знаний и всех необходимых материальных удобств. Но в этом упадке человеческого существования гораздо важнее земледелия или металлургии как таковых было *наличие частной собственности в сочетании со взаимной зависимостью, от которой люди не смогли освободить себя*. Руссо позволяет нам сделать вывод, что, если бы земледелие и металлургия развивались в рамках тех отношений, которые характеризовали самую лучшую и счастливую стадию человеческого прогресса, исход мог бы быть иным.

В конце концов, все эти классовые, национальные и территориальные конфликты обусловили необходимость создания политического государства.

«Таким образом, богатый человек, подталкиваемый необходимостью, задумал в итоге самый основательный план, который когда-либо приходил человеку в голову: использовать в своих интересах силу тех, кто нападал на него... дать им другие институты, столь же благоприятные для себя, сколь неблагоприятными был естественный закон... Все бросились сломя голову к своим цепям, надеясь защитить свою свободу...

Таково было или вполне могло быть происхождение общества и закона, который наложил новые путы на бедных и дал новую власть богатым, который необратимо разрушил естественную свободу, навеки закрепил закон собственности и неравенства, преобразовал хитроумную узурпацию в неизменное право и ради преимуществ для немногих амбициозных индивидов подчинил все человечество вечному труду, рабству и отчаянию».

Такова теория человеческого прогресса Руссо, соединенная с его описанием того, каким образом человечество отклонилось от своего прогресса. Таково его эволюционистское объяснение жадности, алчности и эксплуатации,

которые он осудил в первом из трех своих рассуждений. И таков фон, избранный им для представления картины того огромного труда, который необходим для освобождения человека от мук и тирании, порожденных отклонением от курса прогресса: картины, которую мы уже имели возможность изучить в начале этой главы, т.е. построения формы правления, основанной на Общей Воле», которая даст человеку преимущества цивилизации, развившейся до «роковой случайности» возникновения неравенства, и в то же время освободит его от уз рабства, созданных частной собственностью и неравенством.

«Эта трудность, — пишет Руссо в самом начале главы «Об общественном соглашении», — может быть выражена в следующих положениях: “Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личность и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде”».

Ответ Руссо на эту проблему — один из самых смелых и творческих в истории политической мысли: политический порядок, свободный от всех уз или отношений, за исключением тех, которые проистекают непосредственно от государства, которое само по себе основано на суверенной Общей Воле и не зависит ни от каких прав и свобод индивидов, чей отказ или «отчуждение» от этих прав и свобод есть условие вхождения в спасительное государство. Этому политическому монолиту придана святость при помощи «гражданской религии» с обязательными «догматами»: «Если же кто-либо, признав уже публично эти догматы ведет себя, как если бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью; он совершил наибольшее из преступлений: он солгал перед законом».

В следующем столетии сторонникам ни крайних левых, ни крайних правых взглядов, очевидно, не нужно было далеко ходить за оправданием возведения в абсолют власти над жизнями отдельных людей. Неудивительно, что самые пламенные якобинцы и санкюлоты (и Бабеф главный среди последних) во времена высшего накала Французской революции читали Руссо. И Декларации прав человека и

гражданина, и декретам о дехристианизации, и Террору — всему можно найти красноречивое и простое обоснование у Руссо, предпринявшего геркулесово усилие, чтобы вернуть человечество на путь прогресса с помощью политической силы и ловкого обмана.

СЕН-СИМОН

Любопытно, что всей схожести стремлений и взглядов Руссо и Сен-Симона никакой любви со стороны последнего к первому не наблюдалось, а была лишь ненависть к Руссо, а также к другим лидерам французского Просвещения, за исключением Кондорсе и Тюрго. С точки зрения Сен-Симона (а также Конта), именно набор просветительских идей — «лживых и несправедливых идей» — в сочетании с радикальным законодательством Великой Французской революции поверг Западную Европу в то, что и Сен-Симон, и Конт считали глубоким недугом, болезнью духа, которая стала непосредственной причиной их ухода в философию прогресса, а затем — в утопизм.

«Будущее принадлежит нам», — заявил на смертном одре Сен-Симон, окруженный учениками. Будучи в высшей степени активным человеком, он все же мыслил в терминах исторической неизбежности. «Наша цель — всего лишь действовать неизбежному и объяснять его», — однажды написал он. Рожденный в добропорядочной католической семье, очевидно, глубоко верующий в юности, а затем обратившийся на несколько лет к идеям, усвоенным от философов и некоторых умеренных революционеров, Сен-Симон, учитывая его характер, по-видимому, неминуемо должен был вернуться к религии в той или иной форме. И он действительно вернулся к тому, что назвал *Новым христианством*, — религией, полной ритуалов, догматов и церемоний, но по сути бывшей сочетанием технологии и социологии, которым Сен-Симон посвящал свои весьма страстные и мессианские усилия в последние годы жизни.

В мышлении Сен-Симона нет ничего от Просвещения, за исключением превознесения разума, хотя и в другом смысле. Он питал отвращение к идеям личной свободы, равенства и народного суверенитета на том основании, что ни одна из них не сочеталась с научным переустройством

общества. Более того: каждая из них, утверждал он, была продуктом своего времени — Века Разума, когда критический анализ и даже разрушение общественного порядка возобладали в мышлении над более позитивными идеями построения нового общества.

Нет никакого сомнения в мощи разума Сен-Симона и о широте его образованности. В начале своей послереволюционной карьеры он привлек внимание таких светил, как Огюстен Тьерри и Огюст Конт, и нет ни малейших сомнений, что некоторые из основных идей Конта (чтобы не сказать — большинство) восходят к Сен-Симону; Сен-Симон, возможно, был прав, назвав вероломным и неблагодарным Конта, бывшего еще молодым человеком, когда эти двое резко и навсегда порвали друг с другом. И после того, как Тьерри и Конт оставили Сен-Симона, он привлек еще больше молодых людей (едва ли хоть один из них был старше тридцати пяти лет), по большей части имевших хорошую подготовку в области физических наук, включая инженерное дело и математику. Среди них был Анфантен, сын банкира и выпускник Политехнической школы, которому суждено было встать во главе сен-симонистов после смерти учителя в 1825 году и который после постепенного угасания сен-симонистской веры стал одним из крупнейших промышленников Франции. Среди других, кто присоединился к Сен-Симону, были математик Родригес, хирург и исследователь в области медицины Бюше, а также банкиры и финансисты Д'Эйшталь и братья Перейр. Не все были учеными или предпринимателями. Были газетные репортеры, художники и интеллектуалы из кофеен. Общим для них были, во-первых, глубокая вера в Сен-Симона как в харизматическую личность и мыслителя и, во-вторых, полное согласие с Сен-Симоном в том, что человечество ожидает славное будущее, построенное на достижениях науки, технологии и промышленности.

Как заметил Льюис Коузер, у французских интеллектуалов того времени существовала явная потребность подвести разумные основания под ощущение беспорядка, отчуждения и нездоровья, которые они чувствовали повсюду в Европе. Будучи неспособными принять традиционные религии или вернуться к средневековому прошлому (к чему

призывали в то время некоторые), они нашли убежище там, где видели высшие достижения человеческого прогресса: в науке и новом индустриально-технологическом веке, который создается наукой. Коузер пишет: «Они предвидели, что новый устойчивый порядок заменит царящую вокруг анархию, но этот порядок будет воплощать науку и прогресс — божества, которым поклонялись в Политехнической школе и других научных учебных заведениях. Для них были священны и наука, и промышленность, но наисвятейшей задачей было новое объединение Франции и сплочение воедино всех ее граждан».

Власть в этом воображаемом новом обществе, которое должно было стать продуктом не только энтузиазма Сен-Симона и его учения, но и, что гораздо важнее, законов исторического прогресса, должна была стать абсолютной. Да, она должна быть гуманной — т.е. посвящать себя благосостоянию всех людей, как бедных и простых, так и богатых, и успешных, и прежде всего вдохновляться научными знаниями, — и все же абсолютной. Точно так же, как нет места «свободе мысли», когда речь идет о законах математики или физики, так и в обществе, управляемом учеными, промышленниками и другими людьми, действующими на основе истинных знаний, нет места такого рода старомодному либерализму.

То, к чему на деле призывало «Новое христианство» Сен-Симона, означало высшую власть, сосредоточенную в руках парламента абсолютно нового типа, состоящего из трех палат. Первая должна быть «Палатой изобретений», состоящей из ученых, изобретателей, а также поэтов, художников, архитекторов, писателей и скульпторов. Лишь эта палата могла предлагать законы, вводить проекты повышения народного благосостояния и вообще обеспечивать необходимую инициативу. Вторая — «Палата исследований». Физики, математики, а также эрудиты, наделенные значительной властью критического исследования, будут составлять эту палату парламента. Третья палата будет иметь отношение к исполнению законов и проектов, представленных первой палатой, изученных и одобренных второй, и будет состоять преимущественно из бизнесменов, банкиров и промышленников.

После падения Наполеона Сен-Симон усилил попытки привлечь последователей. Он основал ряд периодических изданий — *L'Industrie*^{*}, *L'Organisateur*^{**} и *Système industriel*^{***}; эти названия весьма очевидно показывают миссию и содержание журналов, успех которых был умеренным. В статье за статьей (из которых одни принадлежали перу Сен-Симона, другие — его ученикам) проповедовалось, что новое общество должно быть общенациональным по масштабу (а не состоять из небольших образований) и по возможности максимально открытым в классовом отношении. Не то чтобы Сен-Симон хоть на мгновение уверовал в равенство: подобно Платону, лишь он хотел дать возможность лучшим, независимо от их происхождения, по возможности быстро подняться к лидерству и участию в абсолютной власти над страной; абсолютная власть, разумеется, должна быть основана на научных законах. Исходя из возможных достижений своего «Нового христианства», Сен-Симон предсказывал исчезновение раз и навсегда голода, нищеты, болезней и войн. Посредством новой науки, которая, как он полагал, возникнет прямо из существующих физических и биологических наук и будет называться «социальной физиологией», появится возможность найти основные законы социального равновесия или организцизма, и, применяя их, привести социальный порядок как таковой к высшему из возможных уровней.

Сен-Симон не пренебрегал и нуждами рабочего класса. На смертном одре он сказал своим ученикам, что грядущий золотой век человечества будет в первую очередь результатом законов общественного развития, но также и итогом объединенных усилий рабочего класса, которые тот предпримет, когда осознает свои собственные интересы. Если Маркс с презрением отвергал любую мысль о непролетарских революционных классах, то Сен-Симон хотел неразрывной гармонии рабочего класса с классами ученых и предпринимателей. Было и еще одно важное различие между Сен-Симоном и Марксом. Страх и ненависть

* Промышленность (франц.). — Прим. науч. ред.

** Организатор (франц.). — Прим. науч. ред.

*** Промышленная система (франц.). — Прим. науч. ред.

Сен-Симона к насилию, которое он наблюдал во время Французской революции, что привело его к категорическому отвержению любого насилия, даже ради воплощения в жизнь заветного «Нового христианства».

При всем энтузиазме, с которым Сен-Симон относился к переменам, и при его преклонении перед секулярным будущим, в его работах есть значительная доля консерватизма, что он признавал и сам как в отношении источников, так и в отношении содержания. Он первый из новой породы послереволюционных социологических утопистов (ему впоследствии вторил Конт) открыто отдавал дань европейским консерваторам, чьи идеи были порождены резкой реакцией на Просвещение и революцию. Среди прочих Сен-Симон выражает свое уважение Бональду, де Местру и Шатобриану за их «глубокое понимание» необходимости социального порядка и его природы. Да, они были католиками, монархистами и благожелательно относились к наследственной аристократии. Сен-Симон — нет. Но, читая его «Новое христианство», невозможно не увидеть сходство *структуры* его воображаемой утопии и структуры католического христианства, почитаемого консерваторами. В содержании, а не в форме лучше всего видны различия между Сен-Симоном и консерваторами, и он это прекрасно осознавал.

Маркс и его последователи относились к Сен-Симону с некоторым презрением из-за «утопического» характера его «социализма» и из-за всего того, что Марк рассматривал как неисторический, неэволюционный и потому ненаучный метод Сен-Симона. Но все обстоит наоборот. Провозглашенная Сен-Симоном новая наука «социальной физиологии» (которую Конт переименовал вначале в «социальную физику», а потом в «социологию») имеет дело не только с вопросами структуры и организации (т.е. статики), но и с вопросами динамики, то есть развития и прогресса общества. Именно Сен-Симону, а не Конту мы обязаны панорамным видением истории и прогресса наук, где каждая новая наука исходит из предыдущей и становится наукой в полном смысле слова лишь тогда, когда ее предшественница стала определенной и точной наукой. *Социальная физиология*, которую высоко

разрушительных воздействиях на предшествующие органические периоды каждая из них имела свою отличительную, уникальную черту, играющую роль во всех внутренних взаимоотношениях.

Именно как сторонник теории социальной эволюции и необходимости прогресса от прошлого к настоящему, Сен-Симон мог высказать слова, процитированные в начале этого раздела: «Наша цель — всего лишь содействовать неизбежному и объяснять его». Лаконичнее не выражались ни Маркс, ни другой пророк прогресса. Можно применять к Сен-Симону эпитеты, так часто употреблявшиеся биографами и историками: фанатик, зилот, милленарист, утопист, апокалиптик. Но мы не сможем и близко подойти к пониманию истинной природы утопического оптимизма Сен-Симона, пока не поймем, что за этим оптимизмом лежит в целом все то же видение неизбежно развивающегося человечества, которое мы обнаруживаем у Маркса и других мыслителей того века, бесконечно восхищенных своими собственными «научными» работами, которые сами они «утопиями» не считали.

Главная идея состоит в том, что абсолютная власть, которой в воображении Сен-Симона будут когда-нибудь обладать ученые, естествоиспытатели, инженеры и промышленники над гражданами, тем самым осуществив, наконец, золотой век, будет установлена, как представлял себе Сен-Симон, в результате неизбежного действия все тех же законов исторического прогресса, которые он выявил в своей «Социальной физиологии» и которые привели человека к его современному состоянию.

«Воображение поэтов поместило золотой век у колыбели человеческого рода. Им бы следовало назвать этот век железным. Золотой век не позади, но впереди нас. Это совершенство социального порядка. Наши отцы не видели его, наши дети когда-нибудь достигнут его, а мы должны расчистить им путь».

Итак, «расчистить путь». Значительная и даже большая часть социальных реформ и революционных стратегий XIX века ставила именно эту цель. «Путь» не нужно было строить. Его неуклонно строили законы прогресса. Требовалось лишь расчистить этот путь от искусственных помех.

ОГЮСТ КОНТ

Безусловно, Конт смотрел на проблему именно так. У Конта мы видим сложную многоэлементную смесь. Его «Позитивная философия» вышла между 1830 и 1842 годами и почти сразу прославила его как одного из величайших мыслителей Европы. Мы уже отмечали, что такой проницательный критик, как Джон Стюарт Милль, фактически позаимствовал рецепты Конта касательно метода социальной науки, сделав их содержанием одной из книг своей «Логики», где рассматриваются «моральные», т.е. общественные науки. Какой бы существенной ни была роль Сен-Симона в формировании современной систематической социологии, отцом этой дисциплины с самого начала считался именно Конт, фактически придумавший и само это слово. Для Конта социология была, по сути дела, единственной общественной наукой. Политическая экономия, социальная психология и другие общественные науки должны были играть служебную роль в рамках единой великой науки о человеке — социологии. Сложно найти более *вдохновенную* наукой книгу, чем «Позитивная философия» с ее тщательно упорядоченным обзором истории всех наук, с размещением этих наук в иерархическом и логическом порядке относительно друг друга, с развернутым финалом, содержащим план того, что Конт вначале назвал социальной физикой, а затем социологией, которая должна сделать в социальной или гуманитарной сфере ровно то же самое, что астрономия, физика, химия и биология сделали в своих сферах. Это впечатляющая книга, и таковой ее сочли сразу после публикации. К тому времени, когда его книги начали выходить из-под печатного станка, Конт уже был знаменит благодаря лекциям, которые он читал в Париже, тем самым заранее публично заявляя многие конструктивные положения своей «Позитивной философии», лекциям, которые привлекли внимание лучших умов не только Парижа, но и всей Европы. Таким образом он приобрел достаточно широкое признание как ученый, или, по крайней мере, как научно ориентированный философ.

Это одна ипостась Конта. Но в этом же теле обитало и другое могущественное существо: пророк, мессия, спа-

ситель человечества от «анархии», которую Конт видел повсюду в социальном ландшафте Европы и во всем мире. Франк Мануэль нашел в «Позитивном государстве» (этот громадный труд, который Конт опубликует через двадцать лет после выхода первой работы, посвящен детальной характеристике будущего истинно позитивистского общества, каким оно станет, когда принципы Конта будут в достаточной мере приняты учеными и гражданами) показательную ссылку на Иоахима Флорского. С явной гордостью Конт называет Иоахима одним из своих мессианских предшественников. В другом месте Мануэль указывает на упомянутое Контом в третьем томе «Позитивного государства» нервное расстройство, интеллектуальный срыв, умопомрачение, которое он пережил в 1826 году, до публикации сциентистски ориентированной «Позитивной философии». За этот год сумасшествия, говорит нам Конт, он получил нечто большее, чем интеллектуальное знание о справедливости своих фундаментальных научных принципов, в первую очередь, принципа трех стадий человеческого развития; он пришел к пониманию наднаучной истинности своих принципов и зашел так далеко, отмечает Мануэль, что описал регресс, который он испытал в тот год, — обратную последовательность, в ходе которой его разум вернулся от позитивного назад к метафизическому, религиозному и даже фетишистскому мировоззрению. За регрессом, пишет Конт, последовало исцеление, в ходе которого разум вернулся через три состояния, от религиозного обратно к позитивному или научному. Очевидно, этот рассказ Конта гораздо более соответствует тому, что мы встречаем в мировой литературе, посвященной мессианству, чем миру науки или рационалистической философии. Внимательное прочтение «Позитивной философии» Конта, а также опубликованных им в 20-е годы XIX века эссе, которые предшествовали этой работе, делает более чем очевидным то, что душа эсхатологического, мессианского мыслителя была уже сформирована — душа, которая лишь усилила то свое свойство под воздействием различных влияний, включая краткосрочную, но оказавшую глубокое влияние связь с Клотильдой де Во, чья смерть в 1846 году, по-видимому, завершила полное превращение Конта в ре-

лигиозно-пророческую фигуру, которой он стал ко времени своей смерти в 1857 году.

Объединяет этих двух Контос вера в прогресс в прошлом, настоящем и будущем. С юности Конт был одержим мыслями о том, что Запад находится в состоянии кризиса, что в Европе царит страдание и духовные муки, что христианство утеряло духовный и интеллектуальный авторитет, каким обладало когда-то, что первостепенная из всех нужд состоит в новой системе мышления, которое было бы для современного мира тем же самым, чем было христианство для времен позднего Рима и Средневековья. В эссе Конта 1820-х годов часто упоминается в той или иной форме то, что сам он называл «духовной анархией». Эта анархия воцарилась в результате ряда сильных ударов, которые нанесли Западу Реформация, Просвещение и, наконец, Французская революция. Творцы революции и философы были убеждены, говорит Конт в этих эссе, в необходимости лишь политической перестройки, тогда как абсолютно необходима была перестройка *духовная*. Многие читатели «Позитивной философии» в XIX веке, включая Джона Стюарта Милля, ошибались, сочтя эту книгу исключительно интеллектуальным, рационалистическим и научным предприятием. Конт хотел, чтобы она стала таковым, но вместе с тем он стремился сделать ее тем корпусом принципов, которые, сколь бы они ни были рациональны и абстрактны, окажут на людей *моральное* и *духовное* воздействие.

«Позитивная философия» по структуре является искусным (хотя и ошибочным) историческим синтезом физических и биологических наук в Западной Европе с древних времен и далее. Целью Конта было показать в исторической перспективе, что человеческий ум прошел прогрессивный путь развития через три стадии: теологическую, метафизическую и, наконец, позитивную, т.е. научную. На первой стадии все объяснения даются в терминах божеств, на второй — посредством обращения к абстрактным духовным началам или сущностям, без эмпирической основы, а на третьей стадии объяснения становятся истинно научными, укорененными в изучение природы и открытие ее законов.

Каждая из основных наук прошла эти три стадии, за исключением науки об обществе. Большая часть книги, т.е. первые четыре тома, демонстрирует, каким образом каждая из наук (астрономия, физика, химия и биология — именно в таком порядке; Конт не приемлет существование психологии как дисциплины или науки) проходила через эти три стадии. Он стремится показать, что только тогда, когда дисциплина в этом целостном процессе вступала в свою третью, т.е. научную стадию, для науки, следующей за ней в иерархии, появлялась возможность постепенно достичь *своей* позитивной стадии. Так, согласно Конту, должна рассматриваться не только иерархия наук, но и историческое происхождение одних наук от других. Физика не могла стать научной до тех пор, пока таковой не стала астрономия, и только когда физика стала настоящей наукой, для химии явилась возможность перейти на третью, или научную стадию. То же самое относится и к биологии.

Эта идея прогрессивного порождения одними науками других и есть ключ к стратегии Конта. С ее помощью он смог объявить, что как только биология, хронологически последняя наука, стала при жизни Конта истинной наукой или достигла своей третьей стадии, для изучения общества стало возможным (неизбежным) обратиться в истинную науку, т.е. перейти от «метафизической», или второй стадии к позитивной, или научной стадии.

Какова будет суть новой (и *единственной*) социальной науки? В заключительных двух томах своей работы Конт с редким мастерством и проницательностью обрисовывает эту науку, которая одновременно является венцом и неизбежным итогом истории наук на Западе. Подобно остальным наукам, социология будет поделена на две широкие сферы статики и динамики. В первой сфере предметом социологических исследований будет природа порядка, стабильности и равновесия в обществе. Вторая, динамическая сфера, в которой Конт, очевидно, заинтересован куда больше, будет изучать прогресс, т.е. его законы, стадии, причины и проявления.

Как и в случае множества других мыслителей, сыгравших роль в истории идеи прогресса, Конт был убежден, что открывателем «закона прогресса» является именно он.

Другие, особенно деятели эпохи Просвещения, лишь указали ему путь. Как я уже упоминал, Конт является автором распространенного убеждения в том, что в античном и средневековом мире не было вообще никакой идеи прогресса, что ее начало отыскивается в Споры о древних и новых, а ее первое опытное подтверждение относительно общества в целом — в работах Тюрго и Кондорсе. Конт восхваляет этих двоих (и нескольких других) философов Просвещения за их «пионерский» труд в области, которую он называет социальной динамикой. Он также превозносит, как это делал Сен-Симон, и католических консерваторов своего времени — Бональда, де Местра и Шатобриана — за постановку во главу угла принципов порядка, чего никогда не делали ни Просвещение, ни революция. Объединение принципов порядка и прогресса в один главенствующий закон Конт полагает своим исключительно важным вкладом в мир знаний.

«Никакой настоящий порядок не может быть установлен и тем более не может существовать продолжительное время, если он не является полностью совместимым с прогрессом; и никакой великий прогресс не может быть достигнут, если он не стремится к укреплению порядка... Поэтому главной особенностью позитивной социальной науки должно быть соединение этих двух условий, которые будут двумя постоянными и неотделимыми аспектами одного и того же принципа... Идеи порядка и прогресса в социальной физике столь же совершенно неотделимы, как идеи организации и жизни в биологии».

Конт все время настаивает на том, что концепция прогресса как неизменного научного закона принадлежит исключительно созданной им новой дисциплине — социологии. Как я уже отмечал, он щедро цитирует авторов, начиная с раннего Нового времени, способствовавших выработке полезных предварительных формулировок прогресса. Помимо тех, кого я уже упомянул, свою долю похвал получили Паскаль, Боссюэ и Лейбниц. Все они, по словам Конта, имели общую черту — осознание того, что человеческая история линейна, что она проходила через стадии или эпохи, что она больше всего напоминает интеллектуальное развитие отдельной личности. Эта аналогия, которая, как мы

видели, появилась еще у римлян и затем была подхвачена и сделана ключевой для *мировой истории* Св. Августином, стала таким же важным элементом в мышлении Конта, как и в работах любого его предшественника.

Я, пишет Конт, «рассмотрю продолжающуюся последовательность человеческого развития применительно ко всему роду, как если бы человечество было едино». Сам Св. Августин не сказал об этом лучше!

«Таким образом, истинный общий дух социальной динамики состоит в понимании каждого из этих последовательных социальных состояний как необходимого результата предыдущего и неотъемлемого двигателя следующего; согласно аксиоме Лейбница, *настоящее велико своим будущим*. По этому восприятию, цель науки — открыть законы, которые управляют этой последовательностью, и совокупность которых определяет курс человеческого развития. Короче говоря, социальная динамика изучает законы последовательности, а социальная статика исследует законы одновременного существования; так что применение первой состоит в снабжении политической практики истинной теорией прогресса в то время, как вторая выполняет ту же функцию в отношении порядка; и эта применимость для нужд современного общества является убедительным подтверждением философского характера такой комбинации».

У Конта нет и тени сомнения в том, что прогресс и развитие, или эволюция, есть одно и то же. Улучшение неизбежно, потому что оно проистекает из процесса развития.

«Мне представляется, что улучшение столь же бесспорно, как и развитие, из которого оно проистекает... Если взять человеческую расу в целом, а не какой-либо отдельный народ, то представляется, что развитие человечества приносит с собой постоянно возрастающее усовершенствование, причем двоякое: во-первых, в коренных условиях существования человека, о чем никто не спорит, и, во-вторых, в его соответствующих способностях, что привлекает гораздо меньше внимания...»

Взгляд Конта на полноту и органическую непрерывность абсолютно тот же, который мы встречали постоянно в европейской мысли о прогрессе, начиная с древних греков и, не

в последнюю очередь, в Средние века, хотя Конт и не ведал об этом. Написанное им могло принадлежать перу Аристотеля или Фомы Аквинского, а также Лейбница, у которого, вероятно, Конт и перенял это представление. «Придерживаясь нашего относительного, в отличие от абсолютного, взгляда, мы должны заключить, что общественное состояние, рассматриваемое в целом, должно быть в каждый период времени настолько совершенным, насколько позволяют наличные условия человечества и его окружения. Без этого взгляда история будет непостижима...»

Все это относится к Конту как теоретику законов прогресса и позитивному *философу*. Теперь пришло время обратиться ко второй стороне Конта, тесно связанной с первой: к Конту-утописту, творцу «Позитивного государства». Именно этой работе Конт дал подзаголовок «Трактат по социологии», и во многих отношениях она именно таковым и является. Здесь, особенно во втором томе (труд вышел в четырех томах, 1851—1854 годах), он излагает довольно много пронизательных идей, относящихся к «позитивной» теории общества и каждой из его составных частей. Многие из этих идей почти в неизменном виде перешли в современные общественные науки. Но истинная цель этой книги, написанной в период, когда Конт буквально до неистовства верил в позитивизм и в близящуюся реализацию основанного на нем общества, состояла в том, чтобы показать, какой могла бы быть — точнее, какой *будет* — жизнь в этом обществе. Мало есть на свете утопий, выписанных столь подробно, как утопия Конта. В ней обрисовано все: начиная с ритуалов и церемоний Религии Человечества (которой, по Конту, является позитивизм в его религиозной, а не научной форме) и заканчивая формой одежды ученых и простых людей.

Не упущена ни одна деталь. Начинается изложение с позитивистского, реформированного календаря с тринадцатью укороченными месяцами, каждый из которых носит имя великого философа или ученого прошлого (а не имена, «произведенные от языческих предрассудков»), с должным образом отмеченными позитивистскими праздниками и торжествами. Описывается точная структура и функционирование позитивистской семьи, и следует заметить, что

для Конта такая «утопическая» семья по природе должна быть патриархальной. Женщины тем не менее не забыты. Позитивистское общество впервые ознаменует окончательную эмансипацию женщин и их вхождение в сообщество любви, товарищества и разума. Очень подробно описывается позитивистское образование, начинающееся в семье и продолжающееся в школе, университете или институте. Трудно вспомнить хоть одну сторону жизни, которую не затронул Конт, во всех случаях с фанатичным жаром изображавший суть структуры или процесса, которые будут иметь место в позитивистском обществе.

Впрочем, в наибольшей степени его интересует природа иерархии и правящего класса. Конту вообще чужды индивидуалистские, либеральные идеалы Просвещения. Он презирает то, что называет «метафизическими догмами» свободы, равенства и народного суверенитета. Как я отметил выше, он находился под сильным влиянием консерваторов своего времени — Бональда и других. Он видел необходимость в порядке, стабильности и, превыше всего, — в «духовном авторитете». Конт произносит поразительную фразу относительно индивидуализма, называя его «болезнью западного мира». В другом месте он делит общество на «интеллектуалов» и «эмоционалов». Нужно заботиться об огромной массе людей, относиться к ним гуманно, давать все возможности подняться по социальной и экономической лестнице, но глупо, доказывает Конт, ожидать, что истинный суверенитет будет принадлежать народу в целом. Действительная власть в позитивистском обществе должна находиться в руках тех, кто будет возглавлять позитивистскую религию, т.е. *социологов*, чье положение будет точно таким же, какое занимала Священная коллегия кардиналов в Средние века. Конт и не пытается скрыть или замаскировать свое восхищение Средними веками и средневековой Церковью. Он был рожден в глубоко католической, монархической, традиционалистской семье, и, хотя он порвал со всем этим в юности и фактически никогда уже не возвращался к католицизму или к монархизму, невозможно не видеть влияние, которое оказала на ум Конта ранняя церковная вера. Позитивизм, говорит он на одной из страниц, — это христианство, избавленное от предрассудков и

преобразованное в поклонение Великому Существу, которое есть общество и человечество. Не зря один острослов описал утопию Конта как средневековый католицизм минус христианство.

Как и его ранний наставник Сен-Симон, Конт полностью принимает индустриализм. В позитивистской иерархии выше промышленников будут стоять только священники-ученые. Все главные решения будут приниматься этими двумя классами, хотя верховная власть, абсолютная и окончательная по характеру, будет принадлежать ученым, истинным вождям позитивистского общества. Религиозный, если не сказать средневековый, склад ума Конта раскрывается в его утверждении о *двух* властях, существующих в этом обществе: политической и духовной. И они должны быть разделены точно так же, как это было или должно было быть в Средние века. «Особая цель “духовной власти” состоит... в руководстве общественным мнением, т.е. в установлении и поддержании принципов, которые должны главенствовать в разнообразных общественных отношениях... Ни одна социальная общность не может находиться вне влияния этой “духовной власти”. Ее главной задачей, однако, является верховное руководство в сфере образования». Подобно всем прочим религиозным пророкам и самопровозглашенным мессиям, Конт, очевидно, относился с должным уважением к ключевой роли образования. Руссо (к которому Конт относился с отвращением) утверждал в своем третьем рассуждении жизненно важную роль образования, которое, согласно Руссо, влекло за собой централизацию и монополию, вплоть до рекомендации отменить семью. Конт не отменяет семью в своей утопии, вовсе нет! Семья должна быть патриархальной и в своей сфере иметь абсолютный характер. Но как только дети достигают определенного возраста, образование под контролем семьи заканчивается, и на смену ему приходит образование под руководством ученых-священников.

Альберт Саломон в своей «Тирании прогресса» (Albert Salomon, *Tyranny of Progress*) подчеркивает сочетание духовного, абсолютного и спасительного в видении будущего у Конта. Конт, говоря о прогрессе (в «Позитивном государстве»), «надеялся возродить католическую Вселенную

смысла. Реконструируя модели власти и подчинения, он хотел предоставить индивиду новое систематическое духовное начало, которое займет место религиозной святости».

Нет ни малейшей причины полагать, что, если бы Конт прожил дольше и нашел возможность взять своих учеников с собой на новый континент и найти там микрокосм позитивистского общества, он бы воздержался от всякого вида принуждения и дисциплины для воплощения основных принципов, выдвинутых им в «Позитивном государстве». Для него, как и для большинства самопровозглашенных мессий, не существовало реальных границ в страсти преобразования эсхатологии в работу по практической переделке общества и человечества.

КАРЛ МАРКС

В наше время существует очень мало интеллектуальных странностей (а может, их и нет вообще), которые были бы более ярко выражены, чем взгляды тех марксистских ученых Запада, которые стремятся отделить Маркса от эволюционно-прогрессивистской традиции XIX века. Ни у одной фигуры этого века перспектива неизбежного, необратимого и поэтапного прогресса к золотому веку на Земле не выражена более очевидным образом, чем в ключевых работах Маркса. Для тех, кто сегодня верует, что «настоящий» Маркс — это Маркс так называемых парижских рукописей и фрагментов, написанных в начале и середине 1840-х годов, что «настоящий» Маркс оставался заинтересованным в освобождении индивидуального «я» от отчуждения, явившегося результатом возникновения частной собственности, полезно процитировать здесь весьма поучительные слова Льюиса Фейера (Lewis Feuer). Я уверен, что Фейер окончательно доказал, что, хотя Маркс никогда *не* обращался к Дарвину с просьбой о разрешении посвятить ему какой-нибудь том «Капитала», он, бесспорно, находился под глубоким впечатлением от «Происхождения видов» Дарвина, объявив, что эта книга дала ему (Марксу) «естественно-научную основу для классовой борьбы в истории». Более того, как подчеркнул Фейер, Маркс в предисловии к «Капиталу» в 1867 году ясно высказался, что он смотрит на эволюцию общества как на «естественноис-

торический процесс». Как заключает Фейер, «классовая борьба, основанная на биологических побуждениях, предельно далеко отстоит от взгляда на историю, согласно которому ее главная движущая сила состоит в человеческом стремлении реализовать свою сущность».

С точки зрения Маркса, сходные черты между его «Капиталом» и знаменитой работой Дарвина должны представляться очевидными. Главной целью «Происхождения видов» была демонстрация сущностного *процесса*, т.е. естественного отбора, предполагающего нескончаемый конфликт внутри видов за выживание, и точно так же, с точки зрения Маркса, главным вкладом его «Капитала» был синтез и достижение научной неопровержимости всего, что он писал раньше о конфликтах между классами. Прежде он представил миру приблизительный набросок пути социального прогресса и многократно ссылался на исторический процесс как на историю классовой борьбы. В «Капитале», который Маркс считал своей главной работой, он сосредоточил внимание на том, что классовая борьба может рассматриваться как *неизбежный* процесс внутри «вида», каковым является капитализм; необходимость этой борьбы обусловлена динамическим диалектическим взаимоотношением элементов капиталистической системы. Он неоднократно и более или менее *ex cathedra** повторял, что крах капитализма неизбежен из-за внутренних разрушительных сил, и социализм, а затем и коммунизм — такие же неизбежные стадии развития в будущем. Первостепенной, главной целью «Капитала» было показать в мельчайших подробностях реальное действие неизбежных процессов, приводящих к разрушению капитализма.

Говорят, что Ленин однажды заявил, что «Капитал» нельзя полностью понять без изучения «Науки логики» Гегеля, и в этом он подошел очень близко к повторению того, что написал сам Маркс в предисловии ко второму изданию «Капитала», где он ярко и красноречиво высказался о том, что значили для него гегелевские принципы развития. Маркс утверждает, что его диалектический метод является «прямой противоположностью» гегелевского,

* Здесь: непреерекаемо, авторитетно (лат.). — Прим. науч. ред.

общественного процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества».

Невозможно обнаружить в мысли XVIII или XIX веков какую-либо формулировку принципа необходимого прогресса, имеющую более позитивный характер, чем только что приведенная. По форме и содержанию она абсолютно ничем не отличается от законов прогресса, которые мы находим у таких мыслителей, как Кант и Кондорсе, и которые в следующем разделе мы встретим у Фихте, Гегеля и многих других. То «отчуждение», которое Маркс в ранние годы своей писательской деятельности считал неизбежным условием человеческого духа, пока существует частная собственность, должно было получить окончательное разрешение (хотя примерно после 1846 года Маркс никогда вновь не упоминает отчуждение как таковое) через действие необходимых, «железных» законов исторического развития, ведущих человечество через различные этапы к окончательному переходу в совершенное состояние коммунизма, который, как мы вскоре увидим, был кратко описан Марксом в «Критике Готской программы».

Счастливым состоянием, которое принесет людям будущее, увлекательно описывается Марксом в «Немецкой идеологии», написанной совместно с Энгельсом в 1845—1846 годах. Маркс и Энгельс описывают неизбежно порабощающее воздействие, оказываемое разделением труда на людей в капиталистическом обществе, — воздействие, которое требует от каждого человека выполнения некоей малой, в высшей степени специализированной роли в производственном процессе, и тем самым не позволяет ему использовать все свои способности и вести спонтанную, разнообразную и потому интенсивную жизнь. Коммунистическое общество, «где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли», будет совершенно

другим. В условиях, когда при коммунизме общество в целом регулирует общественное производство, я могу «делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком».

Такие идиллические мысли не являются характерными именно для Маркса, но они все же присутствуют и занимают свое место среди прочих утопических мечтаний XIX века. Гораздо более характерно для Маркса и Энгельса обсуждение, которое следует вскоре после процитированного фрагмента. Я имею в виду обсуждение ключевой, определяющей реальности борьбы между *классами* в истории и иллюзорной природы всякой борьбы, имеющей чисто политический характер, — «между демократией, аристократией и монархией, борьбы за избирательное право и т.д.» — и неизбежном появлении, а затем господстве пролетариата, подобно тому, как и прежде в истории появлялись, господствовали, а затем исчезали другие классы. Насколько универсальным, почти космическим по природе является и должен быть прогресс к коммунистическому идеалу, видно из следующих строк: «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное “сразу”, одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения... Пролетариат может существовать, следовательно, только *во всемирно-историческом смысле*, подобно тому, как коммунизм — его деяние — вообще возможен лишь как “всемирно-историческое” существование. А всемирно-историческое существование индивидов означает такое их существование, которое непосредственно связано со всемирной историей...»

В словах Маркса живет дух Св. Августина и многих других христианских эсхатологов. Борьба между Градом Божьим и Градом Человеческим, согласно Св. Августину, имеет жизненно важное значение для итогового всемирного восхождения человечества ко спасению. Такова для Маркса борьба между классами, которая продлится до тех пор, пока пролетариат не уничтожит все другие классы и

затем, с развитием коммунизма, не прекратит свое существование как класса. Он растворится в эгалитарном целом того общества, в котором, цитируя слова из его «Критики Готской программы», «исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе со всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком...» Впервые за всю историю люди смогут жить по идеалу, «каждый по способностям, каждому по потребностям».

Насколько серьезно Маркс относился к сформулированному им «закону движения» общества, к утверждению о неизбежности того, что каждое общество следует лишь с небольшими вариациями «нормальным», единственным путем прогресса, можно понять по небольшой работе о британском владычестве в Индии. Он говорит о том, как англичане разрушали древние традиции индийцев, и описывает, как все завоеватели этой страны, за исключением англичан, не сумели проникнуть глубже политической поверхности индийского общества и оставили незатронутыми семью, деревенскую общину и касты. Англичане управляли «при помощи грубого вмешательства британского налогового инспектора и британского солдата», а также через экономическую и политическую эрозию индийских властей и общин для достижения действительной трансформации индийской цивилизации. Маркс смотрит на это с двух сторон. Он может ссылаться на искоренение индийских традиций и сообществ как на «противное... человеческим чувствам» и на «мириады трудолюбивых патриархальных и неагрессивных социальных организаций, дезорганизованных и разложенных на составные части, брошенных в море бед...» Но с учетом приверженности Маркса философии человеческого прогресса, необходимого и линейного прогресса, он также видит, что в долгосрочном плане англичане оказывают Индии большую услугу. Он пишет: «Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила

тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию».

В «Манифесте Коммунистической партии» и во многих других работах Маркс подчеркивал прогрессивный характер человеческой истории, от примитивной дикости через варварство, рабство и феодализм к капитализму. Когда в 1877 году было опубликовано «Древнее общество» Льюиса Генри Моргана (Lewis Henry Morgan, *Ancient Society*), где делается вывод, что все культуры прошлого и настоящего «связаны друг с другом столь же естественной, сколь необходимой последовательностью прогресса», то Маркс с Энгельсом ухватились за эту работу, сочтя этот плод антропологического воображения консервативного нью-йоркского юриста абсолютным подтверждением взглядов на прогресс, которые долгое время исповедовали они сами. (Книга Моргана в сочетании с современными ей трудами Эдуарда Б. Тайлора в Англии может рассматриваться как действительное основание систематической дисциплины антропологии. Тайлор, как и Морган, был убежден, что панорама прошлого человечества демонстрирует абсолютный, непрерывный и необратимый прогресс).

Есть еще одно выражение прогрессизма Маркса, которое следует процитировать из-за его значимости. Оно встречается в первоначальном варианте «Капитала», на русском языке опубликованном как «Экономические рукописи 1857—1858 гг.» (К. Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*). Оно имеет отношение к поэзии, к которой Маркс испытывал тягу на протяжении всей жизни. Но, подобно Вико, Маркс рассматривал истинно великую поэзию прошлых эпох как отражение ментальности, рожденной из «детства человечества», которую человечество давно переросло в ходе прогресса, ведущего ко все более высоким состояниям сознания. Но разве это причина презирать поэзию, спрашивает Маркс? Ни в коей мере. Общественное развитие подобно развитию индивида от детства к зрелости. Взрослый человек не может снова

стать ребенком. «Но разве его не радует наивность ребенка, и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизвести присущую ребенку правду?.. И почему историческое детство человечества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?.. Обаяние, которым обладает для нас [греческое] искусство, не находится в противоречии с той неразвитой ступенью, на которой оно выросло». Напротив, именно примитивное (в сравнении с современным миром) состояние Древней Греции позволило появиться искусству, которое на нашей развитой стадии истории больше не может возникнуть естественным путем. Одним словом, прогресс не должен отнимать у нас возможность наслаждаться плодами воображения, принадлежащим более ранним стадиям развития, и относиться к ним с уважением.

Теперь перейдем от прогрессизма Маркса к той цели, которую он формулировал для будущего человечества, т.е. к социализму, а впоследствии к истинному коммунизму, который возникнет в результате непрерывного общественного и интеллектуального развития. Нигде Маркс не показывает нам картину своего идеального общества, которую можно было бы просто сравнить с тем, что выдвинули Конт и множество других утопистов его века. Маркс публично выражал презрение ко всем формам «утопического» социализма, будь то в форме проектов или реальных поселений, как в случае с американскими детищами мечтаний и расчетов Этьена Кабе и Шарля Фурье. Но это несколько не опровергает глубокого интереса Маркса к будущему золотому веку. С ранней юности первое место в его сознании занимало преобразование мирового сообщества и человеческой природы. Он до конца своей жизни гордился тем, что был ученым-обществоведом, первым *истинным* ученым, и именно эту самооценку Энгельс с уважением отметил в своем надгробном панегирике Марксу. Но биографические факты неоспоримы: задолго до того, как Маркс начал думать об обществе в терминах науки, он посвятил себя преобразованию общества, которое должно было начаться с отмены частной собственности, конкуренции и прибыли. Может быть, «Капитал» Маркса и был «наукой», по край-

ней мере в глазах его последователей, но эта книга стремится показать и утвердить именно множество утопических надежд, которые Маркс обрел, будучи еще очень молодым человеком. Короче говоря, марксизм — это в точном смысле слова утопизм, при всем презрении Маркса к утопизму; утопизм, разумеется, дополненный, как и у Сен-Симона и Конта, того рода философией истории, которая возвышала его над утопизмом Мора или Бэкона.

Маркс был прекрасно осведомлен, по крайней мере в пожилом возрасте, о тех способах применения абсолютной власти, которые потребуются для достижения социализма. По-прежнему существует небольшое количество людей, которые полностью отрицают, что Маркс был абсолютистом в своем понимании власти, но основная причина отказа анархистов и многих социалистов немарксистского толка того времени принять марксизм состояла в коллективистском, централизованном применении политической власти, которое было заложено в его доктринах. Возможно, наилучшим образом марксова приверженность власти выражена в его знаменитой «Критике Готской программы»:

«Возникает вопрос: какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами: *какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним государственным функциям?* (курсив мой. — Р. Н.)

Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*».

Эти слова Маркс написал в поздний период своей жизни, когда он, по-видимому, становился все более охваченным надеждой на надвигающуюся революцию, которую он ждал скорее, чем можно понять из чтения «Капитала». Отсюда его живой интерес к русскому революционному подполью, несмотря на то, что Россия никогда даже не приближалась к тому виду капиталистического общества, которое Маркс в своих крупных и мелких работах так часто провозглашал исторически необходимым для свершения пролетарской

революции. Достаточно широкое использование все возрастающей революционной силы, базирующейся на низших классах и выражаемой революционными лидерами, все больше и больше привлекало Маркса.

Маркс вовсе не пренебрегал властью и в более ранние годы. Задолго до того, как философский, а затем и «научный» Маркс стал реальностью, он выразил в стихах, памфлетах и письмах свою страстную веру в революционную трансформацию и свое приятие тех разновидностей власти и насилия, которые могут быть при этом использованы. И лейтмотив заключительных страниц «Манифеста», где они с Энгельсом намечают шаги, которые станут необходимы после того, как пролетариат совершит победоносную революцию против капиталистов, — это, с одной стороны, централизация власти и, с другой стороны, национализация; последняя осуществляется в пользу «ассоциации индивидов», в рамках которой отныне будет существовать все производство. Да, Маркс декларирует, что после того, как исчезнут классовые различия и производство будет жестко «сосредоточено» в руках народа, «публичная власть потеряет свой политический характер». Такое утверждение является очевидной бессмыслицей, но это не лишает его того гипнотического воздействия, которое оно оказывало на целые поколения марксистов. Подобно тому, как Руссо мог заявить, что государственное насилие над индивидом — это средство принудить его быть свободным (столь же бессмысленная, но гипнотизирующая декларация), Маркс мог сконцентрировать все основные формы экономического производства в руках нации, т.е. правительства, и при этом заключал, что правительство, «публичная власть», потеряет свой политический характер.

В ретроспективе мы видим, насколько логичным, даже необходимым был переход от «революционной диктатуры пролетариата» Маркса к предложению Ленина о диктатуре партии и демократическом централизме, — предложению, которое полностью поддержал Троцкий, и которого он придерживался даже после высылки, когда его жизни постоянно угрожали сталинские агенты. На самом деле Троцкий добавил к доктрине Ленина идею диктатуры «центра», что означало самое центральное ядро правительства и партии,

и отсюда оставался лишь короткий и естественный шаг до тотальной монополизации власти Сталиным. Только в свете религии, религиозного сознания и ментальности истинно верующих можно понять притягательность марксизма. Такой взгляд многие считают ересью или бессмыслицей даже сегодня. Но с момента, когда Маркс подхватил гегелевскую диалектику и веру в необходимое, неуклонное развитие к единому неизбежному золотому финалу, марксизм, несмотря на его претензии на научность и соответствующую риторику, был в своей основе религией. Как я подчеркнул в начале этого раздела, в XIX веке мы крайне редко встречаем полную и истинную секуляризацию мышления. Гражданская религия Руссо, «Новое христианство» Сен-Симона, Религия Человечества, исповедуемая Контом, и вера Маркса в диалектику — все они столь же религиозны по существу, сколь и всё, что мы только могли встретить на протяжении истории в любой признанной религии или секте.

В заключение стоит подчеркнуть еще один аспект: взгляд Маркса на равенство. Цель Маркса, которую он провозглашал, начиная почти с самых ранних социальных и политических произведений, состояла в искоренении общественных классов и их основы — частной собственности. После уничтожения классов впервые в истории настанет равенство. Но Маркс не питал иллюзий в отношении легкости или быстроты, с которой люди могут стать действительно равными. Он не испытывал ничего, кроме презрения к тем разделам Готской программы, где предполагалось, что равенство должно стать законом страны, как только революция завершится успехом. Точно так же Маркс презирал и социальных реформаторов своего времени, которые агитировали за политическое, гражданское и экономическое равенство в рамках капиталистической системы.

Касательно беспечного оптимизма Готской программы Маркс пишет следующее: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое *развилося* на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что *выходит* как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях — в экономическом, нравственном и умственном — сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло...

сообщество; это была высочайшая форма морального совершенства или особого вида свободы, духовной благодати или идеалистической чистоты, которая должна стать для человека предметом наивысшей лояльности, служить которому — его святой долг, и наивысшим образом истинной свободы.

Безусловно, идея государства, абсолютной власти государства, служащего достижению общественного и личного морального совершенства, на самом деле берет свое начало во Франции эпохи Просвещения. Мы видели, что означала для Руссо политическая власть (власть, проистекающая из Общей Воле) в преобразовании общества и человеческой природы. Пусть лишь немногие представители эпохи Просвещения во Франции сравнились с Руссо в его апофеозе власти и отрицании всех прав индивида в государстве, которое должно покоиться на предписанном им общественном договоре, но для множества философов власть была влекущим, искушающим и даже непреодолимым соблазном. Отчаявшись получить желаемое индивидуальными действиями, полагаясь на обычные общественные и политические процессы, значительное большинство философов обратилось к возможности воплотить свои реформистские или революционные цели путем использования абсолютной, централизованной и *просвещенной* власти. Этим объясняется притягательность таких правителей, как прусский король Фридрих Великий и российская императрица Екатерина Великая для многих философов. Даже физиократы, апостолы естественного, свободного экономического порядка не испытывали неприязни к идее централизованной политической власти как наилучшего средства расчистки всех обломков *ancien régime*, которые делали невозможным существование лелеемой ими системы.

Если философы были первыми, кто поднял на щит теоретическое представление о моральных и психологических ценностях, присущих правильному применению абсолютной власти, то якобинцы, а затем Наполеон впервые показали миру воплощение этой теории в практику. С помощью декретов, манифестов, деклараций и действующих законов, начиная примерно с 1791 года и достигнув кульминации в 1794 году, революционное правительство продемонстри-

ровало пламенное желание таких людей, как Робеспьер и Сен-Жюст, осуществить полное преобразование французского общества и человеческой природы, а также очищение человеческого духа, что должно было впервые в истории воплотить истинную добродетель с помощью законодательной и исполнительной власти нового государства, единого и неделимого. Лишь немногое из того, что превозносили якобинские фанатики, было воплощено в реальность, хотя они добились кое-каких успехов в разрушении или глубоком изменении старых институтов и законов. Но именно Наполеон, который, по его собственным словам, взял власть не для уничтожения, а для воплощения целей революции, больше всех сделал для прославления и превознесения абсолютной политической власти. Его влияние на немецких интеллектуалов было столь же огромным, если не большим, чем на французских идеологов. Со времен Кромвеля или, быть может, Фридриха II в XIII веке не было в Европе такой политической фигуры, которая соединяла бы, подобно Наполеону, личную харизму, черты спасителя и почти полную политическую и военную власть. Объединение немецких государств и княжеств под его дланью было временным, но оно стало огромным побудительным толчком или стимулом для всех тех в Германии, кто грезил окончательным объединением. Власть Наполеона в своей стране и за рубежом была еще более великой оттого, что он настаивал на ее укорененности в народе, в массах. Он претендовал на то, чтобы говорить и править непосредственно от имени народа, понимаемого как неделимое единство, а не как совокупность особых областей, классов или групп интересов; он претендовал также на то, что заставил власть работать на моральное и интеллектуальное, а также на социальное, экономическое и политическое благополучие человека; и, в первую очередь, на то, что он убедил образованные классы, и в особенности интеллектуалов, что власть, которой Наполеон обладал или на обладание которой он претендовал, является освободительной и в то же время этически возвышающей, — все это сделало Наполеона именно той фигурой, какой он был для Гегеля, который, увидев Наполеона, проезжавшего через Йену в 1806 году, написал, что только что видел проходящий мимо Мировой Дух.

Но даже если учесть вклад Франции в возвеличивание национального государства в конце XVIII — начале XIX веков, все же именно к Германии и ее философским идеалистам мы должны обратиться для понимания того, каким образом политическое государство стало тем, чем оно стало в XIX веке. В самом сердце достижений немецких философов находилось, как я уже отмечал, соединение или органическое слияние национальной политической власти и концепции прогресса человечества, которая от начала и до конца остается пропитанной идеализмом. Кто, спросим мы, как не немецкий идеалист — Гегель — мог заявить: «Государство — это шествие Бога в мире». Смысл этого утверждения оставался путеводной звездой на протяжении немалой части XX века, вплоть до Веймара и Третьего рейха.

ИОГАНН ГОТФРИД ФОН ГЕРДЕР

Я хорошо понимаю, что автор труда «Идеи к философии истории человечества», вышедшего в 1784—1791 годах, представляет действительную трудность в нашем контексте. Невозможно сделать из Гердера поклонника единого, органического, коллективного государства, какими были Фихте и Гегель. Гердер находился под глубоким влиянием «Воспитания человеческого рода» Лессинга, которое представляло собой что угодно, но только не утверждение национально-политической власти. Он был предан идее Германии как множественности автономных, саморазвивающихся, свободных и небольших наций или национальных сообществ. Он терпеть не мог централизованную милитаризованную Пруссию. Есть очень много общего между Гердером и Вильгельмом фон Гумбольдтом, чья ранняя индивидуалистическая концепция свободы, столь близкая концепции Уильяма Годвина, постепенно развилась в философию свободы, которая признавала жизненную необходимость свободных сообществ и союзов как среды для личной свободы. Все это верно.

Но, как писал сэр Исая Берлин, работы Гердера «изобилуют противоречиями». И, вновь цитируя Берлина, в Гердере в самом деле можно увидеть «своего рода предостерегающий симптом альбатроса перед приближающейся бурей». Хотя следует признать, что Гердер, разумеет-

ся, верил в родственные связи, общественную солидарность и высокую степень рассредоточения политической власти, нельзя отрицать его преданность *Volkstum**, идее нации и прогрессу, понимаемому как реализация всего этого. Он умер в 1803 году и потому не мог знать, как сильно его имя и его идеи повлияют на все более широкие круги философов и интеллектуалов, которые сохраняют понятие *нации* и будут рассматривать историю как идущую к этой цели, но по большей части не сохранят никакой особой верности остаточными идеями, которые лелеял Гердер, как то: местный патриотизм, децентрализация и множественность объектов лояльности. Посему, прежде чем обратиться к Фихте и Гегелю, двум величайшим приверженцам государства, отождествляемого с прогрессом, на мой взгляд, было бы полезно и правильно поговорить о философии прогресса у Гердера.

В представлении Гердера о прогрессе человечества от самого примитивного его начала через множество стадий к настоящему, а затем — к славному будущему, угадывается религиозная глубина. Он полностью принимает идею полноты, которая, как мы видели, с самого начала была столь важна для идеи прогресса.

«Когда врата творения были закрыты, те органические формы, которые были выбраны, оказались как бы различными путями и проходами, по которым и через которые могли впредь идти низшие силы, развиваясь и совершая свое восхождение... Новых органических творений уже не создавалось, а низшие силы странствуют по существующим, преобразуются в них, и органический мир ведет их ко все более высокому развитию и строю».

Он столь же привержен идеям цепи бытия и непрерывности. Все, говорит он, связано в природе и во времени. Поскольку человек «замкнул цепь земных созданий, будучи ее высшим и последним звеном, то именно потому он и дает начало цепи высшего рода существ, будучи самым низким звеном в той цепи»; таким образом, Гердер мог видеть истинно величественное развертывание, мощное продвижение вперед в долгое, даже бесконечное будущее. Он уподобляет, как когда-то Св. Августин, воспитание отдельного

* Национальность (нем., юр.). — Прим. перев.

индивида, развитие его ума и его обучение, начиная с детства, развитию всего человечества. «Таков принцип истории человечества; не будь этого принципа, не было бы и самой истории... Потому мы и говорим о воспитании человеческого рода, что каждый человек лишь благодаря воспитанию становится человеком, а весь человеческий род существует лишь в той цепи индивидов». Конечно, на протяжении истории бывали ошибки, неудачи и катастрофы; великие нации ослабевали, терпели крах и исчезали. Но существует более высокий уровень реальности. «Только цепь развития, воспитания превращает развалины в целое, и в том целом пропадают, правда, фигуры людей, но дух человеческий живет, не ведая смерти...»

Несомненно, человечество — это протагонист великого труда Гердера о прогрессе, и, как я уже подчеркивал, Гердер — враг всего, что ограничивает индивидуальные способности человека, всего, что не дает индивиду или народу реализовать свой высший потенциал. Он неоднократно высказывает свое осуждение деспотическому государству как одному из самых сильных препятствий человеческому развитию. Но при всем этом в нем присутствует безошибочно различимый дух преданности нации, *Volkstum*; хотя нельзя забывать, что он определяет ее на столько в политических понятиях, сколько в терминах языка, литературы, традиции и культуры. Отсюда у Гердера ярко выраженные опасения по поводу иностранных языков, боязнь того, что они могут сделать с чистотой языка, который есть и должен быть глубочайшим источником единства истинной нации. «Я могу лишь с огромным трудом, запинаясь произносить слова на иностранном языке, его дух ускользает от меня». Он осуждает все попытки народа, истинного народа — т.е. нации — принять характер, чуждый составляющей его природе. Стремиться вернуться назад, использовать за образец народы прошлого, какими бы они ни были великими, копировать даже лучшие современные народы — все это для Гердера низко.

Мы должны, заявляет Гердер, «быть типичными представителями своей нации, языка и места». Как отмечает Берлин, именно в этом контексте Гердер, при всем своем принятии мирового разнообразия и космополитизма, бе-

рет, однако же, свой самый звучный националистический аккорд. «Я взываю, — пишет Гердер, — к своим немецким братьям... остатки всех наших подлинных народных песен катятся в бездну забвения... Ночь так называемой культуры, подобно раковой опухоли, разъедает все вокруг нас... Мы произносим слова чужеземцев, и эти слова отучают нас от наших собственных мыслей». Сэр Исайя Берлин тут же комментирует эту цитату: «Гердер призывает немцев познать самих себя, понять свое место и уважать свою роль в мире, во времени и пространстве».

Опять же, признавая отсутствие у Гердера любого рода прославления национальной власти, которое мы встречаем в немецкой мысли, начиная с Фихте, следует всегда иметь в виду важный факт: Гердер объединил идею национализма с идеей прогресса столь нерасторжимым образом, что этим подготовил интеллектуальную сцену для немецких политических идеалистов XIX века. Сила его веры в прогресс человечества безгранична, и даже те, кто не разделял взгляды Гердера на немецкую нацию, оказывались под гипнотическим влиянием его литаний прогрессу.

«Все сомнения, все жалобы на хаос, на почти незаметные успехи благого начала в человеческой истории проистекают оттого, что странник, погруженный в скорбь, наблюдает лишь очень короткий отрезок пути. Если бы он более широко взглянул окрест себя, если бы он беспристрастным взором сравнил хотя бы более или менее известные по истории эпохи, а кроме того, проник в естество человека и поразмыслил над тем, что такое разум и истина, то он не стал бы сомневаться в поступательном движении добра, как не сомневается в самой достоверной естественно-научной истине.

...Итак, всякий возврат к прошлому... — все то сочинение, и ни понятие мира, ни понятие времени ничего подобно не допускают. Мы плывем вперед, но не вернется поток к своим истокам, словно никогда не изливался он из них».

Гердеровским идеалам политического разнообразия, местного патриотизма и децентрализации суждено было стать почти полностью забытыми в Германии в течение последующих полутора веков, но, вероятно, нет труда, подобного работе Гердера «Идеи к философии истории

человечества», который сделал бы так много для закрепления в немецкой мысли (а также, говоря по справедливости, в интеллектуальной жизни других стран) идеи прогресса, и вместе с ней — идеи нации.

ИОГАНН ГОТЛИБ ФИХТЕ

О Фихте говорилось, что он больше любого другого философа сделал для перехода от доминирования Канта в немецком философском ландшафте к доминированию Гегеля. Между кантовским индивидуалистическим либерализмом и идеалистическим политическим абсолютизмом Гегеля лежала пропасть, но она была не столь широка, чтобы Фихте не смог перекинуть через нее мост в таких своих работах, как «Закрытое торговое государство» (J. G. Fichte, *Der geschlossene Handelsstaat*, 1800) и «Обращения к немецкой нации» (J. G. Fichte, *Reden an die deutsche Nation*, 1808). Он был первым, кто обеспечил систематическую философскую основу процессу расширения национального государства от преимущественно юридически-политического образования к целостности, в рамках которой должны удовлетворяться все нужды людей, как моральные и духовные, также социальные и экономические. Он истинный автор национального социализма — это словосочетание я использую здесь в самом общем значении.

Фихте начинал как кантианец. В тридцать лет он произвел на свет книгу «Критика всего Откровения» (J. G. Fichte, *Versuch der Kritik aller Offenbarung*, 1792), которую многие сочли работой Канта, настолько близкими оказались их взгляды. Эту книгу публично похвалил великий Кант. Четыре года спустя, в 1796 году, Фихте опубликовал свои «Основы естественного права в соответствии с принципами науки» (J. G. Fichte, *Grundlage des Naturrechis nach Principien der Wissenschaftslehre*, 1796), и, хотя сегодня внимательный читатель, обладая преимуществом ретроспективного взгляда, может разглядеть начальные признаки постепенного отхода Фихте от кантианства, по этой работе все еще сложно предугадать того Фихте, который немногим более, чем через десять лет напишет «Обращения к немецкой нации», где с политической власти и ее сферы компетенции сняты все кантианские ограничения.

В «Закрытом торговом государстве» Фихте описывает государство как единственное учреждение, способное предоставить индивидам необходимые условия для работы, которую он объявляет «высшей и основной целью всей свободной деятельности» в жизни отдельного человека. Только государство дает человеку собственность, и только государство способно защитить человека и его собственность, «позволяя экономическую деятельность и подчиняя ее и социальные объединения, формирующиеся вокруг нее, строгому контролю с целью равного распределения между отдельными гражданами всех наличных средств существования». Для Фихте государство — величайшая надежда индивида как в материальном, так и в нематериальном отношении. Как свидетельствует заглавие книги, Фихте живо интересовался теми видами безопасности и опеки, которые может предоставить государство в экономических делах, но он едва ли в меньшей степени интересовался потенциалом государства в отношении того, чтобы стать господствующим *обучающим* фактором в жизни индивида; при том Фихте имел в виду главным образом моральное воспитание.

Начиная с «Закрытого торгового государства», мы явно наблюдаем у Фихте возникновение одного из самых сильных противопоставлений в идеалистической мысли XIX века: противопоставление *социального* порядка, коренящегося в экономике, управляемой преимущественно базовыми желаниями человека (честолюбие, скупость, алчность, конфликтность и тому подобное), и *политического* порядка, в котором могли укорениться и взрасти одни лишь высшие качества человека. Ни одно другое направление мысли в XIX веке не сделало столько для усиления позиций государства и укрепления его абсолютной власти, как направление, начатое Фихте и достигшее такого величия у Гегеля. Чтобы найти в философской литературе подобное восхищение государством, пришлось бы вернуться к «Государству» Платона, но там оно отнесено к абстрактному миру совершенных идей. В Германии XIX века государство помещено в контекст процессов эволюции и прогресса; это, без сомнений, необходимо для достижения в конце концов совершенного государства на Земле, моделью которого, бесспорно, должны были послужить прусское или немецкое государство.

К тому времени, когда Фихте выпустил свои крайне популярные «Обращения к немецкой нации» (1807—1808), создание философии тотального национализма было почти полностью завершено. Гегель добавит к этой философии метафизический и этический уровни, а также включит ее в диалектический процесс, действующий на протяжении всей истории, что приведет в восторг множество студентов германских университетов; Гегель также разовьет идею отчуждения и роли государства в смягчении этого состояния души — еще одна весьма притягательная концепция XIX века. Но Гегель не мог улучшить и не на деле улучшал сущность, содержание видения национальной власти, которое Фихте даровал огромным толпам слушателей и еще большей аудитории читателей. Неудивительно, что благодарное правительство предоставило ему ректорство в одном из лучших немецких университетов.

Индивид, нация и государство оказались мистическим образом сплавлены в мышлении Фихте. Как точно отметил Леонард Кригер (Leonard Krieger): «Нация как *единственное* земное воплощение вечного — это форма человеческого общества, которая охватывает и устанавливает взаимоотношение того и другого. Индивид интегрирован в нацию через зависимость содержащегося в нем индивидуального ядра бессмертного морального существа от национальной целостности бессмертного морального существа, а государство охватывается нацией, получая от нее фундаментальную санкцию и направленность своей власти».

Это интересное развитие мысли, хотя ни в коей мере не уникальное в той стране и в ту эпоху, к которым принадлежал Фихте. За исходную точку берется индивид и его моральная природа (именно так сделал в свои молодые годы Фихте), добавляется социальный порядок в его множественности и способности возвращать моральную природу индивида и затем, наконец, вводится в рассмотрение не только нация — гердеровская нация, — но и государство, которое одно может обеспечить идентичность и защиту нации и, следовательно, социального порядка, а также индивида. Прежде, чем умереть, Фихте успел сблизил индивида с властью государства настолько тесно, что буквально никто не мог бы выступить в качестве посредника между ними.

Мы не должны забывать, что такое культивирование Фихте абсолютной власти государства-нации подается, как это часто встречается в немецкой мысли того века, в контексте *космической* эволюции. Так же, как в случае со свободой и равенством, в XIX веке недостаточно было просто предлагать или защищать абсолютную власть национального государства. Необходимо было показать, что она является таким же неизбежным результатом длительного эволюционного процесса, как и все, что встречается в мире природы. Никакие историки и философы XIX века не могли сравниться с немцами в демонстрации космической неизбежности национального государства.

В «Обращениях к немецкой нации», где возвеличивание национальной власти в работах Фихте достигает кульминации, он особо высказывает осуждение любой циклической теории истории, утверждая неоспоримую рациональность линейного взгляда на длящийся человеческий прогресс. Однако мы должны обратиться к другим страницам Фихте, чтобы найти самое вдохновенное провозглашение линейной, а не циклической модели истории: «Вселенная для меня больше не является вечно возвращающимся кругом, постоянно повторяющим свою игру... она преобразилась передо мной и сейчас несет один отпечаток духовной жизни — постоянный прогресс к высшему совершенству линейной, которая устремляется к Бесконечности». Это утверждение появляется в его более ранней работе «Назначение человека» (J. G. Fichte, *Die Bestimmung des Menschen*, 1800), где совершается почти полный переход от кантовского индивидуализма к националистическому коллективизму. В этой работе более всего очевиден всепроникающий прогрессизм Фихте. Показателен следующий отрывок: «Все эти проявления грубой силы, перед которыми человеческое могущество обращается в ничто... — только последнее возмущение дикой массы против закономерно совершающегося, оживляющего и целесообразного развития. К этому возмущению они вынуждаются собственными влечениями, это только последние потрясения, которыми заканчивается формирование земного шара. Это сопротивление должно ослабевать и в конце концов совсем истощиться, потому что в закономерном развитии нет ничего,

что возобновляло бы силы того сопротивления... Так будет становиться для нас природа все более проницаемой и постигаемой до самой своей тайной сущности, а просвещенная и вооруженная открытиями человеческая сила без труда захватит господство над ней и мирно утвердит сделанные завоевания. Постепенно человеческий труд уменьшится до пределов, необходимых для роста, развития и здоровья человеческого тела, и тот труд перестанет быть тяжестью, так как назначение разумного существа не в том, чтобы носить тяжесть».

Едва ли Уильям Годвин мог выразить подобное в обнадеживающих и элегических словах в своем «Исследовании о политической справедливости», опубликованном за семь лет до «Назначения человека». Фихте все еще в достаточной степени оставался интернационалистом-кантианцем, чтобы видеть впереди прогресс всех рас, в том числе на тот момент наиболее диких, в направлении того же самого цивилизованного конечного состояния, которое представляла собой современная западная цивилизация.

«Дикие племена могут стать культурными, так как многие из них уже стали культурными, а самые культурные народы сами происходят от диких... Они пройдут, конечно, через все опасности и недостатки первой чисто внешней культуры, которая теперь давит образованные народы; но они все же вступят в единение с великим целым человечества и будут способны принять участие в дальнейшем его развитии. Назначение человеческого рода — объединиться в одно тело, известное себе во всех своих частях и одинаково построенное».

Все это в 1800 году обладало, как я уже сказал, ярко выраженными кантианскими признаками. Именно человечество в целом является основным объектом прогресса, который Фихте рассматривает как начинающийся с сотворения человечества и простирающийся в отдаленное, но предсказуемое будущее. Насколько же глубоким было радикальное изменение, которое произошло в уме Фихте в течение нескольких лет, последовавших за «Назначением человека», — от кантианского универсализма к предгегельянскому поклонению государству-нации, от человечества как единого целого ко всемогущей, обладающей всеобъем-

лющими полномочиями германской нации, которая для Фихте стала завершающим достижением прогресса. Национальное государство, затрагивающее каждого гражданина во всех сферах деятельности от рождения до смерти, всевидящее, всех опекающее, все предусматривающее, всемилостивое и непременно всемогущее — в этом кульминация прогресса для Фихте 1808 года. Неудивительно, что Лассаль и многие другие поборники национального социализма долгое время относились к Фихте с почтением. Гегель сделал прогресс, понимаемый как политическая власть, фактически евангелием европейского мышления, но именно работы Фихте стали поистине основополагающими в этом отношении.

ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ

Не считая Платона, Аристотеля и Св. Августина, именно Гегель может считаться самым влиятельным философом в западной истории. Он, несомненно, был самым выдающимся философом XIX века, и возрождение гегельянства на протяжении последних двух десятилетий, которое на деле привело к «гегельянизации» Маркса, наводит на мысль, что его влияние мы будем испытывать еще долгое время. Ни у одного философа или ученого XIX века идея прогресса или раскрывающегося развития через последовательные стадии, отмеченные великими цивилизациями прошлого, не имела большего веса, чем в мышлении Гегеля. Едва ли можно найти хоть одну из объемистых работ Гегеля, которая тем или иным образом или в той или иной степени не выстраивалась бы вокруг идеи становления, роста и прогресса. Опубликованная после его смерти «Философия истории», к которой мы скоро подойдем, возможно, самое главное свидетельство его прогрессизма. Но даже в таких работах, как «Философия искусства» и «Философия религии», можно найти по сути дела то же самое деление мировой истории на великие восходящие стадии, ведущие к современной ему Германии, которое мы встречаем в «Философии истории».

Важнейшую работу Гегеля «Наука логики» также следует воспринимать в свете перспективы прогрессивного развития. Именно здесь можно найти наиболее систематический и подробный анализ как структуры, так и процесса.

Представляется сомнительным, чтобы сегодняшние «системный подход», «функционализм» и «структурализм» могли занять в общественных науках место, занимаемое ими сегодня, если бы не вездесущее влияние Гегеля в последние полтора столетия, непосредственное либо через Маркса и других мыслителей, находившихся под глубоким влиянием Гегеля и особенно этой его работы. Именно здесь Гегель в подробностях описывает знаменитую диалектику и то, как она движется от тезиса к антитезису и к синтезу; и здесь выдвинуто важное положение, состоящее в том, что понимание взаимосвязи части и целого, органической по своему характеру, является ключом к пониманию всей природы и общества. Разумеется, существует весьма тесная связь между гегелевской диалектикой и его теорией прогресса. Попросту говоря, диалектика — это механизм, динамическая сущность или причина модели, по которой устроен прогресс в этом мире. Все должно рассматриваться в органических терминах, то есть структурно, но так же и динамически, как процесс, как *становление*. Отсюда, с точки зрения Гегеля, вытекает ложность категорических противопоставлений и любого утверждения, что некая вещь есть или ее нет. Развертывание, становление, непрерывный переход от состояния к состоянию — все отлично одно от другого, но взаимосвязано функционально, через процесс развития, подобно тому, как человек соотносится с ребенком, а растение с семенем — различные вещи, но имеющие одну и ту же сущность. Неудивительно, что Маркс отдавал должное Гегелю и диалектике.

Прогресс, по мысли Гегеля, — это единая всеохватывающая сила. Сейчас мы обратимся к другой силе: к политическому государству. Какими бы ни были кумиры Гегеля в юности, когда он был изрядно захвачен страстями Французской революции, в свои зрелые и поздние годы у него был лишь один настоящий предмет поклонения: национальное, а именно немецкое, абсолютное государство. Гегель был так захвачен идеей национального государства в его германской форме, что, по сути дела, строил свои версии мировой истории, будь то в политике, искусстве или религии, вокруг соответствующего прогрессивного развития в каждого из этих сфер до окончательной триумфальной

точки покоя в политическом государстве. Более успешно, чем любой другой философ во всей истории Запада, Гегель объединил абсолютную веру в неизбежный прогресс с такой же абсолютной верой в абсолютное политическое государство. Я говорю «успешно», имея в виду, разумеется, чрезвычайную привлекательность в XIX веке такого единства двух вер для столь многих мыслителей в разных странах: в Англии, во Франции, в Восточной Европе и даже в Америке.

«Народ как государство есть дух в своей субстанциальной разумности и непосредственной действительности, поэтому он есть абсолютная власть на земле... Государство есть сам дух народа. Действительное государство одушевлено этим духом во всех своих частных делах, войнах, учреждениях и т.д... Самосознание отдельного народа является носителем... развития всеобщего духа... и той объективной действительностью, в которую он влагает свою волю. По отношению к этой абсолютной воле воля других отдельных народных духов бесправна, упомянутый же выше народ господствует над всем миром».

Эти фрагменты (первый из которых взят из гегелевской «Философии права») цитирует Карл Поппер. Мне представляется, что Поппер ошибается, заявляя, что «Гегель изобрел историческую теорию нации». Эта работа была проделана отчасти Боденом и в еще большей степени Гердером. Но слова, которые Поппер извлек из работ Гегеля, полностью отражают политическую философию, которая была руководящей в его преподавательской деятельности и письменных трудах в течение долгих лет, проведенных в Берлинском университете. Да, Пруссия, которой поклонялся Гегель, была, по крайней мере, по стандартам политических репрессий XX века, относительно мягким государством; она несла в себе плоды реформ, предпринятых Шарнхорстом и другими деятелями, которые из военных успехов французов извлекли урок, насколько важно для военной мощи наличие нации, в которой имеет место, по крайней мере в некоторой степени, участие народа в государственном управлении, и обеспечивается социальная и экономическая защищенность граждан. Да, общество, описанное Гегелем в «Философии права» в виде идеала,

представляет собой конституционную монархию с представительными институтами, и в него неплохо вписываются относительно автономная религия с квази-независимыми «корпорациями» (по Гегелю, это организации, подобные гильдиям) и принцип семьи. И, конечно, нет явной причины считать, что Гегель не был бы шокирован Третьим рейхом и не пришел бы от него в ужас.

И, тем не менее, нам остались от него идеи, взгляды и высказывания, которые доказывают искреннюю веру Гегеля в то, что политическое государство, национальное государство — и Пруссия как пример — это «шествие Бога в мире», «действительность нравственной идеи», «основа и средоточие всех конкретных элементов жизни людей: искусства, права, морали, религии и науки». Никуда не деться от того, что «настоящего Гегеля», каковы бы ни были те разные обличья, которыми его наделяют те, кто в наше время занят возвеличиванием его в качестве политического, экономического и социального либерала или гуманиста, просто невозможно отделить его от идей и высказываний, которые сами по себе являлись выказыванием пиетета перед национальным государством и которые, согласно неоспоримым свидетельствам, вели других ко все более высоким уровням интенсивности прославления государства. Нет необходимости делать вывод, что Гегель в некотором роде был «слугой» прусской бюрократии, что его профессорство в Берлине было вознаграждением за это или удобной позицией для прославления существующего правительства. Давайте признаем за ним такую степень личной автономии и самостоятельности, какую только пожелаем, и он все равно останется главным источником интеллектуального влияния, ведущего к прославлению человеческого прогресса, отождествленного с достижением национальной власти.

Гегелевские «Лекции по философии истории», читавшиеся в Берлине (1822—1823) и не публиковавшиеся при его жизни, выходят за рамки утверждения тезиса о том, что «разум правит миром» и что мировая история есть «рациональный процесс», — тезиса, который полностью поддержал бы Св. Августин. В этом труде нации для Гегеля с самого начала были главными действующими лицами мировой истории, и каждая нация выражала некую особую

идею или цель. История мира «направляется с Востока на Запад, так как Европа есть, безусловно, конец всемирной истории». Первая фаза — Восток.

«В государственной жизни Востока мы находим осуществленную разумную свободу, которая развивается, не переходя в субъективную свободу. Это — детский возраст истории... Блеск восточного воззрения заключается в том, что один субъект признается субстанцией, которой все принадлежит, так что никакой другой субъект не обособляется и не отражается в его субъективной свободе».

Таким образом, первая великая мировая стадия прогресса есть та, в которой через абсолютное господство (свободу) одного индивида — правителя — все остальные приходят к чувству органической связи, которая будет постоянно возрастать со временем. Через нескончаемый конфликт (между восточным государством и варварами-завоевателями), который выражается диалектически как тезис против антитезиса, осуществляется еще более высокая форма политической жизни. Остановка, которую дух на сделал Востоке, говорит Гегель, — это «отроческий возраст, в котором обнаруживаются уже не детские спокойствие и доверчивость, а задор и драчливость», что наиболее заметно проявилось в Средней Азии. Но прогресс продолжается. «Затем с юношеским возрастом можно сравнить греческий мир, так как в нем формируются индивидуальности. Это есть второй главный принцип всемирной истории».

Прогресс ведет нас дальше — к Риму.

«Третий момент есть царство абстрактной всеобщности: это — римское государство, тяжелая работа возраста возмужалости истории. Ведь возраст возмужалости характеризуется не подчинением произволу господина и не собственным прекрасным произволом, но служит общей цели, причем индивидуум исчезает и достигает своей личной цели лишь в общей цели».

Только диалектическое изменение сделало возможным возникновение политического духа зрелой Римской Империи. «Первоначально существует противоположность между целью государства как абстрактную всеобщностью и абстрактной личностью». Синтез требует гармонизации этой оппозиции, которая подобна

возникающему на третьей стадии противоречию между светским государством и духовной властью, представленной христианством.

«Затем... наступает четвертый момент всемирной истории: германское государство; при сравнении с возрастами человека оно соответствовало бы старческому возрасту. Естественный старческий возраст является слабостью, но старческий возраст духа оказывается его полной зрелостью...». Теперь, наконец, конфликт между индивидуальностью государством, между духовностью и светской властью окончательно разрешается. Этот синтез, с триумфом заключает Гегель, «лишь благодаря германским нациям... осуществлялся в конкретной действительности... Противоположность между государством и церковью исчезает, дух находит себя в светской жизни и организует ее как органическое в себе наличное бытие... Свобода нашла себе опору, свое понятие о том, как осуществить свою истину. В том состоит цель всемирной истории, и нам предстоит пройти тот долгий путь, который указан в вышеизложенном обзоре».

Я уже несколько раз отмечал в этой книге, что в западной идее прогресса всегда присутствовал элемент этноцентризм. От греков и римлян, через христиан и до философов прогресса XVIII—XIX веков Запад (или некая его часть) всегда воспринимался как образец цивилизации, в направлении которого движется прогресс человечества. Гегель заходит в этом этноцентризме еще дальше. Для него «конечным результатом» человеческого прогресса является не западная цивилизация в целом, но, как мы только что видели, лишь германские народы, точнее, германское государство, которое Гегель видел наиболее блистательно воплотившимся в Пруссии его времени. Мы вновь встретимся с этим «тевтонством» в следующем разделе.

Следует сказать несколько слов и о самом механизме, или процессе, с помощью которых стало возможным это великое шествие с Востока на Запад, от восточного деспотизма к германскому политическому порядку. Об этом также говорится в «Лекциях по философии истории». Вспомним, что «ступени развития» «находят свое выражение во всемирно-исторических духах [народов]... Реализация этих ступеней является бесконечным стремлением миро-

вого духа, его непреодолимым влечением...» Что же тогда является действующей силой, внутренней причиной?

Ответ не станет новостью для тех из нас, кто обратил внимание на упорное воспроизведение на протяжении западной истории августинианского соединения развития и конфликта и на адаптацию Августином идеи Аристотеля о потенциальности, которая становится актуальностью. Мы начинаем с того импульса, который был ключевым для бесчисленного числа философов прогресса: это, говоря словами самого Гегеля, «стремление к усовершенствованию». Начиная с Гесиода, этот импульс лучше всего характеризовал различие между человеком и органическими существами низшего порядка. По существу, здесь мы, конечно, имеем дело с греческой идеей развития.

«В принципе развития, — пишет Гегель, — содержится и то, что в основе лежит внутреннее определение, существующая в себе предпосылка, которая себя осуществляет. Этим формальным определением по существу дела оказывается дух, для которого всемирная история является его ареною, его достоянием и той сферой, в которой происходит его реализация.». Если оставить в стороне «историю» и «арену», мы видим в этих словах присутствие Аристотеля и, конечно, Лейбница. Развитие, продолжает Гегель, — это достояние и природы, и человечества. Но развитие природных организмов «совершается непосредственно, без противоположностей, без препятствий», — нельзя не отметить, что такое утверждение поразило бы Дарвина. Но здесь мы имеем дело с духом. А в духе «процесс развития происходит иначе».

«В нем дух сам противопоставляет себя самому себе, ему приходится преодолевать самого себя как истинное враждебное препятствие самому себе; развитие, которое в природе является спокойным процессом, оказывается в духе тяжелой бесконечной борьбой против самого себя. Дух хочет понять самого себя, но он сам скрывает от себя свое понятие, кичится и находит удовлетворение в том отчуждении от самого себя.

Таким образом, развитие является не просто спокойным процессом, совершающимся без борьбы, подобно развитию органической жизни, а тяжелой недобровольной работой, направленной против самого себя; далее, оно является

не чисто формальным процессом развития вообще, а осуществлением цели, имеющей определенное содержание».

Конечно, результат, как мы видели, — это восхождение к четвертой и заключительной стадии развития наций на арене мировой истории: немецкой нации. «Всемирная история есть дисциплинирование необузданной естественной воли возвышение ее до всеобщности и до субъективной свободы. Восток знал и знает, что только один свободен, греческий и римский миры знают, что *некоторые* свободны, германский мир знает, что *все* свободны».

То, что Гегель подразумевает в этом последнем высказывании, не признали бы «свободой» ни Кант, ни Милль, ни Спенсер. Для Гегеля свобода — это не индивидуальные права, которое не должно нарушать государство, а осознанное, добровольное участие в государстве. Руссо понял бы это. Гегель облачает абсолютное государство так же, как это делал Руссо, в одежды свободы, но нет ни малейшего сомнения в преданной вере Гегеля в абсолютность, святость и даже божественность власти национального государства.

Так, в своей «Феноменологии духа» он пишет: «Государственная власть в такой же мере есть простая субстанция, как и всеобщее произведение, само абсолютное дело, в котором для индивидов выражена их сущность и в котором их единичность есть просто лишь сознание их всеобщности; ... [она] есть произведение, [которое] остается абсолютной основой и опорой всего их действия».

С немалым оптимизмом он говорит о природе свободы в своих «Лекциях по философии истории». Здесь он утверждает, что государство «представляет собой ту действительность, в которой индивидуум обладает своей свободой и пользуется ею, *причем она оказывается знанием всеобщего, верою в него и желанием его*» (курсив мой. — Р. Н.).

И в «Философии права» встречается знаменитое, или печально известное, высказывание: «Государство — это шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю».

Верно то, что в своем описании того типа государства, который больше всего приближается к идеалу, Гегель осно-

вательно опирается на консерваторов своего времени, далеко не все из которых разделяли преклонение Гегеля перед государством. Именно консерваторы, начиная с Эдмунда Берка, остро реагируя на сочетание атомизма и политической централизации французского революционного государства при якобинцах, первыми стали вновь придавать институтам семьи, местного сообщества, церкви, общественных классов, гильдий и другим видам промежуточных объединений ту теоретическую значимость, которой они были лишены в рамках господствующего течения европейской мысли, начиная, по крайней мере, с Жана Бодена в конце XVI века. Гегель не любил английское государство, которое, как он считал, основывалось на совокупности обособленных индивидов, сведенных вместе в искусственные союзы исключительно в политических целях. В своей «Философии права» он при этом четко относит такие традиционные группы к тому, что он называет гражданским обществом. Таким образом Гегель, в соответствии с плюралистическим подходом, проводит четкое разделение между государством и обществом. Принцип наличия промежуточных уровней власти или авторитета в государстве весьма рельефно выражен у Гегеля.

Но, упомянув об этом, мы не можем не отметить преобладающую и могущественную роль, которую Гегель отводит государству в ярком контрасте с церковью, семьей, общиной и другими составляющими группами гражданского общества. То, что он называет «германским принципом», есть полное слияние духовного и светского, общественного и политического в единое целое, которым руководит абсолютный монарх. Как писал Леонард Кригер в своей «Немецкой идее свободы» (Leonard Krieger, *The German Idea of Freedom*), существует три различных аспекта человеческой свободы, которые можно найти в теории государства Гегеля: первый — право граждан управлять всеми теми делами, которые не являются необходимыми для благосостояния государства; второй — добровольное «сотрудничество» граждан с правительственными структурами и со всеми учреждениями, жизненно важными для здоровья государства; и третий — «гарантии свободы граждан, осуществляемые путем концентрации верховной государственной

власти в едином центре — в монархе». И, добавляет Кригер, «из этих трех элементов... третий был для Гегеля наиболее основополагающим; фактически он был одновременно условием и мерой существования остальных».

Трудно переоценить влияние гегелевского преобразования свободы из состояния, основанного на индивидуальной автономии и индивидуальных правах, в состояние, истинной мерой которого становится не автономия или независимость индивида, но его *добровольное* участие в централизованной, абсолютной структуре власти. Хотя первоначальным архитектором этого преобразования был Руссо, его влияние, сколь бы сильным оно ни было, не может сравниться с влиянием Гегеля, поскольку, начиная с него, концепция свободы как принадлежности или участия в коллективном сознании непосредственно переходит к влиятельным движениям XIX—XX веков, столь разнообразным, как милитаристский национализм, марксизм, ленинский социализм, та разновидность расизма, которую превозносил Рихард Вагнер.

Историк Трейчке, создававший свои труды спустя годы после смерти Гегеля, с полным основанием чувствовал себя духовным соратником Гегеля, написав: «Война — это не только практическая необходимость, но и необходимость теоретическая, острая логическая необходимость. Понятие государства подразумевает понятие войны, поскольку сущность государства — это сила. Государство — это народ, организованный суверенной властью».

Сравните Трейчке с Гегелем, чьи строки из «Философии права» цитирует Карл Поппер: «Значение войны состоит в том, что... [она] сохраняет нравственное здоровье народов, их безразличие к застыванию конечных определенностей... война предохраняет народы от гниения, которое непременно явилось бы следствием продолжительного, а тем более вечного мира». На самом деле, в целом нет ничего удивительного в том утверждении Гегеля, учитывая то наблюдение, что конфликт играет центральную роль прогресса человеческого духа на протяжении веков. Как отмечает Поппер, Гегель выдвигает на удивление современную концепцию войны, которую он оправдывает с этических и прогрессистских позиций. Независимо от того,

был ли Гегель знаком с Клаузевицем и его идеями или нет (Клаузевиц умер в том же 1831 году, что и Гегель, хотя классическая работа «О войне» появилась только после его смерти), между взглядами этих двух людей на природу современной войны есть поразительное сходство. Клаузевиц извлек уроки из наполеоновских войн и, несомненно, сделал это независимо от Гегеля; эти уроки состояли в основном в осознании того, что в стратегии стран, ведущих войны, личная доблесть больше не имеет значения. Клаузевиц мог бы согласиться (и по сути дела *был согласен*) со следующими словами Гегеля: «Истинная храбрость культурных народов заключается в готовности жертвовать собой на службе государству, где индивидуум представляет собой лишь одного среди многих. Здесь важно не личное мужество, а вступление в ряды всеобщего». Далее Поппер показывает Гегеля как социолога современного оружия или даже как истинного его поклонника. Гегель утверждает, что переход войны из состояния, в котором решающую роль играет индивид, к состоянию, в котором та роль принадлежит массе, был вызван изобретением огнестрельного оружия: «...не случайно изобретение того оружия», — заявляет Гегель. А об изобретении пороха в конце Средних веков Гегель говорит: «Человечество нуждалось в нем, и он немедленно появился».

Ограниченность объема не позволяет даже вкратце обрисовать влияние Гегеля на политическую и социальную мысль XIX и, как уже отмечалось, XX века вплоть до настоящего момента. Наиболее примечательна, пожалуй, многоплановость его влияния как философа прогресса и философа власти. С момента его смерти существовали «левые» и «правые» гегельянцы, и по сей день Гегеля цитируют одинаково часто как радикально настроенные авторы, так и консерваторы. Марксизм, как нам хорошо известно, глубоко уходит корнями в гегелевскую философию, и то же самое относится к другим, немарксистским вариантам радикального мышления конца XIX века. Но и значительная часть консервативной мысли того же периода в области права и политики глубоко укоренена в философии Гегеля. Фактически у него присутствуют элементы логики, метафизики, эпистемологии и философии истории, которые служат

практически всем философским и идеологическим направлениям, а особенно тем, в которые неотъемлемой частью входит принцип необходимого, раскрывающегося прогрессивного изменения.

В значительной части философии истории Гегеля легко распознается своего рода секуляризация христианских тем конфликта и синтеза, восходящих по крайней мере к Св. Августину. Гегель обладал глубоко религиозным складом ума и относился с подлинным уважением к тому месту, которое религия занимает в правильном обществе. Но действительным достижением Гегеля, к добру или к худу, стало приспособление в основе своей христианских представлений о прогрессе к миру, в котором символом высшего достижения является национальное государство. Этого было достаточно, чтобы наделить гегелевскую мысль своевременностью и влиянием. В конце концов, центральным институтом общества в Европе и во многих других частях света, учитывая проникновение туда европейских политических и экономических ценностей, стало национальное государство, становящееся все более тесно связанным с народом. Именно в XIX веке национальное государство достигло своего зенита и господствовало до тех пор, пока ужасающие опустошения Первой мировой войны не сделали ясным раз и навсегда, что несет с собой дух национализма в смычке с суверенным территориальным государством.

Даже если сделать все необходимые поправки на войны, дипломатические ходы, династические союзы, действия политической исполнительной и законодательной властей и, конечно, экономических титанов того времени, то даже тогда мы не сможем объяснить абсолютную власть, почти религиозную силу политического национализма и безграничный патриотизм десятков миллионов граждан государств XIX века, не учитывая интеллектуальные течения и влияния, начиная с откровенной и хитроумной пропаганды в школах и на площадях и заканчивая системами политического идеализма, столь возвышенных, как гегелевская, — системами, которые стали частью даже английской интеллектуальной жизни при посредстве так называемых английских гегельянцев, таких как Т. Х. Грин и Бернард Бозанкет. Идеи Гегеля достигли даже Америки, страны жесткого индивидуа-

лизм и прагматизма, в основном через знаменитый *Journal of Speculative Philosophy*^{*}, вышедший в Сент-Луисе на протяжении последней трети XIX века.

Объем книги не позволяет подробнее проанализировать широкое, глубокое и разнообразное влияние Гегеля на западную мысль, продолжавшееся десятилетия после его смерти. Разумеется, в Германии оно проявлялось глубже всего и затронуло не только философов, ученых и исследователей, но также и государственных деятелей, чиновников, военных, а также выдающихся представителей класса предпринимателей. Редко когда в истории философия одного человека оказывала влияние, подобное влиянию философии Гегеля, особенно до Первой мировой войны и последующего поражения германского политического строя и *Kultur*.

Но притягательность гегелевского синтеза политического абсолютизма и неумолимого прогресса ни в коей мере не исчезла под обломками немецкого политического унижения. Кейт Балливант в недавно вышедшем ценном сборнике «Культура и общество в Веймарской Республике» (*Culture and Society in the Weimar Republic*) (который он редактировал и в котором опубликовал свою статью) подчеркнул, насколько сильным оставалось в этот период наследие Гегеля и гегельянцев. Годфри Карр, один из авторов этой книги, цитирует красноречивое высказывание веймарского интеллектуала Фридриха Зибурга, который писал: «Только Германия может определять будущее, поскольку только Германия произвела формулы универсального значения». В числе формул, приведенных Зибургом — категорический императив, гегельянство в политике и не в последнюю очередь милитаризм. В том же сборнике Хью Ридли отмечает, насколько легко левые и правые в 1920-е годы принимали истинно немецкие идеи, которые коренились в традиции восприятия прогресса как национальной власти, восходящей к Фихте и Гегелю, за идеи, импортированные из Советского Союза.

В своем чрезвычайно информативном эссе Кейт Балливант подробно показывает, насколько прочно были укоренены в фихтеанской и гегельянской традиции некоторые идеи

* Журнал спекулятивной философии (англ.). — Прим. перев.

Томаса Манна, которые тот выразил в своих эссе, романах и речах. Манн, который переехал в США в 1938 году, смог сразу вызвать трепет и тревогу у американской аудитории, не привыкшей к тому роду авторитаризма, который присутствовал в мышлении даже такого антифашиста, как Манн. Конечно, интеллектуальные корни этого писателя могут восходить, по его собственному утверждению, к Шопенгауэру и Ницше, но в то время, на которое пришелся ранний период творчества Манна, никто не мог бы достичь совершеннолетия, в полной мере не ознакомившись с гегельянством.

Я не хотел бы завершить этот раздел, не указав вновь на то, что, хотя идея «прогресса как власти» триумфально распространилась в Германии XIX—XX веков, эта идея захватила и другие страны. Франция — основной тому пример, особенно после поражения, понесенного от Пруссии в 1870 году. Едва ли можно найти страну, где идея прогресса была прочнее слита с национализмом и идеей суверенитета, чем во Франции. Это касается не только пламенных сторонников *revanche*^{*}, французских милитаристов и империалистов, но и таких цивилизованных мыслителей, как Тэн, Ренан, Дюркгейм и Шарль Пеге. Присутствовала эта концепция прогресса и в традиционалистской, «движущейся кое-как», эмпирической Англии. Я упомянул роль английских гегельянцев, и ее никак нельзя назвать незначительной, несмотря на удары со стороны других философов, которые почти сразу посыпались на Бозанкета и Грина. Но кроме них действовали и другие силы, которые сделали возможным то состояние умов, которое вело на войну сотни и тысячи юных добровольцев-англичан, даже когда стали широко известны ужасающие потери в ходе окопной войны. За исключением нескольких мыслителей, Британская империя тогда еще не стала невыносимым местом для интеллектуалов, каковым она стала после войны. До 1914 года в Англии было множество блестящих и образованных умов, которые видели в империи что-то вроде предназначения свыше. Прогресс ярким светом горел в умах англичан, и так же ярко горело жгучее желание распространить английское наследие во все части мира.

* Реванш, ответная партия (франц.). — Прим. перев.

Эрнест Ли Тувесон в своей работе «Нация-спаситель: идея миллениаристской роли Америки» (Ernest Lee Tuveson, *Redeemer Nation: The Idea of America's Millennial Role*) в деталях продемонстрировал, что Америка в XIX веке и в начале XX века точно так же была не лишена этой страсти к использованию государства-нации в качестве инструмента прогресса или, в более простой форме, в качестве образца человеческого прогресса. Достаточно привести здесь одну цитату из Альберта Дж. Бевериджа, известного государственного деятеля и писателя: «Бог готовил тысячелетиями англоязычные и германские народы вовсе не к тщетному и бесполезному самоанализу и самолюбованию. Нет. Он сделал нас главными организаторами мира, чтобы мы установили систему там, где правит хаос. Он дал нам дух прогресса, чтобы побороть реакционные силы по всей земле. Он сделал нас умелыми правителями, чтобы мы могли осуществлять государственное управление среди диких и дряхлых народов. Если бы не эта сила, этот мир скатился бы обратно во тьму и варварство. И из всей нашей расы Он отметил американский народ как Свой избранный народ, который, наконец, приведет мир к спасению».

Воистину, в Новом Свете так же, как и в Старом, сложение идеи прогресса с идеей государства-нации привело к всплеску такого миллениаризма и мессианства, каких еще не видели на Земле.

РАСИЗМ

Опишем еще одно — последнее — выражение идеи прогресса как власти: расизм, т.е. убеждение, что человеческий прогресс неотделим от исторического существования определенных расовых ветвей, которые воплощают прогресс в своей собственной истории и которые являются необходимыми источниками энергии прогресса человечества в целом.

Сознание расы и расового превосходства, разумеется, очень старо. Вряд ли от подобного сознания свободен хоть один народ с долгой историей и достижениями, какими бы скромными они ни были. Мы видим его у китайцев («Срединное царство»), евреев, греков, римлян и других бесчисленных этносов. Греки проводили различие между собой и «варварами» — термин, который охватывал практически

все остальное человечество, хотя и не полностью. Римляне были не менее убеждены в своей расовой сущности и судьбе. Да, античные идеи расы были более эластичными, чем в современной Европе и Америке, поскольку для захваченного в плен варвара они оставляли возможность выйти из состояния рабства и стать полноправным гражданином после того, как он в должной мере усвоит соответствующую культуру.

Идеи расы и расовой основы цивилизации упорно сохранялись на протяжении всех прошедших веков вплоть до сегодняшнего дня, хотя во времена, когда августинианское христианство в форме католицизма доминировало в Западной Европе (то есть в Средние века), религиозный аспект был более важным, чем расовый или этнический в качестве определяющего понятия. Обеспечению этого способствовало абсолютное утверждение Августином единства человечества и его единого происхождения. Во время Реформации и после нее расистская мысль быстро распространилась. Протестанты, гораздо более ориентированные на Ветхий Завет, чем средневековые римские католики, были пропитаны представлением о «хороших» и «плохих» народах, происходящим от бесчисленных битв, в которых участвовал истинный народ Божий и его враги. Открытие экзотических народов в других частях света имело одним из последствий для европейского сознания неизбежное сравнение разных народов в терминах их культуры, но также и в терминах их предполагаемых биологических различий в умственных способностях. Ширящаяся популярность полигенетических теорий происхождения человечества, прямо противоположных августинианскому унитарному мышлению, дала толчок все более несправедливым классификациям народов в период, последовавший за XVI веком. Некоторое время в XVIII веке интерес к расе как таковой несколько угас. Тюрго, Кондорсе и прочие адепты прогресса мыслили не в терминах рас, а в терминах культур и цивилизаций, упорядоченных по линейной шкале. И все же именно в конце XVIII века расистские гипотезы стали все чаще применяться для объяснения очевидных различий культур на Земле. Вольтер, который высмеивал евреев и отрицал их значение в истории цивилизации, считал, что негры неспособны

быть истинно цивилизованными. Даже Давид Юм, в целом столь почтительно относившийся к власти обычаев и традиций, представлял цивилизацию сферой исключительного господства белых людей. Лорд Кеймс (Lord Kames), один из наиболее уважаемых шотландских моральных философов, хоть с неохотой, но все же пришел к мнению, что более низкое положение негритянских культур относительно культур кавказской и восточной рас основано на расовой биологии.

Джордж Л. Мосс в своей недавней и весьма ценной работе «На пути к окончательному решению: история европейского расизма» (George L. Mosse, *Toward the Final Solution: A History of European Racism*) подчеркивает решающую роль Просвещения в происхождении того увлечения расой, которое стало одной из главных отличительных черт XIX—XX веков. Во-первых, говорит он, в эпоху Просвещения верили в науку; считалось, что все вещи, какими бы они ни были сложными и неоднозначными, со временем будут редуцированы до научных принципов и классификаций. Во-вторых, Просвещение было привержено к древнегреческому и древнеримскому искусству и мышлению — способ нанести удар ненавистному Средневековью и избежать признания его достижений, — и это, в свою очередь, вело к принятию греческих и римских форм тела, засвидетельствованных в скульптуре, за биологический критерий лучшего в современном мире; а раз биологический, то также и умственный, и культурный образец! Смешение двух этих навязчивых идей Просвещения — науки и веры в греко-римское превосходство — способствовало популяризации использования «научных» измерений и других тестов для определения того, кто среди современных народов ближе всех к грекам и римлянам, а кто дальше всего отстоит от них и потому является наиболее примитивным и отсталым. Рассмотрение Моссом всех этих вопросов крайне показательно. Ведь без установления в конце XVIII и начале XIX веков «научной» основы для веры в обособленность рас и их различающийся вклад в развитие цивилизации вряд ли сложился бы тот союз расизма с теорией прогресса, который и составляет основной предмет этого раздела.

Но он сложился; и еще до того, как завершился XIX век, десятки миллионов людей Запада по обе стороны Атлантики

уверовали в расовую основу прогресса. Ключевой фигурой в этом объединении расы с прогрессом был Жозеф Артур де Гобино. Бесспорно, именно его «Опыт о неравенстве человеческих рас» (Joseph Arthur de Gobineau, *Essai sur l'inégalité des races humaines*, 1853—1855) стал источником расистских концепций человеческого прогресса, которые распространились в конце XIX века на западе. В «Посвящении» (королю Георгу V Ганноверскому) Гобино пишет: «...я, наконец, убедился, что все великое, благородное и плодотворное в трудах человека на этой Земле, в науке, искусстве и цивилизации исходит из единой отправной точки; оно принадлежит одной семье, разные ветви которой првяют во всех цивилизованных странах Вселенной».

Лишь расе Гобино приписал и триумфы, и поражения в истории попыток человечества строить цивилизации. Он столь же интересовался упадком и смертью цивилизаций, как их рождением и развитием. Фактически, если бы Гобино не был столь прикован к расовым предрассудкам, если бы он посвятил себя лишь общественным, культурным и интеллектуальным процессам, то проблема, которую он поставил перед собой, и используемая им сравнительная методология предоставили бы ему значительное место в современной сравнительной истории (компаративистике). Гобино был образованным человеком, и, за исключением его концепции ключевой значимости расы, его мышление было гуманистическим. Токвиль резко не соглашался с расовыми теориями Гобино, но, как доказывает их переписка, уважал его как мыслителя и как человека с цивилизованным мироощущением.

Но, увы, раса была навязчивой идеей Гобино, и печальная правда заключается в том, что в современной истории именно он несет ответственность за место, отведенное расе в западном политическом и историческом мышлении. Любая цивилизация, утверждал он в «Опыте», непременно умрет, «когда первородный расовый элемент будет настолько разбавлен примесью других рас, что его действующих качеств окажется недостаточно для свободы действий».

В работе Гобино есть и двойственность, и даже непоследовательность. Из только что процитированного утверждения можно вывести, что «чистота» расы и есть неотъем-

лемый идеал, коль скоро речь идет о прогрессе человечества. Безусловно, верно, что для Гобино «сильные» расы на Земле были белыми, но он в полной мере ценит роль контакта и смешения «кровей» в освобождении того или иного народа от сковывающих традиций. Он говорит, что именно весьма частая в истории «тайная антипатия к смешению кровей» приговаривает «нижшую» расу к примитивности и варварству. Опять же, стоит подчеркнуть, что Гобино был полностью прав, делая упор на *исторические контакты народов* и их смешение, и ошибался лишь в том, что объяснял результат в биологических, а не в культурных терминах. Не стоит ожидать от Гобино последовательности. Он может подчеркивать совершенную необходимость смешения рас и их «кровей» как средства подъема культурного уровня определенной расы и тут же писать, что «народы вырождаются только вследствие разнообразных примесей крови, которые они получают». Более того, «их вырождение точно корреспондирует с количеством и качеством новой крови».

Именно Гобино несет ответственность за коварную и ложную концепцию *арийской расы*. Задолго до Гобино европейские филологи пришли к выводу о том, что в давние времена существовали некая культура и некий язык, которые можно рассматривать как прародительский культурно-лингвистический источник всех индоевропейских языков и культур. Утверждалось, что сходство между этими современными языками так велико, что гипотеза исконного общего лингвистического источника становилась попросту неизбежной. Филологи по большей части занимались не расой, а языком и культурой. Но Гобино был среди тех, кто утверждал (и делал это наиболее убедительно и красноречиво), что исконная «арийская» культура представляла собой нечто большее; это была *арийская раса*, и эта раса была прародителем всех более близких к нам во времени рас — греков, римлян, германцев и других, которые одни несли ответственность за все крупные достижения цивилизации. Гобино не был точен в своем изображении предположительных физических черт исконной арийской «расы» или ее наследников, несших главную ответственность за развитие высокой цивилизации. Иногда он рисует *высшие расы* с круглыми головами, порой — с вытянутыми,

они то кареглазы, то черноглазы. Немецкие, а также английские и американские ученики и последователи Гобино постепенно превратили исконный арийский народ в знакомый сегодня единый образ высоких, белокожих голубоглазых блондинов, который обрел такое огромное могущество и натворил в современной культурной и политической мысли столько зла.

Гобино видит прошлое и настоящее составленным из десяти основных цивилизаций. Нет необходимости перечислять, а тем более описывать их. Важна лишь обоснованная оценка, высказанная Гобино: «Если в этих десяти цивилизациях присутствует хоть какой-либо элемент жизни, который не был бы приведен в движение белыми расами, хоть какая-то потребность в смерти, которая не происходит от смешавшихся с ними низших племен, то вся теория, на которой основывается эта книга, ложна».

С горячей признательностью и надеждой Гобино смотрит на германские народы. Именно германская раса, заявляет он, спасла цивилизацию от упадка и слабости поздней Римской империи. Западная цивилизация обязана германской расе всем своим непревзойденным культурным развитием. «Там, куда никогда не проникал германский элемент, не существует нашего типа цивилизации». Гобино был настолько захвачен гением, присущим германским народам, что он наделил этот особый гений изначальной творческой искрой, которая подняла на относительно высокий уровень даже аллеганскую, мексиканскую и перуанскую культуры. О его классификации мировых рас легко догадаться. В самом низу находятся негры, дальше идут китайцы и близкие к ним азиаты, которые «очевидным образом превосходят черных», но ведомы импульсами приспособления и избегают смелых и дерзких. Белые, как уже отмечалось, стоят на высшей ступени не только по умственным способностям, но и по физической красоте. «Народы, не имеющие крови белой расы, приближаются к красоте, но не достигают ее». Только белые знают «честь» и «мыслительную энергию» такой силы, которая не оставляет им равных на Земле.

У Гобино были критики, среди них, как я отмечал, его друг Токвиль, который заявил в одном из писем: «Между нашими убеждениями пролегал целый мир». Но у Гобино

были и последователи, они появились почти сразу, и больше всего их было (и наибольшими возможностями они обладали) в землях Германии. Однажды Гобино написал своему другу, что Германия стала его вторым домом. Рихард Вагнер, виднейший приверженец германизма, разумеется, счел взгляды Гобино замечательными. В 1894 году в Германии было основано Общество Гобино, первым зарегистрированным членом которого стала вдова Вагнера. Историк Джон Лукач в предисловии к изданию переписки Токвиля и Гобино пишет: «Шесть тысяч томов по расовым вопросам вместе с рукописями Гобино были собраны в Библиотеке Гобино в Страсбургском университете, который открылся в 14 июля 1906 года, в девяностую годовщину рождения пророка расы».

Есть определенная доля иронии в принятии и поименовании Гобино немцами. Хотя его преданность «германскому гению» и его уникальной роли в прогрессе цивилизации была безгранична, он четко пояснил, что не считает, будто этот гений присущ части народов или всем народам, жившим в Германии в его время. По его словам, “*Les Allemandes ne sont pas d'essence germanique*”*. Действительно, Германии XIX века были присущи особенности, которые Гобино считал предвестием упадка и вырождения. Но всего этого не видели или по крайней мере не считали важным тысячи и тысячи немецких интеллектуалов, политиков, исследователей, ученых и военных офицеров, для которых «Опыт» Гобино был попросту и в первую очередь отданием должного им и их соотечественникам.

Перейдем ко второму влиятельнейшему в истории XIX—XX веков пророку прогресса, понимаемого как расизм, — Хьюстону Стюарту Чемберлену. Забавно, что ни один из двух величайших поборников германской расы не был урожденным немцем. Гобино, разумеется, был французом. Чемберлен был сыном английского адмирала, хотя почти все свое образование он получил во Франции и в Германии. Германия стала его любимой страной, и после женитьбы на дочери Рихарда Вагнера он стал германским гражданином. Его «Основы XIX века» (Houston Stewart Chamber-

* Немцы в сущности не есть германцы (*франц.*). — *Прим. перев.*

lain, *Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts*, 1899) не имеют равных в качестве свидетельства веры, во-первых, в абсолютную и исключительную роль расы в истории и, во-вторых, в германские народы. Искажения и фальсификации истории в этой работе почти безграничны, но было бы трудно преувеличить влияние книги Чемберлена на расистскую мысль по обе стороны Атлантики.

«Основы», которые упоминаются в заглавии, представляют собой пеструю картину. Вначале идет вклад греков: искусство и философия. Затем римское наследие: право и искусство управления государством. Третьим идет темное, чужеродное, разрушительное и потенциально смертельное (для цивилизации) присутствие евреев в Европе. Четвертое — несравненная роль, которую играли германские народы со времен падения Западной Римской империи, равно как и столь же несравненная спасительная роль, которую они играют сейчас. (Есть и другие «основы», но эти четыре самые важные).

Едва ли можно найти философию прогресса, которая была бы более непреклонной в своем расизме, чем философия Чемберлена. «Раса поднимает человека над самим собой: она наделяет его исключительными, я бы даже сказал — сверхъестественными силами». У Чемберлена нет двусмысленностей, связанных с понятиями «чистых» и «смешанных» рас, которые мы встречаем у Гобино. «Благородная раса не падает с неба, она становится благородной постепенно, и этот постепенный процесс может возобновиться в любой момент». Во-первых, должен иметься в наличии «превосходный расовый материал». Но строгий инбридинг в интересах чистоты обрекает даже лучшие расы на то, что их вклад остается специализированным и ограниченным. Поэтому «такие расы, как греки, римляне... итальянцы и испанцы в период их величия... исчезают прямо на наших глазах». Для достижения истинного величия требуется смешение, пересечение рас, — разумеется, *хороших* рас — на протяжении значительного периода времени. Естественный отбор сделал возможным возникновение великих рас, включая германскую, но в наше время важен «искусственный отбор». Всякие недоброкачественные черты в расе следует устранять, а, если они присутствуют в со-

седней расе, их следует избегать; посредством межрасового скрещивания должно производиться расчетливое и систематическое закрепление более высоких расовых качеств.

В отличие от Гобино (которого он критикует по целому ряду аспектов), Чемберлен не слишком верит, если вообще верит в идею изначальной арийской расы. «Говорить об арийцах, которые жили три тысячи лет назад, значит высказывать ничем не обоснованную гипотезу, а говорить о них, как будто они существуют сегодня, значит просто нести вздор». Однако подобная щепетильность не мешает Чемберлену с одобрением упоминать в одном из разделов «моральное арийство», которое есть продукт «кровных уз», существующих между «всеми индоевропейцами от Атлантического океана до Индии».

В мыслях и надеждах Чемберлена огромнейшую роль играют «тевтоны» и «тевтонство». Эти термины покрывают подавляющее большинство северных европейских народов, хотя славян Чемберлен включает в их число с некоторой неохотой. «То, что кельты, славяне и тевтоны происходят от единой чистой расы, может сегодня считаться доказанным в свете антропологии и древней истории». Большая часть всего великого, благородного и прочного в западной культуре есть продукт тевтонского гения. «Именно тевтонская кровь, и только тевтонская кровь сформировала движущую силу и одушевляющую энергию» западной цивилизации в мире. Великие умы в науке, искусстве, музыке, литературе, военной стратегии и государственном управлении были тевтонами. Чемберлен ничуть не смущается, называя великими «тевтонскими» деятелями Марко Поло, Джотто и Гальвани.

И точно так же его не смущает ничто, когда он доходит до Иисуса и христианства. Нет доказательств, говорит он нам, что родители Иисуса были евреями. Галилеяне «обязаны были иметь» значительную примесь арийской крови (другой пример его отступления от своей позиции по поводу арийства Гобино). Присущее Иисусу от природы арийство очевидно из его высказываний в Новом Завете. То же самое касается Ап. Павла. Непостижимо, чтобы человек столь совершенного гения мог быть «чистым евреем по рождению». Наичистейшим тевтонством, какое только

знал мир, было то, о котором писал Тацит примерно в I веке н.э. Это тевтонство со временем смешалось с кельтской и славянской кровью. У современных немцев нет чистоты своих древних предков, но ни один существующий ныне народ не стоит даже близко к ним. Лишь они несут в себе потенциал возрождения и обновления мира, сбережения культуры и предохранить ее от порчи и вырождения, исходящих от евреев. Чемберлен противопоставляет тевтонов и евреев своего времени почти так же, как Св. Августин — Град Божий и Град Земной. Конфликт, который Августин обозначил между двумя градами, Чемберлен приписывает тевтону и еврею.

«Никакие доводы в пользу «гуманизма» не могут изменить этот факт борьбы. Там, где эта борьба ведется без пушечных ядер, она идет в сердце общества тихо, с помощью браков, упразднение разделяющих расстояний, что способствует общению... Но эта борьба, пусть и тихая, превышает всех остальных — борьба не на жизнь, а на смерть».

Хотя Германия в XIX—XX веках была наиболее предрасположена к расизму как к ключу от прогресса, она не была одинока в интересе к расовой проблематике. Во Франции процветали доктрины кельтицизма и галлицизма. Ж. Ваше де Лапуж (G. Vacher de Larouge) в конце XIX века в двух широко читаемых книгах, «Социальный отбор» (*Les Selection sociaux*) и «Ариец и его социальная роль» (*L'Aryen et son role social*) многое сделал для продвижения расизма и снабдил его «научными» атрибутами, которые в значительной мере способствовали тому, что к началу XX века исследование рас практически стандартным элементом учебных программ западных школ и университетов. Лапуж различал в Европе три основные расы, первая из которых была арийской расой; ее физические характеристики — высокий рост, светлые волосы и вытянутое лицо, ее психологические и социальные качества — получение, а не сохранение богатства, а также та дерзость ума, что ведет к «несравненным успехам». «Прогресс — наиболее сильная потребность» этой расы. Второй идет альпийская раса — ниже ростом, шапены с более широкой головой, «скромные, трудолюбивые, замечательно благоразумные... Умственные перспективы ограничены, не любят прогресс». Третьими идут средизем-

номорские народы — темноволосые, низкорослые, с головой, по форме представляющей собой нечто среднее между другими двумя расами; невозможно оценить их ментальность и темперамент, поскольку слишком много разной крови течет в их жилах, но они решительно не способны породить прогресс.

Именно Лапуж, вероятно, опередив остальных расистски настроенных исследователей, разработал технику и критерии измерения и оценки физических и умственных характеристик «рас». Впрочем, основой и источником вдохновения всех подобных «научных» работ была его вера в превосходство арийской, нордической расы (или рас) над другими во всех областях деятельности, где наблюдается прогресс человечества. Для Лапужа, как для Чемберлена и Гобино, географические, социальные, экономические, торговые и военные факторы если и имели какое-либо значение, то крайне небольшое по сравнению с фактором расы.

В Англии XIX века также имелись выдающиеся поборники расистской теории прогресса. Достаточно упомянуть лишь Чарльза Дарвина, поскольку его выдающаяся роль гарантировала почтительное отношение к его взглядам. В конце пятой главы «Происхождения человека» он размышляет о силах, которые обеспечили «поразительный успех англичан как колонистов, в сравнении с другими европейскими нациями» и приходит к предварительному заключению, что этим успехом они обязаны тому, что Дарвин называет «дерзкой и упорной энергией» англичан, в сравнении, скажем, с французами. Он продолжает: «Глядя в отдаленное будущее, я не думаю, что преподобный мистер Зинке преувеличивает, говоря: “Все другие последовательности событий, вроде тех, что привели к культуре ума в Греции и к империи в Риме, представляются имеющими цель и ценность лишь в том случае, если смотреть на них в связи с или, скорее, как на вспомогательные к... великому потоку англо-саксонской миграции на запад”».

Как указал Кеннет Е. Бок, значительная часть обсуждения Дарвином «превосходства» европейцев над другими народами является самодовольным *допущением* этого превосходства. Имея такую предпосылку, остается лишь

открыть «причины». Мне неизвестны какие-либо доказательства того, что Дарвин когда-либо ставил под сомнение само это допущение. И, как отмечает Бок, Дарвин в своей работе «Выражение эмоций у человека и животных» принимает как должное расово-биологическое объяснение фактов, вроде того, что англичане не так часто пожимают плечами, как итальянцы, не плачут так много, как французы (или как английские женщины), и при этом явным образом подразумевается, что эти английские качества означают, во-первых, более высоко развитую стадию развития и, во-вторых, действие естественного отбора среди рас. Сэр Френсис Голтон, двоюродный брат Дарвина, отдавая должное удивительному прогрессу США, заявляет, что это результат того, что в эту новую страну пришли самые дерзкие, отважные, энергичные и храбрые европейцы.

Но, несмотря на наличие сторонников дарвиновского естественного отбора, рассуждающих о расах, и последователей евгеники, которые, начиная с Голтона, стремились улучшить расу, нельзя сказать, что расизм как ключ к прогрессу был когда-либо в Англии настолько же модным, как в Германии и других странах, включая США. Когда именно был взращен миф об «американском англосаксонстве», точно неизвестно. Достаточно заметить, что вера в восходящее к донорманнской Англии «англосаксонство» как основу Америки стала господствующей задолго до того, как закончился XIX век. Конечно, столь распространенное на всем континенте убеждение в англосаксонском расовом характере американцев — т.е., разумеется, истинных американцев — во многом подготовило ту враждебность, с которой они встречали череду волн прибывающих восточных европейцев, а также азиатов в конце XIX и начале XX веков. Любопытно, что Герберт Спенсер, который, по-видимому, не разделял взгляды Дарвина на западноевропейское и англо-саксонское превосходство, писал, что самым благоприятным событием, какое только могло произойти в Соединенных Штатах, было немедленное смешение крови посредством браков американских аборигенов с иммигрантами, наводнившими Америку в конце XIX века. Впрочем, лишь немногие соотечественники были согласны с мистером Спенсером.

Тевтонство и нордизм нашли в Соединенных Штатах множество поклонников, число которых росло. Столь великий и плодовитый ученый и преподаватель, как Джон У. Берджес из Колумбийского университета, в своей весьма влиятельной работе «Политическая наука и сравнительное конституционное право» (John W. Burgess, *Political Science and Comparative Constitutional Law*, 1890—1891) назвал тевтонство жизненно важным для прогресса человечества. «Миссия осуществления политической организации мира», пишет Берджес, в такой огромной степени свойственна тевтонам, что «тевтонские нации никогда не смогут считать осуществление политической власти правом человека».

Великие расы для Берджеса — это «греки, латиняне, кельты, тевтоны и славяне». Но, продолжает Берджес, истинный политический гений заложен лишь в тевтонах. «Кельты, например, не продемонстрировали почти ничего, греки — лишь немного, в то время как тевтоны воистину правят миром с помощью своего высшего гения». Германские нации, заключает Берджес, «это политические нации *par excellence**».

Берджес, каковы бы ни были его взгляды на расу и прогресс, был одним из самых известных ученых и научных лидеров в Америке начала XX века. Значительная часть его работ сегодня столь же ценна, как и во время их опубликования. Он был известен своим великодушным и гуманным характером. Если человек его достоинств мог придерживаться расистских взглядов, которые я только что привел, несложно представить распространенность и глубину проникновения расистской мысли в США начала XX века. Работа Мэдисона Гранта «Шествие великой расы, или расовая основа европейской истории» (Madison Grant, *The Passing of the Great Race or the Racial Basis of European History*, 1916) была во многих отношениях такой же крайностью, как «Основы» Чемберлена, но предисловие к этой работе было написано одним из самых выдающихся натуралистов Америки, Генри Фэрфилдом Осборном. И сама книга стала почти бестселлером по всей Америке.

* В истинном смысле слова (франц.). — Прим. науч. ред.

В заключение отмечу то, что становится очевидным из содержания этой главы: идея прогресса подвержена (была и всегда будет подвержена) искажению — и это, увы, верно в отношении любых моральных ценностей. Одна и та же фундаментальная идея могла привести Адама Смита, Джефферсона, Милля и Спенсера к заключению, что человечество движется вперед к высшим уровням материального благосостояния и моральной гармонии в результате исключительно увеличения свободы индивида, — и она же могла привести Конта, Маркса, Гегеля и Гобино к доктринам, в которых, безотносительно риторики свободы, торжествует власть: утопическая, политическая и расовая.

Я не буду заходить столь далеко, чтобы предположить, будто тоталитаризм, внутренне присущий идеям, которые мы исследовали в этой главе, играет ключевую роль для понимания возникновения тоталитарных обществ в XX веке в России, Германии, Италии, Китае и в других странах. Сами по себе идеи никогда не могут служить достаточным объяснением такого результата. Военные победы и поражения, крушение правительств, экономические потрясения, а также революционные движения, стремящиеся и готовые к захвату власти, — все это следует учитывать, если мы хотим объяснить феномен Советского Союза или нацистской Германии. Но как идеи не существуют в социальном и экономическом вакууме, так и военные, политические и экономические события происходят не в пустоте. Полная совокупность последствий событий проистекает из восприятия этих событий не меньше, чем из событий как таковых, а наше восприятие, в свою очередь, находится под сильнейшим воздействием идей, которые мы принимаем либо отторгаем. Учитывая даже просто количество людей, которые в XIX и начале XX века глубоко верили в тот вид национальной власти, о которой говорили в начале XIX века Фихте и Гегель, людей, страстно приверженных к утопизму в той или иной форме, — сен-симонистской, марксистской или какой-либо другой — и тех, кто принимал доктрины нордического, германского или англо-саксонского превосходства как ключа к прогрессу, было бы абсурдом полностью исключить эту веру и эти убеждения из объяснения тех конкретных форм, которые принял тоталитаризм XX века:

абсолютная власть в сочетании с абсолютной идеалистической веры в утопию, политическое государство и расу.

И все же, относясь с полным вниманием к трагедиям, которые произошли из-за искажения идеи прогресса, — а также, не будем забывать, таких идей, как свобода, равенство и демократия, — я не вижу не больше смысла в отказе от идеи, которая была столь важна для мышления тех, кого мы рассматривали в главе 6, чем в отказе от идей свободы, равенства перед законом и демократии. Несмотря на все ошибки и искажения, идея прогресса в истории Запада была исключительно возвышенной идеей, — возвышенной благодаря тому, что она прославляла в бесчисленных философских, религиозных, научных и исторических трудах, и, в первую очередь, благодаря тому, что она значила для побуждений и надежд тех, кто составлял человеческую основу Западной цивилизации.

ГЛАВА 8 ЖИВУЧЕСТЬ ПРОГРЕССА

В наш век нет недостатка в заявлениях историков и других интеллектуалов о том, что идея прогресса «умерла вместе с Гербертом Спенсером», «закончилась вместе с XIX веком» и «навсегда была изгнана Первой мировой войной» — это лишь произвольная подборка высказываний из нескольких десятков подобных, которые есть в моих папках.

Но истину надо искать где-то в другом месте. Мне хорошо известно, что и теперь, и на протяжении большей части этого века вера в прогресс зачастую ставилась под вопрос: все это можно найти в литературе, философии, истории и науке. Мы вернемся к этой теме в следующей главе. Эти сомнения составляют впечатляющую подборку аргументов, и очень может быть, что ныне, в последней четверти XX века, догма прогресса стоит на пороге своей смерти. Но, даже признав все это, полагать, будто в XX веке, особенно в его первой половине, вера в прогресс на Западе и, в частности, в США не имела влиятельной поддержки ни среди интеллектуалов, ни среди непрофессионалов, означало бы проявить большую невнимательность. Рассмотрим следующий фрагмент, принадлежащий перу некоего Александра Макендрика (Alexander Mackendrick), взятый со страниц престижного издания *The Hibbert Journal* в 1927 году, спустя почти десять лет после Первой мировой войны: «Примечательное увеличение эффективности промышленности, которое произошло благодаря достижениям науки и умножению инструментов и машин, похоже, оправдывает веру в то, что наступил век изобилия. Что бы ни происходило столетие назад, сегодня стало совершенно ясно: мощь производства и средств транспорта такова, что весь человеческий род может быть удобно расселен, одет и накормлен... Проявилось осознание общественной солидарности, и это новый факт человеческой истории... Ежедневная пресса и художественная литература сделали многое для того, чтобы привлечь внимание умов всех классов к предметам общих интересов, и развили то чувство взаимности, участия друг к другу, которое и должно формировать основу всякого

справедливого требования установления прав и признания обязанностей... Представляется, что эти рассуждения могли бы в некоторой степени поддержать веру в естественный закон прогресса и усилить неугасимую надежду на достижение в конечном счете *Civitas Dei** путем постепенного развития более добрых нравов и более безупречных законов, и на воплощение апокалиптических видений провидцев».

Автор соглашается с тем, что пока неясно, каким именно курсом пойдет прогресс: через «более добрые нравы и все то, что то подразумевает в отношении более глубокой духовной культуры» или «путем принятия новых законов, которые разграничат и определяют область свобод каждого гражданина и сделают в дальнейшем невозможным негуманное отношение человека к человеку, которое сейчас в основном проявляется неосознанно и случайно». Но профессора Макендрика это не тревожит. «Более глубокое понимание и более широкий взгляд могут... породить мысль, что эти два отношения не исключают, но дополняют друг друга и находятся во взаимной зависимости».

Неважно, что ни имя автора, ни название журнала не были и не являются самыми общеизвестными в западном мире. Неважно и то, каким могло в конечном итоге оказаться мнение автора. Важно, что процитированные мною слова точно передают в сжатой форме ощущение прогресса миллионами и миллионами людей Запада в то время, когда была написана статья Макендрика, т. е. намного позже начала XX века. Нынешнее разочарование и тревога, распространенные на Западе, могут заставить нас позабыть энтузиазм и убежденность, которые сопровождали веру в прогресс в первые десятилетия XX века. Но достаточно обернуться назад и просмотреть подборку газет, популярных журналов и книг, журналы по общественным и естественным наукам, платформы политических партий, всевозможные манифесты и программные заявления разных групп по всему идеологическому спектру первой половины нашего века, чтобы оценить стойкость того, что в те времена представлялось нерушимой верой в прогресс на Западе в целом и, в частности, в США. Идея прогресс-

* Града Божьего (лат.). — Прим. перев.

са и сегодня не лишена сторонников у нас и за рубежом. В этом я не нахожу ничего исключительного или странного. Если оставить в стороне опустошения, причиненные в этом веке войнами и тиранией, эта идея, столь внутренне милленаристская и столь связанная по природе своей с идеей спасения, идея, в которую верили на протяжении стольких столетий, которая дала толчок такому множеству религиозных и светских движений в сфере мысли и деятельности, начиная с раннего христианства и далее, — такая идея не может легко исчезнуть из западного сознания. Так, Первая мировая война со всем ее беспрецедентным кровопролитием, опустошениями и разрушающим воздействием на политическую и моральную ткань Европы, как представляется, на самом деле укрепила веру Запада в эту идею. В конце концов, именно в 1920 году Дж. Б. Бэри создал свое исторически построенное прославление этой идеи, которую он разбирал с такой гордостью, как если бы она была исключительно современной. Обратимся к некоторым главным проявлениям и проводникам приверженности прогрессу в нашем столетии.

Возьмем либерализм. Убеждения Адама Смита, Милля, Спенсера и других мыслителей классического либерализма XIX века нашли свой путь, разумеется, и в XX век. Их можно увидеть в философии свободного частного предпринимательства, которая в первые десятилетия нашего века по большей части преобладала в учебниках экономики по обе стороны Атлантики; которая составляла повседневную веру подавляющего большинства собственников, менеджеров и работников промышленности; которая стояла за бесчисленными редакционными статьями крупных газет и журналов и которая регулярно и преданно благословлялась на каждом национальном празднестве.

Убеждение в том, что путь прогресса пролегает через свободное частное предпринимательство, было лишь частью более широкой веры в то, что ключ к прогрессу лежит, как утверждали и Милль, и Спенсер, в индивидуальной свободе во всех сферах — в свободе слова, собраний, прессы, религии и т. д. Но при всем при том вера в экономический прогресс и в необходимость такой формы прогресса для продвижения во всех других сферах была, возможно,

самым впечатляющим проявлением философии прогресса до Великой депрессии 30-х годов.

Без сомнения, эта депрессия стала суровым испытанием для либерализма классического типа. И, как я вскоре покажу, она выдвинула на передний план другую форму либерализма, которая возникла в начале века. Но классический (или хотя бы неоклассический) экономический либерализм выжил, несмотря на удары, нанесенные депрессией. И сегодня мы видим его настоящее возрождение, проявляющееся в трудах и влиянии Хайека, Фридмана и Чикагской школы. Очень сильно звучит в хоре продолжающих свою работу пророков прогресса голос Хайека. В своей монументальной работе «Конституция свободы», опубликованной в 1960 году, он начинает третью Хайек такими словами: «Современные авторы, весьма ценящие свою репутацию среди более искушенных людей, едва ли осмелятся упомянуть прогресс, не заключив это слово в кавычки. Молчаливо подразумеваемая уверенность в благотворности прогресса, которая в последние два века служила признаком передового мыслителя, стала восприниматься как знак поверхностного ума. Хотя огромная масса людей в большинстве уголков мира все еще возлагает свои надежды на продолжающийся прогресс, среди интеллектуалов привычным стал вопрос, существует ли такая вещь вообще, или, по крайней мере, является ли прогресс желательным».

Хайек соглашается с тем, что за последнее столетие появились некоторые обманчивые и даже ложные примеры обоснования «законов прогресса», и опровержение такого рода обоснований было благотворным. Но он еще более твердо уверен в том, что вера в прогресс оправдана исторически и что императив нашего времени состоит в поддержке реальности прогресса в наш век. «Сохранение цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, зависит от действия сил, которые при благоприятных условиях приводят к прогрессу». Для Хайека цивилизация — это прогресс, а прогресс — это цивилизация. Конечно, наряду с благами, которые приносит прогресс знаний и которые в наши дни абсолютно необходимы для цивилизации на любом уровне, существуют и такие последствия прогресса, которые могут опечалить нас и оскорбляют наши эстетические, моральные или религиоз-

ные чувства. Хайек продолжает: «Вероятно, не существует ответа на вопрос, были бы мы хоть немного благополучнее и счастливее, если бы застыли на нынешней стадии развития, чем если бы остановились сто тысяч лет назад.

Но ответ на него не имеет никакого значения. Имеет значение успешное стремление к тому, что каждый раз кажется недостижимым. Человеческий разум подтверждает свою силу не плодами прошлых успехов, но жизнью в будущем и ради будущего. Прогресс — это движение во имя движения, поскольку именно в процессе обучения и обретения новых знаний человек наслаждается дарами своего разума».

Очевидно, для профессора Хайека идея прогресса служит духовной движущей силой современной западной истории, подобной протестантской этике (если не превосходящей ее) в том, что касается политического и промышленного развития западной цивилизации. Если его убеждение в самом деле таково, то он прав. Все исторические данные показывают, что подъем технологического, промышленного и коммерческого развития Запада, начавшийся в период Высокого Средневековья и, не считая эпизодических остановок, постоянно усиливающийся и притягивающий веру все большего людей, особенно их среднего класса, а к XIX веку затронувший буквально все стороны жизни, экономики, социального порядка, культуры и государственного управления, — этот подъем был в огромной мере результатом почти религиозной веры в восхождение человечества из прошлого в будущее. В огромной степени эта традиционная вера в интеллектуальный и культурный прогресс, поддерживаемый экономическим ростом и свободой, твердо укрепились в умах американского народа, хотя, по-видимому, далеко не у большинства интеллектуалов. Снимите нынешние путы государственного регулирования с экономического предпринимательства, утверждают либертарианские прогрессисты, и экономический рост продолжится, неся с собой прогресс во всех сферах жизни.

Но это лишь одна форма либерализма, соединенного с прогрессом. Существует и другая, гораздо более популярная форма, особенно среди ученых, работающих в сфере общественных наук, которая считает политическое вмешательство самой сердцевиной экономического и социального

прогресса. И говорю о так называемом «новом либерализме», который считает ключом к прогрессу прямое использование планирующей, регулятивной и руководящей власти центрального правительства. Майкл Фриден в своей недавней работе «Новый либерализм» (Michael Freeden, *New Liberalism*) продемонстрировал, каким образом эта форма либерализма развилась в Англии, будучи в первую очередь результатом трудов двух верных поборников прогресса, Дж. А. Хобсона (J. A. Hobson) и Л. Т. Хобхауса (L. T. Hobhous). В США примерно в то же самое время работали Лестер Т. Уорд (Lester T. Ward), Торстейн Веблен (Thorstein Veblen) и Джон Дьюи (John Dewey), хотя читатели, безусловно, легко вспомнят и другие имена.

Новый либерализм, не уменьшая и не ослабляя поддержку личной свободы в том значении, которое придавали тому слову Милль и Спенсер и которое составляло Билля о правах в Конституции США, тем не менее увидел для государства роль, которую нельзя встретить в классическом либерализме XIX века. Хобсон в Англии, например, в молодости был горячим почитателем как «О свободе» Милля, так и «Социальной статики» Спенсера. На протяжении всей жизни он оставался защитником гражданских и политических прав граждан. Но, как отмечает Фриден, Хобсон, в основном благодаря своей увлеченности идеей развивающегося, прогрессирующего общества, пришел к убеждению, что сам либерализм положил начало прогрессивному развитию и должен быть изменен так, чтобы продолжить это развитие, в котором естественный процесс прогресса будет усилен и ускорен с помощью просвещенного политического законодательства. Хобсон умело воспользовался концепцией общественного организма, которую, по его собственному признанию, позаимствовал из социологии Спенсера. Но для Хобсона, в отличие от Спенсера, образ организма обозначал общественные функции, за которыми государство может надзирать и которые может регулировать наилучшим образом. Более медленное (хотя естественное и неотвратимое) развитие социальных условий человечества может получить дополнительные стимулы и усилить свое воздействие под влиянием разумного применения основных принципов общественных наук к экономике и обще-

ству. Использование планирования и регулирования ничуть не означало для Хобсона опасности для свободы или для прогресса, а лишь то, что с помощью просвещенного государства и то, и другое будет возвеличено, а их воплощение ускорено.

Л. Т. Хобхаус — столь же удачный пример того, что начал новый либерализм. Он прославился исследованиями социальной эволюции и прогресса общества и никогда не терял веры в «законы» социального развития. Но он вдобавок пришел к убеждению, что для компенсации тягот, создаваемых промышленной системой, требуется большее применение государственной власти — для укрепления безопасности и свободы индивидов. Его работа «Развитие и цель» (L. T. Hobhouse, *Development and Purpose*) стала краеугольным камнем в становлении его мышления. Опубликованная в 1913 году, она быстро стала, по сути дела, Библией нового либерализма. То, что Хобхаус в этой работе называет «условной телеологией», есть попросту сплав биологического, социального и морального прогресса, который происходил на протяжении бесчисленных тысячелетий и который продолжит свой ход далее, с того рода планированием и правительственным управляющим воздействием, которые стали возможны, по его мнению, благодаря достижениям общественных наук. Только теперь, утверждает Хобхаус, впервые в истории человечество получило возможность использовать знания, а также демократическое государство в качестве средств ускорить достижение того, что он называл «социальной целью». Граница между новым либерализмом Хобсона, Хобхауса и их последователей в Англии, и демократическим социализмом фабианцев не всегда четко различима, но между центральными положениями, выдвинутыми новыми либералами, по крайней мере, первоначально, и ключевыми доктринами фабианства супругов Уэбб вместе с их сторонниками есть существенное различие. Как подчеркивает Хобсон в своих мемуарах, которые он написал в конце жизни, спенсеровский принцип личной свободы, усвоенный им в юности, оставался для него сияющим маяком, даже несмотря на то, что он пришел к выбору неспенсеровских методов его воплощения.

В Америке палеоботаник и социолог Лестер Уорд пришел к аналогичным идеям несколько раньше, чем Хобсон и Хобхаус. Для Уорда, как и для Хобхауса, прогресс Вселенной, цивилизации и человеческого разума был столь же реален и бесспорен, как и любой закон физики. Он точно так же вначале был впечатлен трудами Спенсера и никогда не прекращал восхищаться ими. Но к перечисленным Спенсером стадиям человеческого прогресса от прошлого к настоящему Уорд добавляет новую стадию, в которую западный человек еще только вступает, в которой возможна «целенаправленная эволюция» или прогресс. «Социальная целенаправленность» [social telesis] для Уорда так же, как и для его английских единомышленников, есть использование правительственной власти и образования для более точного управления, а также для ускорения естественного процесса развития. Одним словом, истинный либерализм для Уорда означал политическое и социальное планирование, просвещенное управление и концепцию правительства, одновременно и освобождающего, и защищающего своих граждан.

Торстейн Веблен тоже стремился соединить постоянную критику капитализма с эволюционно-прогрессивным объяснением. Почти всем известна жесткая критика, которой Веблен подверг правящий класс, ненаучный склад ума, господствующий в управлении экономической системой и то, что он считал проявлением иррационального отставания в необходимом развитии экономики и общества. Гораздо меньше людей понимает, насколько глубоко эта критика коренится во внутренне согласованной, последовательной теории прогресса. Веблен очень рано был очарован теориями развития, ассоциирующимися с Гегелем, Марксом и многими английскими антропологами. Во всех работах Веблена, от «Теории праздного класса» (*Theory of the Leisure Class*, 1899), через «Инстинкт мастерства и состояние промышленных ремесел» (*The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts*, 1914) и до «Инженеров и системы цен» (*The Engineers and the Price System*, 1919), присутствует неизменный, постоянно используемый фундамент, имеющий эволюционный и, более того, эволюционно-антропологический характер. Именно

исходная теория человеческого прогресса Веблена, изобилующая ссылками на значительное число стадий, привела его к убеждению, что в его время имели место некоторые существенные задержки в прогрессе (такие как доминирование капиталистических менеджеров над учеными), и последующему выводу, что только путем расширения власти правительства, распространения законодательства на области человеческой жизни, прежде свободные от такого законодательного руководства, и предоставления возможности разуму, а не одним только экономическим интересам, управлять человеческими жизнями, можно одновременно ускорить обычный эволюционный прогресс и улучшить социальные условия большого числа людей в капиталистическом обществе.

«Инстинкт мастерства» Веблена представляет в наиболее систематическом виде его теорию человеческого прогресса и стадий прогресса. Самая ранняя из них, которую он называет «состоянием дикости», в значительной мере напоминает «первобытный коммунизм» в марксистском мышлении, хотя Веблен, безусловно, позаимствовал свой взгляд на самое раннее состояние человечества, когда не было ни частной собственности, ни войны, из работы Лююиса Моргана «Древнее общества». Из этого изначального состояния человечество развивается, говорит нам Веблен, в «хищническое общество», первой фазой которого было «варварство» с господством военного класса и класса священников. За ним последовало «денежное общество», которое началось с ремесел и постепенно развилось до эпохи машин. Приход последней впервые в истории позволил разуму, в основном представленному инженерами и учеными, гуманно и рационально направлять процессы эволюционного прогресса.

Третьей главнейшей интеллектуальной фигурой, ответственной за трансформацию классического либерализма в Америке, был Джон Дьюи. В трактовке прогресса у Дьюи гораздо меньше формального и систематического, чем у Уорда и Веблена, но почти вся его деятельность пронизана прогрессистским эволюционизмом. Он начал свою интеллектуальную карьеру почти полным гегельянцем. И хотя он в итоге отказался от этой философии, без

понимания раннего гегельянства Дьюи сложно объяснить его сопротивление всем формам дуализма на протяжении всей жизни, его концепцию свободы как реализации внутренних потенций индивида, когда главная цель образования и других институтов состоит в помощи этой реализации, и, возможно, самое важное, — его представление о том, что все нормы, законы и ценности находятся в динамическом процессе становления.

Подобно Уорду и Веблену, Хобсону и Хобхаусу, Дьюи твердо верил в использование интеллекта в целях рациональной прогрессивной реформы. Он отстаивал свободу столь же основательно и непрерывно, как и любой другой создатель нового либерализма, но главным смыслом того, что он сам и другие характеризовали как «инструментализм» в его мысли, была идея использования мышления и планирования в качестве дополнения к естественным процессам общественной жизни и изменений. Его «Демократия и образование» (John Dewey, *Democracy and Education*, 1916) является, разумеется, классической работой в истории того, что стало впоследствии называться «прогрессивным образованием». Дьюи не может нести ответственность за неадекватности и глупости, которые со временем стали отличительными чертами образовательного прогрессизма последователей Дьюи, но факт остается фактом: уверенность в естественном прогрессе лежит в основе всех публичных заявлений Дьюи относительно социальной реформы, образования и морали.

Одним словом, старые и новые либералы в Европе, и Америки никогда не сомневались, по крайней мере, до недавнего времени, что существует прогресс, который легко увидеть в долгой борьбе человека за освобождение от страданий, порождаемых бедностью, уязвимостью и лишениями, и в движении, с целью добиться этого освобождения, к весьма интервенционистскому, гуманитарно-ориентированному и проводящему определенную стратегию политическому государству. В Америке Теодор Рузвельт, а затем Вудро Вильсон сделали президентство тем, что первый называл «великолепной кафедрой» для проповедования прогресса путем политического вмешательства. Вплоть до конца 50-х годов XX века либералы редко отказывались

от возможности облечь свою веру в государственное планирование и контроль над экономикой в риторику прогресса. Возможно, они нечасто обладали тем панорамным взглядом на прогресс, который был свойствен их предшественникам Хобхаусу, Уорду и Веблену, но весьма многозначительным является тот факт, что слово «прогрессивный» стало все более предпочтительным прилагательным для описания их трудов и рекомендованной ими политики, а прилагательные «реакционный» и «регрессивный» всегда были под рукой для использования против их оппонентов.

Ту же веру в прогресс можно видеть в радикализме XX века. Знаменитая фраза Линкольна Стеффенса (Lincoln Steffens) «я видел будущее, и оно работает», которую он сказал по возвращении из России вскоре после большевистской революции, коренится в философии экономического прогресса, которая была если не создана, то увещана Марксом и Энгельсом. Именно эта революция, соперничающая по значимости с Французской революцией конца XVIII века в качестве стимула веры в прогресс, более любого другого события XX века подтвердила (или, по-видимости, подтвердила) социалистическую и коммунистическую веру в неизбежность окончательного загнивания и умирания капитализма и установления на Земле прогрессивного господства социализма. Радикальная литература большей части XX века — это литература светского миллениаризма. Разумеется, в том деле должна использоваться стратегия (стратегия бунтов, забастовок и организации рабочего класса в качестве средств подготовки революции), но эта стратегия черпала свою убедительность для интеллектуалов и части рабочих из философии прогресса, на которой она основывалась. Как бы ни оценивать ее с точки зрения морали, едва ли где-либо еще в XX веке можно найти более мощное утверждение прогресса человечества, чем в книгах, статьях, манифестах и речах социалистов и коммунистов. (Кстати, я полагаю, что самое большое различие между радикализмом первой половины века и тем, который начал расцветать в 60-е годы в кампусах, санкционируя вандализм и террор, сводится к вере в неизбежное прогрессивное движение к социализму. Такой веры в «новом радикализме» несравнимо меньше.

и ее стало еще меньше, насколько можно судить, в радикализме сегодняшнем).

Для значительного числа радикалов и новых либералов Великая депрессия имела такое же значение, какое имели голод, эпидемии и другие катастрофы для иоакимитов и других хилиастов Средневековья. Она, как и катастрофы прошлого, по самой своей силе и масштабу представлялась тем самым временем мучений, лишений и раздоров, которое и в Откровении Иоанна Богослова, и в «Капитале» Маркса объявлялось неизбежной прелюдией к наступлению миллениума.

Но не будем забывать и того засвидетельствованного факта, что во время депрессии многие миллионы американцев сохранили веру в прогресс, абсолютно не требующую радикальных, милленаристских обоснований, а лишь неизменной веры в базовые американские ценности и институты. В 1933 году, в самой нижней точке депрессии, город Чикаго устроил всемирную ярмарку с целью отметить «Столетие Прогресса». Когда в 20-е годы Роберт и Хелен Линд впервые посетили Манси, (штат Индиана) для проведения своего классического исследования «Средний город» (Robert and Helen Lynd, *Middletown*), они обнаружили там веру в прогресс, религиозную по своему характеру. Еще более удивительно, что, когда семья Линд вновь посетила Манси во время Великой депрессии, чтобы подготовить свой «Преобразующийся Средний город» (Robert and Helen Lynd, *Middletown in Transition*), они обнаружили, что уверенность в прогрессе по большей части никуда не исчезла.

Не забудем также и технократов, о которых Уильям Е. Эйкин недавно написал захватывающее исследование. Технократы процветали в 30-е годы XX в. и насчитывали среди своих членов нескольких выдающихся инженеров Америки. Для того чтобы прогресс продолжился, утверждали технократы, следует заменить бизнесменов инженерами в роли хозяев экономики. Эта идея была так привлекательна, что даже столь выдающийся инженер, как Вальтер Раутенштраух (Walter Rautenstrauch), заведовавший кафедрой инженерного дела в Колумбийском университете, помог с молчаливого согласия университета сформировать Коми-

тет по технократии на высшем уровне. Нельзя сказать, что во времена депрессии технократия как движение обладала общенациональным влиянием, подобно другим движениям, имевшим более непосредственный социальный и экономический характер (как, например, движение доктора Таунсенда), но тем не менее оно оказывало влияние, следы которого не исчезли полностью даже сегодня. И среди интересов тех, кто входил в ряды технократов, первостепенным был интерес к прогрессу человечества, а также вера в то, что прогресс может быть продолжен и ускорен при условии передачи государственной власти инженерам.

В чем-то подобными американскими технократическими пророками прогресса этих двух десятилетий были английские ученые, ориентированные на марксизма, которые проповедовали евангелие прогресса, осуществляемого посредством науки, причем в слово «наука» вкладывали гораздо более широкое значение, чем мечта технократов, одержимых инженерией. В их числе так же, как и в американской группе, были некоторые выдающиеся биологи, химики и физики своего времени: Дж. Д. Бернал (J. D. Bernal), Джозеф Нидхэм (Joseph Needham) и другие. Все они усвоили марксистскую доктрину прогресса, и то, что они добавили к вере в грядущее бесклассовое общество, лишенное частной собственности и капиталистов, было убеждение, напоминающее скорее Конта, чем Маркса, согласно которому ученые будут и должны играть главенствующую роль в обществе. Для них, как и для технократов, а также и для новых либералов, проблема состояла не в *осуществлении* прогресса, а лишь в приведении в действие того, что уже латентно присутствовало в обществе, в ускорении, которое произошло бы естественным образом, если бы не некоторые искусственные препятствия, в основном экономические и налоговые, возникшие в результате слепоты капиталистов и руководителей промышленности.

До сих пор речь шла об Америке и Западной Европе. Но давайте рассмотрим текст Программы КПСС 1961 года, составленный в пропитанном марксизмом Советском Союзе. Мы узнаем из нее, что «всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму, начатый Октябрьской Революцией, — закономерный результат

развития общества... Столбовая дорога к социализму проложена. По ней идут уже многие народы. По ней рано или поздно пойдут все народы... Утвердятся гармоничные отношения между личностью и обществом... Семейные отношения... будут целиком строиться на чувствах взаимной любви и дружбы».

У нас нет способа узнать, сколько русских, знакомых с этими высокопарными утверждениями, не чувствуют себя разочарованными и преданными, когда оглядываются вокруг себя; но было бы чрезвычайно странно, если бы в Советском Союзе совсем не было искренне верящих во все то даже сегодня.

А вот и другое сходное заявление, прозвучавшее из другого крупного коммунистического государства нашего времени, — из Китая. Его сделал Лю Шаоци, который примерно двадцать лет назад был секретарем Коммунистической партии Китая. Описывая Китай, созданный Мао, Лю Шаоци заявляет, что «это дорога, по которой неизбежно должно пойти все человечество в соответствии с законами развития истории». Сегодня западноевропейские и американские марксисты, как правило, сталкиваясь с такого рода порождениями ясно высказанного Марксом утверждения неизбежности прогрессивного движения к социализму, либо игнорируют их, либо испытывают неловкость и находят прибежище в «гуманизированной» версии Маркса, имеющей сегодня хождение на Западе, — Маркса «практика». Однако в коммунистических регионах мира все это видится иначе.

Подчеркивание законов исторического развития в двух приведенных цитатах наводит на мысль об еще одном обиталище исторической идеи прогресса. Я имею в виду веру в то, что называется «социальной эволюцией» или «общественным развитием». Эти термины, которые появились в XIX веке, тем не менее имеют весьма современный статус в общественных науках. Прежде, в начале XX века, считалось, что это проявление идеи прогресса XIX века уже мертво, чему послужила уничтожающая критика соответствующей методологии, содержащаяся в работах таких выдающихся мыслителей, как антропологи Кребер, Лоуи, Редклифф-Браун и Малиновский, специалисты по

сравнительной истории Флайндерс Петри, Ф. Дж. Теггарт, Тойнби, Шпенглер и многие другие.

Но за последние годы мы наблюдаем заметное возрождение социального эволюционизма XIX века в работах социолога Толкотта Парсонса и его последователей, а также в трудах антрополога Лесли Уайта и его учеников. Многие в этих работах может казаться сходным с современной эволюционной теорией в биологии, но, не считая нескольких фраз, позаимствованных социологами из эволюционной биологии, никакого сходства нет вообще; любой биолог-эволюционист сразу подтвердит это, как только ознакомится с различными изложениями теории социальной эволюции. Самая большая разница между теорией эволюционной биологии и теории социальной эволюции в том, что первая прямо и неизбежно основывается на дарвинской теории естественного отбора, соединенной с принципами генетики, первоначально установленными Менделем в середине XIX века и существенно развитыми и усовершенствованными в нынешнем веке. Эволюционная биология неотделима от теории популяционной статистики, в то время как социальная эволюция в том виде, в каком она встречается в XIX веке и сегодня, имеет неустранимо типологический характер: она имеет дело не со средними арифметическими, не со статистическими показателями для больших популяций и не с созданием в лабораторных условиях популяций, к которым применяются эти средние показатели, но с культурами, цивилизациями, институтами и другими структурами или типами. Социальный эволюционист по природе своей неизбежно является типологом. И, как пишет гарвардский биолог Эрнст Майр [Ernst Mayr], «многие основополагающие понятия синтетической теории [в эволюционной биологии], такие как естественный отбор и популяция, не имеют смысла для специалиста по типологии». Попросту не существует каких-либо теоретической или реальной взаимосвязи между тем, чем заняты генетик или молекулярный биолог при исследовании эволюции и видообразования, и тем, что социолог или антрополог делает со своими классификациями или категоризациями целых цивилизаций или институтов, разбросанных по всему миру и на протяжении всей истории.

Осмелюсь утверждать, что в наше время истинная причина привлекательности социальной эволюции и главная причина недавнего возрождения систем, не слишком отличающихся от систем Конта, Маркса и Спенсера, имеет *моральный характер*. Панорама, обеспечиваемая построениями так называемой социальной эволюции, стимулирует стремление к единству, к чувству общности между нациями и всеми «стадиями» прошлого и настоящего в долгой саге существования человечества. Социально-эволюционные теории настоящего времени выполняют, только в светских терминах, точно ту же функцию, которой служила для Св. Августина его доктрина единства человечества и его теория шести стадий, или эпох, уже пройденных человечеством, и двух, лежащих впереди. Одним словом, идея прогресса в настоящий момент имеет значительное число последователей в общественных науках в лице тех, кто по своим моральным убеждениям и интеллектуальным интересам привержен той или иной схеме социальной эволюции. К сторонникам этого современного проявления философии прогресса должны быть отнесены марксисты и другие радикалы, старые и новые либералы и даже консерваторы.

Сохраняющуюся приверженность к этой философии можно встретить в значительной степени в западном (и особенно американском) восприятии остальной части мира. В частности, философия прогресса прослеживается в основаниях нашей международной политики и нашего чувства своей миссии в мире. Сегодня можно выделить две различные и даже противоположные перспективы (обе, впрочем, твердо покоящиеся на основании исторической идеи прогресса). С одной стороны, в продолжение старого, довольно обветшавшего представления, бытует убеждение, что основные западные ценности, а также политические и экономические структуры не только превосходят все, что имеется в остальной части мира, но и являются символами того, что незападные страны должны будут со временем узнать и обязательно *узнают*, когда эти ценности разовьются или будут развиты теми, кто обучался и приобрел опыт в рамках западной традиции. Обилие в сфере общественных наук фондов и правительственных учреждений, основывающих свою деятельность на таких понятиях, как

«слаборазвитые страны», «модернизация» и «развитые страны» — это дань сохраняющейся в западных странах власти идеи прогресса.

На Западе существует, однако, и другая, диаметрально противоположная точка зрения, которая возникла после Второй мировой войны и также имеет корни в философии прогресса. Согласно этой точке зрения, Запад больше не следует воспринимать как авангард прогресса. Напротив, в основе этой позиции лежит описание западной цивилизации в терминах увядания и упадка. Заявляется, что истинный прогресс нужно искать в так называемых незападных разновидностях социализма, особенно в странах «третьего мира». Провозглашается, что эти народы представляют нам зрелище истинного марша прогресса, колонну которого возглавляет Китай или Советский Союз. Вопросы практические (внешняя политика США) и идеологические (права человека в мире) рассматриваются и решаются в свете убежденности в том, что социализм, несмотря на нынешние репрессии против жизни и свободы, представляет собой истинный путь в будущее.

Одним из наиболее интересных явлений, доставшихся в наследство от старой идеи прогресса, стало то, что принято называть футурологией. Последняя точно так же неотделима от своего основания в виде воображаемого прогресса, который тянется из прошлого в настоящее и в будущее. Большие надежды возлагаются на компьютерные технологии, которые, как торжественно заявляется, позволяют нам научно предвидеть то, о чем какой-нибудь Токвиль и Маркс в прошлом могли только догадываться. Но в реальности мы все еще действуем точно так же, как действовали пророки Токвиль и Маркс, когда они устремляли свой взгляд в будущее. Можно распознать некую очевидную историческую тенденцию: это может быть эгалитаризм, как в случае с Токвилем, или, как у Маркса, классовая борьба, результатом которой должно стать абсолютное господство пролетариата, а затем — социализм. Хотя выводы из предсказаний Токвиля и Маркса различны, они являются результатом абсолютно одинакового метода, который состоит в ухватывании какого-либо аспекта настоящего, представляющегося доминирующим, и затем в проецировании его на будущее.

В основе своей футурология не претерпела изменений. Несмотря на все заклинания по поводу компьютерных наук, систематики, институциональных исследований и эконометрических моделей, из которых исходят сегодняшние предсказатели, она по существу является все той же идентификацией тенденции или тенденций настоящего и продолжения их в будущее со всеми модификациями, которые могут дать проницательность и интуиция.

Хотя многие из подобных проекций, созданных в наше время, становятся все более пессимистичны по причинам, о которых я скажу позже, в них все еще содержится удивительно большая доля оптимизма. Можно вспомнить, что *первый* прогноз Римского клуба, теперь уже ставший достоянием истории, согласно которому будущее планеты виделось довольно мрачным, был громко раскритикован, в результате чего *второе* предсказание Римского клуба было куда более оптимистичным, хотя некоторые из его предпосылок, особенно по поводу щедрости богатых наций к бедным регионам мира в будущем, оставляют у критически настроенного читателя ощущение пустого оптимизма.

В следующей главе мы рассмотрим некоторые из многочисленных предсказаний неизбежного конца экономического роста и доступности природных ресурсов и продовольствия. Но при этом полезно держать в уме, что идеи, защищающие, оправдывающие и предсказывающие положительную динамику длительного, продолжающегося экономического прогресса имеют в настоящее время широкое хождение. Эрнест Бекерман в своей работе «В защиту экономического роста» (Ernest Beckerman, *In Defense of Economic Growth*) искусно суммировал и синтезировал (и в значительной степени добавил от себя) доводы, подтверждающие твердость фундамента, на котором могут основываться и на деле основываются предсказания долгосрочного процветания, продолжающейся доступности ресурсов и продовольствия, а также непрерывного экономического роста. Вера в экономический прогресс ни в коей мере не умерла! Еще совсем недавно, в 1969 году, некто С. Бреннер написал в «Краткой истории экономического прогресса» (S. Brenner, *A Short History of Economic Progress*) следующее: «Представляется, что экономический

прогресс вполне может быть органическим процессом, подобным другим процессам, имеющим место в различных формах биологического развития. Раз начавшись, он будет расти и разносить свои семена все шире и шире, по все более обширным частям мира — там и тогда, где и когда для этого есть подходящие условия». Ни один экономист классической школы, ни один манчестерский публицист XIX века не смог бы сказать лучше.

Герман Кан в работе «Следующие 200 лет» (Herman Kahn, *The Next 200 Years*) тоже приводит систему убедительных и изощренных аргументов в пользу высокой вероятности продолжения прогресса в течение предстоящих десятилетий. Его подход нельзя назвать не критическим: он хорошо знает, что катастрофы, в том такие духовные и моральные «катастрофы», такие как внезапное исчезновение воли к жизни и труду или охатывающая умы неискоренимая скука, могут сделать ошибочными самые светлые предсказания. Но если оставить в стороне эти возможные катастрофы, то, утверждает Кан, у нас уже сейчас имеется в наличии достаточно ресурсов, и еще больше ресурсов появится благодаря использованию методов поиска и обнаружения, разработка которых уже на подходе в науке и технологии. Поборники экономического роста превзойдут числом тех, кто выступает против него, желание работать будет, как правило, успешно противостоять искушениям праздности, и, хотя периодически будут случаться перерывы и даже откаты назад, перспективы продолжения прогресса остаются превосходными, по крайней мере, в отношении следующих двух столетий.

Оптимизм Кана имеет гораздо более широкую поддержку в народах США и Западной Европы, чем можно подумать, судя по нашим ежеквартальным интеллектуальным журналам. Исследования общественного мнения и опросы класса высокопрофессиональных специалистов и менеджеров выявляют значительную степень уверенности в будущем прогрессе в том, что касается экономического роста, жизненного уровня и развития знаний. Единственное препятствие, упоминавшееся неоднократно, — это ограничение возможностей для роста и развития (преимущественно имеющее политический характер). Но в целом убеждения именно

таковы. Или, если говорить о моменте написания той книги, таковы они были до последнего времени.

Есть и другие выражения продолжающейся в XX веке веры в прогресс. И в наши дни существуют представители того рода регламентации и применения власти во имя неких прогрессивных идеалов, вроде тех, которые мы встречали в XIX веке в теориях Конта, Фурье, Кабе, Маркса и их последователей. Я говорю о большом и все увеличивающемся числе «коммун», не слишком отличающихся от утопических общин прошлого века. На первый взгляд, они могут показаться не более чем проявлениями эскапизма. Но они также символизируют веру в человеческий прогресс, которому для продолжения требуется только побуждение и пример (по крайней мере, если говорить о серьезных, самоотверженных и морально убежденных коммунах и оставить в стороне такие извращения и ужасы, как «семья» Мэнсона и Джонстаун).

Также никуда не исчезла и не собирается исчезать расистская теория прогресса. Вера в англо-саксонство и в нордическую расу, а также в евгенику, в средства защиты чистоты расы была сильна в первые десятилетия XX века, о чем свидетельствует необычайная популярность «Шестивия великой расы» Мэдисона Гранта и «Цветной прилив» Лотропа Стоддарда (*Lothrop Stodard, Rising Tide of Color*). Эти книги одновременно предупреждали о расовой основе прогресса и вновь утверждали ее. Об успехе (и кошмаре) прогресса, понимаемого как расизм, в нацистской Германии нечего и говорить.

Еще одним признаком влияния идеи прогресса на умы американцев в наш век является безграничная популярность слова «прогрессивный». Даже в нынешние беспокойные времена, полные разочарований и нервных срывов, индивиды наблюдают явное нежелание, чтобы их воспринимали как «непрогрессивных». Вряд ли можно вспомнить хотя бы одну сферу американской жизни в XX веке, в которой вера в прогресс не была бы выражена радостным использованием слова «прогрессивный». В начале века существовала Прогрессивная партия, в конце 1940-х годов — совершенно не связанная с ней Независимая прогрессивная партия. Но я не припомню партии или соци-

ального движения, которое не провозглашало себя, часто и громогласно, более прогрессивной (читайте: «в большей степени идущей в ногу с продолжающимся прогрессом»), чем все остальные. Как забыть громко восхваляемое и столь почитаемое бесчисленным числом педагогов «прогрессивное образование»? Были и продолжают существовать «прогрессивные» музыка, театр, поэзия, джаз, живопись, архитектура и т.д. Всегда подразумевается, что все то, что наречено прогрессивным, находится в авангарде и удерживает позиции, к которым естественный ход прогресса со временем приведет других. Поклонение новому, зачастую бездумное, во всех сферах имеет в основе, осознанно или нет, философию прогресса, которая по самой своей природе объявляет новое и последнее наивысшим в восходящей временной прогрессии.

Футуристическая литература, научная и прочая, также содержит поразительный оптимизма в отношении будущего. Иногда мы склонны считать, что «О, дивный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла задали образец уныния и подавленности, которому следуют почти все последующие художественные вторжения в будущее. Но это далеко не так. В то время, когда я пишу эту книгу, кинофильм «Звездные войны» (который на самом деле показывает нам чудесное и захватывающее будущее, с романтическими отношениями, привлекательными мужчинами и красивыми женщинами, весьма дружелюбными механическими существами и даже полицейскими и ворами, преследующими друг друга в отдаленных галактиках, и многим другим, с чем мы хорошо знакомы) бьет рекорды по кассовым сборам. Ежегодно появляется бесчисленное множество научно-фантастических романов и рассказов, которые нельзя не считать в высокой степени оптимистичными. Майкл Вуд несколько лет назад заметил в статье в *The New York Review of Books*: «Это, возможно, не та научная фантастика, которую любят интеллектуалы, но именно такую читают фанаты». Следует подчеркнуть, что у Артура С. Кларка гораздо больше от Жюль Верна, чем от Оруэлла!

И в нашем веке никогда не было недостатка в своих жрецах прогресса знаний. Сэр Джулиан Хаксли, внук Т. Х. Хаксли (Гексли), не менее уверенный в неизбежности

прогресса, чем его предок, подтверждает квазиавтономную природу науки. «Как только наука достигает состояния, в котором наличествует внутренне согласованная теоретическая база, она неизбежно (при условии, что ей не мешают власти) продолжает совершать дальнейшие открытия и расширять сферу применения своей теории». С этим неизбежным увеличением знаний, продолжает Хаксли, должно усиливаться и господство над природой и в связи с этим — «эффективные, прогрессивные изменения» в наших отношениях с природой и друг с другом. Естественный отбор нельзя остановить, но, утверждает Хаксли, при наличии научных знаний о его процессах ничто не мешает нам управлять им и, так сказать, направлять его к появлению еще более совершенных людей.

Сэр Джулиан Хаксли не одинок в своем оптимизме. Еще один внук викторианского поборника прогресса, физик сэр Чарльз Дарвин, говорит нам, проникая взором в будущее: «...возникнут огромные хранилища знаний, далеко превосходящие все, что мы можем себе представить теперь, и интеллектуальное состояние человека поднимется на невиданные высоты. И порой новые открытия будут на какое-то время освобождать человеческий род от его страхов, будет приходить золотой век, когда многие смогут некоторое время свободно создавать чудесные цветники в науке, философии и искусстве».

Даже сферу изобразительного искусства историк искусств, Сьюзи Габлик, в книге «Прогресс в искусстве» (*Suzi Gablik, Progress in Art*) недавно объявила сферой явно наблюдаемого прогресса. Она пишет, что аналогично трем стадиям в развитии сознания человека необходимо различать в европейском прошлом три «гигантских периода истории искусств»: антично-средневековый период, Возрождение и современность (модерн). Первая стадия, по ее словам, была способна лишь на статическую репрезентацию. На второй стадии, т.е. в эпоху Возрождения, художник, значительно превосходя своих древних и средневековых предшественников в умении работать с пространством, был ограничен миром непосредственного восприятия. Только на третьей, современной стадии, у художника появилась, наконец, возможность освоить простран-

ство и перспективу, используя средства, предоставленные современной логикой и математикой, и тем самым продвигая изобразительное искусство далеко за пределы всего, что было известно прежде.

Не представляю, сколько художников, искусствоведов и историков согласятся с этим мнением; возможно, таких нет и вовсе. Однако гораздо более интересной, чем сам тезис Габлик, является поразительная параллель, существующая между этим тезисом и доводами сторонников «новых» в споре XVII века. о котором мы уже говорили. Они точно так же основывались на положении, что, поскольку искусство есть форма репрезентации или интерпретации человека и природы, то все успехи, достигнутые в области знаний о человеке и природе, должны были привести в XVII веке к рождению искусства, превосходящего искусство Афин времен Перикла.

Завершив эту главу вопросом: есть ли или были ли в нашем веке философы истории, для которых прогресс человечества имел то же позитивное значение, что и в работах Конта и Спенсера? Иными словами, имелись ли крупные философы, посвятившие себя построению цельной системы, опиравшейся на прогресс? На ум приходит, по крайней мере условно, покойный А. Дж. Тойнби. Его монументальная работа «Постижение истории» (А. J. Toynbee, *A Study of History*) строится вокруг неолитической панорамы циклических подъемов и упадков двадцати одной цивилизации (вместо восьми шпенглеровских), и в ней делается сильный акцент на феномены упадка и вырождения в истории; и все же она оставляет у читателя ощущение восхождения человечества с течением времени, причем каждый последующий цикл происходил на несколько более высоком уровне, чем предыдущий. У читателя остается надежда на то, что, если духовные ценности придут на смену современному господству материалистических побуждений, особенно порождаемых технологиями, можно ожидать дальнейшего восхождения в будущем. Но Тойнби все меньше и меньше был уверен в таком будущем: взять хотя бы его последнюю книгу «Человечество и мать-Земля: очерки по истории мира» (*Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World*) и ее заключительные

абзацы, и в любом случае его *magnum opus** всегда будет более всего известен своей плюралистической, циклической моделью мировой истории. У Тойнби не найти ничего аналогичного тому, вокруг чего строили свои системы такие философы линейного прогресса, как Конт, Маркс, Тайлор и Спенсер.

Я осмелюсь предположить, что в XX веке существовал лишь один такой философ истории: Пьер Тейяр де Шарден. Франк Мануэль, безусловно, прав, когда пишет, что «все больше и больше покойный Тейяр де Шарден оказывается центральной фигурой этого космического мифа XX века, простершей руки, чтобы объять и английских биологов-гуманистов, и французских марксистов».

Он был одновременно и уважаемым ученым (палеонтологом), и членом ордена иезуитов. Большая часть его научных работ была сделана в Китае. Он был участником открытия синантропа и прославился своими исследованиями азиатских осадочных отложений и стратиграфических корреляций с окаменелостями. Однако его интерес все больше обращался к философии истории в космическом масштабе. Именно философия прогресса лежала в основе и современной науки, и августинианского католицизма. Для Тейяра де Шардена не существовало дисгармонии между верой в суверенного Бога и полным приятием данных и заключений эволюционной геологии и биологии. В его трудах сливаются наука и христианство. Его самая известная работа — книга «Феномен человека», опубликованная во Франции в 1939—1940 годах и переведенная на английский язык для публикации в 1959 году, всего за четыре года до его смерти. Сэр Джулиан Хаксли был очарован идеями Тейяра де Шардена и написал длинное предисловие к английскому изданию. Показателен следующий отрывок из предисловия Хаксли: «Как только он [Тейяр де Шарден] понял и принял факт человека как феномена эволюции, для него открылась дорога к новой всеобъемлющей системе мышления. Оставалось сделать максимально полные выводы из его центральной концепции человека как вершины эволюции на Земле и применить заключения, следующие из этого подхода, в как

* Главный труд (лат.). — Прим. перев.

можно большем числе областей. Биолог, возможно, сочтет, что в «Феномене человека» он уделил недостаточно внимания генетике, а также возможностям и ограничениям естественного отбора; теолог — что его подход к проблемам греха и страдания неадекватен или, по крайней мере, неортодоксален; представитель общественных наук — что он не принял во внимание значительное число фактов политической и общественной истории. Но он полагал, что имелась потребность именно в широкой и всеобъемлющей трактовке. Именно этот труд он взял на себя в «Феномене человека». На мой взгляд, он достиг поразительного успеха и открыл обширные области мысли для дальнейших исследований и подробного картирования».

Для Тейяра де Шардена вся космическая история является историей прогресса, определяемого действием всех эволюционных процессов в направлении создания, а затем все большего совершенствования человека. Прогресс начался в рамках того, что Тейяр де Шарден называет «биосферой», т. е. сферой органической жизни во всей ее полноте; затем, с появлением человека, он перешел в «ноосферу», царство человеческого интеллекта. Последняя, по Тейяру, накладывается на первую. Именно ноосфера служит ареной, на которой происходит все ускоряющееся «очеловечивание» мира, т. е. психосоциальное доминирование человека над всем эволюционным процессом. Именно это «очеловечивание» служит Тейяру залогом дальнейшего совершенствования мира и человеческого общества. Я ограничусь лишь несколькими характерными отрывками, взятыми из его посмертно опубликованной книги «Будущее человека» (1959), в которой он стремился расширить выводы из его более ранней и более знаменитой работы «Феномен человека».

«Если нам нужно найти определенный ответ на вопрос об объективно существующем прогрессе Вселенной, мы должны сделать это, исходя из наименее благоприятной позиции, т. е. представив себе мир, эволюционные способности которого *сконцентрированы* в человеческой душе и *ограничены* ею. В таком случае вопрос о том, развивается ли еще Вселенная, становится вопросом о том, находится ли все еще человеческий дух в процессе эволюции. На это

я отвечу без сомнений: «Да, находится». Природа человека плывет в полноводном потоке объективно существующего изменения. Но, чтобы понять это, необходимо (а) не сбрасывать со счетов *биологическую* (морфогенетическую) ценность моральной деятельности и (б) принять органическую природу индивидуальных отношений. Тогда мы увидим, что обширный процесс эволюции вокруг нас действует не переставая, но что эта ситуация заключена в пределах *сферы сознания* (и коллективного сознания).

Огромное превосходство над первобытным человеком, которого мы достигли и которое наши потомки увеличат в степени, которую, возможно, мы даже не можем себе представить, находится в сфере самопознания; в нашей растущей способности располагать себя в пространстве и во времени вплоть до осознания нашего места во Вселенной и ответственности перед ней.

Я не претендую на роль пророка. Более того, я как ученый знаю, насколько опасно продолжать линию за пределы фактов, т.е. экстраполировать. И все же я верю, что, основывая аргументацию на нашем общем знании мировой истории на протяжении 300 миллионов лет, мы можем, не теряясь в тумане спекуляций, выдвинуть следующие два утверждения.

Во-первых, человечество все еще демонстрирует, что оно обладает *резервом*, внушительным потенциалом концентрации, т.е. прогресса... Если судить по тому, чему нас учит история о других группах живых существ, то у него [человечества] впереди, исходя из органической точки зрения, несколько миллионов лет жизни и развития.

Все подводит нас к убеждению, что оно действительно располагает обширным запасом времени, необходимым для нормальных достижений эволюции. Земля далеко не завершила свою планетарную эволюцию. Мы можем представить себе любые виды несчастий (катастроф, болезней), которые могут теоретически положить конец эволюционному прогрессу: но остается тот факт, что за 300 миллионов лет Жизнь парадоксальным образом процветала в Невозможном. Разве это не предполагает, что ее развитие может поддерживаться *чем-то вроде соучастия со стороны «слепых» сил Вселенной*, т.е., что оно является неумолимым?»

Любопытно, что перед смертью Тейяр де Шарден соприкоснулся с марксизмом. По-видимому, он мало читал Маркса или марксистов, но о марксизме знал достаточно, чтобы почувствовать, хоть и смутно, сходство между идеями Маркса и его собственными. Его интерпретация Маркса имела много общего с той, которая ныне популярна среди интеллектуалов Запада и основывается на представлении о Марксе- «гуманисте», а не о Марксе- детерминисте. В одном показательном фрагменте Тейяр де Шарден заявляет, что марксизму придает силы стремление не к простой социальной справедливости, а к «жажде более полного бытия, «сотворения» человека на Земле». Он продолжает:

«Наша вера в Бога поднимает в нас прилив человеческих надежд, и именно в эти изначальные жизненные соки мы должны погрузиться, если хотим общаться с нашими братьями, которых мы мечтаем объединить... Разве двум крайностям, марксизму и христианству, не суждено, не смотря на их противоположные понятия, встретиться на пути к одной и той же вершине, поскольку они оба одухотворены одной и той же верой в человека?»

Уже из этих слов можно понять спор, ведущийся до сих пор вокруг работы Тейяра де Шардена. Даже до предсказания конечного воссоединения христианства с марксизмом его труды по эволюции и прогрессу стали предметом критического внимания Ватикана. Он в известной степени был наказан за «ошибки», хотя не с той строгостью, которая помешала бы ему продолжить работу. После его смерти Ватикан предостерег католиков о том, что идеи Тейяра де Шардена не следует принимать полностью или некритично. Что касается его видения будущего единства христианства и марксизма, то это просто отражение его убеждения в том, что марксизм стал одной из главенствующих мировых религий, что он охватывает в своей доктрине все человечество и основывается на философии истории, которая, не считая терминологии, состоит в близком родстве с христианской философией истории, из которой на самом деле, как мы видели, и произошла марксистская философия. Стоит упомянуть в связи с этим, что А. Дж. Тойнби в своем «Постижении истории» предсказал, что историки, в конце концов, впишут Маркса в рамки великой иудео-христианской

традиции; как еретика, конечно, но все же находящегося в пределах традиции.

Весьма вероятно, что Тейяр сам видел себя в XX веке в той же роли, какую Св. Августин сыграл в V веке, т.е. в роли главного синтезирующего философа, знающего о духовных конфликтах и наделенного миссией их разрешения, или, по крайней мере, пророчествующего об их конечном разрешении. Бывший первоначально манихеем, Августин стал, разумеется, врагом этой доктрины после обращения в христианство. Он посвятил значительную часть своего времени опровержению идей и верований манихеев, но никогда не терял веры в то, что можно убедить их стать христианами, в его ли собственное время или позже. Точно так же Августин и его последователи ожидали со временем обращения евреев в христианство. Многие говорят в пользу того, что Тейяр де Шарден полагал, что всем крупнейшим религиям мира, включая марксизм, суждено, в конце концов, стать одной, христианской в своей сути. И скала, на которой должна зиждиться эта мировая религия, — это, конечно, скала прогресса. Он пишет: *«Я убежден, что в конце концов именно на идею прогресса и на веру в прогресс человечество, сегодня столь разделенное, должно опираться и с их помощью преобразовывать себя»* (курсив мой. — Р. Н.).

Сколько миллионов людей в конце XX века с благодарностью приняли бы эту убежденность? Есть существенные причины полагать, что в наше время на западе и в других частях света складывается масштабное религиозное возрождение. Если это так, то весьма вероятно, что слияние науки и религии, достигнутое Тейяром де Шарденом, основанное на неумолимом прогрессе человеческих знаний вплоть до самого отдаленного будущего (а вместе с ним — и на прогрессе человеческого духа и его состояния на Земле), займет в мире очень видное место.

ГЛАВА 9 ПРОГРЕСС В ТУПИКЕ

Хотя XX век не лишен веры в прогресс, тем не менее, есть серьезные основания полагать, что, когда историки со временем поместят наш век в итоговую классификацию, одним из главных признаков XX века будет не вера, но, наоборот, отказ от веры в идею прогресса. Скептицизм в отношении прогресса, бывший в XIX веке уделом небольшой группы западных интеллектуалов, к последней четверти XX века широко распространился и сегодня разделяется не только огромным большинством интеллектуалов, но и миллионами обычных жителей Запада.

За 25 веков своего существования идея прогресса пережила множество испытаний: бедность народных масс, эпидемии, голод, опустошительные войны, экономические депрессии, периоды политической и религиозной тирании и т.д. Но, как и любая сложная идея, она не может пережить *утрату своих главных предпосылок*.

Можно отметить по крайней мере пять основных предпосылок, которые были характерны для идеи прогресса на протяжении всего периода ее существования, начиная с древних греков и до наших дней. Эти предпосылки суть: вера в ценность прошлого; убежденность в величии Западной цивилизации и даже ее превосходстве над другими цивилизациями; высокая ценность, приписываемая экономическому и технологическому развитию; вера в разум и в тот вид научно-исследовательского знания, который может быть порожден только разумом; наконец, убежденность в ни с чем не сравнимой *ценности* жизни на этой Земле.

В XX веке, особенно во второй его половине, каждая из этих предпосылок подвергалась тяжелым испытаниям в виде сомнений, разочарований и даже прямой враждебности. Причина современного кризиса идеи прогресса лежит в неспособности постоянно увеличивающегося числа людей принять аксиоматическую истинность этих предпосылок так, как ее принимали наши предки. Либо широкие слои населения на Западе, начиная, прежде всего, с класса интеллектуалов восстановят веру в эти предпосылки

(что в настоящий момент представляется маловероятным), либо этой идее, бывшей когда-то столь влиятельной, суждено исчезнуть безвозвратно.

В последнем случае существуют, однако, некоторые причины и для радостных чувств. Ведь, как мы показали выше, одна и та же концепция неизбежного, развивающегося, необходимого прогресса, являясь основой идеей свободы, благосостояния и справедливости, могла служить также и утверждению абсолютной власти — утопической, политической и расистской. Но моральных ценностей, которые бы никогда не применялись в порочных целях, не существует на свете. Стоит только напомнить, что произошло в XX веке в тоталитарных государствах с такими ценностями, как свобода, суверенитет народа, равенство и справедливость. Это был отвратительный спектакль. Бесспорно, однако, что этот факт едва ли может быть поводом для того, чтобы отречься от веры в эти ценности в свободной части нашего мира. Это же, я полагаю, относится и к идее прогресса. В своем самом древнем и самом широком значении эта идея гораздо чаще ассоциируется с добром, чем со злом. Как было показано выше, эта идея неотделима от побудительных мотивов, направлявших человека западного мира со времен древних греков до эпохи великих достижений, заложивших фундамент и составивших суть исторической идентичности Западной цивилизации.

Трагизм ситуации состоит в том, что сегодня убежденность в реальности прогресса в гораздо большей степени присутствует не в свободных странах Запада, а в таких несвободных странах, как Советский Союз и некоторые другие. Даже при той безграничной деспотии, которая утвердилась в Советском Союзе, распространение коллективизма (под названиями социализма или народной демократии) может казаться триумфальным шествием прогресса — по крайней мере для тех, кто придерживается какой-либо из версий марксистской философии истории. В этих странах царит вера в собственное, разумеется, по-марксистски истолкованное, прошлое, убежденность в величии их собственных цивилизаций, в ценности экономического и технологического развития, вера в знания (снабженные марксистскими предписаниями) и в высшую ценность жизни и деятельно-

сти в здесь, на Земле. Мы с грустью вынуждены признать, что в Западной цивилизации сегодня дело обстоит совсем не так. Верх взяли неверие, сомнение, разочарование и отчаяние. По крайней мере, такое впечатление может возникнуть, если взглянуть на нашу литературу, искусство, философию, теологию и даже образование и науку.

РАННИЕ ПРОРОКИ

В сегодняшнем состоянии умов на Западе присутствует крайне мало чего-либо нового или оригинального, по крайней мере, если речь идет об интеллектуальном содержании. Сейчас на Западе преобладают и циркулируют идеи, настроения и убеждения, появившиеся в XIX веке, которые тогда поддерживались весьма незначительным числом историков и философов, имевших ограниченное влияние. Но в XX веке значимость этой группы постепенно возрастала, особенно после Второй мировой войны. Найдется немного работ, написанных сегодня, в которых отвергается прогресс или выражается явный скептицизм в отношении самого существования прогресса, и которые не имели бы основ в идеях Токвиля, Буркхардта, Шопенгауэра, Ницше и других мыслителей XIX века.

При жизни Токвиля и в течение нескольких последующих десятилетий считалось, что в отношении демократии и других черт и институтов Нового времени он является оптимистом. По крайней мере, в Америке в XIX веке его оценивали именно так, и он широко цитировался теми, кто отождествлял свою веру в Америку с верой в прогресс человечества вообще. Такое восприятие Токвиля не то чтобы совсем не имело оснований в его работах, но оно игнорировало некоторые важные и совершенно иные по характеру фрагменты его книги «Демократия в Америке». В первом томе этого сочинения Токвиль предупреждает об опасностях тирании большинства и преклонения демократии перед общественным мнением, но тем не менее выражал надежду, что существующие институты справятся с этим. Однако во втором томе мы встречаем довольно однообразное чередование аналитических рассуждений и пророчеств, говорящих о разрушительном воздействии, которое реализация современного демократического принципа равенства может оказать

на западную цивилизацию. Токвиль полагал, что философия, литература, науки и искусства со временем зачахнут или станут крайне ущербными. Он считал, что изобилие приведет к нестабильности и беспокойству, к ощущению относительного обнищания и отчуждению от человеческой общности. Люди будут унижены и деградируют вследствие разделения труда. По мере усиления регламентации и единообразия исчезнут или будут сведены к минимуму честолюбие и индивидуальное начало. Из демократии (или скорее, под ее прикрытием) может возникнуть самый ужасный вид деспотизма в истории человечества. А в «Воспоминаниях», написанных им незадолго до смерти, есть фрагмент, где он пишет о своем отчаянии при мысли о том, человечество однажды достигнет всего того, к чему оно так стремится.

Буркхардт рисовал картины будущих *terribles simplificateurs*^{*}, которые полностью разрушат цивилизацию, сохранив лишь зачаточные тиранические режимы и примитивизм. «Власть в новых тираниях будет находиться в руках групп военных головорезов, которые будут называть себя республиканцами». Вера в природную доброту человека, унаследованная от эпохи Просвещения, способна лишь ввергнуть человечество в такие бедствия, которые по своим масштабам превзойдут все, известное в истории.

Шопенгауэр писал, что история, никоим образом не подтверждая наличия прогресса, на самом деле представляет собой лишь поверхностную смену форм. «История, с какой стороны на нее ни посмотри, демонстрирует лишь разные формы одного и того же... Разные главы истории каждой страны различаются, по сути дела, только именами и датами; действительно важное содержание везде сохраняется одним и тем же». Усилия правительств, направленные на улучшение жизни своего населения, могут привести лишь к появлению новых и непредвиденных проблем, к числу которых относится тоска и апатия. Ницше испытывал ничуть не больше энтузиазма по поводу того, что он наблюдал на Западе. Прогресс, писал он, «это просто современная, и стало быть, ложная идея. Сегодняшний европеец стоит на много ниже европейца эпохи Ренессанса». Все бесполезно,

* Ужасающие упростили (франц.). — Прим. науч. ред.

говорит Ницше, «мы обречены идти вперед, шаг за шагом к еще большему упадку».

По Кьеркегору главной особенностью западного мира является полное исчезновение всякого авторитета и удешевление подлинной индивидуальности и общности под покровом «нивелирования» и «абстрагирования». «Процесс абстрагирования и нивелирования, то самосожжение рода человеческого, рожденный трением, когда перестает существовать индивид в том виде, в каком его выделяет религия, — этот процесс будет неумолимо продолжаться, подобно пассату, и поглощать все на своем пути».

Макс Вебер, величайший из социологов, предвосхитил грядущую бюрократизацию человеческого духа, которая настанет в результате успешного вторжения того, что он назвал «рационализацией» и «расколдовыванием мира», во все институциональные сферы общества через поклонение системе. Согласно Веберу, Западу уготована «железная клетка». «Нас ожидает не летнее цветение, а полярная ночь, полная ледяной тьмы и страданий». Дух аскетизма, писал Вебер, который поначалу давал такой сильный импульс экономической созидательной деятельности и духу творчества в самых разных сферах, уже трансформировался во все более разрушительный гедонистический материализм. Во Франции Эрнест Ренан, воспитанный и обученный как католик, но затем отрекшийся от Церкви, предвидел «безмерное моральное и, возможно, интеллектуальное вырождение». Все станет синдикализированным и регламентированным, а «организованный эгоизм заменит любовь и привязанность». Макс Нордау, родившийся в Венгрии, учившийся в Германии и живший в Париже, в двух своих нашумевших и широко известных работах писал о том же. В книге «Общепринятые заблуждения о нашей цивилизации» (*Max Nordau, Conventionele Lügen der Kulturmenscheit*) он утверждал, что институты Запада безнадежно испорчены, а в «Вырождении» (*Entartung*), — что человек Запада уже встал на путь биологического вырождения, которое приведет ко все большему упадку культуры и варварству.

То течение мысли, которое в XIX веке началось как нечто незначительное, к началу XX века значительно расширило свое влияние в среде интеллектуалов. Жорж Сорель

(уже упоминавшийся в контексте «Спора о древних и новых») написал свои «Иллюзии прогресса», высмеяв основы современной идеи прогресса. В своих «Размышлениях о насилии» (Georges Sorel, *Réflexions sur la violence*) он писал о том же, доказывая абсолютную невозможность постепенного совершенствования человечества в ходе кумулятивного «прогресса» и обосновывая этим необходимость решительных революционных действий для осуществления хоть каких-то перемен. Его отношение любви-ненависти к марксизму было основано именно на его восхищении истинно революционным духом, присутствующим у Маркса, и презрением к эволюционно-прогрессистскому духу, характерному для того же самого Маркса, взятому на вооружение, как считал Сорель, наследниками Маркса.

Примерно в то время, когда Сорель сформулировал свои выводы по поводу о прогресса, по другую сторону Атлантики братья Генри и Брукс Адамсы выразили свое собственное неприятие и отрицание экономических и политических ценностей, преобладавших в Америке и вообще на Западе. В двух своих книгах, «Мон-Сен-Мишель и Шартр» (*Mont-Saint-Michel and Chartres*) и «Воспитание Генри Адамса» (*The Education of Henry Adams*), Генри Адамс противопоставляет средневековую цивилизацию, построенную на основе духовности, символизируемой Св. Девой, современной цивилизации, покоящейся на материализме и механицизме, символом которых является динамо-машина. Он воспринимает прошлое в виде последовательно сменяющих друг друга стадий — от инстинкта к религии, от религии к науке и, наконец, к эпохе сверхчувственного, которая является по преимуществу эпохой упадка. Генри Адамс полагал, что в наступающем столетии человечество ждет «окончательное, колоссальное, вселенское крушение». Брукс Адамс в своих «Законах цивилизации и упадка» (*Brooks Adams, Law of Civilization and Decay*) для представления панорамы вечно повторяющихся циклов рождения и смерти цивилизации черпал вдохновение в эпохе Возрождения. В схеме Брукса Адамса еще оставалась, по крайней мере, теоретическая возможность хоть какого-то прогресса для Запада в будущем. Но в письме к брату он говорил: «Как можно надеяться на то, что мы

увидим новый мир, новую цивилизацию или новую жизнь? По-моему, мы стоим на обрыве, и единственное, за что я благодарю Бога, так это за то, что у нас нет детей».

В 1920 году, том самом, когда Дж. Б. Бэри опубликовал свой историографический панегирик идее прогресса, началось десятилетие литературы разочарования. В этом же 1920 году Уильям Ральф Инге (W. R. Inge), настоятель собора Святого Павла («угрюмый настоятель»), прочел свою Ромэйнсовскую лекцию (Romanes Lecture) в Оксфордском университете, посвященную идее прогресса», в которой заявил, что эта идея представляет собой «пагубный предрассудок», чудовищный продукт рожденного Просвещением мирского оптимизма, того самого, который уже обесценил основные интеллектуальные дисциплины и превратил христианство в нечто «неузнаваемое». Через год после этой лекции Остин Фримен опубликовал в Англии работу «Общественный упадок и дегенерация» (Austin Freeman, *Social Decay and Degeneration*). Он заявил, что Запад вовсе не прогрессирует, но переживает все ускоряющийся регресс, что основной причиной этого является индустриализм, технология и их разрушительное воздействие на землю, воздух и море и, главное, на природу самого человека. Даже примитивный негр в Африке, пишет Фримен, превосходит умом, ловкостью, техническими навыками и воображением западного рабочего, который стал «субчеловеком» вследствие давления, оказываемого индустриализацией.

В те же 20-е годы XX века на английский язык был переведен «Закат Европы» Освальда Шпенглера (Oswald Spengler, *Der Untergang des Abendlandes*), написанный по-немецки в 1918 году. Шпенглер не знал о том, что его циклическая теория цивилизаций и культур восходит к ряду древнегреческих текстов; более того, он настаивал на том, что греки не имели чувства истории или развития. Большинство его предсказаний упадка культуры, подъема масс, краха политических институтов и возникновения военного деспотизма, как мы выяснили выше, уходят в XIX век — вне зависимости от того, знал об этом Шпенглер или нет. Однако его книга произвела среди интеллектуалов сенсацию, оказав влияние на некоторых из них уже в 20-е годы

XX века, когда значительная часть интеллектуального мира Запада уверенно двигалась в направлении прогрессистских доктрин Карла Маркса. В любом случае, это был лишь один из множества примеров нападков на идею прогресса, появившихся в 20-е годы. В своей более поздней и гораздо более научной по характеру многотомной работе «Постижение истории» Тойнби также трактовал историю как циклический и многосоставный процесс, но он признавал, что каждая новая цивилизация несет с собой определенные, хотя и незначительные, улучшения по сравнению со своими предшественниками. Более того, он заявил, что если бы Запад мог освободиться от своего обожествления технологии и достичь новой духовности, то в будущем прогресс Запада вполне мог бы продолжиться.

В 1925 году Фредерик Дж. Теггарт опубликовал «Теорию истории» (Frederick J. Teggart, *Theory of History*) — одну из самых глубоких работ, содержащих критику концепции прогресса. Теггарта не интересовал ни моральный аспект этой идеи, ни связанные с ней обещания счастья на Земле. Его внимание не занимали и пророчества наступления золотого века. Предметом его рассмотрения было влияние (как он показал, сохраняющееся и донныне) идеи прогресса как *метода*, как модели описания прошлого и настоящего. Идея прогресса порождает не только концепцию исторической необходимости (то, что Поппер называл «историцизмом»). Непосредственным порождением этой идеи является также традиционное для исторической науки линейное повествовательное изложение хода исторических событий. То же самое, утверждает Теггарт, относится и к представлениям ученых-социологов об общественной эволюции и развитии общества, которые нераздельно связаны с интерпретацией прошлого и будущего, присущей концепции прогресса. Подлинно научное, т.е. сопоставительное и проблемное изучение прошлого, заключает Теггарт, невозможно до тех пор, пока мы не вычеркнем идею прогресса с этими ее порождениями из контекста общественных наук и исторических работ.

Еще одно проявление возрастающего разочарования в отношении западной веры в прогресс мы находим в произведениях литературы, принадлежавшие перу

Т. С. Элиота, Джеймса Джойса, Эзры Паунда, У. Б. Йейтса и других авторов, чей расцвет пришелся на 20-е годы XX века. Все они без исключения были пророками увядания и смерти, повторяя в поэзии, драме, эссе и романах обвинения, брошенные Западу Ницше, Шопенгауэром и другими писателями XIX века. В «Бесплодной земле» (*The Wasteland*), «Полых людях» (*The Hollow Men*) и других книгах Элиот изображает окружающие его вульгарность, декаданс и пустоту, которые простираются и далее в будущее. В стихотворении «Второе пришествие», которое в наши дни стало, без сомнения, самым цитируемым стихотворением в английской литературе, Йейтс писал, что цивилизация прогнила и находится во власти хаоса, о том, что «все рушится», «не держит середина» и «в безверии все лучшее, и в страстном всё худшее трепещет напряженье»*. Джойс в своем романе «Улисс» сделал один день в Дублине, на протяжении которого Блум и Дедал слоняются по городу, что и составляет действие романа, символом пустоты, убожества, бессмысленности и полной бесплодности современного Запада в сравнении с более ранними эпохами. Олдос Хаксли выразил свое неприятие Запада и его культуры в книге «Пункт Контрапункт» (*Point Counterpoint*) и представил нам свой взгляд на будущее в своем романе «О, дивный новый мир», где всё, включая человеческие эмоции, управляется и контролируется технологиями. С точки зрения идеи прогресса лучшим представлением того, как выглядела жизнь для этой группы людей, являются несколько строк Т. С. Элиота из его позднего сборника «Четыре квартета» (*Four Quartets*):

*С годами старенья кажется,
Что прошлое приобретает иные черты
И уже не просто чередованье событий
Или саморазвитье — идея, рожденная
Наивными взглядами на эволюцию,
Которые служат обычным средством
Навсегда отречься от прошлого**.*

* Перевод Б. Лейви.

** Перевод С. Степанова.

Слова Элиота из выше процитированного стихотворения служат прекрасным заглавием и темой этого раздела. Нет ничего, что оказывало бы такое сильное негативное единовременное влияние на идею прогресса, чем наше полное и безжалостное выбрасывание прошлого за борт. Позволю себе напомнить, что прошлое — священная земля для любой подлинной, творческой и свободной цивилизации. Читатели Оруэлла помнят, как важно было правителям общества в его «1984» вымарать прошлое или переписать его. Без прошлого, представленного в ритуале, традиции и памяти, не может быть корней, а без корней люди обречены на своего рода изолированность во времени, которая незаметно оборачивается саморазрушением.

Прошлое, как я уже не раз подчеркивал, жизненно важно для идеи прогресса. Обычно, когда речь заходит о прогрессе, в голову тут же приходит будущее. Но осознание движения от прошлого к настоящему — движения, которое можно без труда экстраполировать в будущее — могло появиться лишь тогда, когда люди осознали наличие у них продолжительного прошлого и когда сделали это осознание общим — сначала посредством ритуалов, а затем с помощью истории и литературы.

Воспоминания о прошлом лежали в основе веры в прогресс во все те периоды, когда эта вера переживала свой расцвет. Даже в моменты наивысшей погруженности в настоящее, древние греки глубоко интересовались своим прошлым, стремясь открыть или воспроизвести великие события прошлого, отдавая ему должное при домашнем, школьном и храмовом обучении, запечатлевая его навечно в таких материальных объектах как Парфенон. Вера в Деметру, богиню, которую афиняне считали своей покровительницей, никогда не достигала большей силы, чем в так называемую «эпоху разума» в V веке до н.э., а Деметра была лишь одним из божеств, которым афиняне отдавали дань за дары, принесенные человечеству в далеком прошлом. Мы видим ту же осведомленность о прошлом и в римской цивилизации, а когда, к IV веку н.э. вера в прошлое, как писали языческие историки, казалось, пошатнулась.

тогда факел подхватили христиане. Выше мы показали, что основное содержание «Града Божьего» Св. Августина было воспринято вместе с его конструкцией прошлого, священного и мирского, и с его пониманием абсолютной нераздельности прошлого, с одной стороны, и настоящего и будущего — с другой.

Я думаю, можно с уверенностью утверждать, что на каждой эпохе или столетии истории Запада, вплоть до начала XX века, лежит гигантская тень прошлого. Мы видели, каким страстным, неустанным и целеустремленным был труд ученых в Темные Века, направленный на сохранение живого прошлого в текстах и устной традиции. Средние века, Возрождение и Реформация — все эти эпохи были периодами сильного интереса и уважения к прошлому. Несмотря на то, что небольшое число французских философов эпохи Просвещения смогли адресовать прошлому лишь слова презрения, считая его не более чем длинной чередой заблуждений, предрассудков и тираний, мы встречаем и в эту эпоху таких мыслителей, как Тюрго, Кондорсе, Лессинг и Гердер, многократно обращающих свой умственный взор к сменяющим друг друга эпохам, приведшим к настоящему и сделавшим возможным это настоящее, которое они и другое умы того времени рассматривали как начало будущего.

Нигде уважение к прошлому не было столь укорененным, как в Соединенных Штатах Америки. Здесь оно характерно и для XX века. Здесь устраивались многочисленные торжества, празднества и обряды, целью которых было сплотить людей в одно сообщество. Это достигалось посредством своеобразного телескопического вытягивания прошлого и настоящего и продления его в будущее. Здесь практически не было дома, где к элементам прошлого — политического, военного и, прежде всего, религиозного характера — не привлекалось бы часто или даже постоянно внимание молодежи. Как еще заставить детей любить свою страну, расу или национальность, а также религию, как не посредством непрестанного воссоздания прошлого, его великих свершений, его героев, лидеров и пророков? Ни один предмет в школе или колледже не почитался так, как история, причем для молодых американцев (а также англичан,

французов, немцев и прочих) было обычным делом проходить историю западного мира или Соединенных Штатов по нескольку раз, от начальной школы до колледжа. Везде знание истории было одним из обязательных требований для успешного окончания учебного заведения. И это касалось не только современной истории. Я могу засвидетельствовать, что всего лишь полвека назад в обычном маленьком калифорнийском городке регулярно читался не только полный годичный курс древней истории (посещавшийся значительным количеством учеников), но были также доступны двухгодичный курс древнегреческого языка и четырехгодичный — латыни, в каждом из которых неизбежно оживало прошлое. Нет необходимости больше развивать эту тему. Достаточно сказать, что было очень немного людей в Западной Европе, на каком бы низком уровне жизни они ни находились, которые не относились бы к прошлому с уважением и даже с благоговением; и немногие из тех, кто понимал происходящее вокруг них в настоящем, не ощущали могучей связи с прошлым и, разумеется, с будущим. Память о прошлом возобновлялась в каждом поколении через имевшиеся в изобилии обычаи и традиции. Достаточно долго еще и в XX веке аргумент в пользу изучения прошлого, который наиболее часто использовался преподавателями, состоял в том, что без понимания прошлого мы окажемся не подготовленными к тому, чтобы справляться с настоящим и планировать будущее. Для многих миллионов учеников в первые десятилетия нашего века главной функцией школы была передача инструментов и навыков, унаследованных из прошлого, и передача прошлого для сохранения в памяти, что считалось основным требованием к взрослому гражданину.

Даже утописты, реформаторы и революционеры в XIX и начале XX века полностью осознавали значимость прошлого. Какими бы радикальными и всеобъемлющими ни были утопии Сен-Симона и Конта, в каждой из них теми или иными способами выражалось почтение к прошлому. Несмотря на то, что сущность провозглашаемого Сен-Симонем будущего золотого века была связана с индустрией и технократией, тем не менее, в качестве названия для своей доктрины он избрал выражение «Новое христианство», ве-

ликотушно признав этим, сколь многим он обязан Средневековью с их объединяющей и умиротворяющей символикой. Предлагая свою позитивистскую реформу календаря, в котором должно было стать 13 месяцев, Конт озаботился тем, чтобы не только каждому месяцу или каждой неделе, но каждому дню соответствовало бы имя какого-нибудь великого философа, ученого или государственного деятеля прошлого. Он также привил всем позитивистам прошлого и будущего ощущение значимости и чувство благодарности к Средним векам.

Карл Маркс тоже не считал, будто узы прошлого исчезнут, как только человечество покинет «предысторию» и обустроит коммунистическое общество, в котором в результате отмены частной собственности и общественных классов совершенно исчезнет всякое отчуждение. Сам Маркс много и жадно читал классиков (античных, средневековых и современных). Он не считал, что переход человечества к совершенно новому типу общества должно уничтожить или ослабить способность коммунистического человека наслаждаться прошлым, отраженным в истории, и, в первую очередь, в литературе прошлого, независимо от социального и экономического контекста, в котором эта литература была создана. Прошлое, таким образом, могло оставаться священной землей даже для тех умов, которые посвятили себя уничтожению существующих институтов и построению будущего золотого века.

Но независимо от того, как обстояли дела в XIX и начале XX века, сегодня мы, как цивилизация и как определенный исторически сложившийся тип сознания, занимаем совершенно иную позицию по отношению к прошлому. То, что Дж. Х. Плам написал в своей провидческой работе «Смерть прошлого» (J. H. Plumb, *The Death of the Past*), является весьма поучительным:

«Куда бы мы ни взглянули, во всех областях общественной и частной жизни влияние прошлого ослабевает. Ритуалы, мифы, потребность в личных корнях во времени гораздо менее сильны, чем сто или даже пятьдесят лет назад. В образовании и экономической деятельности прошлое перестало быть руководством для настоящего несмотря на то, что его фрагменты все еще присутствуют в изобилии и затрудняют

развитие обеих сфер. В семье и в половых отношениях прошлое мало что проясняет и ничем не помогает...

Однако на протяжении веков люди всегда обращались к прошлому как к чему-то большему, нежели руководство для управления настоящим. Они считали, что, изучая его, они смогут распознать будущее и даже, быть может, предсказать его. В ходе исследования прошлого они открывали повторяемость событий, развертывающуюся целенаправленность, неизбежные последствия...»

Вот именно! Речь не идет о том, что мы действительно можем распознать будущее сколько-нибудь надежным образом, просто изучая тенденции прошлого и настоящего. Будущее — подходящий предмет для намеков, интуиции, предположений и догадок, оно ни в коей мере не является предсказуемым в научном смысле термина. Но, если я правильно понял Плама, все это гораздо менее важно, чем историческая связь людей с прошлым, представляющим собой непрменный элемент поддержания человеческой жизни в настоящем и средство осознать будущее в качестве самостоятельной и реальной временной структуры.

Здесь следует сразу отметить, что, хотя профессор Плам довольно точно описывает сегодняшнюю ситуацию в том, что касается уважения к прошлому, он не испытывает никакого сожаления по этому поводу. По его мнению, нам не нужно прошлое. Более того, нам гораздо лучше без него. Вместо мощного чувства прошлого нам нужно ясное понимание *истории* как процесса, как изменения, как творческой силы. «Старое прошлое умирает, — пишет Плам, — его сила ослабевает, но так и должно быть. Более того, историк должен ускорять этот процесс, так как оно полно фанатизма, национального тщеславия и классового господства».

Такая характеристика прошлого многим читателям покажется ограниченной и невеликодушной. В конце концов, в прошлом происходили благотворные революции, велись освободительные войны, зарождались творческие культуры, появлялись гении и пророки, значимость которых сохранилась и до сего дня. Великая литература, наука и философия, — все это тоже составляло прошлое. Но спор здесь неуместен. Единственное, что важно, это то, что выдающийся

историк поставил точный диагноз нашему состоянию, т.е. тому, что мы все больше и больше становимся отрезанными от прошлого, которое некогда давало опору людям.

Можно задать вопрос, почему в конце XX века мы дошли до отречения от прошлого, до его забвения, которое, по сути, является уничтожением прошлого в том смысле, в каком его понимали наши предки? Этим же вопросом задается Стэнли Хоффман (Stanley Hoffman) в своей статье, недавно опубликованной в журнале *Deadalus**. Он соглашается с тем, что через книги, телевизионные документальные фильмы, статьи и кино мы поддерживаем некоторую связь с *недавним* прошлым, «пусть даже воспринимаемым как зрелище ужасов, инсценировка или таблетка-стимулятор». Но Хоффман продолжает: «Поражает нарастающий распад связей с более далеким прошлым... Прошлое становится предметом эрудиции или развлечения, а не частью собственного бытия, получаемой через семью или школу. То, что французы называли *le passé vécu*** — прошлым, ставшим часть опыта, — заменено прошлым, ставшим изданием специалистов, продуктом для потребителя, темой для ученых или спектаклем.

Профессор Хоффман предлагает несколько правдоподобных объяснений этому грандиозному изменению в нашем отношении к прошлому. Во-первых, дело может быть просто в скорости социальных изменений, «уносящих прочь старые традиции и обряды, в исчезновении или трансформации старых занятий... и провале традиционных способов управления обществом». Действительно, сложно сохранить какое-либо чувство реальности прошлого или идентификации с ним посреди таких изменений, которые западное общество испытало в XX веке. Во-вторых, утверждает Хоффман, исчез тот вид исторических трудов, который некогда был общераспространенным. «Романтическая история ушла и была заменена историей научной», а последняя, разумеется, имеет совершенно другой интерес к прошлому,

* *Dædalus* — влиятельное научно-популярное периодическое издание Американской академии наук и искусств (American Academy of Arts and Sciences), основано в 1955 г. Печатает статьи на темы истории, социологии, политики и культуры. — *Прим. науч. ред.*

** Пережитое прошлое (*франц.*). — *Прим. науч. ред.*

более похожий на интерес антиквара, музейного хранителя или лабораторного исследователя. Еще более важным фактором стал упадок или, скорее, распад предмета истории в школах и во все большей степени — в высших учебных заведениях. «В системе образования преподавание истории регрессирует... История в высшей школе растворяется в социальных исследованиях — т.е. в современности». Хоффман верит, что история занимает более прочные позиции в США, чем во Франции и других западноевропейских странах, и, возможно, он прав, по крайней мере в отношении некоторых наших лучших религиозных и других частных школ.

Для большинства американских школьников и студентов история фактически исчезла как дисциплина, как окно в наше далекое и протяженное во времени прошлое. Весьма показательно и одновременно удручающе в этом отношении то, что написала Фрэнсис Фитцджеральд в своей недавно вышедшей захватывающей книге «Америка: переработанное издание» (Francis Fitzgerald, *America Revised*), написанной на основе масштабного и детального исследования американских школьных учебников по истории. Всего несколько десятилетий назад ученики получали в рамках обязательных курсов по американской истории достаточно общий, признанный взгляд на прошлое, в котором легко просматривался процесс непрерывного продвижения к настоящему, в силу этого побуждавший задуматься о будущем (Фитцджеральд использовала в качестве стандарта того, что раньше было общепринятой практикой, знаменитый учебник американской истории Дэвида Музи (David Muzzey), принятый почти во всех американских школах на протяжении более полувека, вплоть до окончания Второй мировой войны).

Однако сегодня ситуация стала совершенно иной. Как подчеркивает Фитцджеральд, в американских школьных курсах истории больше не существует всеобщего, понятного и общепринятого прошлого. То, что можно найти в этих учебниках, как она выяснила, это либо вообще никакое не историческое прошлое, но лишь «социальные исследования» и «текущие события», либо, что еще более распространено, скопление — настоящее попури — из разных «прошлых»:

каждое из которых привязано к некоей раздутой в настоящий момент идеологической теме, такой как этничность, сексуальность или некая идеологически-политическая схема с неизбежно вытекающей из этого дисгармонией. В таком контексте какое бы то ни было ощущение связи прошлого с настоящим, не говоря уж об уважении к прошлому, фактически становится невозможным. Или же, как она неоднократно обнаруживала, выбранные в конечном счете «прошлые» были заранее выявлены на основе анализа рынка издателем, притом что написание самого текста представлялось наемным писателям, работающим на основе спецификаций, которые должны были удовлетворить желания и требования того или иного школьного совета, учебно-методической комиссии того или иного штата. Конечно, встречаются и примечательные исключения, в основном, в конфессиональных и в некоторых других частных школах. Однако в большинстве школ, в которых дети учатся сегодня и в последние два-три десятилетия, прошлое в каком бы то ни было значимом смысле почти полностью уничтожено. Здесь опять мы можем получить полезный комментарий Стенли Хоффмана:

«Перед нами возникает два вопроса, дающие повод для печальных или тревожных раздумий. Во-первых, можно ли вечно жить в экономическом настоящем, довольствуясь сравнительной статистикой и отчасти убаюкивающим, отчасти тревожным пользованием благами, свободой и правами? Во-вторых, в какой степени бедность воображения и отсутствие вдохновения, сосредоточенность на «здесь и сейчас» связаны с утратой европейскими странами ведущих позиций на международной арене? Связаны ли образы прошлого и видение будущего с борьбой за национальную идентичность или с возможностью достойно представлять страну на мировой арене в новых условиях, ведя борьбу или убеждая в некоей великой идее, национальной или какой-либо иной?»

Разумеется, этот комментарий Хоффмана нельзя понимать так, что он относится лишь к европейским странам. Высокая степень морального разочарования, которую мы наблюдаем в сегодняшней Америке, зафиксированная в социологических опросах, возникновение все новых групп,

связанных с узкими интересами, распад партий на более мелкие группы и, следовательно, дезинтеграция единого политического тела, навязчивая сосредоточенность на себе в ущерб социальным связям или общности, без сомнения, представляют собой результат потери чувства прошлого, отречения от прошлого под предлогом его крайней несправедливости или его несоответствия настоящему и будущему. Что эта потеря или отречение от прошлого значили для одного из выдающихся историков литературы, Хокси Нила Фэрчайлда, хорошо демонстрируют следующие слова из заключительного тома его работы «Религиозные тенденции в английской поэзии» (Hoxie Neale Fairchild, *Religious Trends in English Poetry*):

«Современные нравы. Полые люди, которые поедают свои Голые Ланчи на Бесплодной земле, в ожидании Годо. Залатанная цивилизация. Больной мир. *Untergang des Abendlandes**».

Загробной жизни нет. Потеря традиционных символов западной культуры. Нет объединяющих мифов. Нет поклонения.

Нет реальности, независимой от незаинтересованного наблюдателя. Нет объективной истины или истин, которыми можно поделиться. Нет единой шкалы ценностей. Нет норм, соответствующих человеческой природе... Нет границ между рациональным и иррациональным, нормальным и ненормальным... Семантическая деградация: пропасть между словами и смыслом. Солипсизм. Нет ничего, что могло бы дисциплинировать наши эмоции. Нет твердых корней в домашнем или гражданском ритуале. Жизнь без образца, без цели, без значения. Все — подделка».

И историческая идея прогресса в завершающей части XX века — тоже, добавим мы. Если потеря или смерть прошлого была бы *только* сама собой, как утверждал профессор Плам, все это выглядело бы иначе. Но, как показал более полувека назад Т. С. Элиот в своем знаменитом эссе, то, что относится к поэзии и живописи, — а именно: абсолютная необходимость вспоминаемого прошлого, традиции для творческого ума — применимо и к таким сферам.

* Закат Европы (нем.). — Прим. перев.

как наука и государственное управление. Великие ученые нашего века — Эйнштейн, Планк, Бор и другие — свидетельствуют о жизненно важном значении прошлого для научного воображения. Это же можно сказать об Аристотеле, Птолемее, Роджере Бэконе, Ньютоне, Бойле, Лавуазье, Фарадее и Максвелле. Сегодня дело обстоит совершенно иначе. Прошлое, кажется, имеет так же мало значения для науки, как и для гуманитарной сферы и искусства. Как пишет научный обозреватель *The New York Times*, Джон Нобл Уилфорд (John Nobl Wilford): «Куда бы мы ни взглянули, везде мы видим напряженность между прошлым и будущим, между пессимизмом, который мы не можем победить, и оптимизмом, в который мы не можем поверить. Следовательно, настоящее предстает как хаотическая смесь понятной ностальгии, ущербной нерешительности и неопределенных перспектив. Неизбежным итогом этого положения слишком часто становятся болезненность и негативизм, общая дезориентация».

ОТСТАВКА ЗАПАДА

По мере того, как наше общее прошлое уходит в никуда, то же самое, по-видимому, происходит с Западом. Для идеи прогресса это явление является едва ли менее пагубным. Ведь, как было неоднократно показано, возникновение и распространение идеи прогресса имели место в рамках западной цивилизации, что было крайне важно для ее членов и, в более длительной перспективе, для тех, кто находится по другую сторону западной цивилизации. Древние греки воспринимали прогресс искусств и наук как таковой в свете их глубокой приверженности всему греческому и в соответствии с убежденностью в том, что греческая культура есть самая лучшая и самая развитая культура мира. Это же относится и к Риму, экспансия которого к северу и к западу от Италии, вплоть до Англии, по сути дела, создала западную цивилизацию. Греко-римское христианство подхватило факел культуры, когда Западный Рим потерял свою способность править, а его институты обанкротились. Св. Августин верил в величие Греции и Рима и их стратегическую роль в продвижении к Граду Божьему так же твердо, как языческие историки и философы.

Все это, впрочем, лишь пролог. Чтобы понять, в чем состоит истинное величие Запада, и ощутить его связь с верой в прогресс человечества, надо обратиться к последним четырём векам, когда главенство Запада над всем остальным миром стало не просто вопросом этноцентрической веры, но военной и политической реальностью. Как написал Тойнби в «Человечестве и Матери-Земле», в период между 1837 и 1897 годами Запад «окончательно стал главенствовать над всем остальным миром». Но, отмечает Тойнби, это была всего лишь кульминация тенденции, которая началась четырьмя веками раньше, с плаваний Колумба через Атлантику и Васко да Гама вокруг Мыса Доброй Надежды к западному берегу Индии. Тойнби добавляет: «В течение этих четырех веков все, кроме двух незападных стран, Афганистана и Абиссинии (Эфиопии), либо подпали под западное владычество, либо спасли свою независимость, добровольно принимая в определенной степени образ жизни победоносной западной цивилизации... В 1897 году шесть из семи существовавших великих держав были западными государствами, а седьмая, Россия, стала великой державой благодаря тому, что в последние два века она в значительной степени вестернизировалась». В начале XX века великой державой стала и Япония, что также явилось следствием ее вестернизации.

Однако простое перечисление великих мировых держав даже в малой степени не дает представления о степени главенства Запада, которая в течение четырех веков становилась все больше и больше, достигнув высшей точки в начале XX века. Чтобы оценить это доминирование должным образом, нужно вспомнить о христианстве и процессе его распространения, о внедрении западных политических ценностей, всемирном характере промышленной революции (или, по крайней мере, всемирном распространении ее продукции), а также о бесчисленном количестве других элементов западной культуры и западной ментальности. Неудивительно, что в XIX веке (и даже ранее) всемирная история могла быть написанной и почти всегда писалась по модели некоего эпоса, в котором растущие власть и господство Запада должны были представляться предопределенными, неизбежными и необратимыми. Превосходство

Запада и вера в прогресс человечества оказались понятиями, замкнутыми в логический круг. Считалось, что Запад стал править миром благодаря законам прогресса, что, разумеется, находило подтверждение в очевидном факте превосходства западной цивилизации над другими. Почти вплоть до настоящего момента ключевым догматом всеобщей веры (за исключением незначительного числа скептиков и пророков мировой катастрофы), было то, что европеизация (или — в США — американизация) мира была так же неизбежна и должна была длиться так же долго, как и любой процесс в истории.

Однако в течение поразительно короткого срока то, что потребовало более двух тысяч лет для превращения в предпосылку и предмет веры, подошло к концу. Очевидно, что после первой мировой войны власть и влияние западной цивилизации в мире стали приходить в упадок. Воплотились в жизнь все геополитические опасения, которые около шестидесяти лет назад высказал сэр Халфорд Маккиндер в своей работе «Демократические идеи и реальность» (Sir Halford Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*). Возможно, с точки зрения долгосрочной перспективы, если принять благосостояние всего человечества в качестве критерия, эта отставка Запада может оказаться благотворной. Никто не может претендовать на то, что он знает ответ. Все, что мы сегодня знаем, — это то, что Запад, который при всех своих недостатках представлял собой систему относительно свободных и демократических государств, необратимо стал, как можно догадаться, объектом пренебрежения, презрения и враждебности для большей части мира. Материальному богатству Запада завидуют, но его больше не боятся, не уважают и в еще меньшей степени рассматривают как образец в коммунистических странах и в большинстве стран «третьего мира». Явление, которое имел в виду Шпенглер, дав название своей знаменитой работе, уже идет полным ходом. После второй мировой войны Америка, этот политический колосс, во многих отношениях, по-видимому, потеряла уважение мира и удостоивается враждебного отношения в большей мере, чем Запад в целом. То, что покойный Кристофер Доусон (Christopher Dawson) писал о Европе несколько десятилетий назад, теперь относится

как к Европе, так и к Америке: «Европа не только потеряла свое значение в результате действия гигантских сил, которые она породила, но вдобавок сегодня трудно найти [неевропейскую] страну, сколь бы слабой или отсталой она ни была, которая признавала бы претензии европейцев на культурное превосходство».

Однако самым разрушительным во всех смыслах является заметный упадок веры в ценности и перспективы западной цивилизации *в самих Америке и Европе*. Очевидны и все более многочисленны приметы того, что на место этой веры приходят чувство вины, отчуждение и безразличие. Ощущение того, что мы, как нация и как западная цивилизация, испортили, развратили и ограбили другие народы мира и что поэтому мы должны испытывать чувство вины, стыда и раскаяния, растет и ширится, особенно среди американцев, еще конкретнее — среди молодых американцев, принадлежащих к среднему классу. Так или иначе, светские образованные круги — т.е. интеллигенция, которая, начиная с XVIII века, стала постепенно заменять клириков в качестве господствующего класса в том, что касается верований граждан — посвящают значительную часть своего времени стенаниям, самобичеванию и суровому осуждению всей своей истории, истории западного мира. Естественно, средства массовой информации, в первую очередь, телевидение, отражают настроения и мнения светского образованного класса. Потому есть достаточно мощная причина того, что именно это представление о вине Америки и западного мира в целом разделяется все большей частью населения. Разумеется, в таких условиях какая бы то ни было идея прогресса неизбежно выглядит весьма шаткой.

Растущее на Западе чувство коллективной вины сочетается с ощущением бессмысленности и бесцельности того, что мы делаем сейчас, и того, что делали предыдущие поколения. Около года назад в газете *The New York Times* появилось поразительное письмо, написанное выдающимся гарвардским историком, Дэвидом Дональдом (David Donald). В действительности, это было больше, чем письмо, это было эссе, пронзительное и обжигающее. Почти невозможно представить, что оно могло быть написано кем-либо, кроме современного американского историка. Профессор

Дональд заявил, что и история как таковая, и преподавание истории стали для него бессмысленными, и даже хуже — потенциально опасными. «Студенты ожидают от своих учителей истории, что те научат их понимать, как прошлое Америки связано с настоящим и будущим. Но, если я буду учить тому, в истинность чего я верю, я смогу только поделиться с ними чувством бесполезности истории и ощущением пустоты новой эпохи, в которую мы вступаем... В отличие от всех предыдущих поколений американцев, мы стоим перед невыносимым выбором... Что же такого может рассказать студентам преподаватель истории, что может помочь им в этой новой, ни на что не похожей эпохе? Возможно, самое полезное, что я могу сделать, это освободить их от чар истории с тем, чтобы помочь им понять бессмысленность прошлого...»

Если бы голос Дэвида Дональда был одинок, эти слова не стоило бы цитировать, но он далеко не единственный среди образованных американцев, он просто более искренен и откровенен. Профессор Дональд говорит о спасении студентов «от чар истории». Он мог бы сказать (многие говорят и продолжают говорить это) об освобождении их от «чар Запада или Америки». Именно это является подлинным смыслом его эссе.

За этим растущим ощущением вины, утраты смысла и цели, связанных с Западом и его наследием, просматривается процесс непрерывной эрозии веры в западные институты, и не только политические, но также и социальные, культурные и религиозные. Редкая неделя обходится без публикации итогов очередного опроса, говорящих о дальнейшей потере американцами и европейцами уважения к правительству, церкви, школе, профессиональным сообществам, промышленности, СМИ, а также к другим уважаемым в прошлом институтам и, разумеется, к тем, кто в той или иной степени руководит ими или представляет их. В прошлом все основные периоды процветания, развития и распространения идеи прогресса были периодами, когда общественное доверие к правящим институтам (городу-государству, республике, империи, церкви, семье, монархии, демократии и другим) было высоким. И, наоборот, идея прогресса увядала или пребывала в анабиозе в периоды

ярко выраженного безразличия или неверия общества в эти институты. Но еще никогда за всю историю Запада, включая Темные века, отсутствие доверия к основным институтам и отчуждение от них не были здесь такими глубокими и не имели такого широкого распространения, чем в конце XX века. В конце концов, в «темные века» присутствовала, *должна была присутствовать* значительная степень доверия к семье, клану, родне, а также к манору и лену, а также благодарность в отношении этих институтов. И сколь бы ни была слаба вера в линейный прогресс в эпоху Ренессанса, когда интеллектуалы разделяли идеи циклического повторения истории, а пессимизм и оккультизм охватывали широкие слои общества, даже тогда, как мы установили, не было недостатка веры в просвещенных князей, пап и финансистов. В наш век дефицит доверия распространяется, по-видимому, на *все вообще* современные институты!

Больше года назад зарубежный обозреватель *The New York Times* Флора Льюис (Flora Lewis) привела в своей статье, опубликованной в *Times Magazine*, следующие примечательные соображения: «Вместо того, чтобы по мере приближения окончания тысячелетия и века ощущать приближение некоей кульминации созидания, европейцы чувствуют себя в начале дороги, ведущей вниз...

Всюду преобладает предчувствие кризиса, хотя он не имеет такого очевидного облика, как это было в годы послевоенного восстановления. Люди озабочены и разочарованы. Понятие прогресса, когда-то бывшее таким вдохновляющим, стало пустым звуком. Никто не может сказать точно, чего он боится, но так же никто не уверен в будущем. Хотя страны Европейского экономического сообщества никогда так не зависели от общих усилий в разрешении своих национальных проблем, присутствует ощущение, что правительства больше не обладают мудростью или властью, чтобы справиться с этими проблемами. «Мы — это церковь, которая начинает терять веру», сказал Гвидо Бруннер, комиссар Общего рынка...

Разочарование по поводу альтернативных форм политической деятельности распространяется и на все версии коммунистического общества. Сегодня нет практически никого, кто видел бы в Москве (или Пекине) светоч со-

циальной мудрости. Когда Европа обращает взор на себя самое, она сдаётся, подымая руки вверх. Европейцы опять смотрят на Вашингтон, но на сей раз безо всякого энтузиазма и веры. Пророков больше нет».

Пророков надежды и прогресса действительно больше нет, и в Соединенных Штатах их меньше, чем где бы то ни было. Лишь один человек, не являющийся представителем западной цивилизации, но проживающий сейчас в Соединенных Штатах может по справедливости называться пророком практически во всех смыслах слова. Это Солженицын. Но, как показала историческая приветственная речь Солженицына в Гарвардском университете, этот изгнанник из Советского Союза, который ему отвратителен, в котором он в течение многих лет подвергался заключению и пыткам, этот человек, испытывающий глубокую благодарность к давшему ему убежище свободному Западу, практически не питает надежд по поводу будущего, ожидающего Запад. Солженицын считает, что главной причиной упадка Запада является потеря веры в его собственные ценности и все шире распространяющийся бунт против авторитета, а именно: авторитета культуры и морали, т.е. тех ценностей, на основе которых Запад был построен и в стремлении к которым состояла доминанта его прогресса. Без такого рода авторитета, — совершенно противоположного авторитету власти, — не может существовать, как заявляет Солженицын, ни стабильности, ни свободы, ни творчества.

Есть еще один вид авторитета, тесно связанный с этим и являющийся ключевым для любой преуспевающей цивилизации, которого в настоящее время точно так же, увы, лишен Запад. Речь идет об авторитете некоторого класса или элиты. По своему содержанию он может быть политическим, экономическим, художественным, философским, религиозным или некоторым сочетанием перечисленных. История говорит нам о колоссальном разнообразии такого рода классов, правивших культурой или политикой. Но весьма сложно выделить класс, который бы сегодня на Западе хоть сколько-нибудь отвечал требованиям, предъявляемым к лидерству. Перед лицом этих требований интеллектуалы становятся беспомощными так же быстро, как политики и главы корпораций.

В своей поразительной статье «Идея Запада» (“The Idea of the West”), опубликованной несколько лет назад в журнале *The American Historical Review*, историк Лорен Бариц (Loren Baritz) говорит о чарах, которыми эта идея околдовывала представителей западной цивилизации, начиная с древних греков. Практически все, к чему устремлялись греки, начиная с мифических Островов блаженных, лежало на Западе. То же самое было характерно для римлян и народов, живших в Средние века (Св. Августин утверждал, что его вера в западный путь империи имеет божественную санкцию). Среди самых почитаемых легенд была легенда о Св. Брендане, о чьих деяниях, как пишет Бариц, «рассказывалось почти на всех европейских языках и которые в христианском мире стали одним из самых распространенных сказаний о приключениях в западных морях...». Мы хорошо помним, как привлекал запад Колумба и многих других мореплавателей и исследователей. Эта тяга в значительной мере нашла свое отражение в литературе, например, в знаменитейшей строке епископа Беркли: «Империя берет курс на запад». С самого начала заселения Америки запад имел здесь почти священное значение. Торо писал: «На восток я иду только по принуждению, но на запад я иду свободно», а также «каждый закат, который я наблюдаю, вдохновляет меня на то, чтобы идти на Запад, такой далекий и прекрасный, как тот, куда садится солнце». Подобные верования, чувства и импульсы редко можно встретить в наши дни.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

С самого начала существовала тесная взаимосвязь между верой в общий прогресс человечества и верой в необходимость экономического роста и развития. Афиняне в V веке до н.э. не страдали недостатком уважения к экономической основе цивилизации. Они прекрасно понимали, что в основе успехов искусства и философии, которыми они гордились, лежит прогресс экономики и торговли. Платон как в «Законах», так и в «Политике» ясно выразил свое понимание взаимосвязей между экономикой и культурой, а ри-

съемые им картины развития человечества в течение долгого времени полны упоминаний о практических искусствах (земледелии, металлургии и других), которые единственные могли составить основу прогресса знаний и в целом культуры. Значение экономического прогресса прекрасно понимал также Лукреций. Экономические и технические достижения были высоко оценены Св. Августином в его обзоре материального прогресса человечества, происходившего на протяжении столетий. Как было показано в главе 5, пуритане также не нуждались в особых наставлениях на этот счет. Вольтер и Кондорсе дали непревзойденные примеры восхваления торговли и ее экономическо-технологической базы. За редкими исключениями в лице авторов, находивших золотой век не в будущем, а в прошлом, и считавших экономический и технический прогресс символом упадка морали и общества, а не вехами на пути прогресса, мы наблюдаем одно и то же отношение к экономическому развитию на протяжении всей истории, вплоть до второй половины XX века.

Все стало совершенно иным во второй половине нашего века. Все более широкие круги западного, в частности, американского общества испытывают разочарование и, что более опасно, неприкрытую враждебность к экономическому росту. Растут опасения того, что мы и наша планета обречены, если мы не прекратим этот рост, если мы резко не сократим использование топлива и полезных ископаемых, если мы не объявим обширные территории и акватории экосистемами, любое экономическое и технологическое использование которых запрещено, и т.п. Едва ли когда-либо существовало на свете общество, в котором не бытовали бы предсказания конца света, основанные на тех или иных верованиях. Но то, что мы испытываем сегодня на Западе, является совершенно беспрецедентным по своим формам и масштабам. Неуклонно растет привлекательность того, что Джон Стюарт Милль называл «стационарным состоянием», причем этот процесс затрагивает все общественные классы. Никто не оказал большего влияния своими сомнениями в достоинствах экономического роста и в его воздействии на мораль, общество и индивидуальное сознание, чем Е. Дж. Мишан (E. J. Mishan). Сам он — талантливый

экономист, проработавший в этой области больше четверти века. Десять лет назад в своей книге «Издержки экономического роста» (*The Costs of Economic Growth*) он заявил, что продолжающиеся попытки добиться экономического роста, основанного на технологических инновациях (а на чем еще он может быть основан?), или ускорить его скорее всего приведут к таким разрушительным последствиям для окружающей среды, что качество человеческой жизни неизбежно ухудшится.

В более поздней работе «Экономический рост как проблема» (*The Economic Growth Debate*) Мишан заходит еще дальше. Он тщательно перечисляет различные показатели или критерии того, что он называет хорошей жизнью. К числу этих критериев, пишет Мишан, принадлежат, естественно, питание, здоровье, безопасность и жилище, но также и семья, религия, традиции и обычаи. Устойчивость морали, какого-либо морального кодекса необходима человеку так же, как основные разновидности общности людей (дружба, любовь, взаимопомощь и т.д.). В увлекательно написанных главах своей книги Мишан живописует дисгармонию, которая существует (должна, как он утверждает, существовать) между продолжающимся экономическим ростом и вышеуказанными основополагающими моральными и общественными ценностями. Мишан заходит настолько далеко, что заявляет, будто сама легитимность и, следовательно, прочность самых важных наших институтов подрывается главными элементами экономического роста, в основном связанными с технологиями. Неограниченное продолжение той индустриальной экспансии, которую мы наблюдали на протяжении двух веков на Западе, должно привести, заключает Мишан, к медленной, но неизбежной дезинтеграции социального порядка, к краху всех видов дисциплины и авторитета, встроенных в тот порядок, и к тому, что люди оказываются выброшенными в социальный и моральный вакуум, который, скорее всего, будет заполнен тоталитарным государством. Мишан убежден в реальности исторического упадка, который, по его мнению, начался в эпоху Просвещения, усилился в XIX веке и продолжается сегодня, ускоряясь все больше и больше. И причиной этого упадка, замечает Мишан, является тот самый

экономический рост, который повсеместно превозносился в конце XVIII, в XIX и в начале XX века как главный источник прогресса в целом — общественного, морального и культурного.

В другой широко читаемой и обсуждаемой работе, «Общественные границы роста» (Fred Hirsch, *Social Limits of Growth*), Фред Хирш приходит к аналогичному заключению. Моральные ценности, лежащие в основании современной капиталистической системы, подвержены очевидной и значительной эрозии. Вопреки классическому (и марксистскому) утверждению, согласно которому капитализм базируется на личном своекорыстии и его постоянном проявлении на рынке, более корректное исследование, говорит Хирш, показало бы, что феномен, упрощенно названный «личным интересом», и при своем возникновении, и на протяжении всей последующей истории той экономической системы вплоть до последнего времени представлял собой нечто намного большее, чем простое своекорыстие. Если угодно, это можно называть своекорыстием, но оно было неотделимо от ограничений, имевших источником религиозную и моральную общественную атмосферу, имевшую в те времена огромное влияние. В действительности, «экономический человек» был существом, в большой степени ведомым или сдерживаемым соображениями, которые вовсе не были экономическими и которые тогда оказывали сильное влияние на самое существование западного человека. Но эти-то моральные и духовные ценности и были ослаблены. Именно это, как мы помним, предсказывал Макса Вебер в своем знаменитом фрагменте о «железной клетке» из «Протестантской этики и духа капитализма». И Йозеф Шумпетер в своей классической работе «Капитализм, социализм и демократия», вышедшей в 1942 году, рассуждал примерно в том же направлении, считая медленный, но неуклонный упадок капитализма результатом распада докапиталистической системы общественных и моральных оснований.

Вне зависимости от своей обоснованности интерпретация Хирша оказывает определенное отрезвляющее воздействие. В самом деле, экономисты, которые слишком долго занимаются экономическим ростом, уделяли совершенно

недостаточное внимание *моральным* основам роста и изобилия. По Хиршу, качества, доказавшие свою непосредственную связь с духом капитализма, а именно: «правдивость, доверие, благожелательность, сдержанность, обязательность — все они находится в ряду общественных добродетелей, основанных на религиозной вере». То, что мы называем свободным рынком, продолжает Хирш, в действительности гораздо больше зависело от религиозного и морального принуждения, чем феодальная экономика. Но долговременным эффектом превознесения индивида и его якобы просвещенного своекорыстия вместо этих жизненно важных моральных основ стало ослабление и, в конечном итоге, фактическое разрушение необходимых моральных ценностей.

Другой тип ограничения, который Хирш считает неизбежно влияющим на экономический рост, — это растущая неудовлетворенность и пресыщение теми благами, которые сегодняшняя промышленность делает столь широко доступными. Не столько материальные блага, сколько то, что Хирш называет «позиционными благами», являются ключом к этому вопросу. Как он подчеркивает, наше личное удовольствие от таких материальных благ, как еда, кров и одежда преимущественно неподвластен тому факту, что другие в обществе тоже пользуются теми же материальными благами. Однако, если мы принимаем во внимание то, как наличие тех же товаров у других людей оказывает непосредственное и зачастую длительное влияние на наше удовольствие от пользования определенными благами, возникает иная ситуация. Запруженные автомобильные трассы, забитые места для привалов и переполненные велосипедные дорожки моментально приходят в голову. Но, как предполагает Хирш, позиционные блага могут иметь интеллектуальную природу. Когда у всех есть диплом, разве может человек испытывать истинное удовлетворение, прилагая усилия для того, чтобы получить его?

Вывод Хирша состоит в том, что постоянно увеличивающееся число «позиционных благ» — это наследие современного экономического роста. Действительно, можно привести доводы в пользу того, что стремление к позиционным благам первоначально представляло собой один из

главных стимулов трудовой этики или капиталистического духа. Но, когда они преумножатся столь сильно, что их привлекательность для среднего работника-потребителя уменьшится, значительная часть мотивации к труду и сбережению должна исчезнуть. Результатом упадка привлекательности позиционных благ, утверждает Хирш, становится значительное увеличение привлекательности денег ради самих денег. Мы становимся, предполагает он, гораздо больше жадными до денег, чем наши предшественники, для которых деньги в основном были необходимым средством получения материальных и позиционных благ. И, как подчеркивали социальные критики, начиная с Эдмунда Бёрка, «денежные узы» (используя выражение Карлейля) не являются основой социального порядка. Деньги, в отличие от реальной собственности, приводят к атомизации населения, придания каждому человеку чувства уверенности в собственной безопасности, которое позволяет и даже вдохновляет его на уход от отношений взаимозависимости с другими людьми.

В этом распространяющемся разочаровании в экономическом росте очень явно присутствует страх перед ограниченностью и истощением ресурсов, черпаемых из земли, морей и атмосферы, которые жизненно важны для экономического роста. Вспомним, что одной из главных предпосылок современной идеи прогресса была неизменность природы, которая будет завтра такой же, какой она является сегодня и какой была вчера. Эта природа, говорили «новые» в «Споре о древних и новых» в XVII веке, включает в себя *человеческую* природу. Она не была могущественнее или плодороднее во времена Эсхила и Софокла, чем сегодня и завтра. На основании такой уверенности в природе, которая всегда есть и будет одной и той же, «новые» могли радостно утверждать, что при такой неизменности настоящее должно превосходить прошлое просто благодаря приросту знаний.

Но в XX веке все более навязчивой становится мысль, что, учитывая, бесспорно, чрезмерное использование наших ресурсов (почвы, воды, воздуха, полезных ископаемых, топлива, питательных веществ и т. д.), а также учитывая зачастую произвольное уничтожение того, что мы произвели,

но не нуждаемся в данную неделю, месяц или год (что особенно характерно для США), может скоро придти время, когда у нас больше не будет ресурсов или их будет слишком мало, чтобы их использовать и ими злоупотреблять. Я знаю о том, что среди ученых и технологов нет единого, всеми принятого мнения насчет обозримого будущего. Есть такие, как Василий Леонтьев, который после тщательного и бесстрастного исследования заключил, что имеется достаточно ресурсов, включая пищу, чтобы обеспечить любое предсказуемое количество населения на Земле на долгое время вперед. Но если дочитать доклад профессора Леонтьева до конца, то становится ясно, что для того, чтобы на Земле существовало такое изобилие, потребуются политическое планирование и размещение ресурсов, политические союзы и создание всемирных централизованных органов управления, и все они будут иметь такой масштаб и всепроникающий характер, что даже самым оптимистически настроенным умам очень трудно почувствовать воодушевление.

С боязнью ограниченности ресурсов тесно связан страх за нашу окружающую среду в широчайшем смысле слова — и физическую, и социальную. Такие книги, как недавняя работа Толбота Пейджа «Сохранение окружающей среды и экономическая эффективность» (Talbot Page, *Conservation and Economic Efficiency*), могут лишь травмировать умы. Его статистика касательно расточительности одних лишь США (являющихся, предположительно, самым худшим грешником мира, но самым могущественным и влиятельным) в отношении редких и невозобновляемых ресурсов. представляет собой удручающее чтение. То же самое относится к выводам, представленным в заключительной части его книги, относительно проблем, связанных с определением *критериев* установления оптимальной степени истощения ресурсов за тот или иной период времени. Книга Пейджа может только усилить недоверие к столь дорогих сердцу эконометриста моделям будущего потребления, целью которых является предсказание взаимоотношений между отдельными потребителями, уровнем жизни, этическими предрассудками и природными ресурсами.

Но давайте представим на минуту, что все пессимистические прогнозы относительно природных ресурсов и окру-

жающей среды в пределах этого века фактически окажутся бесосновательными. Вновь мы возвращаемся не к реальности, а к восприятию реальности. Потому что, возможно, впервые более чем за два тысячелетия в безнадежности наших проблем с потреблением ресурсов убеждено достаточно большое число интеллектуалов, чтобы транслировать еще большему количеству людей идею о тщетности надежд на прогресс человечества.

Если бы только что описанные проблемы или страхи ограничивались тем, что кратко было показано здесь, одно то было бы уже достаточно плохим предзнаменованием для веры в прогресс. Но если, действительно, на нас надвигается Век нехватки ресурсов или если вера в этот век распространится достаточно широко или окажет влияние на достаточное число правителей могущественных государств на Земле, то в свете истории войн, развязанных из-за борьбы за природные ресурсы, несложно предвидеть усиление всех текущих проявлений напряженности и соответствующего потенциала для возникновения войн. Модернизация, столь долго превозносимая подавляющим большинством западных интеллектуалов, уже достигла очевидных результатов в «третьем мире», из чего следует предположение, что даже если эти нации еще не полностью вестернизированы в отношении своих технологий, вооружений и устремлений, они уже достаточно далеко продвинулись по этому пути, чтобы поиски необходимых минеральных и иных ресурсов стали для них не менее настоятельными, чем для любой западной страны. Я сомневаюсь, что многим людям, жившим поколение или два назад, приходило в голову, что «модернизация» «отсталых» стран создаст, по сути дела, мировую экономику, внутренние взаимоотношения в которой становятся все более тонкими, сложными и зачастую даже не поддаются наблюдению, но, тем не менее, оказывают мощное воздействие на жизнь людей, причем результативно управлять ими пока не под силу ни отдельному человеческому разуму, ни группе. Рассматриваемое направление наступления на прогресс фактически состоит в утверждении, что, хотя земля, небо и море могут обеспечить некоторые «модернизированные» страны со всеми их требованиями, предъявляемыми к природе,

невозможно ожидать, что такая поддержка распространится на все нации, которые сейчас находятся в лихорадочном процессе «модернизации». Ширится вера в то, что ни сейчас, ни в будущем нет и не будет мыслителей, принадлежащих к какой бы то ни было специальности, способных разрешить те проблемы, которые может повлечь за собой такая всеобщая трансформация.

Насколько влиятельным и распространенным является это состояние ума в Америке, показано в длинной статье, которая посвящена двухсотлетию юбилею США, опубликованной в журнале *The Economist* 25 октября 1975 года и принадлежащей перу заместителю главного редактора Нормана Макрэ (*Norman Macrae*). На основании почти годового путешествия по Америке Макре предстал с далеко не оптимистическим рассказом о том, что он увидел и услышал. Подобно британцам, которые «успешно справлялись с ролью мирового лидера» с 1776 по 1876 годы, американцы справлялись с ней с 1876 по 1976. Но, заглядывая вперед, насколько это возможно, Макрэ пришел в мысли, что вероятность заметного ослабления влияния Америки весьма высока. «Американцы накануне 1976 года проявляют те же симптомы потери динамизма, как то было с британцами в 1876 году, т.е. в конце их эпохи». Причины, которые цитирует Макрэ, меют прямое отношение к данному разделу, посвященному экономическому росту. Я кратко перечислю основные из них: американское фабианство и перенимание «многих снобистских привычек высшего класса, которые сдерживали экономический динамизм в Британии... таких как направленный против бизнеса патернализм, прославление лесников»; предательство клерков — «в университетах по всему континенту подросткам-идеалистам преподается особый культ анти-роста, предназначенный для людей, не разбирающихся в естественных науках, как будто это высокоморальная философия или даже религия»; «отступление от мистера Эдисона» — т.е. бюрократизация наших технологий, а также бизнеса; и «мечтательный монстр» — «Америка имеет систему правительства, пригодную для управления обществом свободного предпринимательства, но непригодную для того, чтобы управлять обществом, на одну треть социалистическим,

в которое она превратилась». Макрэ приводит и другие причины, в том числе обожествление окружающей среды средним классом, даже несмотря на то (и особенно потому), что без промышленной производительности и технологических достижений неизбежным результатом станет резкое снижение уровня жизни. Но я завершу этот раздел выдержкой из самой статьи Макрэ:

«Есть три главных вопроса. Во-первых, будет ли Америка и дальше верить в экономический рост? Если нет, то полмира останется голодным, если нет, и эти полмира могут разорвать нас в клочья.

Во-вторых, должна ли Америка верить в демократию совместных действий производителей или в широкую и информированную свободу потребителей в сфере производства и в политике? Дай Бог, чтобы она верила в свободу потребителей.

В-третьих, реет ли все еще звездно-полосатое знамя над землей свободных и домом храбрых? Звезды зажглись, но ни один благоразумный иностранец в этот час не рискнет полностью положиться на знаменитый приказ Джорджа Вашингтона, отданный в апреле 1777 года: «Сегодня ночью не ставить ба стражу никого, кроме американцев».

ДЕГРАДАЦИЯ ЗНАНИЯ

Среди всех вызовов, с которыми сталкивается в наше время идея прогресса, ни один не является столь потенциально смертельным, как быстро меняющееся сегодня положение знания и ученых. Здесь я использую слово «знание» согласно Уильяму Джеймсу, т.е. в смысле «знание о чем-то», в отличие от «знания чего-то». Первое — удел ученых, исследователей, историков, философов, технологов и прочих, чьей главной функцией является углубление наших знаний о Вселенной, обществе и человеке. Второе, как заметил Джеймс, — это общее достояние всех живых существ, и оно просто описывает привычки, приспособления и приемы, которые мы используем в искусстве жизни.

Как мы видели, идея прогресса берет начало в древнегреческой очарованности знанием — «знанием о чем-то» — и в понимании того, что это знание требует долгих веков медленного и последовательного развития, чтобы достичь

уровня, который был известен грекам. Таким образом, греко-римской идее прогресса присуща глубокая и неизменная вера в объективное знание. С ростом христианства, как мы помним, появилось второе измерение прогресса, направленное на духовное и моральное усовершенствование человечества с течением времени, которое должно будет достичь своего воплощения в далеком тысячелетнем царстве. Но Отцы Церкви ни коим образом не отрицали древнегреческий критерий прогресса, состоявший в углублении знаний о мире и обществе. Высокая оценка такого знания никогда не исчезала в истории христианства — ни в Средние века, ни, разумеется, в пуританском XVII веке, когда вклад Исаака Ньютона или Роберта Бойля в понимание законом природы рассматривался как жизненно важный шаг к достижению золотого века или миллениума на Земле.

Высокая оценка работы ученого и исследователя не утратила и в эпоху Просвещения, на протяжении всего XIX и в первой половине XX века. Ни в средневековых университетах, ни в библиотеках эпохи Возрождения профессиональный ученый не занимал столь высокого ранга, как в Западной Европе с середины XVIII до середины XX века. Если его статус в США в XIX и начала XX века и был ниже, чем в Европе, он ни в коей мере не был низким. Невероятная скорость, с которой в XIX веке основывались не только публичные и частные школы, но и колледжи, служит достаточным доказательством высокой оценки в Америке как естественных, так и гуманитарных наук. Но в наш век ученый и исследователь, а также их работы не внушают ничего похожего на то уважение (и даже самоуважение), которое когда-то было столь обычным для западной цивилизации.

Совсем недавно, в 50-е годы XX века, показалось бы абсурдом, если бы кто-нибудь предсказал, что скоро наступит день, когда ученые не только в значительной степени потеряют общественное уважение, но и, что еще важнее, все чаще и чаще будут сами сомневаться в своей всеобщей ценности для общества по социальным, моральным и эстетическим основаниям, а также в своей способности расширять границы познания. Неопровержимым фактом является то, что у некоторых самых уважаемых ученых

современности имеются серьезные сомнения, во-первых, просто в способности ученых продвинуться существенно дальше, чем они уже продвинулись, в получении важных новых знаний и, во-вторых, в общественной и психологической ценности такого продвижения, даже если оно и произойдет.

Джером Равец в своей последней книге «Научное знание и его социальные проблемы» (*Jerome Ravetz, Scientific Knowledge and Its Social Problems*) изучает вопрос об *esprit**, царящем среди ученых в настоящее время. Из данных, представленных Равецом, можно сделать только один вывод: измененная структура науки — т.е. сама численность ученых и усиливающаяся бюрократизация науки — значительно повлияла на моральное состояние, творческие побуждения и самооценку ученых, причем по большей части к худшему.

Весной 1978 года целый выпуск журнала *Daedalus* был посвящен публикации статей ученых на тему «Пределы научного исследования». Во введении Роберт Морисон (*Robert Morison*) выявляет некоторые мнения, о которых я упоминал. Оставшаяся часть этого абзаца состоит либо из прямых цитат, либо из пересказа вступительных замечаний Морисона, посвященных тому, что он называет «новой тревогой». (1) Вред, который может причинить людям, простое стремление к знаниям; (2) беспокойство о возможных вредных эффектах новых технологий, которые могут появиться в результате новых знаний; (3) долгосрочные угрозы, которые влекут за собой ненулевую вероятность серьезных нарушений нашего нынешнего образа жизни, как в случае с возможными результатами генной инженерии и изменений климата; (4) возможные дестабилизирующие результаты новых знаний в том, что касается представлений человека о себе или своих отношениях с другими; и (5) возможное появление глубокого беспокойства по поводу возможных ограничений самого научного знания и его оснований. Профессор Моррисон пишет:

«Наконец, наверно стоит заметить, что беспокойство за науку отражает общий упадок общественного уважения

* Дух (франц.). — Прим. перев.

к любого рода авторитетам. Ученые, таким образом, вызывают подозрение не только в качестве самостоятельных авторитетов, но также из-за того, что научный истеблишмент стал идентифицироваться с общей властной структурой, которая, по крайней мере некоторым нашим гражданам, стала представляться еще более властолюбивой и не заслуживающей доверия. Возможно, мы наблюдаем в данном случае результат обмена ролями между наукой и религией в том, что касается стабильности преобладающей политической системы».

В 1969 году выдающийся молекулярный биолог Гюнтер Стент опубликовал при содействии Американского музея естественной истории захватывающую небольшую книгу, вызвавшую широкий резонанс, под названием «Приход Золотого Века; Взгляд на завершение прогресса» (Gunter Stent, *The Coming of the Golden Age; A View of the End of Progress*). Золотой век профессора Стента, в том виде, как он показан в этой книге, является подлинной противоположностью тем разновидностям золотого века, которые прославляли будущее, начиная с древних греков и римлян, таких как Протагор и Сенека, и вплоть до Сен-Симона, Маркса, Спенсера и Чарльза Дж. Дарвина. Для него Золотой Век будет представлять собой почти буквальную копию культуры Полинезии, т.е. культурой, которую мы обычно имеем в виду, когда мы говорим: «назад в Золотой Век». Это взгляд, в провозглашении которого так часто и так несправедливо обвиняют Руссо.

Говоря в двух словах, аргумент профессора Стента состоит в том, что уже наблюдается угасание интереса к науке, технологии и экономическому росту и уход от них, особенно среди молодежи, принадлежащей среднему классу. Это иллюстрируется, по его мнению, характерным типом, который мы обозначаем словами «хиппи» и «бит». Продолжающееся развитие в ныне «отсталых» странах приведет со временем лишь к тому же разочарованию в «прогессе» во всех этих странах, которое сейчас столь ярко проявляется на Западе. По всему миру будет распространяться желание убежать от трудовой этики, от дисциплины, которой требуют технологии, и от позорного клейма изобилия. Постепенно, но гарантированно, все большее и большее число

народов встанет на «дорогу к Полинезии», то есть на путь к обществу, в котором простота, естественность и спокойная праздность будут выдвинуты на первый план. Не все технологии будут потеряны, считает Стент; на одной стороне общественного спектра будет находиться меньшинство людей, которые все еще будут заинтересованы в использовании технологий, которые приносят удобство.

«В средней части распределения мы обнаружим тип, для которого различие между реальным и иллюзорным будет все еще значимым и прототипом которого является битник. Он сохранит интерес к миру и будет искать удовлетворения в чувственных удовольствиях. По другую сторону спектра будет находиться тип, который, по большей части, не может найти применения, для которого границы реального и воображаемого будут в основном размыты, по крайней мере в той степени, в какой то совместимо с его физическим выживанием. Его прототипом является хиппи».

Одним словом, «история Островов Южных Морей или, более конкретно, Полинезии, может, я думаю, послужить парадигмой для общего эволюционного развития в направлении к Золотому Веку».

Но мы не поймем более фундаментального аргумента, приводимого Стентом в его маленькой книге, если решим, что привлекательность общемировой Полинезии происходит от желания сбежать от дисциплины и требований, выдвигаемых культурой и обществом, *идущими вперед*, а также *прогрессом* искусства, литературы и науки. Напротив, наш современный век, пишет Стент, характеризуется, в первую очередь, видимым упадком, стагнацией и инерцией в этих областях, как в искусстве, так и в науке. Для Стента характерна разносторонняя эрудиция, и он приводит аргументы в пользу своего тезиса о современном снижении качества искусства, начиная от литературы и заканчивая такими областями, как музыка и живопись. Конечно, Стент не приводит гораздо более распространенное доказательство упадка искусства, согласно которому последний стал результатом увеличения распушенности, либертинизма и декаданса в искусстве. Его аргумент гораздо тоньше. Эволюция искусства в современном мире сопровождается большей свободой художника от признанных канонов

и ограничений, имеющих строго эстетическую природу: «Однако доступ художника к почти тотальной свободе выражения теперь приносит с собой очень большие когнитивные трудности для понимания его работы: отсутствие узнаваемых канонов низводит его творческий акт для того, кто его воспринимает, почти до уровня случайности. Другими словами, художественная эволюция, идущая по улице с односторонним движением в направлении к свободе, заключает в себе элемент самоограничения».

Профессор Стент не делает исключения даже для своей собственной науки, молекулярной биологии, говоря об этом *застое*, распаде, который он обнаруживает в музыке, живописи и других видах искусства. Его аргументы слишком детальны, чтобы здесь можно было их привести полностью, потому приходится ограничиться лишь самым сжатым изложением. Достаточно будет сказать, что, хотя он полностью осознает (по его собственным словам), что изобретение колеса в древнем Шумере, несомненно, заставило многих людей сказать: «Мы скорее всего не сможем превзойти этот триумф», тем не менее, человечество достигло сегодня такого уровня в исследовании человеческого мозга и нервной системы, что даже мысль о дальнейшем прогрессе в этой области тщетна. В ряде глав Стент описывает прогресс, который имел место в прошлом веке, все более высокий уровень понимания все более и более сложных феноменов. Он описывает это развитие как переход от классического к романтическому, затем догматическому, к академическому, и теперь, по его словам, к «концу прогресса». В молекулярной биологии мы дошли до того момента, говорит нам Стент, когда единственная оставшаяся серьезная проблема — это проблема «дуализма материи и духа». Он задает вопрос: «Есть ли вероятность того, что сознание, это уникальное свойства мозга, которое, кажется, наделяет соответствующий агрегат атомов самосознанием. когда-либо будет объяснено?» Его ответ отрицательный. Заимствуя у физика Бора знаменитое рассуждение о фундаментальной невозможности подлинного исследования разума, поскольку «психическое содержание неизбежно меняется, когда внимание концентрируется на любой отдельной его черте...», Стент пишет:

«Этот подход означает ни много, ни мало, что поиск “молекулярного” объяснения сознания — это пустая трата времени, поскольку физиологические процессы, отвечающие за этот полностью индивидуальный опыт, будут представляться выродившимися во внешне вполне обычные, рутинные реакции, не более и не менее занимательные, чем те, которые происходят, скажем, в печени, задолго до того, как достигается молекулярный уровень. Таким образом, в том, что касается сознания, вполне возможно, что стремление открыть его физическую природу подводит нас к границам человеческого понимания, так как мозг может оказаться в конечном итоге неспособным дать объяснение самого себя».

Но представление Стента об очень высокой вероятности прекращения прогресса в науке заходит гораздо дальше, чем пример, который он выбрал из собственной сферы научных исследований. Современный прогресс Запада, пишет он, «... зависел от усилий Фаустовского Человека, чьим главным источником мотивации была идея воли к власти. Но, когда прогресс зашел достаточно далеко, чтобы предоставить среду экономической безопасности Простому Человеку, получившийся в результате социальный этос работает против передачи воли к власти детям во время их воспитания и, следовательно, обрывает развитие Фаустовского Человека... Таким образом, я подхожу к моему первому общему заключению относительно прогресса: по самой своей природе, в силу своей зависимости от воли к власти он *ограничивает сам себя*.

Теперь обратимся еще к одному известному ученому - естествоиспытателю, который провел последние годы в размышлениях над местом научного знания в нашей эпохе: к доктору Роберту Д. Синшаймеру (Robert D. Sinsheimer). Доктор Синшаймер озабочен возможностью того, что, хотя наука действительно может быть способна зайти далеко за пределы современного уровня знаний, представляется все более вероятным, что результаты такого развития окажутся вредоносными для человеческого рода.

Он начинает с констатации истины, которая подразумевалась философией и наукой с самых ранних времен: «**Научные** стремления основываются на вере, что наши научные

исследования и наши технологические начинания не сместят некий ключевой элемент нашего защитного окружения и тем самым не разрушат нашу экологическую нишу. Это вера в то, что природа не расставляет ловушки опрометчивым видам».

В прошлом, продолжает доктор Синшаймер, эта вера была оправдана и приносила свои плоды. Но разве мы можем позволить себе такую веру сейчас, учитывая наличие, а также влияние или действие проявлений науки, которые содержат бесчисленные возможности для разрушения больших и важных областей на нашей планете, включая ее драгоценные слои дающего жизнь озона, чего не было еще сто лет назад?

«На протяжении четырех веков наука прогрессивно расширяла наши знания и переформировывала наше восприятие мира. В то же время технология, соответственно, трансформировала наш образ жизни и мир, в котором мы живем.

Большинство людей согласится, что в целом последствия этой деятельности были благоприятны. Но может оказаться так, что условия, которые способствовали этим благотворным результатам научного развития и технологических новшеств, меняются на менее благоприятные...

Не могут ли обстоятельства поменяться так, что чистый выигрыш от нового знания обесценится? Не будет ли более уместной пауза или замедление с целью консолидации и рефлексии? Это трудные вопросы, возможно, на них не может быть ответа, возможно, неправильные вопросы, но мы не получим ответа на них в 1977 году, зывая к Галилею, Дарвину, или Фрейду».

Доктор Синшаймер выделяет три основных области исследований, которые следует проверить на предмет их последствий: (1) продолжение исследований расщепления изотопов, (2) поиск средств контакта с внеземным разумом и (3) изучение процесса старения. Первое не может не упростить процесс производства ядерных зарядов и, таким образом, в огромной степени усилить атмосферу ужаса, которая создается наличием таких зарядов. Особенно это относится к странам, для которых искушение применить их в разрушительных целях неизбежно оказывается гораз-

до большим, чем для относительно благополучных наций, вроде тех, которые сейчас их имеют.

Следующая область исследований, то есть установление контакта с расами, живущими вдалеке от нашей планеты, также беспокоит доктора Синшаймера. Он предлагает допустить, что настойчивые попытки однажды будут вознаграждены установлением контакта с одной или несколькими такими расами. Будет ли это благом? Вовсе нет, или, по крайней мере, не обязательно так, пишет доктор Синшаймер. «Если такие разумные общества существуют и если мы можем «слышать» их, то мы почти наверняка окажемся менее развиты технологически и явно будем стоять на более низкой ступени развития, чем они». Каким может быть влияние этого на человеческие ценности? Как напоминает нам Синшаймер, Коперник произвел «глубокий культурный шок для человека». То же самое относится к Дарвину. Человечество больше не может так же гордиться собой, как и раньше, после того, как оно сначала узнало, что Земля не является центром Вселенной, а затем — что человек, далеко не будучи *sui generis*^{*}, в действительности генетически связан с процессом видообразования, который охватывает буквально все формы жизни на Земле, и является его продуктом. Воздействие более развитых культур на менее развитые «почти без исключений разрушительно для первых... Менее развитые культуры быстро становятся производными, выпрашивающими технологические поддачи. Что может случиться с нашей исконной традицией самодостаточности? Будем ли мы низведены до искателей космического подаяния?»

Что касается опасности, которую представляет возможный или даже вероятный успех в исследовании понимания и контроля старения, нам достаточно подумать о молодежи, пишет Синшаймер. Именно от юности проистекает буквально вся творческая энергия в любой сфере деятельности. Вообразите себе мир, в котором само количество пожилых низведет долю молодежи до практически незначительной, — и вы увидите интеллектуальное и духовное иссушение. Как отмечает доктор Синшаймер: «Логика неумолима. В ко-

* Редкостный, уникальный (лат.). — Прим. перев.

нечном мире конец смерти означает конец рождения. Кто будет последним рожденным? Если мы предлагаем такое исследование, мы должны принимать всерьез возможность успеха. Воздействие существенного увеличения продолжительности человеческой жизни на весь наш социальный порядок, на образ жизни, нравы, на все те способы, которыми мы приспособились к тому, что «дней наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет» *, на способность планеты, уже столкнувшейся с перенаселением, выдерживать эту нагрузку будет опустошительным».

Не нужно делать из вышесказанного вывод, что все или даже большинство ученых разделяет взгляды, выраженные Стентом и Синшаймером, какими бы respectable эти взгляды ни выглядели в научном сообществе. Это далеко не так! Но сложно поверить, что какой бы то ни было серьезный и думающий физик или биолог из числа живущих сегодня может вообще не задумываться время от времени об эффектах продолжающегося движения науки вперед и развития технологии. Возможно, есть еще некоторые, кто вторит энтузиазму ученых XIX и начала XX века. То, что недавно написал историк науки и физик Джеральд Холтон (Gerald Holton), многое проясняет:

«До недавнего времени концепция науки как неизменно «прогрессирующей» была частью мышления также и в историографии науки. Джордж Сартон зашел настолько далеко, что сделал в 1936 году следующее утверждение: «История науки — это единственная история, которая может проиллюстрировать прогресс человечества. На деле прогресс не имеет определенного и бесспорного смысла в иных сферах, кроме научной». Только в последние несколько лет эти прогрессистские послышки были подвержены разнообразным атакам со стороны исследователей истории и философии науки».

То, что относится к физическим и биологическим наукам, *a fortiori*** относится и к общественным наукам. Удручающе широкая пропасть между ожиданиями по поводу общественных наук, бытовавшими в начале XX века

* Пс 89, 10.

** С еще большим основанием (лат.). — Прим. науч. ред.

(со стороны ученых социологов, а также в то время со стороны широкой публики), и реальностью, которую наблюдали за прошедшие три четверти века, отмечается все больше и больше лучшими представителями общественных наук. Совершенно понятно и очевидно, что вклад общественных наук был минимальным, а то и вообще контрпродуктивным, и что многие проекты социальной реконструкции, разработанные учеными-обществоведами для реализации правительством, принесли больше вреда, чем пользы, как, например, в случае всевозможных благонамеренных, но приведших к катастрофическим результатам «войн» — с бедностью, этнической дискриминацией, плохими жилищными условиями, трущобами и преступностью.

Не забудем и о том, что случилось за последние несколько десятилетий с самими исследователями в сфере общественных наук. В начале 50-х годов XX века трудно было встретить в мире науки более серьезную цель, чем цель, которую ставили перед собой обществоведы, — стать еще более научными, насколько похожими на физиков, насколько это возможно, в том, что касается успешной выработки гипотез и принципов на основе эмпирических данных. Посещение ежегодных собраний научных обществ в сфере общественных наук давало возможность узнать из сотен представленных докладов, насколько далеко идущим и глубоко укорененным было стремление к объективности в изучении общества, его институтов и ценностей.

Однако сегодня мир общественных наук выглядит совсем по-другому. Та порода, которую я только что описал, еще не полностью исчезла (лучше всего она сохраняется, пожалуй, в экономической науке), но что касается значимости, то в настоящее время ее превзошли другие, абсолютно другие разновидности так называемых обществоведов. Постоянно растет количество тех, для кого объективность — это либо заблуждение, либо нечто в основе своей неприемлемое. Широко распространен уход в самые разнообразные формы субъективизма, который рассматривает озабоченность собой и изучение себя как начало истинной мудрости. Увеличивается и число тех, кто считает истинной целью роста общественной науки прямое социальное действие, а не социальное наблюдение и анализ.

Нет никаких сомнений, что общественное доверие к наукам — неважно, естественным или общественным, — как и к любым другим формам организованного, рационально мотивированного знания в последние несколько десятилетий значительно ослабло. Это не значит, что утеряно все признание, которое завоевали науки, особенно физические, биологические и медицинские. Во-первых, дело в том, что то, что на деле было достигнуто, оказалось существенно ниже того, что было обещано и гарантировано после окончания Второй мировой войны. Общественные ожидания были раздуты благодаря ожиданиям ученых и их популяризаторов в крупных университетах и исследовательских центрах. И, во-вторых, очень высокое положение и чрезвычайно большая публичная заметность ученых сделали видимыми и наблюдаемыми непрекращающиеся споры, различия в диагнозах и оценках, которые становились все более резкими и даже ожесточенными (особенно когда в дело вовлекались политические и социальные идеологии); и, наконец, прямая, открыто афишируемая политическая направленность ученых сыграла не последнюю роль в снижении общественного уважения к ним. Та же эрозия статуса, которая началась в предыдущем веке с духовенства, наблюдается сегодня среди ученых и исследователей. С потерей общественного доверия к человеку знаний должна была произойти и потеря доверия к самим знаниям. Как может существовать вера в прогресс знаний и в прогресс цивилизации в результате прогресса знаний, когда доверие к знаниям уменьшилось или выветрилось?

Есть еще один последний зловещий индикатор ухода от разума и знаний в наше время. Я говорю о быстро распространяющемся интересе к диковинным и экзотическим религиям, к оккультизму, к бесчисленным формам коммуникации, которые отрицают рациональное и основываются исключительно на эмоциональном, чувственном и даже физическом. И здесь чувство некоей межличностной общности, на каком бы низком уровне оно ни было в психологических терминах, вытесняет наше почтение к рациональности. Возможно, более всего заслуживает внимания, по крайней мере по причине масштабов проявления, страсть к самому себе, ко всему откровенно эгоцентричес-

кому и гедонистическому. Всего лишь два десятилетия назад все это поддерживалось только контркультурой и мало что предвещало, что это станет поддерживаться, как в результате получилось, постоянно расширяющимися сегментами всего населения. Выражение «контркультура сегодня, истэблшмент завтра» имеет слишком много подтверждающих иллюстраций, чтобы по-прежнему считать его остроумным преувеличением. И, наконец, мы должны рассмотреть число тех (особенно в колледжах и школах), для кого 2000 год стал устоявшимся символом не того миллениаризма, какой знали Иоахим Флорский или пуритане XVII века, но его противоположностью: символом разрушения мира в результате природной или антропогенной катастрофы без какого-либо ожидания пост-вселенской духовной вечности.

Очевидно, идея прогресса оказывается едва дышащей в цивилизации, мучимой иррациональностью и солипсизмом так, как сейчас происходит с западной цивилизацией. Недавно Джордж Штайнер (George Steiner) в своей убедительной статье подытожил ситуацию на Западе:

«В Европе и США зарегистрировано в три раза больше астрологов, чем химиков и физиков. Шарлатаны, забавные или зловещие, продают миллионы экземпляров книг о пришельцах из космоса...

Звездные путешествия и галактические войны отупляют воображение как наркотики. Напуганные будущими войнами и голодом, ошеломленные моделями научного и технологического будущего... изнуренные люди ищут в небе летающих тарелок, которые дадут им утешение и присмотр.

Когда Запад не вглядывается в звезды, он смотрит в сторону Азии. Или, скорее, на *китч* Азии.

Дети Кришны танцуют танго на наших грязных тротуарах... Лицемерие дзен и ярмарочная медитация, расфасованная нирвана... — все это крупный бизнес. Неоновые тантры сверкают на бульварах Сан-Франциско и Челси...

Наркотики и гороскопы, маленькие человечки с заостренными ушами и маргариновые гуру, агрессивная жалостливость групповой психотерапии и путешествия в Катманду, оргоновые ящики и тошнотворная многомиллионная индустрия сатанизма в кино, по телевидению и в журналах —

все это дышит и кормится одним и тем же голодом, тем же одиночеством и той же растерянностью».

Прогресс или вера в прогресс в таких обстоятельствах? Интеллигентный ум содрогнется при этой мысли.

ПЕЛЕНА СКУКИ

Едва ли можно ожидать веры в прогресс или даже интереса к нему от цивилизации, в которой все больше людей поражены скукой — по отношению к миру, государству, обществу и самим себе. Разумеется, скука не есть какая-то новая напасть, невиданная в истории. Легенда гласит, что Александр Великий впал в тоску, когда оказалось, что больше нет миров, которые можно завоевать. Светоний и другие римские историки оставили нам краткие описания и портреты императоров, аристократов и плутократов, которые были подвержены этой болезни и которые искали утешения в том или ином непотребстве. Скучающая аристократия — неотъемлемая часть истории современной Европы. Наверное, в XIX веке существовало и некоторое число тоскующих американцев.

Но вплоть до наших дней скука всегда оставалась уделом меньшинства — тех, кто имел досуг и не обладал психологическими возможностями выносить его, кроме как чрезмерно возбуждая и развлекая себя. Подавляющее большинство людей, по необходимости вовлеченных в борьбу за существование, не имело ни времени, ни охоты скучать. Но XX век породил для все большего числа то, что Денис Габор в своем «Изобретении будущего» (Denis Gabor, *Inventing the Future*) назвал «эпохой досуга». Эта эпоха включает различные элементы — укороченная рабочая неделя, длительные выходные и отпуска, более ранний пенсионный возраст, большая продолжительность жизни, выплаты по социальному обеспечению, неработающая молодежь, значительное увеличение числа богатых, которые, в отличие от своих предшественников, уклоняются от участия в политической или экономической жизни общества и т.п. Все эти разнообразные и непохожие друг на друга проявления имеют одну общую черту. Это — досуг. Много досуга. Гораздо больше досуга, чем все, что могло иметь население в любой период истории вплоть до нашего века. Даже Рим, с его праздным

правлящим классом и такими же праздными бедными, зависевшими от бесплатных «хлеба и зрелищ», совершенно несопоставим с современностью по масштабам досуга.

И Токвиль, и Шопенгауэр предвидели высокую вероятность воцарения скуки в качестве одной из издержек эгалитарно-гуманитарной демократии. Токвиль был поражен «беспокойством посреди благополучия», имевшим место среди как французов, так и американцев, и предположил, что распространенной формой избавления от этого во Франции стало самоубийство, а в Америке — сумасшествие. Сокращение культурного разнообразия, утрата «возвышенных устремлений», уравнивание масс и грядущий расцвет такого деспотизма, который отобьет желание и работать, и жить, — все это Токвиль видит в качестве отчетливой перспективы для жителей демократических стран. Надо отметить, что он также был поражен двумя преобладающими, противоположными друг другу формами бегства от апатии и скуки: с одной стороны, потворством гедонистическому материализму со стороны богатых и, с другой стороны, обращением к «экзальтированной духовности», разрывающей все связи человека с реальностью. Позже и Шопенгауэр, во-первых, усомнился в способности правительства устранять социальные недуги современного общества, а, во-вторых, заявил: «даже если все эти разновидности зла будут искоренены, их место тут же займет скука».

Если бросить взгляд на современное нам западное общество, то не видно никаких оснований оспаривать прозрения Токвиля и Шопенгауэра. Денис Габор упоминает великую «трилемму», стоящую сегодня перед человечеством: затяжная ядерная война, масштабное перенаселение Земли и «эпоха досуга». Не вызывает сомнения, пишет Габор, то, что мы способны пережить первые две напасти. Даже если девять десятых рода человеческого погибнет, можно рассчитывать на то, что оставшаяся десятая часть сможет интенсивно размножаться и в значительной, если не в полной мере восстановить если не все, то почти все, необходимое для выживания. Люди либо научатся адаптироваться к перенаселению с помощью унаследованной генетической мудрости, либо будут противодействовать ему резким и существенным уменьшением рождаемости.

Но вот «эпоха досуга», утверждает Габор, это совсем другое дело. За все время нашей природной и социальной эволюции не происходило ничего, что подготовило бы человечество или его важнейшие сегменты к досугу. Да и как это могло произойти при необходимости постоянной борьбы за жизнь на протяжении всего периода эволюции нашего вида, то есть, почти до самого недавнего времени? Да, некоторые индивиды научаются справляться с досугом, по крайней мере в некоторой степени, но многие и нет. Габор предлагает возможные программы создания соответствующих условий, которые, если они будут соблюдаться в течение нескольких поколений, смогут компенсировать неврологическое наследие миллионов лет. Но его предложения выглядят неубедительно. Приведенное им высказывание философа С. Джоуда (С. Е. М. Joad) весьма уместно: «Работа — это единственное занятие, изобретенное до сего момента, которое человек может выдержать в дозах, превосходящих минимальные». Народная мудрость всех народов полна предупреждений о том, какие беды могут обрушиться на праздного человека.

Только тот, кто вовсе не умеет думать, может не понять природу поведения, проистекающего из скуки и доставляемых ею страданий. На улицах и в домах все больше распространяется насилие ради насилия. Для большинства из тех, кто прибегает к такого рода насилию, генератором является садизм, причем садизм особого рода, проявляющийся только тогда, когда досуг становится невыносимым и нет никакого другого способа убежать от этой напасти. Кроме того, необходимо указать также на возрастающую терпимость к заместительному насилию в кино, на телеэкранах и в главных видах спорта, где, как известно, уровень насилия постепенно растет в погоне за зрелищностью. Укажем также на расширение употребления наркотиков и возрастание принимаемых доз, на распространение оргий и сексуальных извращений, на гигантский поток порнографии, на бегство людей в оккультизм и прочую эксцентрику. Мы видим все больше людей, пытающихся психологически или физически отгородиться от реальности, все больше тех, для кого священные когда-то нормы и ценности среднего класса становятся объектом презрения и насмешек. Мы можем

указать также на несомненную, хотя и не всегда проговариваемую вслух жажду земного спасителя — Цезаря, Наполеона или даже Гитлера и Сталина. *Все, что угодно*, лишь бы избежать скуки, которая сегодня ассоциируется с политикой, культурой и даже с самой жизнью.

Выдающийся гарвардский ученый, покойный Харлоу Шепли (Harlow Shapley), два или три десятилетия назад перечислил пять бед, которые, скорее всего, разрушат западную цивилизацию. В этом списке, включающем ядерную войну, перенаселение, климатическую или геологическую катастрофу и эпидемию смертельной болезни, скука занимает третье место. Можно также вспомнить, что Олдос Хаксли в своей книге «О, дивный новый мир», ясно понимая всю степень скуки, которой можно ожидать после наступления утопии, в качестве завершающего украшения технологии, дающей всем досуг, придумал наркотик, который назвал «сома», свободно предоставляемый всем, страдающим чрезмерно острыми приступами тоски и тревожности, вызванной бездеятельностью. Оруэлл в своем романе «1984» не счел необходимым пойти дальше идеи о спаивании масс посредством неограниченных доз джина с целью освободить их от страдания, приносимого тоской, и не допустить бунта, порожденного скукой жизни. Энтони Бёрджес в своем «1985» (Anthony Burgess, 1985) совсем недавно показал, насколько более ужасным может оказаться будущее (в конце концов, Бёрджес еще имеет возможность увидеть те двадцать лет, которые Оруэллу застать было не суждено).

Пока что мы не дошли до этого состояния и, возможно, что никогда до него не дойдем. Однако совершенно очевидно, что мы подошли к нему довольно близко. Отвлекаясь от неврологических и психологических аспектов скуки, зададимся вопросом: что означает это состояние ума в общественном и культурном измерении? Ответом будет все более распространенное и хроническое безразличие к обычным ценностям, стремлениям, свободам и обязанностям. Настоящее становится ареной действия абсурдных, бессмысленных и демонических сил. С неизбежностью таким же предстает прошлое и, разумеется, будущее. Все, что имеет значение, оказалось замкнутым в пределах

внутреннего Я, его боли и освобождения от этой боли. Перефразируя слова Г.К. Честертона, это можно сформулировать так: результатом утраты веры в Бога стало не то, что теперь не будут верить ни во что, а то, что теперь будут верить во все, что угодно.

Очевидно, что в этих условиях невозможны никакая вера, убеждение или заинтересованность в прогрессе.

ЭПИЛОГ: ПРОГРЕСС И ПРОВИДЕНИЕ

Каково будущее идеи прогресса на Западе? Любой ответ на этот вопрос требует вначале ответа на вопрос: каково будущее иудео-христианской традиции на Западе? Ведь если существует какое-либо общее и при том убедительное утверждение об истории идеи прогресса, то оно состоит в том, что на протяжении всей своей истории она была тесно связана с религией, зависела от религии или от интеллектуальных конструкций, не производных от нее.

Как ясно видно из зачаточных высказываний о прогрессе, встречающихся в творениях Гесиода, Эсхила, Платона и других авторов, греки никогда, — даже когда у них настал век рационализма, — не отказывались от своих богов. По большей части это же относится и к римлянам. Но именно в христианстве, в результате судьбоносного союза иудейской и эллинской мысли, идея прогресса получила ту форму и то содержание, которым суждено было войти и в мир современности: видение человечества, находящегося в необходимом поступательном движении, переходящем от этапа к этапу, от примитивного прошлого к славному будущему, и весь этот процесс является реализацией изначального плана Провидения. Эти воззрения христиан на прогресс достигают своей кульминации в эпоху пуританского расцвета науки и искусства в XVII веке.

Как показывают имевшие большое влияние работы Лессинга, Канта, Гердера, Пристли и др. (за редкими исключениями, вроде Кондорсе), даже в эпоху Просвещения идея прогресса сохраняла тесную и глубокую связь с христианством. То же самое относится и к XIX веку. На каждого Маркса среди пророков прогресса приходились десятки живших и писавших тогда же авторов, которые сделали христианство или какой-либо религиозный суррогат христианства краеугольным камнем своей веры в прогресс. Это подтверждается крайне важными для истории идеи прогресса работами Сен-Симона и Конта, написанными ими в зрелом возрасте. Даже Милль, бывший атеистом на протяжении большей части своей жизни, в последние годы

выступил с заявлением о нераздельности христианства, с одной стороны, и прогресса и порядка, с другой. Герберт Спенсер, презиравший атеизм, наделил свою Первопричину божественной природой. Маркс мог отвергать все существующие религии, но его диалектика восходит к Августину, и то понятие играло провиденциальную роль в марксистской теории прогресса. Таким образом, совершенно очевиден и не может быть рационально оспорен тот факт, что от Гесиода до Тойнби, Швейцера и Тейяра де Шардена между религией и понятием прогресса существовала органическая связь.

Наш век дает немало подтверждений этого вывода «от противного». Насколько этому веку, особенно его второй половине, свойственно почти полное отсутствие веры в прогресс, настолько же ему свойственно отсутствие широко распространенной и пронизывающей всю жизнь человека религиозной веры. В этом отношении ни одна предшествующая эпоха западной истории даже близко не походит на нашу. Гуманисты эпохи Возрождения по большей части ненавидели церковную структуру христианства своего времени, но они были глубоко погружены в христианскую веру. Истинных атеистов было мало и в эпоху Просвещения, хотя это не отменяет факта нападок философов на христианство как на общественную силу.

В наши дни, однако, религия являет собой иссякший источник. Бог если и не умер, то отступает, и этот уход начался в начале XX века. Согласно блестящей формулировке Джонатана Свифта, «у нас достаточно веры, чтобы заставить нас ненавидеть, но недостаточно для того, чтобы заставить нас любить друг друга». Перефразируя, можно утверждать, что у нас достаточно веры для того, чтобы видеть недостатки и язвы окружающего нас общества, но недостаточно, чтобы породить надежду на будущее. То же угасание, которое постигло религию, постигло и большинство систем мышления, какое-то время служивших интеллектуалам в качестве ее заменителей. Сегодня мало кто считает убедительными концепцию первопричины Г. Спенсера или диалектику К. Маркса. На Западе и фрейдизм, и марксизм в значительной мере уже потеряли тот статус, которые они имели век назад. Та же кислота, которая разъедала ткань

религиозной веры с конца XIX века, действует достаточно долго, чтобы разесть и ткань светских верований.

Эта кислота много чего растворила в XX веке. Ведущая дисциплина западной мысли на протяжении двух с половиной тысячелетий — философия — едва ли существует сегодня в каком-либо смысле, понятном для наших предков. Она еще сохраняла силу на протяжении трех или четырех десятилетий XX века. Ройс, Джеймс, Дьюи и Рассел были известны широкой публике. Ничего подобного сегодня у нас нет. Кто сейчас испытывает хоть малейший интерес к тому, что живущий сегодня философ скажет на какую-либо тему — будь то космология, мораль, политика или общество? Так же, как богословы в начале XX века были вытеснены философами, философов вытеснили другие субъекты влияния.

Возникает вопрос: а кто же сменил философов? На этот вопрос нет готового ответа. По-видимому, мы лишены какого-либо господствующего интеллектуального класса. Интеллектуалы и художники разделили судьбу бизнесменов и политических титанов, духовенства и философов, ученых и исследователей. Когда еще литература ценилась так же низко, как сегодня на Западе? Никогда пропасть между творческим писателем и публикой не была такой широкой, как сейчас. Даже в Темные века те, кто мог читать (и даже многие из тех, кто не мог) почитали такие классические труды, которые они могли иметь под рукой или которые они могли послушать, и эта эпоха дала величайшие средневековые эпические произведения и романы. Как низко мы пали за последний век! Где Гете, Толстые и Диккенсы, равно как и Манн, Пастернаки и Харди — те, кто мог соединять свою гениальность, или по крайней мере яркий талант, со статусом культурного героя, чье имя является широко известным?! Диккенс был не только великим романистом, он был одним из самых читаемых писателей в истории. Наши писатели сегодня неравномерно разделены на так называемую серьезную группу, представители которой известны по большей части в тесном кругу избранных, и популярных писателей, чьи низкопробные работы продаются миллионами копий, но не получают никакого уважения. Нет среди них истинного культурного героя; нет ничего,

что можно было бы сравнить с тем, что мы знали всего лишь полвека назад.

Причиной такого положения, такого обесценивания литературы и разобщенности писателя и публики является отсутствие истинной культуры. И в основе этого отсутствия лежит исчезновение понятия священного, которое всегда находилось в сердце любой истинной культуры, от античных Афин до викторианской Англии. Какое-то время нам казалось, что можно жить плодами священного, хотя оно уходило или уже ушло. Когда-то было бы легко поддерживать веру в прогресс и на основе этой веры пытаться не что добавить к тому запасу, который сформировало для нас щедрое прошлое. Но теперь это нелегко, так как за смертью прошлого, исчезновением западной гордости за цивилизацию, увядающей верой в экономический прогресс и действенность разума кроется крах системы религиозных убеждений, веры в нечто большее, чем жизнь, непосредственно окружающая нас. Много лет назад лорд Брайс (Lord Bryce), восхищавшийся американской цивилизацией, задавался вопросом: «Что может случиться с этой обширной, но тонкой материей, [если американцы перестанут верить] в то, что над ними существует некая высшая сила, что у них впереди есть будущее, перестанут верить во что-либо небесное или земное, кроме того, что говорят им их органы чувств...»?

Еще раньше Токвиль в своей «Демократии в Америке» высказался по этому поводу еще более выразительно и прощески: «В века веры конечная цель жизни находится за пределами земного существования. Потому люди, живущие в такие времена, совершенно естественным образом и, так сказать, безотчетно привыкают в течение долгих лет созерцать эту неподвижную цель, к которой они беспрестанно идут и шаг за шагом неприметно для себя учатся подавлять в себе тысячи незначительных, мимолетных желаний, чтобы быть в состоянии как можно полнее удовлетворить эту единственную, безмерную, постоянно томящую их страсть...

Это дает объяснение тому обстоятельству, что религиозным народам часто удается исполнение великих замыслов и деяний, надолго переживающих свое время. Они обна-

ружили, что, будучи занятыми мыслями о том свете, они открыли великий секрет успеха на земле...

Но по мере того, как свет веры меркнет, кругозор людей сужается... Как только они привыкают не думать о том, что будет после их смерти, они с легкостью вновь впадают в то полное, скотское безразличие к будущему, которое вполне соответствует определенным инстинктам человеческой природы».

Именно вера в священное и мифологическое в начале западной истории сделала возможной веру в идеи времени, истории, развития, прогресса или регресса, а также усвоение этих идей. Только на основе уверенности в существовании божественной силы была возможна уверенность в отношении плана или модели для мира и истории мира. Вначале все знание было священно благодаря своему содержанию — божественному, мифологическому. Именно сохранение этого чувства священности знания придавало искусствам и наукам высокий статус в западной цивилизации долгое время после того, как они перестали быть связаны исключительно с богами. Драма появилась из ритуала в Древней Греции и пост-средневековой Европе, как и бесчисленное число других искусств произошло из соответствующей религиозной матрицы, а со временем также философия и науки. Аура сакральности сохранялась за искусством и наукой вплоть до XX века.

Но сейчас она отсутствует, и мы не можем знать, восстановится ли она когда-нибудь. А при отсутствии чувства священности знания ныне во все большем и большем числе областей можно наблюдать отсутствие уважения к знанию и доверия к нему, а именно к тому роду знания, которое происходит из разума и присущего ему порядка. Начиная с эпохи Просвещения, все большее число людей стало верить, что разум и его труды могут сохранять инерцию развития и свой статус в обществе безо всякого влияния, за исключением того, которое они сами производят. Но сегодняшняя эпоха бунта против разума, крестового похода иррациональности, практически экспоненциального развития и распространения оккультизма и постоянного распространения нарциссизма и солипсизма достаточно ясно показывает, насколько ненадежными были и остаются

светские основания современного мышления. Невозможно представить, что вера в прогресс как в историческую реальность или в прогресс как возможность в той мере, в какой эти понятия вообще существуют в настоящий момент, может просуществовать долгое время в условиях господства столь чуждых и враждебных интеллектуальных сил.

Я возвращаюсь к вопросу, с которого начал этот заключительный раздел книги: каково будущее идеи прогресса? Логичный ответ должен состоять в следующем: если мы исходим из того, что тот вид культуры, который ныне, в конце XX века, стал почти повсеместным на Западе, будет продолжать господствовать неопределенно долго, то эта идея не имеет никакого будущего. Если корни умирают, как то, по-видимому, происходит в настоящее время, откуда может прорасти кустарник и листва?

Но просуществует ли современная западная культура длительное время? Принимая во внимание уроки, которые мы в состоянии извлечь из прошлого, на мой взгляд, на этот вопрос невозможно не дать отрицательного ответа. Разумеется, невозможно быть абсолютно уверенным в том, что не существует никакого способа катапультироваться в будущее. Невозможно быть уверенным даже в том, что самые устойчивые и очевидные тенденции, действующие сегодня, продолжат действовать в течение неопределенного времени. Можно, однако, получить определенные разумные указания, во-первых, из того факта, что никогда в истории периоды, подобные нашему, не были долгими. Они разрушались всеми теми силами, которые составляют их суть. Как может быть устойчивым в течение долгого времени общество (или эпоха), которое не удовлетворяет (или которое постепенно перестает удовлетворять) минимальным требованиям, предъявляемым к обществу и представляющим собой нечто прямо противоположное эгоцентрическим и гедонистическим элементам, которые доминируют в современной западной культуре?

Во-вторых, сегодня нельзя недооценивать явление, еще в 1940-е годы казавшееся настолько маловероятным, что оно считалось незаслуживающим серьезного обдумывания и обсуждения. Я имею в виду слабые, возможно, иллюзорные признаки начала религиозного восстановления за-

падной цивилизации, в особенности, в Америке. Каким бы ни было их будущее, но признаки эти существуют, они видны в течениях фундаментализма, пятидесятничества, даже миллениаризма, который встречается в отдельных разновидностях иудаизма и христианства. Даже распространение оккультизма и нетрадиционных религий на Западе вполне можно считать одним из признаков религиозного возрождения, поскольку, как хорошо известно, рождение христианства или, скорее, его утверждение в качестве мировой религии, имевшее место в Риме во время проповеди Ап. Павла и сразу после нее, проходило под аккомпанемент целого сонма нелепых верований и обрядов.

Признаки, о которых я говорю, скрыты среди прочих, совершенно иных симптомов, которые, хотя и являются негативными по своим следствиям, имеют прямое отношение к нашему вопросу. Любое серьезное размышление покажет, что чары политики и политического как такового, столь сильные, по крайней мере, начиная XVII века, постепенно рассеиваются. Дело здесь не просто в растущем разочаровании в правительстве и бюрократии, в основе своей это уменьшение веры в политику как в образ мышления и жизни. Если такой очевидный упадок окажется реальным и продолжительным, то это очень серьезный довод в пользу восстановления религии. Причина того состоит в том, что политика и религия являются и всегда останутся соперниками — и благодаря тому, что между ними есть общего, и благодаря тому, что их разделяет. Это единственные большие сферы жизни, в которых харизматические лидеры, пророки, последователи, ритуалы, праздники, символы веры и призвание занимают ведущее место. Только в этих двух областях есть люди, которые не только хотят, но и готовы жертвовать — и земными благами, и даже самой жизнью. Только в массах последователей Цезарей и Наполеонов мы можем найти явления истории, сравнимые с массами последователей Иисуса и Мухаммеда. Но то, что делает их аналогичными, одновременно делает их и противостоящими друг другу. Когда религия влиятельна, как это было в Средние века, политические узы слабы, запутанны и беспорядочны. Но, когда политические узы становятся мощными, как в современных тоталитарных государствах,

роль религии уменьшается, в значительной степени в результате расчетливых политических репрессий, но также и в результате соблазна политико-идеологической «церкви». Сегодня на Западе и, возможно, также в других регионах мира, включая Советский Союз, привлекательность политики явно уменьшается с каждым годом. Церковь Политики начала терять своих приверженцев во время Первой мировой войны, но тогда это была лишь небольшая апостасия по сравнению с тем, что опросы и интервью показывают сегодня. И в Древнем мире можно измерять прогресс христианства в терминах упадка Римской империи.

Такова вполне может оказаться тенденция на десятилетия вперед в западных (и многих незападных) странах: с одной стороны, может продолжаться эрозия политических ценностей и политической приверженности, а с другой стороны, может происходить все большее возвышение религиозного, священного в том, что касается человеческой привязанности и лояльности. Конечно, мы можем только строить предположения. Несмотря на нынешнее распространение религиозных верований и энтузиазма, остается вероятность того, что они будут ослаблены и разбиты наголову, прежде чем мы вступим в 2000 год. Но я не думаю, что это произойдет. Гораздо более вероятно, на мой взгляд, появление еще одного большого «пробуждения», даже полномасштабной религиозной реформации. В течение некоторого времени мы наблюдали то, что вполне можно называть началом такой трансформации, имеющей широчайший охват, от сферы популярного до сферы научного, от появления фундаментализма и пятидесятничества (и даже миллениаризма в рамках иудейских, римско-католических и протестантских институтов) до того, что должно считаться истинным возрождением формальной теологии. Этот расцвет проявляется в книгах и статьях интеллектуального качества, невиданного на Западе в таком изобилии на протяжении долгих десятилетий. По словам Йейтса, «конечно, откровенье недалёко»*.

Может быть, да, а может быть, и нет. Пройдет еще много времени, прежде чем мы узнаем ответ. Самое важное

* Перевод Б. Лейви.

здесь — не возможность откровения и реформации, как бы ни пленяли воображение, а само будущее идеи или, если угодно, догмы прогресса. Точное предсказание невозможно и здесь. Эта идея, или догма, обречена на угасание и на то, чтобы пройти весь путь до конца, пока, как сказал Йетс, «анархия пожрать готова мир»*. Но, как представляется, история ясно свидетельствует о том, что лишь в контексте подлинной культуры, ядром которой является широкое и глубокое чувство *священного*, мы будем в состоянии восстановить условия, необходимые как для самого прогресса, так и для веры в прогресс — в прошлом, настоящем и будущем.

БИБЛИОГРАФИЯ

- A Door of Hope.* 224
Adams. *A Defense of the Constitutions of the Governments of the United States* 290, 308
Adams. *Law of Civilization and Decay* 480
Adams. *Mont-Saint-Michel and Chartres* 480
Adams. *The Education of Henry Adams* 480
Bacon. *Opus Majus* 154
Baillie. *The Belief in Progress* 44
Barlow. *The Columbiad* 314
Beckerman. *In Defense of Economic Growth* 464
Bentham. *Fragment on Government* 300
Bercovitch. *The American Jeremiad* 306
Blackstone. *Commentaries* 199
Boaz. *Primitivism and Related Ideas in the Middle Ages* 146, 162
Bock. *Expression of Emotions in Man and Animals* 442
Bodin. *Response to a Paradox of Monsieur Malestroict* 199
Bonaventura. *Breviloquim* 149
Brabant. *Time and Eternity in Christian Thought* 126
Brenner. *A Short History of Economic Progress* 464—463
Brown *The World of Classical Antiquity* 100
Buckley. *The Triumph of Time* 276
Bullivant. *Culture and Society in the Weimar Republic* 429
Burgess. 1985 525
Burgess. *Political Science and Comparative Constitutional Law* 443
Bury. *Idea of Progress* 43, 242
Calhoun. *The Growth of Criminal Law in Ancient Greece* 52
Clark. *Civilization* 140
Cochrane. *Christianity and Classical Culture* 84, 103
Cohn. *The Pursuit of the Millennium* 169
Collingwood. *Idea of History* 44
Comte. *Positive Philosophy* 227, 271, 347, 382—392, 405
Condorcet. “Sur l’admission des femmes au droit de cité”
Cornford. *Plato’s Cosmology* 67
Cornford. *Unwritten Philosophy, The* 44
Darwin. *Zoonomia* 84
Dewey. *Democracy and Education* 456
Du Systeme industriel (периодическое издание) 378
Edelstein. *The Idea of Progress in Classical Antiquity* 58
Eliot. *Four Quartets* 483
Eliot. *The Wasteland* 483
Elliott. *The Old World and the New: 1492—1650* 245
Fairchild. *Religious Trends in English Poetry* 492
Finley. *The World of Odysseus* 45

Franklin. *Observations Concerning the Increase of Mankind* 301
 Freeden. *The New Liberalism* 452
 Gabor. *Inventing the Future* 522
 Gilson. *The Spirit of Medieval Philosophy* 151
 Gimpel. *The Medieval Machine* 142
 Ginsberg. *The House of Adam Smith* 29
 Glanvil. *Plus Ultra* 215—216
 Godwin. *Political Justice* 328—333, 416
 Grabar. *Christian Iconography* 100
 Grandsen. *Historical Writing in Medieval England* 150
 Grant. *The Passing of the Great Race* 444, 464
 Guiccardini. *Ricordi* 182
 Hakluyt. *The Principal Navigations* 163, 234
 Hanning. *The Vision of History in Early Britain* 103
Hibbert Journal 447
 Hirsch. *Social Limits of Growth* 503
 Hobhouse. *Development and Purpose* 453
Industrie, L' (периодическое издание) 378
 Jones. *Ancients and Moderns* 213
Journal of Speculative Philosophy 429
 Kahn. *The Next 200 Years* 463
 Kantorowicz. *The King's Two Bodies* 156
 Krieger. *The German Idea of Freedom* 425—426
 Ladner. *The Idea of Reform* 111
 Lafitau. *Customs of Primitive Americans Compared with Customs of Early Times* 235
 Lapouge. *L' Aryen, son Rôle Social* 440
 Lapouge. *Les Selections sociales* 440
 Lasky. *Utopia and Revolution* 167—168, 187, 218—219, 224
 Lessing. *The Education of the Human Race* 408
 Lynd and Lynd. *Middletown in Transition* 458
 Mackinder. *Democratic Ideals and Reality* 495
 Manuel. *Shapes of Philosophical History* 176
 Manuel. *The Religion of Isaac Newton* 210
 Maxwell. *Admirable and Notable Prophecies* 209
 May. *The American Enlightenment* 305
Medium aevum 176
 Michelet. *History of France* 255
 Mill. "The Spirit of the Age" 336, 348
 Mishan. *The Costs of Economic Growth* 502
 Mishan. *The Economic Growth Debate* 502
 Morgan. *Ancient Society* 399, 455
 Morris. *The Discovery of the Individual, 1050—1200* 143
 Mosse. *Toward the Final Solution* 433
 Myres. *Influence of Anthropology on the Course of Political Science* 239
 Newman. *Development of Christian Doctrine* 276

- Nonconformist, The* (газета) 352
 Nordau. *The Conventional Lies of our Civilization* 479
Organisateur, L' (журнал) 378
 Page. *Conservation and Economic Efficiency* 506
 Partner. *Serious Entertainments* 147
 Passmore. *The Perfectibility of Man* 277
 Perrault. *Comparison of the Ancients and Moderns* 245
 Plumb. *The Death of the Past* 487—488
 Raleigh. *History of the World* 182
 Ravetz. *Scientific Knowledge and its Social Problems* 511
 Reeves. *The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages* 99, 163
Revolutionistes 366
 Rogers. *Sagrir, Doomsday drawing nigh* 223
 Rommily. *Rise and Fall of States According to Creek Authors* 74
 Saint-Simon. *New Christianity* 375, 376, 378, 381, 403
 Salomon. *Tyranny of Progress* 391
 Schapiro. *Romanesque Art* 140
 Sorel. *Reflections on Violence* 480
 Spencer. "Over Legislation" 353, 356
 Spencer. "Progress: Its Law and Cause" 357
 Spencer. "The Morals of Trade" 356
 Spencer. *The Study of Sociology* 353
 Sprat. *History of the Royal Society* 218, 217—218
Standard Set Up, A 223
 Stent. *The Coming of the Golden Age* 512
 Stewart. *The Life and Writings of Adam Smith* 295
 Stoddard. *Rising Tide of Color* 466
 Swift. *A Tale of a Tub* 243
 Swift. *Battle of the Books* 243—244
 Tassoni. *Varieta di pensieri* 242
 Teggart. *Theory of History* 482
 Toynbee. *Mankind and Mother Earth* 469—470, 494
 Trinkhaus. *In Our Image and Likeness* 177
 Tuveson. *Millennium and Utopia* 208
 Tuveson. *Redeemer Nation* 303—306, 431
 Ullman. *The Individual in Medieval Society* 144
 Veblen. *Instinct of Workmanship* 454, 455
 Veblen. *The Engineers and the Price System* 454
 Vico. *Autobiography* 254, 258
Virginia Gazette 404
 Vlastos. *Plato's Universe* 78
 White. *Medieval Technology and Social Change* 79
- Августин. О Граде Божем 106—109, 132—144, 146
 Августин. Исповедь 117—118
 Августин. О творении против манихеев 123

- Аристотель. История животных 159
Аристотель. Метафизика 75
Аристотель. О возникновении и уничтожении 74—75
Аристотель. Политика 75, 75, 121
Батлер. Иерихон 192
Боден. Беседа семерых 199, 200, 203
Боден. Государство 198, 200, 205, 259
Боден. Метод легкого изучения истории 200, 205, 259, 260
Боден. Шесть книг о государстве 198, 199, 200, 203
Бокль. История цивилизации в Англии 227
Боссюэ. История изменений протестантских церквей 227
Боссюэ. Рассуждение о всеобщей истории 121, 197, 208, 227—
233, 283
Бэкон. Новая Атлантида 192, 323, 324
Бэкон. Новый органон 190
Бэкон. О мудрости древних 188
Бэкон. О превратности вещей 189
Бэкон. О предрассудках 189
Вебер. Протестантская этика и дух капитализма 503
Веблен. Теория праздного класса 454
Вебстер. Великое восстановление 192
Вико. Новая наука 256—265
Вольтер. Кандид 251
Вольтер. Философские письма 302
Гегель. Лекции по философии истории 420—422
Гегель. Наука логики 392, 418
Гегель. Феноменология духа 424
Гегель. Философия искусства 417
Гегель. Философия истории 417, 420, 422
Гегель. Философия права 419, 420, 424—425, 426
Генри из Солтри. Ущелье святого Патрика 162
Гердер. Идеи к философии истории человечества 408, 412
Гесиод. Гимн Гефесту 53
Гесиод. Теогония 47, 48
Гесиод. Труды и дни 21—22, 51, 52—53, 54
Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи
290—291
Гоббс. Левиафан 240
Гобино. Опыт о неравенстве человеческих рас 363, 434, 435, 437
Гомер. Илиада 243
Гомер. Одиссея 243
Данте. Монархия 168
Дарвин. Происхождение видов 159, 160, 273, 275
Дарвин. Происхождение человека 441
Декарт. Размышления 193
Декарт. Рассуждение о методе 193

- Джеффесон. Заметки о штате Виргиния 302, 312
Джойс. Улисс 483
Джордж. Прогресс и бедность 316
Дидро. Энциклопедия 368
Евсевий. Церковная история 105
Иоанн Солсберийский. Металогикон 152
Исидор. Хроники 147
Кант. Идея всемирной истории во всеобщем-гражданском плане 339—340
Кант. К вечному миру 342
Кант. Критика чистого разума 339
Кант. О поговорке “может быть, это и верно в теории, но не годится для практики” 343
Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» 320, 324
Лавджой. Великая цепь бытия 142, 249
Ле Гофф. Другое Средневековье 153
Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении 252
Лейбниц. О глубинном происхождении вещей 252
Лейбниц. Письмо 253—254
Лукреций. О природе вещей 81, 83, 85—90, 95, 109
Макиавелли. Государь 180
Макиавелли. История Флоренции 181
Макиавелли. О Фортуне 180
Макиавелли. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия 181
Мальтус. Опыт о законе народонаселения 327, 332—334, 336, 337, 338
Мальтус. Принципы политической экономии 338
Мандевиль. Басня о пчелах 257, 292
Маркс и Энгельс. Немецкая идеология 396—397
Маркс. Капитал 392—394, 400, 401, 458
Маркс. Критика Готской программы 396, 398, 401, 403—404
Маркс. Критика политической экономии 395—396
Маркс. Манифест Коммунистической партии 278, 399, 402
Маркс. Экономические рукописи 1857—1858 гг. 399
Миль. Автобиография 348
Миль. О свободе 344—347, 348, 452
Миль. Принципы политической экономии 335, 338
Миль. Рассуждения о представительном правлении 348
Миль. Система логики 347, 383
Миль. Утилитаризм 348
Монтень. О каннибалах 238
Мор. Утопия 163, 183—188
Нордау. Вырождение 479
Ньютон. Начала 128, 210, 256
Орозий. История против язычников 147

- Оруэлл. 1984 467, 484, 523
Откровение Иоанна Богослова 98, 134—135, 146, 458
Оттон из Фрейзинга. О двух царствах 255
Паскаль. Фрагмент трактата о вакууме 153
Пейн. Права человека 312
Перчес. Паломничество Перчеса 234
Платон. Государство 73, 363, 413
Платон. Законы 62, 67—72, 72, 73, 500
Платон. Политик 62, 72, 73, 500
Платон. Протагор 60, 72
Платон. Тимей 158
Псалмы (Библия) 127
Руссо. Исповедь 367
Руссо. Новая Элоиза 367
Руссо. Об общественном договоре 363, 366—375
Руссо. Рассуждение о политической экономии 367
Руссо. Эмиль 367
Смит. Богатство народов 257, 288, 291—300, 338
Смит. Теория нравственных чувств 257, 292, 295, 299, 338
Сорель. Иллюзии прогресса 245, 480
Софокл. Антигона 58
Спенсер. Автобиография 352, 356
Спенсер. Введение в этику 356
Спенсер. Данные этики 353
Спенсер. Личность и государство 352, 353
Спенсер. Образование 353
Спенсер. Основные начала 272
Спенсер. От свободы к рабству 356
Спенсер. Письма о надлежащей сфере деятельности правительства
352
Спенсер. Принципы морали 353
Спенсер. Социальная статика 352, 353, 359
Тейяр де Шарден. Будущее человека 471—472
Тейяр де Шарден. Феномен человека 470—471
Тойнби. Постигание истории 469, 473, 482
Токвиль. Воспоминания 478
Токвиль. Демократия в Америке 365, 477—478, 530
Тюрго. Исследованиях причин прогресса и упадка наук и ис-
кусств... 300
Тюрго. План двух рассуждений о всеобщей истории 122, 285—288
Тюрго. Размышления о создании и распределении богатств
288—290
Фихте. Закрытое торговое государство 412, 413
Фихте. Критика всего Откровения 412
Фихте. Назначение человека 413
Фихте. Обращения к немецкой нации 412, 414—413

- Фихте. Основы естественного права в соответствии с принципами науки 412
Фонтенель. Рассуждение о религии, природе разуме 244
Фукидид. История Пелопонесской войны 64, 76, 237
Хайек. Конституция свободы 450
Хаксли. О дивный новый мир 192, 467, 483, 525
Хаксли. Пункт Контрапункт 483
Чемберлен. Основы XIX века 438
Шпенглер. Закат Европы 481
Шумпетер. История экономического анализа 287—288
Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия 503
Элиот. Полые люди 483
Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя 183
Эразм Роттердамский. Похвала глупости 184, 188
Эсхил. Прометей прикованный 53—59

*Список литературы,
использованной в русском издании.*

- Августин Блаженный. О граде Божиим. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000.
Аристотель. Соч. В 4-х т. М.: Мысль, 1975—1983.
Вико Дж.. Основания новой науки об общей природе наций. М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1940.
Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль. 1990.
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.
Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы. Фрагменты. М.: Лабиринт, 2001.
Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Т. 4. СПб.: Наука 1998.
Годвин У. О собственности. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
Гомер. Одиссея. М.: Наука, 2000.
Данте Алигьери. Монархия. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999.
Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. СПб.: Наука, 1991.
Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л.: Наука, 1990.
Джордж Г. Прогресс и бедность. М.: Генри Джордж фондейшн, 1992; СПб., 1896 .

- Кант И. Соч. В 6-и т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.
- Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Соцэкгиз, 1936.
- Конт О. Дух позитивной философии. СПб.: 1910.
- Лавджой А. Великая цепь бытия: история идеи. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001
- Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г. Соч. В 4-х т. М.: Мысль, 1983. Т. I.
- Лукреций. О природе вещей. М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1940.
- Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 2001.
- Макиавелли Н. История Флоренции. М.: Наука, 1987.
- Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической классики. В 2-х т. М.: Эконов, 1991. Т. 2.
- Миль Дж. Ст. О свободе. // О свободе. Антология мировой либеральной мысли. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288–392.
- Миль Дж. С. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1980.
- Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989.
- Платон. Собрание сочинений (в 4 тт.). М.: Мысль, 1990–1994.
- Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива, 1992.
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2-х т. М.—Л.: Соцэкгиз, 1935.
- Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007.
- Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М.: Соцэкгиз, 1937.
- Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1961.
- Фонтенель. Рассуждение о религии, природе и разуме. М.: Мысль, 1979.
- Фукидид. История. Л.: Наука, 1981.
- Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001.
- Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М.: Мысль, 2001.

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абеляр 160
Аверроэс 156
Агассис Луи 270
Адамс Брукс 480
Адамс Генри 480
Адамс Джон 290, 301, 302, 308—309
Адвентизм 271
Александр Великий 77, 78, 522
Алкуин 112
Альтруизм 257, 292—293
Американские индейцы 235, 240
Американское философское общество 311
Анаксагор 82
Анаксимандр 59
Ансельм Хавельбергский 149
Античный период (мир Античности) 43—95 *См. тж.*: Греческий период, римский период
Апокалипсис (Библия) 211
Апокрифы (Библия) 126
Арат 80
Арендт Ханна 46
Арийская раса 435—436
Аристотель 46, 54, 74—77, 78, 121, 159, 161, 423, 493
Аристофан 63
Архимед 79
Атомизм 425
Афанасий 183
Ацтеки 171

Б

Бабэф Эмиль 366, 374
Бакли Джером Х. 277
Балливант Кейт 429
Банкрофт Джон 315
Бариц Лорен 500
Барлоу Джоэл 314
Барух (Библия) 126
Батлер Сэмюэль 192
Беверидж Альберт Дж. 423
Бейли Джон 44
Бейли Сирил 83
Бейль Пьер 322

Бекерман Эрнест 464
Бентам Иеремия 300, 348
Бентли Ричард 242
Берджес Антони 525
Берджес Джон У. 443
Берк Эдмунд 313, 425, 505
Беркли Бишоп 313, 500
Беркович Сакван 304, 306
Берлин Исайя 262, 264, 408, 411
Бернал Дж. Д. 459
Бернар Клервосский, Св. 104
Бернар Шартрский 152
Бернет Жильбер (Томас) 212
Бертон Роберт 153
Библия 215, 223, 228. *См. тж.*: Новый Завет; Ветхий Завет
Благородный дикарь, концепция 69, 238
Блейк Уильям 278
Блэкстон Уильям 199
Боден Жан 197, 198—205, 259, 260, 284, 419
Бозанкет Бернард 429
Бойль Роберт 215, 305, 493, 510
Бок Кеннет Е. 273, 442
Бокль Томас Генри 236—227
Бонавентура, Св. 149, 164, 185
Бор Нильс 493, 514
Боссюэ Бишоп 121, 122, 177, 208, 227—233, 284, 284, 285, 387
Боуз Джордж 44, 146, 162, 166
Брабант Ф. Х. 126
Брайс лорд 530
Браун Питер 100
Браунинг Роберт 276
Брендан, Св. 500
Бреннер С. 464
Бруно Джордано 179
Буало Никола 243, 244
Буркхардт Якоб 173, 477—478
Бытие (Библия) 123, 127
Бэдждот Уолтер 43
Бэкон Роджер 142, 145, 153, 154, 493
Бэкон Френсис 176, 188—193, 260, 303, 323, 324
Бэконизм 206
Бэри Дж. Б. 43, 44, 90, 242, 248, 283, 449, 481
Бюффон Жорж 301

В

- Вавилонская литература 49
 Вагнер Рихард 426, 437, 438
 Вальтер Ульман 144
 Вебер Макс 206, 261, 355, 479, 503
 Веблен Торстейн 360, 454—456
 Вебстер Джон 214
 Верн Жюль 467
 Ветхий завет 116, 118, 126, 128, 157
 Вико Джомбатиста 219, 254—263, 284
 Вильсон Вудро 456
 Виргилий 81, 106
 Властос Грегори 78
 Во Клотильда де 384
 Возрождение 143, 153, 172, 173—196
 Декарт и 193—196
 — идея 173—174
 — Макиавелли в 180—185
 — оккультизм в 178—179
 — субъективизм в 178
 — Фрэнсис Бэкон и 188—193
 — Эразм и 183—185
 Война за независимость (Revolutionary War) 77, 308, 307, 322
 Война за независимость в Америке 77, 306, 307, 322
 Вольтер 241, 251, 277, 302, 433
 Времени концепции
 — в период Средневековья 155—158
 — в христианстве 117—120
 — у св. Августина 117—120
 Вуатюр Винсан 244
 Вуд Майкл 467
 Выставка в Хрустальном дворце 316

Г

- Габор Денис 522, 523—524
 Галилей 179, 516
 Галлицизм 440
 Гальвани Луиджи 439
 Гама Васко де 494
 Гарвей Уильям 208, 243
 Гвичардини Франческо 181—182, 183, 189
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 132, 257, 269, 363, 364, 412
 — «Лекции по философии истории» 420—422
 — и Маркс 272, 393—394, 403, 417—418, 427
 — «Наука логики» 393, 418
 — по Наполеону 407
 — и теории эволюции 274
 — и утописты 405—406
 — «Философия права» 419, 420, 424, 425, 426
 Гейне Генрих 343—344
 Генри из Солтруа 162
 Генрих VII (император) 168, 169
 Гераклит 59, 82, 132
 Гердер Иоганн Готфрид фон 270, 303, 408—412, 419, 485, 527
 Герметическая доктрина 178
 Гесиод 46, 47—55, 59, 60, 80, 92, 423, 527, 528
 Гиббон Эдуард 256, 290—291, 311
 Гиганты, метафора в средневековый период 152—155
 Гиммерфальб Гертруда 333, 335, 338, 344
 Гимпель Жан 142
 Гинзберг Эли 293
 Гитлодей Рафаил 186
 Гленвиль Джозеф 215—216
 Гоббс Томас 206, 215, 239, 240, 368
 Гобино Жозеф Артур де 363, 434—438, 439, 440
 Годвин Уильям 207, 311, 328—333, 352, 408
 — и Мальтус 333—335, 336, 337, 338
 — «Исследование о политической справедливости» 328—333, 408
 Голдвин Роберт 314—315
 Голтон Френсис 442
 Гомер 45, 47, 60, 239, 243
 Государство
 — и Гегель 426
 — и Гердер 408—412
 — Маркс о 392—403
 — общественное развитие и 453
 — Фихте и 412—417
 Грабар Андре 100
 — «Град Божий» (Августин) 106—109, 132—144, 146
 — и Декарт 196
 — исторический прогресс в 177, 178, 485
 — идея конца и начала в 134—135, 136, 137

- идея необходимости в 128–130
- идея (концепция) единства 115–116
- Грант Мэдисон 444, 466
- Греко-римская философия
 - и период средневековья 145
 - и христианство 99–100, 101, 112
 - и эпоха Возрождения 174–175
- Грендсен Антония 150
- Греческая эпоха
 - в концепции земного рая 163
 - в концепциях времени 157
 - в повторяющихся циклах 119
 - в эллинистической цивилизации 77–81
 - и Аристотель 74–77
 - и Платон 67–74
 - и Протагор 59–63
 - и расизм 432
 - и Св. Августин 107
 - и Сен-Симон 380–373
 - и средневековые мыслители 161
 - и Фукидид 56–591
 - и христианство 97, 98, 128
 - и Эсхил 55–59
 - по Бодену 201–204
 - у Гесиода 47–55
- Григорий Великий 112, 235
- Грин Т. Х. 429
- Гроссетест Роберт 141
- Гуто Викторинец 162
- Гудвин Томас 223
- Гук Роберт 215
- Гумбольдт Вильгельм фон 339, 408
- Гутри У. К. С. 44, 46, 56, 57, 63

Д

- Даниил (библейская книга) 211, 220, 226, 259
- Данте 167–168, 169
- Дарвин Чарльз 132, 270, 468, 516, 517
 - и Лейбниц 251, 253
 - и Лукреций 81, 84, 273
 - и Маркс 392–393
 - и Спенсер 356
 - «Происхождение видов» 159, 160, 273, 273
 - «Происхождение человека»

- 441–442
- расизм в 441–442
- теория естественного отбора 128
- теория эволюции 273–273
- Дарвин Эразм 84, 273
- Де Местр Жозеф Мари 387
- Декарт Рене 178, 193–196, 321
- Декларация независимости 300
- Декларация прав человека 374
- Демокрит 82
- Джеймс Уильям 509, 529
- Джефферсон Томас 300, 301, 302, 207, 310, 312, 325, 338
- Джойс Джеймс 483
- Джонс Ричард Ф. 213, 214, 218
- Джордж Генри 316–319
- Джордж Штайнер 521
- Джотто 439
- Джоуд С. Э. М. 524
- Диалектика
 - по Гегелю 418
 - по Марксу 393, 403, 528
- Дидро Дени 368
- Диксартх 80
- Диккенс Чарльз 529
- Доддс Эрик Р. 44, 53
- Дональд Дэвид 496–497
- Достоевский Ф. М. 365
- Доусон Кристофер 495
- Дрейпер Джон У. 315
- Дуайт Тимоти 313
- Дьюи Джон 452, 453–456, 529
- Дьявол 179
- Дюгем Пьер 141, 173
- Дюркхейм Эмиль 430

Е

- Евангелизация 271
- Евсевий 97, 102, 105–106, 118, 145, 228
- Египетская литература 49
- Единство человечества, концепция в христианстве 114–117
- Езра (Библия) 126
- Екатерина Великая, российская императрица 276
- Енох (Библия) 127
- Естественного отбора принцип 273
 - Альфред Уоллес и 276
 - Лукреций и 81, 85, 273
 - теория Дарвина о 273
 - Эразм Дарвин и 273

Ж

Жильсон Этьен 144, 151—152

З

Зевс

- у Гесиода 47, 49—51
- у Протагора 62

Зенон 46, 54, 79, 80, 81

Зибург Фридрих 429

Знания

- Боден о 202
- в XX веке 509—522
- Вико о 258—259
- Декарт о 194
- Платон о 72
- Сенека о 93—94
- средневековая метафора о карликах и гигантах о 152—155

И

Идея о земном рае

- в Средние века 161—172
- в эпоху Реформации 234—235

Изобретения в средневековом обществe 141—142

Инге У. Р. 44, 481

Инцест 115—116

Иоанн Солсберийский 152

Иоахим Флорский 163—167, 175

- и Августин 124—125, 135
- и вера в Золотой век 366
- и Данте 167—168
- и Конт 384
- и кругосветные 170—171
- и миллениаризм 124, 213, 521
- по мессианской вере 168

Иоахимиты 364

Исидор, епископ Сервильский 147

Исламская традиция 156

Исследование С.: Путешествия;
Открытие

Историография и исторические произведения:

- в XIX веке 274—276
- в XX веке 488—491
- по Боссюэ 229—231
- по Вико 259—261
- средневековая концепция 145—152

Иудейская мысль:

- доктрина миллениаризма в 127
- идея о необходимости в 128
- и Св. Августин 120
- и христианство 97—98, 100

Йейтс У. Б. 483, 534

Йетс Франсис 179

К

Каббала 178

Кальвин Джон 210, 328

Кан Герман 465

Кант Иммануил 305, 339—343,
412, 413, 415—417, 527

Канторович Эрнст 156, 157, 158

Карл Великий 112

Карлейль Томас 505

Карлики, метафора в средневековый период 152—155

Каролингская эпоха 141

Карр Годфри 429

Картезианство 193—195, 255, 259,
260

Католическая церковь 155—158,
183, 390—391

Катулл 81

Каултон Дж. К. 150

Квакеры 224, 302

Кеймс, лорд 433

Кельтицизм 430

Кларк Артур С. 467

Кларк Кеннет 140

Клаузевиц Карл фон 427

Клоу Артур 277

Кокрейн Чарльз Н. 83—84, 103,
105, 132

Колаковский Лешек 365—366

Колледж Грешем 208

Коллинвуд Р. Г. 44

Колумб Христофор 170—171,
494

Колхаун Джордж 52

Кольридж Сэмюэль Тейлор 277

Комитет общественного спасения
369

Комманджер Генри Стил 311

Коммунизм 397, 401

Коммунистические партии 459—
460

Кон Норман 124, 164, 169—170

Кондорсе Маркиз де 114, 212, 268,
270, 318—327, 387, 433, 485,
501

- и Боссюэ 229
 - и изучение человеческого рода 117, 325–326
 - и Мальтус 333–334, 337, 338
 - и миллениаризм 207
 - и теории эволюции 274
 - и Тюрго 281, 302
 - и утописты 375–376
 - и Французская революция 278, 321
 - Константин (император) 105–106**
 - Конституция США 314–315**
 - Конт Огюст 43, 93, 114, 127, 269, 270, 278, 527**
 - и античный мир 44
 - и Боссюэ 227–228
 - и Вико 263
 - и власть 332, 363, 364
 - и изучение человеческого рода 116
 - и Кондорсе 320
 - и миллениаризм 207
 - и Сенека 93
 - и Сен-Симон 374–376, 378–380
 - и средневековые мыслители 160, 164
 - и теории эволюции 274, 462–463
 - и утописты 323, 366, 383–392, 403, 397, 406, 486–487
 - «Курс позитивной философии» 227–228, 271, 347, 383–392, 405
 - Конфликта идея, у Августина 132–134**
 - Концепция Золотого Века 512**
 - в христианской мысли 99
 - у Бодено 200
 - у Гесиода 48–53
 - у Оттона из Фрейзинга 149
 - у Сенеки 92
 - Коперник 179**
 - Корнфорд 44, 67**
 - Королевская академия 208**
 - Королевский колледж врачей 208**
 - Королевское общество 216**
 - Кортес 171**
 - Котронео Джироламо 259**
 - Коузер Льюис 376–377**
 - Козн И. Бернард 210**
 - Кребер Альберт Луис 460**
 - Кригер Леонард 228, 414, 425–426**
 - Кромвель Оливер 220, 222–223, 224, 407**
 - Кронос (бог) 46, 49**
 - Ксенофан 39, 43, 46, 54, 58, 80, 89, 95, 116, 174**
 - Кунтц Марион 199**
 - Кьеркегор Сорен 479**
- Λ
- Лавджой Артур 44, 142–143, 158–160, 241, 249–250, 251**
 - Лавуазье Антуан 493**
 - Ладнер Герхард Б. 99, 111, 112, 113, 123**
 - Лайелл Чарлз 273**
 - Лапуж Ж. Ваше де 440–441**
 - Ласки Мелвин 111, 164, 167, 168, 170–171, 187, 218–219, 224, 225**
 - Лассаль Фердинанд 417**
 - Латеранский Собор 163, 166**
 - Латинская поэзия 140–141, 114**
 - Латроп Джон 309**
 - Лафито Жозеф-Франсуа 235**
 - Ле Гофф Жак 155, 157**
 - Леви Гюнтер 220, 222**
 - Левин Дэвид 302–303**
 - Левит (Библия) 134**
 - Левит Карл 164**
 - Лейбниц Готфрид фон 142, 159, 250–254, 284, 322, 387, 388, 389, 424**
 - Ленин В. И. 393, 402**
 - Леонтьев Василий 506**
 - Лессинг Оттольд 117, 164, 270, 305, 408, 485, 527**
 - Либерализм 449–451**
 - Линд Роберт и Хелен 458**
 - Личная свобода. См.: Политическая свобода**
 - Локк Джон 76, 239, 240, 305, 322, 368**
 - Лоуи Роберт 460**
 - Лукач Джон 437**
 - Лукреций 46, 173, 185, 501**
 - и Дарвин 81, 84–85, 273
 - «О природе вещей» 81, 82, 83, 85–90, 95, 109
 - Льюис Флора 498**
 - Лю Шаоци 460**
 - Людовик IX Святой (король Франции) 203**
 - Людовик XVI (король Франции) 281**
 - Лютер Мартин 184, 194**

М

- Магия 178—179
 Магтя 178
 Мази Дэвид 490
 Майерс Джон Линтон 59, 239, 240
 Маймонид 142
 Майр Эрнст 461
 Макендрик Александр 447—448
 Макиавелли Никколо 180—183, 185, 189, 203, 260
 Маккиндер Халфорда 495
 Макрэ Норман 508—509
 Максвелл Джеймс 209, 270, 493
 Малиновский Бронислав 460
 Мальтус Томас 327, 333—339
 Мандевиль Бернард 257, 292—293
 Манди Джон 149, 154
 Манетти Гианоццо 177, 178
 Манихейство 111, 118, 123, 474
 Манн Томас 430
 Мануэль Франк 164, 176, 176—177, 210, 323, 384, 470
 Мао Цзедун 460
 Маркс Карл 127, 160, 229, 269, 332, 480, 482, 487
 — диалектика 394, 403, 528
 — и большевистская революция 457
 — и Вико 265
 — и Гегель 272, 393—394, 403, 417—418, 427
 — и Лейбниц 251
 — и общественные науки 274
 — и Сен-Симон 378, 379, 381, 382
 — и социализм 278
 — и Спенсер 361
 — и Тейяр де Шарден 473
 — и теории эволюции 462, 480
 — и утопии 136, 363, 364, 366, 392—405
 — идея конфликта у 132
 — «Капитал» 392—395, 400, 401, 458
 — «Критика Готской программы» 396, 398, 401, 403
 — «Критика политической экономии» 395—396
 — «Манифест Коммунистической партии» 278, 399, 402
 — парижские сочинения 392
 Марксизм 127, 132, 402—403
 Матвей Парижский 150
 Мей Генри 303
 Мейн Генри 219
 Мейнар 244
 Мендель Грегор 274, 461
 Мертон Роберт 207
 Мертон Томас 133
 Мессиянская эпоха, вера в 126
 Метер Инкрис 302
 Метер Коттон 302—303
 Мид Джозеф 207
 Мик Рональд 286, 294
 Милленаризм
 — Августин о 124
 — и нации-государства 431
 — и пуритане 207, 209, 210
 — и средневековая философия 171—172
 — и христианство 99, 124, 126, 127
 — отцы-основатели и 303, 306—307
 Миллер Перри 303
 Миль Джеймс 348
 Миль Джон Стюарт 270, 325, 344—351, 452, 501, 527
 — и Конт 383, 385
 — «О свободе» 344—346, 348, 452
 — «Принципы политической экономии» 274, 278, 348, 350
 — «Система логики» 346, 248, 385
 Миф о Еве 115
 Миф об Адаме и Еве 115—116
 Мишан Е. Дж. 502
 Мишле Жюль 173, 255, 265
 Момильяно Арнальдо 80
 Монашество 112, 165
 Монтанизм 125
 Монтень 163, 190, 238
 Монтескье 200, 239, 240, 241, 285, 286, 305
 Монтесума 171
 Мор Томас 184, 185
 Морган Льюис Генри 399, 455
 Мормонство 271
 Моррис Колин 143
 Моррисон Роберт 511
 Мосс Джордж 433
 Мюррей Джилберт 78

Н

- Наполеон 406, 407
 Народнонаселение
 — Кондорсе о 326—327
 — Мальтус о 333—339

Наука

- Августин о 108
 - и Кондорсе 322, 324
 - и отцы - основатели 315
 - и пуритане 207–208, 212–213, 216–217
 - и Ренессанс 242–243
 - и XX век 458–459
 - и эллинистическая цивилизация 78–79
 - Вико о 254–255
 - Хаксли о 467–468
- Научная фантастика 467
- Национализм 411, 416
- Необходимость
- Спенсер о 359–360
 - христианство и 127–131
- Непрерывности идея, в Средние века 158–161
- Нидхэм Джозеф 459
- Николай I, Российский император 403
- Ницше Фридрих 430, 457, 483
- Новая система землепользования 141
- Новый завет 98, 146, 157, 440
- Новый либерализм 360, 452
- Нордау Макс 479
- Нордизм 443, 466
- Ньюмен Джон Генри 276
- Ньютон Исаак 73, 128, 142, 153, 176, 206, 207, 208, 210, 211, 243, 250, 254, 255, 256, 284, 347–348, 493, 510

О

Образование

- и Кондорсе 325–326
 - и пуритане 215
 - по Августину 116–117
 - по Контю 390
- Общественные науки 274, 519
- Оккультизм в эпоху Возрождения 178–179
- Оксфордский университет 208
- Орден францисканцев 169, 171
- Орозий 147
- Оруэлл Дордж 467, 484, 525
- Осборн Генри Ферфилд 444
- Оттон из Фрейзинга 147–148
- Отцы - основатели 77, 300–319
- Оуэн Роберт 366

П

- Павел апостол 98–99
- Пандора, миф о 54
- Парижские рукописи и фрагменты 392
- Парсонс Толкот 274
- Партнер Нэнси 147
- Паскаль Блез 151, 153, 387
- Пассажере Роналдино 154
- Пассмор Джон 110, 277
- Паунд Эзра 483
- Пеги Шарль 428
- Пейдж Толбот 506
- Пейн Том 402, 312
- Пелагий 110
- Перипатетики 77
- Перро Шарль 117, 242, 245
- Перчес Сэмюэль 234
- Петерсен Уильям 333, 335, 336, 337, 338
- Петрарка 178
- Петри Флайндерс 461
- Пирронизм 77
- Плам Дж. Х. 487
- Планк Макс 493
- Платон
- влияние Гесиода на 54,
 - «Законы» 62, 67–72, 72, 73, 500
 - «Протагор» 60, 72
 - «Государство» 73, 363, 413
 - «Политик» 62, 72, 73, 500
 - «Тимей» 158
 - и средневековые мыслители 158, 160
 - и утопии 378
- Плутарх 185
- Позитивизм 271, 389–392
- Полибий 121
- Полнота в период Средневековья 158–161
- Поло Марко 162, 242, 439
- Поло Маттео 162
- Поло Николло 162
- Помпа Леон 256
- Поп Александр 174, 276
- Поппер Карл 419, 426–427, 482
- Поэзия средневековая 140, 144
- Правительство
- по Адаму Смиту 296–297
 - по Годвину 332
 - по Джону Адамсу 308–309
 - по Руссо 373–373
 - по Спенсеру 353–355

– и этатизм 405–408
Праздный класс 454
Прайс Ричард 290, 300
Пристли Джозеф 270, 277, 307,
310–311, 320, 344, 527
«Происхождение видов» (Дарвин)
159, 160, 273, 275
– Лейбниц и 251, 253
– Маркс и 392–393
– Спенсер и 356
Прометей, миф о
– у Гесиода 48, 53–54
– у Протагора 61
– у Эсхила 53–59
Промышленная революция 142
Просвещение 527
– и Конт 385, 386, 387, 390,
391
– и отцы-основатели 305
– и расизм 432–433
– и Сен-Симон 375, 381
Проспер Аквитанский 143–144
Протагор 39, 41, 45, 46, 54, 59–
64, 68, 72, 79, 114, 139, 512
Птолемей 142, 493
Пуританская революция 124, 197,
205–227, 405
– влияние древних греков на 54
– отцы-основатели и 302–303
– Иоахим Флорский 163–164
– Френсис Бэкон и 192
Путешествия и открытия
– земного рая концепция и 162
– Иоахим Флорский и 170
– мыслители Реформации и
234–242
– период Средневековья и 162
Пуфендорф Сэмюэль фон 368

Р

Рабочий класс
– Адам Смит о 296
– Сен-Симон и 378
См. *тж.*: Маркс
Равец Джером 511
Радикализм 457
Ракан Оноре де Бюйль 244
Ранке Леопольд фон 264
Расизм 432–444, 466
– концепция арийской расы в
436
– Чемберлин о 438–440
– Гобино о 434–438

– древние греки о 432
– в XX веке 466
Рассел Бертран 529
Раттанси П. М. 210
Раутенштраух Вальтер 458
Рационализм 179
Раш Бенджамин 301
Революция 111, 401
Редвуд Джон 206
Редкоиф-Браун 460
Рейли Уолтер 183
Рейналь аббат 302
Ренан Эрнест 430, 479
Ренессанс. См.: Возрождение
Реформа
– американское правительство и
317–318
– Спенсер и 359
– христианство и 110–114
Реформация 134, 177, 197–265,
305, 385, 432, 485
Ривз Марджори 99, 124, 163–164,
163, 209
Ридли Хью 429
Римский клуб 464
Римский период
– Боден и 202, 203
– влияние Гесиода на 54
– временные циклы и 119
– Гиббон о 291
– Лукреций и 81–90
– период Средневековья и 143
– св. Августин и 113
– Сенека и 90–93
– Сен-Симон и 380
– Тертуллиан и 102–103
– христианство и 100
Робеспьер Максимильен 320, 407
Роджерс Джон 222, 223
Роже из Блуа 152
Ройс Джосая 529
Ромилли Жаклин де 74
Рост
– по Августину 107, 120
– по Миллю 358–359
– по Св. Павлу 98
– по Сенеке 93–94
Русвельт Теодор 452
Русская революция 369, 401
Руссо Жан-Жак
– второе «Рассуждение» 64, 78,
824, 260
– «Исповедь» 366–367
– «Об общественном договоре»
363, 36–367
– и Конт 391

– и утописты 364–373

С

Саломон Альберт 391
Сарзен Жан-Франсуа 244
Сартон Джордж 518
Св. Августин (Кентерберийский) 235
Св. Августин 93, 97, 138, 175, 474
– «Град Божий» 98–110, 115, 118, 123–124, 129–130, 132–134, 134–135, 136, 138, 146, 177, 196, 485
– греческие предшественники 100, 102–103
– единство человечества у 115–116, 432, 462
– и воспитание 188, 409–410
– и Декарт 196
– и доктрина Пелагия 140
– и Конт 388
– и мыслители времен Реформации 228, 238–239, 249–250
– и мыслители эпохи Возрождения 177, 183–186, 185
– и средневековые мыслители 145–146, 147–148, 153
– и утопическая идея 167
– идея (концепция) времени у 117–124, 155
– идея о конце и начале у 134–137
– идея о необходимости у 127–132
– «Исповедь» 167
– историческая непрерывность у 175, 177, 495
– конфликт как движущая сила у 132–134
– «О творении против манихеев» 123
– эпохи и стадии у 120–125
Св. Иероним 82–83, 183
Светоний 522
Свифт Джонатан 242, 243–244, 528
Свобода 281–361, 364
– Гегель о 424
– Годвин о 328–333
– Дьюи о 453–456
– и власть 364–365
– Кант о 339–343
– Кондорсе о 323–325

– Миль о 344–351
– Спенсер о 351–361
– Тюрго о 289–290
Сенека 46, 90–95
Сен-Жюст Луи 366, 407
Сен-Симон граф де 127, 207, 269, 271, 278, 363, 365, 527
– и Конт 383, 3779, 391
– и Кондорсе 319
– «Новое христианство» 373, 377, 378, 381, 403
– и утописты 323, 366, 373–382, 403, 486
Сен-симонистов движение 343
Секуляризация 269–270
Синшаймер Роберт 513–518
Скептицизм 77, 80
Скиннер Квентин 207–208
Скот Иоанн 146, 185
Смит Адам 72, 274, 287, 291–301
– «Богатство народов» 257, 288, 291–299, 338
– либерализм и 449
– Мальтус и 336, 338
– мыслители Реформации и 257
– свобода у 364
– «Теория нравственных чувств» 257, 292, 295, 299, 338
Сократ 47, 54, 59, 60, 62, 63, 80–81, 185, 246
Солженицын А. И. 499
Сорель Жорж 244–245, 480
Софисты 59, 60, 62
Софокл 46, 58, 114, 503
Социализм
– Миль о 348–349
– национализм и 417
– См. *тж.*: Маркс; Сен-Симон
Социальная эволюция 462
Социальные науки. См.: Общие-ственные науки
Социальные реформы и христианство 110–114
Социология 383–387
Спенсер Герберт 114, 127, 160, 269, 276, 278, 351–361, 447, 528
– «Автобиография» 352, 357
– эволюционные теории и 85, 463
– идея свободы у 364
– либерализм и 449, 452
– расизм и 444
– «Социальная статика» 352, 353, 359
– социология и 272, 274

Спиноза Барух 159, 260
Спор о древних и новых
– Конт и 387
– в XVII веке 242–249
Спрат Томас 215–220
Средневековье 139–172
– Боден о 198
– Возрождение и 173, 174, 176
– идея истории 145–152
– Иоахим Флорский и 163–172
– концепция времени 147–150
– концепция земного рая 161–172
– метафора о карликах и гигантах 152–155
– полнота и непрерывность 158–160
Сталин И. В. 403
Стент Гюнтер 512–513, 518
Стеффенс Линкольн 457
Стоддард Лотроп 466
Стоики и стоицизм 79, 80, 129
Столетняя война 151
Стронники Пятой монархии 220–225, 366, 405
Стюарт Дугалд 295
Субъективизм 40, 177–178, 519
Судьба 178, 179

Т

Тайлор Эдвард Б. 273, 274, 399, 470
Тассони Алессандро 242–243
Таунсенд движение 458
Тацит 241, 440
Творение
– Августин о 132
– Гесиод о 47–48
– Лукреций о 84–85
– Протагор о 60–61
Тевтонство 439–440, 443
Теггарт Фредерик 482
Тейлор Гарриет 349
Тейяр де Шарден Пьер 470–473, 528
Темные века 140
Темпл Уильям 243
Теннисон Алфред 276–277
Теодорик Фрайбургский 141
Теории эволюции (эволюционистская теория) 159
– возрождение в XX веке 460–461

– Дарвин о 273–274
– Спенсер о 357–359
– Тейяр де Шарден о 473
Теория свободной торговли 199
Тертуллиан 97, 102–107, 123
Технология железа 141
Тойнби А. Дж. 42, 219, 461, 469, 470, 473, 492, 494, 528
Токвиль Алексис де 219, 348, 365, 434, 437, 463, 477, 478, 523, 530
Толстой Лев 317
Торо Генри Давид 500
Трапп Сильвия 143–144
Трейчке Генрих фон 426
Тринкоз Чарльз 177, 178
Троцкий Лев 402
Тувесон Э. Л. 208, 212, 305–306, 431
Тьери Огюстен 376
Тэн Ипполит 430
Тюрго Анн Робер 90, 212, 219, 269, 270, 188–290, 291, 413, 485
– идея свободы у 364
– Кондорсе и 319, 325
– Конт и 228, 387
– образование рода человеческого и 117
– отцы-основатели и 302
– «Размышления о создании и распределении богатств» 288–290
– «Рассуждение о всеобщей истории» 122, 283–288
– Руссо и 370, 371, 373
– социальные науки и 274

У

Уайт Лесли 274, 461
Уайт Линн 79, 141
Уайтхед А. Н. 131
Уилфорд Джон Ноубл 493
Уоллес Альфред 270
Уорд Лестер 360, 452–457
Уоттон Уильям 243
Утописты
– в XX веке 486
– Гегель и 417–431
– Гердер и 408–412
– Кондорсе и 322–323
– Конт и 383–392
– Маркс и 392–403
– Руссо и 366–385

– Сен-Симон и 375–382
– средневековая мысль и 165–172
– Фихте и 412–417
– христианство и 126–127, 136–137
– эгэтизм и 405–408
Уэбстер Чарлз 192, 207
Уэддел Хелен 141

Ф

Фарадей Майкл 270, 493
Фейер Льюис 392–393
Фергюсон Адам 370
Физиократы 291, 299
Финли М. И. 44–45
Фитцджеральд Фрэнсис 490–491
Фихте Иоганн Готлиб 341, 363, 405, 412–417
Фичино 174–175, 177, 178
Фома Аквинский 152, 161, 166
Фонтенель Бернар де 117, 242, 245–248, 249, 322
Фортуна 180, 182
Франклин Бенджамин 301, 302, 303, 303–310, 311
Французская Академия 244
Французская революция 207, 278, 320, 322, 343, 369, 374, 385, 406–407, 418, 425
Фрейд Зигмунд 516
Фрейдизм 528
Френо Филипп 314
Фриден Майкл 452
Фридмен Милтон 325, 450
Фридрих I (Барбаросса) 169
Фридрих II 169–170, 407
Фридрих Великий 406
Фримен Остин 481
Фруассар Жан 151
Фукидид 64–67, 78, 237, 239
Фурье Франсуа 127, 363, 404–405
Футурология 463–465
Фэрчайлд Хокси Нил 492

Х

Хайек Фридрих Август фон 325, 450–451
Хаклюйт Ричард 163, 234
Хаксли (Гексли) Т. Х. 467
Хаксли Джулиан 467–468, 470–

471

Хаксли Олдос 192, 467, 483, 525
Ханнинг Роберт 105–108
Хатчесон Френсис 257, 292
Хейзинга Йохан 173
Хекстер Дж. Х. 186, 187
Хилл Кристофер 206
Хирш Фред 503–505
Хобсон Дж. А. 360, 452, 453, 454, 456
Хобхаус Л. Т. 360, 452, 453–457
Холтон Джеральд 518
Хорст, доктор 226
Хоффман Стэнли 489–491
Христианская наука 271, 272
Христианство 107–138
– дух социальной реформы в 110–114
– и Евсевий 103–106
– и единство человеческой мысли 114–117
– и Лукреций 83
– и мыслители эпохи Возрождения 178
– и необходимость 127–132
– и римская мысль 99–106
– и Св. Августин 106–110, 145
– и Тертуллиан 102–105
– и эллинистическая цивилизация 78–79
– и Эразм 183, 184
– идея конца и начала в 134–137
– истоки 97–98
– конфликт как движущая сила в 132–134
– начала идеи прогресса в 43, 44
– постюронность в 102–110
– течение времени в 117–120
– эпохи и стадии в 120–127

Ц

Циклы

– Августин о 119
– Боден о 203–205
– в греко-римской философии 74–75
– в философии Возрождения 176–177
– Вико о 263–264
– Макиавелли о 180
– Платон о 74–75
Цицерон 185

Ч

- Чемберлен Хьюстон Стюарт 438—440, 441
Чикагская выставка (1893) 312

Ш

- Шапино Мейер 140
Шарнхорст Герхард фон 419
Шатлю Франсуа Жан 312
Шатобриан Франсуа 387
Швейцер Альбер 528
Шейкерли Джереми 218
Шепли Харлоу 523
Шопенгауэр Артур 430, 477, 478, 483, 523
Шпенглер Освальд 461, 481, 493
Шумпетер Йозеф 287, 503

Э

- Эдвардс Джон 213, 234
Эдвардс Джонатан 303—304
Эдди Мэри Бейкер 272
Эдельштайн Людвиг 44, 45, 58, 75, 79, 80, 94
Эйкин Уильям Е. 458
Эйнштейн Альберт 493
Элиот Дж. Х. 171, 235—238
Элиот Т. С. 483, 484, 492
Эллинистическая цивилизация 77—81
Эмерсон Ральф Уолдо 315
Эмпедокл 59, 82
Энгельс Фридрих 278, 396, 397, 400, 457
Энциклопедисты 305
Эпикур 46, 54, 79, 81—82, 88
Эпохи и стадии
 - и христианство 120—127
 - по Августину 120—125
 - по Боссуэ 231—233
 - по Веблену 484—485
 - по Вико 261—264
 - по Гегелю 417, 420—422
 - по Гесиоду 49—53
 - по Иоахиму 164—165
 - по Сен-Симону 380—381
 - по Скоту 146
 - по Тюрго 285—287
 - по Френсису Бэкону 188—189

- Эразм 183—185
Эратосфен 79
Эсхил 46, 54, 53-58, 79, 503, 526
Этатизм 403—408

Ю

- Юм Давид 219, 303, 311, 433
Юнг Эдвард 276

Я

- Язык 86
Якобинцы 207, 226, 320, 374, 406, 425

Л

- Laissez faire* 293, 360

Р

- Pax Romana* 106

V

- Volkstum* 409, 410

Роберт Нисбет

ПРОГРЕСС: ИСТОРИЯ ИДЕИ

Редактор *Ю. Кузнецов*
Корректор *О. Силина, А. Андреева*
Компьютерная верстка *С. Фонченко*
Дизайнер серии *Е. Тулунова*

Подписано в печать 30.09.2006. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Объем 34,8 печ. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 7665.

**АНО «Институт распространения информации по социальным
и экономическим наукам» (ИРИСЭН)**
Москва, ул. Скаковая, 17.
Тел. (495) 945-06-41
info@irisen.ru www.irisen.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.